

Рассылается по специальному списку

Л0000496

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том четвертый

МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ

Выпуск первый

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

1986

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том четвертый

МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ

Выпуск первый

STORIA DEL MARXISMO

Volume quarto

IL MARXISMO OGGI

Giulio Einaudi editore
Torino -- 1982

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том четвертый

МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ

Перевод с итальянского

Выпуск первый

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

1986

Общая редакция *АМБАРЦУМОВА Е. А.*

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОГРЕСС» 8

ЭРИК Дж. ХОБСБОМ

Марксизм сегодня: открытый итог 13

1. Маркс, сто лет спустя 13
2. Десталинизация, «третий мир» и 1968 год 19
3. Молодая интеллигенция и академический марксизм 38
4. Плюрализм и новые виды ревизионизма 47
5. Кризис «внутри» марксизма 61

ФРАНЦ МАРЕК

Теории революции и переходные фазы 66

1. Передовые страны и национальные пути к социализму 67
2. Теория «третьего мира», слаборазвитость и насильственная революция 75
3. Переходный послереволюционный период 83

ВИТТОРИО СТРАДА

Марксизм и постмарксизм 97

1. Непревзойденный марксизм 100
2. Марксизм реальный 105
3. Осуществленный марксизм 119

АЛЕКСАНДР АДЛЕР

Политика и идеология в советском опыте 125

1. Идеологическая ширма 125
2. Педагогика «простого человека». Сталинская «картина мира» 133
3. Три попытки реформы: Бухарин, Берия, Хрущев 138

ЮХАН П. АРНАСОН

Перспективы и проблемы критического марксизма в Восточной Европе

154

1. Кризис и реконсолидация советского марксизма 156
2. Критические альтернативы 169
3. Тупики польского марксизма 181
4. Югославский вклад 190
5. Интеллектуальный контекст «пражской весны» 198
6. Неоленинизм и ленинизм наоборот 210
7. Будапештская школа 218

ВЛОДЗИМЕЖ БРУС

Функционирование социалистической экономики

237

1. Югославский самоуправленческий социализм 239
2. Концепция «централизованного планирования при наличии регулируемого рыночного механизма» 248
3. Социалистическая экономика и политическая система 259

ФРАНСУА ГОДМАН

Китай после Мао

268

1. Новый курс 270
2. Противоречивость идей Мао 276
3. Модернизация и ее отражение в сфере культуры 280

САМИР АМИН

Ориентация марксизма на «третий мир»

287

1. Революция и рабочий класс 288
2. Специфика маоизма 292
3. Переход к социализму или политическая экспансия? 301
4. «Белая опасность» 308
5. Марксизм, национальное освобождение и революционность 311

Латиноамериканский марксизм 318

1. Теории социализма и Латинская Америка 318
2. Политические течения 325
3. Теоретические течения 334
4. В поисках обновления 338

МОРИС ГОДЕЛЬЕ

Марксизм и гуманитарные науки 342

1. Деятельностная суть Марксовой мысли в области гуманитарных наук 342
2. Некоторые гносеологические концепции и подходы Маркса 345
3. Функционализм, структурализм и марксизм: гносеологическое сравнение 352
4. Марксизм и другие теоретические течения в сравнении с современным развитием гуманитарных наук 354
5. Различие функций, но не институтов 357
6. Идеальное как часть действительности и различие между идеологическим и неидеологическим в теоретической мысли 360

ГЕРАН ТЕРБОРН

Классовый анализ в современном мире:
марксизм как социальная наука 369

1. От критики политической экономии к критике социологии 369
2. Зарождение неомарксистского классового анализа 382
3. Проблемы и задачи теории классов 393
4. Рабочий класс и перспективы марксистской политики 410

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОГРЕСС»

Тематика четвертого, заключительного тома «Истории марксизма» (в переводе на русский язык публикуется в двух выпусках) — развитие марксистского учения в послевоенный период. Логически следуя общей концепции работы о «множественности марксизмов», автор вступительной статьи английский историк Эрик Хобсбом, в сущности, ведет дело к эрозии самих критериев марксизма. Вместе с тем он констатирует, что марксизм воплотился в жизнь, прежде всего благодаря В. И. Ленину и русской революции, и в конечном счете признает неразрывную связь современного реального социализма с марксизмом. Позитивной стороной очерка Хобсбома можно считать и его острокритические оценки маоистской теории и практики, опровержение им левацких утверждений о том, будто в «великой культурной революции» нашел выражение Марксов идеал самоуправляющегося общества.

Трактовка марксизма Хобсбомом не свободна от влияния западных буржуазно демократических традиций. Он критикует «марксистские режимы» за несходство с «либеральной демократией», хотя очевидно, что они, следуя Марксу, отказываются принимать эту мерку, поскольку их основная сущностная черта — уничтожение власти частной собственности.

Значительным недостатком Хобсбома (как и большинства авторов этого сборника) является незнание достижений советской марксистской мысли. Ему неизвестно, что за 15-20 лет до американского марксиста левацкой ориентации С. Бэрна, на чьи работы немало ссылок в «Истории марксизма», о новом этапе развития капитализма писали академик Е. С. Варга, а затем ученые Института мировой экономики и международных отношений АН СССР во главе с академиком А. Л. Арзуманяном. Хобсбома, как, впрочем, и некоторых других авторов сборника, привлекают в основном полемические выступления, тогда как позитивное решение актуальных проблем правящими партиями и марксистами социалистических стран оказывается вне поля их зрения.

В том же ключе написан очерк Юхана Арнассона о «критическом марксизме» в Восточной Европе. Вероятно, незна-

нием истинного положения дел объясняются неправильная трактовка им понятия реального социализма и некоторые другие утверждения, опровергаемые всей современной общественной жизнью в Советском Союзе и странах социализма. В то же время в его статье подвергаются критике концепции ревизионистского толка за «наслоения ленинских взглядов», за нежелание отрешиться от социалистической ориентации, то есть, по существу, с буржуазных позиций.

В этом томе, как и в предшествующих, выступает со статьей Франц Марек (ныне покойный). В 30-е годы этот австрийский коммунист, находясь в эмиграции в Москве, был известен своей воинствующей ортодоксальностью. Но в 50-е годы он, уже став членом Политбюро ЦК КПА, радикально сменил ориентиры и в конце 60-х годов был исключен из партии за ревизионизм. Марек никак нельзя заподозрить в незнании фактов, следовательно, он явно сознательно искажил суть ленинизма, редуцировав его к концепции революции в отсталой стране. Столь же предвзято он обвиняет В. И. Ленина в «выхолащивании» власти Советов, хотя В. И. Ленин, как известно, объяснял случаи их подмены исполнителем аппаратом и партией экстремальными условиями войны и культурной отсталостью страны, а после окончания войны повел курс на «оживление Советов».

Даже либерально-буржуазные ученые не рискнут сегодня повторить утверждение Марек о том, будто в развитых капиталистических странах уже осуществлено обобществление производства «по Марксу», как будто частная собственность капиталистов на средства производства утратила свое значение. Навязчивым и необоснованным выглядит в этом свете самоотжествление Марек с «итальянским марксизмом» Грамши и Тольятти, поскольку антикапиталистическая и революционная направленность их взглядов не вызывает сомнения.

Марек выявил некоторые характерные черты идеологии так называемого термонизма, в частности апологетику крестьянства. Но странное впечатление производит сегодня восхваление Мао Цзэдуна, тем более на фоне статьи Хобсбама. Нарочито и недобросовестно в научном отношении вычленил Марек из выступлений Мао антибуржуазные, антибюрократические пассажи, полностью замалчивая его бесчеловечные левацкие призывы и действия, особенно во время «культурной революции».

Очерк Витторно Страды о «постмарксизме», который включает серию статей итальянского литературоведа-советолога в этом коллективном труде, отражает завершающий этап его эволюции — как раз за годы издания «Истории марксизма» — от ревизионизма к открыто антикоммунистическому реформизму. Перейдя от высокой оценки деятельности

В. И. Лешина (см. его статью во втором томе «Истории марксизма») к выпадам против него, Страда, в частности, искажает известную ленинскую концепцию внесения социализма в рабочее движение. Вместе с тем нельзя не отметить, как ядовито, с изощренными софизмами Страда опровергает Сартра, хотя его аргументация отнюдь не может рассматриваться как марксистская.

Профессор Парижского университета Александр Адлер, до недавнего времени состоявший в рядах Французской коммунистической партии, претендует на выявление исторических корней социально-экономических преобразований в Советском Союзе 30—40-х годов. Однако источниковедческая его база весьма сомнительна. В заключение он делает вывод о возможности «слияния великой рационалистической и критической традиций русской интеллигенции с реформаторскими инициативами сверху».

Автор статьи о функционировании социалистической экономики Владзимеж Брус (до конца 60-х годов жил в Польше, затем эмигрировал и ныне работает в университетах Западной Европы, в основном в Англии) в своем анализе, избегая крайностей, подмечает слабости как излишней централизации экономики, так и югославского «рыночного социализма» и пишет о целесообразности государственного планирования. Примечательно, что в отличие от предшествующих авторов Брус использует работы советских экономистов, в частности экономико-математической школы Пемчинова — Новожилова — Канторовича.

Обращает на себя внимание очерк французского востоковеда Франсуа Годмана о Китае после «культурной революции». Автор не свободен, как и многие западные интеллигенты, от левых предрассудков: отсюда, например, убежденность в революционном характере «культурной революции». Однако в основном Годман критически оценивает ее эксцессы, признает, что восхвалявшиеся частью западной интеллигенции массовые «движения» в Китае 60-х годов были скорее орудием жестокой политической борьбы, правильно квалифицирует маоистские воззрения как, по сути дела, троцкистские, показывает, что маоистское «развитие» обернулось общественным регрессом. Плодотворной оказывается и методология анализа «китайского марксизма», исходящая из проблемы государства. Этот анализ опровергает «антиэтатизм» Мао. Годман не согласен с теми китайцами, которые считают, что постемаоистское развитие идет в направлении «рекапитализации». Правда, заключительный вывод Годмана о том, что ныне Китай вступил в «малый ледниковый период», опровергается реальным положением в этой стране.

Известный специалист по проблемам «третьего мира» Самир Амин — выходец из Египта (живет и работает в Пари-

же) — склонен к левоутопическому догматизму. Так, он видит решение экономических проблем развивающихся стран в эгалитаризме и нетоварных отношениях. Предвзята и упрощенна негативная оценка Амином закона стоимости, который якобы в любых обстоятельствах приводит к укоренению системы эксплуатации. Амин отдает предпочтение маоизму перед ленинизмом, остается верен популярному мифу о «демократизме» маоизма, повторяет давно опрокинутую жизнью маоистскую оценку отсталых стран как «авангарда мировой революции». В соответствии с распространенным среди радикальной интеллигенции этих стран пониманием «третьего мира» как «периферии капиталистической экономики» Амин не видит разницы между буржуазными государствами этого региона и странами социалистической ориентации. Тем не менее и он не в состоянии сбросить со счетов опыт социалистического развития во Вьетнаме, КНДР, на Кубе.

Информативный материал содержит статья Хуана Карлоса Портантьеро о марксизме в Латинской Америке, хотя она и не свободна от некоторых ошибочных оценок.

Очерк «Марксизм и гуманитарные науки» принадлежит перу видного французского философа-марксиста Мориса Годелье, немало сотрудничавшего в коммунистическом журнале «Пансе». У нас, в частности, известны его работы по марксистской теории общественно-экономических формаций. Годелье принадлежит к школе Альтюссера, которой свойственно преимущественно «структурное прочтение» Маркса с пренебрежением его историзмом и несколько односторонним пониманием его диалектики. Однако Годелье сумел передать сложную взаимосвязь базиса и надстройки в докапиталистических обществах. Вместе с тем вызывают удивление претензии Годелье к марксистской литературе за отсутствие «теории процессов, которые привели к появлению социализма в таких странах, как Китай, Вьетнам, Ангола, Куба». Автору явно неизвестны работы советских исследователей К. Брутенца, Н. Симония, Г. Старушенко и др. как раз на эти темы. Принимая конценцию «разных марксизмов», Годелье истолковывает ее как исчезновение основы для «глобального анализа различных аспектов действительности». Так «плюрализация» марксизма дает курьезный «эффект бумеранга», обращаясь против ее последователей.

Содержательна в историографическом и библиографическом плане статья шведского социолога Гёрана Терборна. Он наглядно раскрыл влияние идей Маркса на современную западную социологию, сделав упор не столько на ревизионистской их интерпретации, сколько на признании буржуазными социологами неизбежности нового подъема рабочего и демократического движения в странах развитого капитализма. Сотрудничая в «неомарксистских» изданиях, Терборн с пол-

ным основанием критикует их, например, за догматически узкое понимание рабочего класса и причисление «новых средних слоев» к классу традиционной мелкой буржуазии. Есть у Терборна и другие интересные наблюдения по этой проблеме.

Вместе с тем искусственной и даже наивной представляется принимаемая Терборном классификация марксистов: противопоставление Ленина и Грамши, отождествление так называемых «марксистско-ленинских партий» (маоистской ориентации) с «классической эрой большевизма», абсолютно необоснованный вывод о «смещении центра интеллектуального марксизма в англосаксонский мир». Впрочем, Терборн сам себя опровергает, призывая не переоценивать «аполитичную академичность» и подчеркивая первостепенную важность реальных массовых движений за социальное освобождение под марксистским руководством.

В целях информации издательство «Прогресс» направляет читателям перевод четвертого тома «Истории марксизма» (выпуск первый).

Эрик Дж. Хобсбом

МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ: ОТКРЫТЫЙ ИТОГ

1. Маркс, сто лет спустя

Каким может быть будущее марксизма, мы еще не знаем. Однако сто лет спустя после смерти Маркса с определенной долей уверенности можно дать оценку его необыкновенным достижениям.

Ни одному мыслителю еще ни разу не удавалось с подобным успехом пережить свой собственный программный лозунг: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»¹. Идеи Маркса стали теориями, вдохновившими рабочие и социалистические движения в Европе. В основном благодаря Ленину и русской революции эти идеи стали квинтэссенцией международной доктрины социальной революции в XX столетии, которая одна повсеместно принята на вооружение от Китая до Перу. Благодаря победе партий и правительств, отождествляемых с этой доктриной, некоторые версии таких идей превратились в официальную идеологию государств, где к настоящему времени проживает около одной трети человечества, не говоря уже о разных по размаху и значению политических движениях иного масштаба и значения, которые заявляют о своей приверженности этим идеям в остальной части мира. Единственные мыслители, которых можно было бы назвать поименно, достигшие положения, сравнимого с Марковым, — это основатели великих религий прошлого, и, за исключением, пожалуй, одного Магомета, никто из них не сумел столь же быстро добиться триумфа. С этой точки зрения ни один светский мыслитель не может быть сравним с Марксом.

В какой мере сам Маркс одобрил бы все то, что было сделано во имя его, и что он подумал бы о доктринах, нередко превращенных в светский эквивалент теологии и официально признанных в качестве неоспоримо верных, — вопрос, который мог бы вызвать интересную дискуссию, тем не менее является академическим. Однако сколь бы далекими ни были подобные доктрины от оригинальных идей Маркса, ко-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 4.

торые мы можем документально обосновать или вывести из его сочинений, они исторически происходят из этих идей, и данное происхождение может быть конкретно продемонстрировано как в области мысли, так и в области действия, ибо они принадлежат истории марксизма. Насколько их развитие логически содержится в идеях Маркса — это отдельный и самостоятельный вопрос, ставший уже предметом многочисленных дискуссий, особенно в той связи, что режимы и правительства, созданные во имя Маркса (обычно до сих пор сочетаемого с каким-либо революционным вождем, появившимся после него и провозгласившим себя его учеником, будь то Ленин, Сталин, Мао или др.), все до сего времени обладали своего рода фамильным сходством или же, по той причине, что все они отличались общей негативной чертой, несходством с либеральной демократией.

Разрешение подобной проблемы не входит в задачу данной «Истории марксизма», и все же в этой связи могут быть сделаны два замечания. По мере того как совокупность идей переживает того, кто их разработал, она выходит за рамки первоначального содержания и намерений. В весьма широких границах, определяемых способностями людей к истолкованию или даже человеческой склонностью провозглашать связь с любимым избранным предшественником, эта совокупность идей становится объектом целого ряда непредсказуемых широких изменений и трансформаций как практического, так и теоретического свойства. Режимы, именовавшие себя христианскими и черпавшие свой авторитет из особой совокупности письменных источников, занимают пространство, простирающееся от феодального Иерусалимского королевства до общин «шекеров» («трясунов»)*, от царской империи до Голландской республики, от кальвинистской Женевы до ганноверской Англии**. Христианская теология постепенно абсорбировала и Аристотеля, и Маркса. И все эти режимы могли бы утверждать, что их возникновение определенным образом связано с учением Иисуса Христа, хотя обычно подобные утверждения и не доставляют особого удовольствия другим, столь же убежденным, христианам. Тома данной «Истории марксизма», пожалуй, продемонстрировали, сколь широк спектр идей и практической деятельности тех, кто претендует на то, что эти идеи и деятельность, непосредственно или через преемников, связаны с учением Маркса и совместимы с ним. И если бы мы не знали, что все: сионистские кибуцы и полпотовская Кампучия, Гильфердинг и Мао, Сталин и Грамши, Роза Люксембург и Ким Ир Сен — все заявляют о подобной

* Шекеры — американская религиозная секта. — *Прим. ред.*

** Речь идет об английской королевской династии, царствующей там с 1714 г. и ведущей свое происхождение от курфюрстов Ганноверских. — *Прим. ред.*

своей связи с Марксом, то, конечно, различия, существующие между ними, представились бы нам гораздо более заметными, нежели сходство. Нет никакого теоретического основания считать, что марксистские режимы должны были принимать какую-то определенную форму, хотя имеются вполне веские исторические причины для того, чтобы объяснить, почему эти режимы, возникшие в относительно короткий период времени начиная с 1917 года — будь то благодаря самобытной революции, или из подражания, или же благодаря завоеванию, в целом ряде стран на обочине или вне промышленно развитого мира, — выработали в себе общие характерные черты как в негативном, так и позитивном плане².

В настоящем томе предпринимается попытка изучить марксизм начиная с того времени, когда он более не отождествляется — в отличие от того, как это происходило во все возрастающей мере в период между 1917 годом и расцветом сталинизма, — с какой-то одной моделью революции и построения социализма, с одним-единственным международным движением под централизованным или по меньшей мере неоспоримым руководством Коммунистической партии СССР. Марксистская политическая практика более не оформляется или стремится не оформиться по большевистскому образцу. Утратил силу вывод, согласно которому Марксова теория необходимым образом выливается в ленинизм, и только в ленинизм (или в какую-либо другую школу, претендующую на то, чтобы представлять марксистскую ортодоксию).

Тем не менее можно сказать, что любая система идей это относится и к идеям Маркса — в процессе становления неизбежно превращается в некую значимую политическую силу, способную мобилизовывать массы будь то посредством партий, движений, правительств или другими путями. Подобным же образом любая система идей трансформируется, хотя бы только в результате придания ей определенной формы, ее стабилизации и дидактического упрощения в тот самый момент, когда ее начинают преподавать в начальной и средней школе или даже только в высших учебных заведениях. Объяснять мир и переделывать его — не одно и то же, хотя то и другое органически взаимосвязано. Происходит ли это по ходу образования неформального ядра убеждений, как, например, тех, которые характеризовали деловых людей XIX столетия и их летописцев в отличие от реального содержания мысли Адама Смита, служившей, по их мнению, их опорой, или же — наоборот — формальных догм, в отношении которых оказываются нетерпимыми никакие разногласия, — это

² Те немногие развитые в промышленном отношении страны, которые управляются подобными режимами, никогда не оказались бы в подобном положении после второй мировой войны, если бы победу не одержала Красная Армия.

вопрос второстепенный. Остается факт трансформации. История идей, и в частности история политических идей, занимается прежде всего определением значения и намерения мыслителей, а также первоначального контекста и связи с ним идей мыслителей, скрытых посмертными истолкованиями. Единственными авторами, которым удается избежать этой участи, являются те, которых никто никогда не принимал всерьез, или же те, кто был столь тесно связан со своей эпохой, что его тотчас же забыли. Сегодняшний Адам Смит — это не Адам Смит 1776 года, разве что только для узкой группы специалистов-ученых. То же неизбежно относится и к Марксу, хотя, как показывает данный том, последние десятилетия XX века создали различные марксизмы из первоначального Маркса.

Чем больше мыслитель в состоянии изменить мир, тем в большей мере его мысль становится предметом посмертных превращений. Политическое воздействие марксизма, несомненно, является наиболее важным успехом Маркса с точки зрения истории. Конечно, и интеллектуальное влияние имело почти такое же значение, но оно неотделимо от политического воздействия и менее всего отделимо от марксистов. Не так уж много мыслителей, одно только имя которых вызывает в воображении фундаментальные преобразования интеллектуального мира человечества. Среди этих имен наряду с именами Ньютона, Дарвина, Фрейда стоит и имя Маркса. Уже одни эти имена указывают на то, что интеллектуальные преобразования, с которыми отождествляется каждый из них, сравнимы друг с другом разве только в том смысле, что им было суждено выйти далеко за пределы круга специалистов соответствующей области знания вплоть до охвата всего мира культуры. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что Фрейд или даже Дарвин обладали таким же, что и Ньютон, интеллектуальным величием. И все-таки, какими бы ни были их способности и природа их интеллектуального успеха, те имена, которые составят подобный список, немногочисленны. Включение в него Маркса трудно оспорить. Однако оно произошло весьма своеобразным образом. Во-первых, потому что произошло это из практических целей и только после смерти Маркса, как показано в данной «Истории марксизма»: воистину, мало кто мог бы предположить, когда Маркс был еще жив, что его ждет подобная слава. И во-вторых, это включение произошло под аккомпанемент длившейся целое столетие настойчивой, широкой, активной и с интеллектуальной точки зрения отнюдь не бессодержательной критики. Многие яркие умы прилагали интенсивные усилия, чтобы доказать наличие ошибок и пробелов у Маркса, включая сюда и тех, кто, начав как сторонник марксизма, позднее становился его критиком. Мыслители, преобразующие интеллектуальный мир, нередко

оказываются под огнем критики и опровержения, по крайней мере в течение некоторого периода. Однако обычно путь таких людей представляется менее тернистым, а серьезная теоретическая критика, как нам кажется, в таких случаях ограничивалась специфическими сферами научного исследования. Маркс же пережил целое столетие критического огня, направляемого против его идей всяким, у кого в руках оказывалось перо или пишущая машинка, какая-нибудь трибуна или же — что бывало нередко — карандаш цензора или полицейский участок. Зато спустя столетие его интеллектуальное величие уже не подвергается серьезным сомнениям. Более того, его идеи представляются важными даже тем, кто отвергает его выводы и практическую деятельность его последователей.

Есть три возможные причины, объясняющие эту его замечательную особенность. Несомненно, марксизм постоянно подвергался нападкам, потому что в годы, непосредственно следовавшие за смертью Маркса, его учение постоянно отождествлялось, как с той, так и с другой стороны — причем, как правило, в обширных районах мира, — с мощными политическими движениями, представлявшими угрозу для статус-кво, а после 1917 года — с государственными режимами, считавшимися опасным подрывным элементом всего международного порядка. Марксизм никогда не переставал быть представителем внушавших страх политических сил. К тому же он постоянно оставался — по крайней мере в теории — интернациональным, внушая, таким образом, своим критикам ужас и мысль о потенциально универсальном заблуждении. В этом плане марксизм отличается от учений, которые отождествляются с особыми нациями или расами и посему с трудом привлекают на свою сторону другие народы или расы. Отличается он также и от иных теоретически универсальных учений, на практике, однако, ограниченных рамками отдельного региона, как, например, православное христианство или шиитский ислам.

Кроме того, марксизм всегда являлся революционной критикой статус-кво и, обладая серьезным интеллектуальным аппаратом, весьма скоро осознал себя в качестве революционной критики, имеющей гораздо более широкое и важное значение. Ведь практически все противники существующего положения вещей, желая заменить его «новым», лучшим обществом, и даже те, кто хотел бы возврата к «старому», идеализированному обществу, описывают сегодня свои чаяния с помощью термина «социализм». Но марксистский анализ в теории социализма, или того, что выдается за таковую, сформулирован таким образом, что неизбежно любая критика социализма предполагает критику Маркса. Через год после смерти Маркса хорошо информированный автор обзора «со-

временного социализма»³, хотя и подчеркивал слабую распространенность домарксистских «утопических» или «мутуалистских» школ, тем не менее посвятил Карлу Марксу всего лишь одну из девяти глав монографии. Сегодня же скорее всего подобная дискуссия⁴ приняла бы во внимание все варианты социалистических учений главным образом в их связи с марксизмом, который, по молчаливому согласию, считается теперь центральной традицией социализма.

Аналогичным образом всякий, желающий критиковать существующее общество, настолько же увлекается теорией, господствующей в подобной критике, насколько те, кто желает защищать это общество, или те, кто скептически относится к намерениям революционеров, склонны к нападкам на Маркса. Иначе обстоит дело только при тех режимах, где марксистское учение отождествлено с официальной идеологией статус-кво. Тем не менее государства с марксистским режимом в современном мире являются меньшинством, во всяком случае, если исключить СССР, все государства такого рода существуют на свете не более 30—40 лет, и элемент критики общества, присутствующий в первом или первых поколениях после революции, по-прежнему сохраняет определенное значение, хотя, по всей вероятности, и в постоянно убывающей степени.

Есть, однако, и третья причина, объясняющая центральное положение марксизма и дискуссий о марксизме в интеллектуальном мире последних десятилетий XX века, — это его необычайная способность привлекать к себе внимание интеллектуалов высокого уровня. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что интеллектуалов всегда в массовом порядке привлекал марксизм (хотя подобное иногда и случалось) или что такое тяготение к марксизму среди интеллектуалов носит постоянный характер. Напротив, бывали времена, страны, сферы интеллектуального труда, которые в значительной мере были невосприимчивы к марксизму или же отвергали его. Тем не менее в теоретическом плане марксизм по сравнению со всеми другими идеологиями, связанными с современными социальными движениями, вызывал гораздо больший интерес, открывая самые широкие возможности не только для осуществления намерений и политической деятельности, но также для дискуссий и разработок в сфере идей. В этой связи особенно заметна совокупность дискуссий и концептуальных разработок, предпринятых людьми с высокими интеллектуальными способностями, которые они оказались в состоянии применить благодаря марксизму. В данной «Истории марксизма» отражена только их некоторая часть. И не случаен и

³ J. Rae. Contemporary Socialism. London, 1884

⁴ См., например: D. Bell. Socialism. — In: International Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1968.

отнюдь не свидетельствует о некоей интеллектуальной моде тот факт, что число отсылок под статьями «Маркс» и «марксизм» в примечаниях ко «Всемирной энциклопедии социальных наук» (International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968) было намного больше, чем под статьями о каких-либо иных мыслителях, не говоря уже о дополнительных ссылках в статье «ленинизм». И в академическом плане подлинный культурный потенциал Маркса также был и остается по-прежнему огромным.

2. Десталинизация, «третий мир» и 1968 год

Авторы данной «Истории марксизма» не ставят задачи дать хронологический обзор развития марксизма в период с середины 50-х годов до настоящего времени. Однако прежде чем принять во внимание долгосрочные факторы, характеризующие марксистскую дискуссию на протяжении этой последней четверти века, было бы небесполезно бросить беглый взгляд на события краткосрочного характера, которые в это время играли решающую роль. Три группы событий были в этот период событиями первостепенного значения: те, которые связаны с развитием СССР и других социалистических стран начиная с 1956 года; те, которые относятся к проблемам уже в 50-е годы, получившим название (пусть и двусмысленное) проблем «третьего мира», и в частности Латинской Америки; и наконец, проблемы, связанные с впечатляющим и неожиданным взрывом политического радикализма в странах промышленно развитого капитализма в конце 60-х годов, основные предпосылки которого следует искать в студенческих движениях. Мы, конечно, не собираемся здесь сопоставлять эти различные события; мы рассмотрим их только в их возможной связи с ходом марксистской дискуссии. С точки зрения их подлинного политического — прямого или опосредованного — значения они обладают весьма неравнозначной ценностью и, кроме того, не могут быть четко отграничены одно от другого, особенно после 1960 года.

События, связанные с развитием стран социализма, в свете задач настоящего издания могут быть рассмотрены с различных точек зрения. Прежде всего они оказали влияние на развитие марксизма благодаря десталинизации в СССР и других государствах Восточной Европы. Десталинизация в свою очередь имела и теоретический, и практический результат. С одной стороны, она привела к признанию того, что нынешняя организация этих обществ и их функционирование (и не в последнюю очередь их экономики) испытывают нужду в реформах, — признанию, которое особенно остро ощущалось в годы, последовавшие за XX съездом КПСС

вплоть до конца 60-х годов. С другой стороны, она вызвала теоретическое осмысление происходящего с целью достижения конкретных практических результатов в ходе реформы и привела также к определенной «оттепели» в сфере духовной жизни, позволившей, а порой и стимулировавшей, постановку вопросов, обсудить которые было совершенно невозможно в эпоху сталинизма. Можно также добавить к сказанному, что новая международная обстановка, сложившаяся для СССР и Китая (и в меньшей мере для других социалистических государств) в плане их отношений как с капиталистическим миром и «третьим миром», так и с другими компонентами международного коммунистического движения, вызвала необходимость пересмотра привычного мышления.

Во-вторых, эта же группа событий оказала воздействие на марксизм в связи с крахом единого международного коммунистического движения, движения монолитного и моноцентрического, в котором господствующее положение занимала «партия-вождь», то есть Коммунистическая партия Советского Союза. Это монолитное единство, уже ослабленное в связи с отколом от него в 1948 году Югославии, практически перестало существовать около 1960 года в связи с разрывом между Китаем и СССР. Все коммунистические партии, и, следовательно, марксистская дискуссия внутри них, были — хотя и в разной мере — затронуты этим крахом, или, точнее говоря, признанием де-юре или де-факто того, что отныне стало возможным, а иной раз и желательным многообразие национальных путей к социализму или же путей развития самого социализма. Кроме того, даже у тех, кто все еще страстно желал сохранения одной-единственной международной ортодоксии в области теории, наличие соперничающих друг с другом ортодоксий вызывало острые проблемы признания.

В-третьих, развитие социалистических стран взаимосвязано с развитием марксизма через политические, иногда носившие драматический характер, события внутри социалистического мира, касающиеся ряда государств советской сферы влияния и Китая: первая реакция в Восточной Европе в 1956 году на XX съезд (Польша, Венгрия); кризис конца 60-х годов, самый тяжелый из которых — «пражская весна» 1968 года; ряд катастрофических событий в Польше в период между 1968 и 1981 годами (и после); политические потрясения в Китае в конце 50-х годов, в середине 60-х годов («культурная революция») и после смерти Мао.

Наконец, рост непосредственной связи социалистической сферы с остальным миром (на первых порах хотя бы благодаря журналистике, туризму, культурному обмену и оформлению значительных центров эмиграции из социалистических стран) также повлиял на развитие марксизма, увеличив ко-

личество информации о социалистических странах, доступной западным марксистам и все труднее поддающейся контролю. Если эти страны могли быть приняты в качестве образца (иногда чуть ли не в утопическом духе) для устремлений революционеров на Западе, то это в значительной мере произошло именно потому, что западные революционеры мало знали об этих странах, а порой и не были в состоянии узнать ничего большего. Им были известны программные намерения и декларируемые достижения, а также, естественно, историческое значение происшедших там революций, но гораздо более скудными были их познания относительно сложности их прошлой и настоящей истории. Порой могло даже показаться, что они и не придавали этому особого значения: идеализация «культурной революции» в Китае многими западными революционерами имела такое же отношение к этой стране, как «Персидские письма» Монтескьё к реальной Персии или представления XVIII столетия о «добром дикаре» к реальной жизни на Таити. Во всех этих случаях использовался предпологаемый опыт удаленной от социальной критики, находящейся в другой части мира страны. Несомненно, почитатели «культурной революции» в какой-то момент действительно верили, что Китай времен Мао соответствует тому идеальному образу, который они пропагандировали, однако этот образ не был основан на подлинном знании или на каких-либо доказательствах, способных убедить наблюдателей, не расположенных уверовать в «культурную революцию». К тому же удаленность этих стран, чрезвычайно плохое знание их языка и намеренная самоизоляция их режимов приводили к тому, что национальная реальность этих стран становилась еще менее доступной. Но с развитием связей и информации тенденция искать утопию под каким-либо уже воздетым красным знаменем значительно ослабла. Начиная с 1956 года открывается период, когда большая часть марксистов была вынуждена прийти к выводу, что существующие социалистические режимы — от СССР до Кубы и Вьетнама — далеки от того, что хотелось бы видеть в качестве социалистического общества или общества, идущего по пути строительства социализма. Большинство марксистов были вынуждены вернуться к позициям, которые социалисты занимали повсеместно еще до 1917 года. Вновь им пришлось сформулировать концепцию социализма как необходимого решения проблем, создаваемых капиталистическим обществом, как надежды на будущее и как идеи, которой весьма мало соответствует практический опыт. Это, однако, отнюдь не обязательно сопровождалось недооценкой значительных результатов (во многих планах положительных) предпринятых до сего времени попыток построить социализм, несмотря на значительные трудности и в странах, которые ни Маркс, ни Ленин до 1917 го-

да не считали особенно благоприятной почвой для развития социализма. С другой стороны, были и такие, кто подвергся соблазну отвергнуть этот опыт как исторический провал или отрицал, что он или являлся, или может явиться чем-то таким, что заслуживало бы названия социализма.

В то же время массовая эмиграция «диссидентов» из социалистических стран усиливала былое искушение отождествлять Маркса и марксизм исключительно с подобными режимами, и в особенности с СССР. Подобное отождествление в свое время использовали те, кто отлучал от марксистского сообщества всякого, не поддерживавшего некритически и безоговорочно все, что исходило из Москвы. Теперь же к такому отождествлению прибегли желающие отвергнуть всего Маркса, утверждая, будто единственный путь, который начинается с «Коммунистического Манифеста» и который только и может вытекать оттуда, — это путь, ведущий в «гулаг» сталинской России или к его аналогам в иных государствах, управляемых последователями Маркса. Такая реакция разочарованных коммунистов, взиравших теперь на «поверженное божество», была в психологическом плане понятна, и тем более она понятна, когда речь идет о диссидентствующих интеллектуалах, проживавших в социалистических странах и переехавших оттуда на Запад, ибо их отказ от всего, что так или иначе связано с официальным режимом, являлся всеобъемлющим, включая сюда и мыслителя, на положение которого этот режим ссылался. В очерке Витторно Страды мы находим подтверждение подобной позиции. По мере того как отказ от Маркса, вызываемый его отождествлением с СССР, становился все более распространенным в постсталинский период среди тех, кто оставил свою прошлую коммунистическую веру, этот отказ превращался в полноправный элемент истории марксизма. Конечно, можно было бы заметить, что в интеллектуальном плане этот вывод аналогичен более или менее тезису, согласно которому вся история христианства должна логически и неизбежно привести к папскому абсолютизму, или же таким представлениям, по которым всякий дарвинизм должен привести к прославлению свободной капиталистической конкуренции.

Совокупность событий в странах «третьего мира» касалась развития марксизма главным образом по двум направлениям. Во-первых, эти события привлекли внимание к освободительной борьбе народов Азии, Африки и Латинской Америки, а также к тому факту, что многие подобные движения и некоторые новые режимы, возникавшие в результате деколонизации, испытывают тяготение к марксистским лозунгам и к государственным структурам и стратегии, отождествляемым (по крайней мере по их мнению) с марксизмом. Подоб-

ные движения и режимы в своем усилии выйти из отсталости нашли источник вдохновения в опыте социалистических стран. И это довольно естественно, если вспомнить, что подавляющее большинство режимов с коммунистическим контролем, возникших после 1917 года, утвердило себя в отсталых странах. Число движений и режимов в «третьем мире», заявлявших (хотя бы время от времени) о том, что они избрали в качестве своей цели социализм (нередко сопровождаемый определениями «африканский», «исламский» и т. д.), оказалось значительным. Если у подобных социализмов и был какой-нибудь образец, то он восходил к режимам, руководимым марксистами. Вряд ли есть необходимость добавлять, что количество марксистских сочинений в прежде колониальных или полуколониальных странах колоссально возросло. В некоторых регионах, например, в определенных частях Африки (прежде они не могли похвастаться практически ни одним марксистским сочинением), теперь начали писать такие сочинения. Иные страны гарантировали приют, хотя бы на некоторое время, марксистам, которым было запрещено преподавать и публиковаться на их родине.

В течение десятилетий всеобщего великого бума капитализма все больше казалось, что социальные революции могут происходить прежде всего в мире зависимых и «слаборазвитых» стран. Отсюда второй пункт, который необходимо подчеркнуть, а именно тот, что благодаря опыту стран «третьего мира» внимание марксистов сосредоточилось на отношениях между господствующими странами и странами развивающимися, на специфическом характере и на проблемах возможного перехода к социализму в этих регионах, а также на социальных и культурных особенностях, которые могли бы отличать их будущее развитие. Данные проблемы вызвали вопросы, относящиеся не только к конкретной политической стратегии, но также и к марксистской теории. Более того, взгляды марксистов как в качестве профессиональных политиков, так и (хотелось бы сказать «следовательно») в качестве теоретиков, значительным образом расходились.

Показательный пример взаимодействия между опытом стран «третьего мира» и марксистской теорией можно найти в области историографии и привести его для иллюстрации. Природа перехода от феодализма к капитализму давно уже вызывала беспокойство у марксистских исследователей, включая также марксистских политиков, ибо эта проблема, по крайней мере в России, поставила на повестку дня вопросы, имеющие актуальное значение. Для России «феодализм» был недавним явлением, царский «абсолютизм», классовая природа которого была предметом дискуссии, был свергнут также недавно, поэтому сторонников различных интерпретаций этого вопроса (как, например, М. Н. Покровского)

их оппоненты отождествляли, справедливо или ошибочно, с политической оппозицией или с теми теориями, которые эту оппозицию вдохновляли. В Японии также эта проблема стала предметом политических суждений. Однако, не вдаваясь в анализ подобных дискуссий, напомним только амбициозную попытку Мориса Добба дать систематическое исследование проблемы в скромно названной монографии «Исследования развития капитализма» (1946), вызвавшей оживленную международную дискуссию, особенно в 50-е годы⁵.

Обсуждению подверглось тогда немало вопросов. Существует ли фундаментальное внутреннее противоречие феодализма («общая закономерность»), способное вызвать сначала распад, а в конце концов и замену его капитализмом? И если такая «закономерность» существует (причем большая часть ортодоксальных марксистов верила в ее существование), то в чем она заключается? Если же такой «закономерности» нет и феодализм, таким образом, можно интерпретировать как стабильную и самостабилизирующую систему, то как объяснить тогда его ликвидацию под воздействием капитализма? Если же подобный механизм распада все-таки существует, то действует ли он во всех феодальных системах (и в данном случае можно было объяснить неспособность капитализма развиваться вне рамок европейских условий) или только в специфическом районе и тогда остается лишь проанализировать особенности этого района, отличающие его от остального мира?

Основное содержание критики, выдвинутой против Добба Полем М. Суизи и спровоцировавшей начало дискуссии⁶, сводилось к тому, что Суизи заявил о своей неудовлетворенности попытками объяснять распад феодализма действиями механизмов, коренящихся в сфере фундаментальных «производственных отношений» феодальной системы, то есть отношений между сеньорами и крепостными. Он, напротив, предпочитал бы поставить акцент (или, скажем, восстановить его, ибо и ранее было весьма много марксистов и немарксистов, утверждавших подобное) на роли торговли в размывании и трансформировании феодальной экономики. «Развитие торговли является решающим фактором, приводящим к упадку феодализма в Западной Европе»⁷. Не стоит проследивать сейчас мнения участников дискуссии, исследовавших марксистские тексты; заметим только, что большая часть марксистов, не отрицая явного значения торговли, последовала за Доб-

⁵ M. Dobb. *Studies in the Development of Capitalism*. London, 1946 (trad. it. *Problemi di storia del capitalismo*. Roma, 1971).

⁶ Ср.: "The Transition from Feudalism to Capitalism". Pref. R. Hilton, London, 1976² (trad. it. a cura di G. Bolaffi. Roma, 1977).

⁷ *Ibid.*, p. 41 nota.

бом, предпочтя фундаментальное объяснение на основе производственных отношений ссылок на «сферу обмена»⁸.

Эта дискуссия, то затухая, то снова разгораясь, продолжаясь вплоть до начала 60-х годов, стала менее напряженной. Однако в 60-е годы вопрос об историческом гегемонизме современной капиталистической экономики иногда снова вставал на повестку дня совершенно, правда, иным образом, хотя и могло показаться, что это всего лишь продолжение аргументации Суизи, тем более, что инициатором выступил журнал Суизи «Мансли ревью». Новый тезис был выдвинут в полемическом духе А. Гундером Франком⁹, а затем в более разработанном виде и исторически документированно И. Валлерстейном и другими¹⁰. Валлерстейн начал свою академическую карьеру в качестве политолога, специалиста по современной Африке, и подошел к историческим исследованиям, имея за плечами этот опыт работы. Три основных предположения составили ядро его интерпретации проблемы. Первое: капитализм, по сути, можно отождествлять с рыночными отношениями, а в общем масштабе с развитием «всемирной системы», состоящей из мирового рынка, где некое число стран развитого «центра» навязывает свое господство «периферии» и ее эксплуатирует. Второе: конституирование этого «мирового рынка», начало которого можно отнести к первому этапу колониальных захватов XVI столетия, привело к созданию преимущественно капиталистического мира, который следует анализировать, используя терминологию капиталистической экономики. Третье: развитие стран капиталистической «метрополии» посредством господства над другими и их эксплуатации привело одновременно к развитию «центра» и «недоразвитости» «третьего мира», то есть к возрастающему расхождению между ними и, в условиях ничем не сдерживаемого капитализма, к разделению мира на два арсала.

Здесь не представляется необходимым входить в суть международной дискуссии по поводу этих предположений и, говоря вообще, по теме исторического развития капитализма, вызванной этими выступлениями и принявшей чрезвычайно оживленный характер¹¹. Не стоит также оценивать каждый отдельный вклад в эту дискуссию. Достаточно напомнить, что интерес к этим историческим проблемам чрезвычайно бурно проявился в 70-е годы. Об этом свидетельствует обширная библиография, в которую входит множество работ, имеющих

⁸ Ibid., p. 61.

⁹ "Capitalismo e sottosviluppo in America Latina (1967)". Torino, 1969.

¹⁰ I. Wallerstein. Il sistema mondiale dell'economia moderna (1972). Bologna, 1978.

¹¹ Об этих позициях см. очерк С. Амина в настоящем томе. Что касается Латинской Америки, см. анализ развернувшейся там дискуссии здесь же в очерке Дж. К. Портантьеро.

большое значение. Очевидно при этом, что отправной точкой в них служат проблемы «третьего мира». Однако менее очевидно, что на первых порах в этих работах нашли отражение политические дискуссии, происходившие в этой части мира среди левых, в частности в Латинской Америке, в 50-е и 60-е годы.

Темой, вызвавшей разногласия среди левых на этом континенте, был вопрос о природе главного внутреннего врага революционеров. Не вызывало сомнения, что главным врагом в международном масштабе является «империализм», отождествляемый прежде всего с Соединенными Штатами. Но против кого во внутренней сфере должно быть направлено острие главной атаки: против земельных собственников, господствующих на значительных территориях с отсталым хозяйством, или же против сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на экспорте на мировой рынок в обмен на готовые изделия промышленного мира, а может быть, против местной буржуазии? И группы местной буржуазии, заинтересованной в индустриализации, которая заменила бы импорт поддержкой государства, и ортодоксальные коммунистические партии утверждали, что основная задача народов Латинской Америки состоит в том, чтобы разрушить систему аграриев и латифундий (которые к тому же нередко непосредственно отождествлялись с «феодализмом» или его пережитками). Для «национальной буржуазии» (а на континенте, где полно интеллектуалов-марксистов, были даже бизнесмены, принимавшие подобное определение) это означало ликвидацию основного политического препятствия на пути индустриализации, а также основного экономического препятствия при формировании широких национальных рынков для своей промышленности; но на практике выталкивание из современной экономики крестьянских масс делало их еще более бедными и маргинальными. Для ортодоксальных коммунистов это означало, напротив, создание общего национального фронта против американского империализма и местной «олигархии». Из этого следовало, что борьба за непосредственное социалистическое преобразование этих стран не стоит на повестке дня (как, впрочем, это и было на самом деле) и что коммунистические партии будут воздерживаться в большинстве случаев от наиболее крайних форм — восстания и вооруженной борьбы. В глазах же крайне левых политика коммунистов означала предательство классовой борьбы. Латинская Америка, утверждали они, не является регионом с феодальной экономикой и даже совокупностью «дуалистических» хозяйств; это регион с полностью капиталистической экономикой. Главный враг, следовательно, буржуазия, которая весьма далека от того, чтобы иметь интересы, противоположные интересам амери-

канского империализма, и она, по сути дела, отождествляется с ним и действует в качестве локального агента американского и международного монополистического капитала. Более того, продолжали они, существуют объективные условия для победоносной революции, непосредственной задачей которой является социализм, а не нынешний эквивалент «буржуазно-демократической фазы». Разногласия среди левых приобрели еще более драматический оттенок в связи с почти что одновременно происшедшим разрывом между СССР и Китаем — причем последний, как могло показаться, разрабатывал теорию крестьянской революции, призванной окружить и завоевать город, — а также с победой Кастро на Кубе.

Повторим еще раз, что здесь не место давать оценку аргументации, приводимой двумя сторонами конфликта. Достаточно подчеркнуть, что эта аргументация спроецирована в глубь истории. Если испанские и португальские колонии всегда были существенной частью капиталистической экономики начиная с XVI века, то преобразование «феодалных» и отсталых стран в процветающие буржуазно-капиталистические государства всегда было только игрой ума. Если «препятствия на пути развития», которые с таким рвением анализировались в 50-е и 60-е годы, заключались не в феодальных пережитках или каких-либо иных внутренних причинах, а просто-напросто были вызваны зависимостью колониальных и неколониальных стран от международного капиталистического центра — виновника их слабого развития, то и конфликт между аграриями и промышленниками терял свое значение и не мог определять условия для ликвидации отсталости, то есть именно то, что могла бы сделать одна только социальная революция и социализм.

Политика текущего момента вызывала необходимость повторной исторической интерпретации вопроса. Это тем не менее не означает, что последовавшая в этой связи дискуссия представляла собой всего лишь попытку рационализировать актуальные политические решения. Дело обстояло не так. Во всяком случае, очевидно, что эта историографическая дискуссия вышла далеко за пределы Латинской Америки, вовлекая марксистов, которым или ничего не было известно о внутренних расхождениях латиноамериканских левых, или же у которых не было особого мнения по существу обсуждавшихся в ходе дискуссии вопросов.

Конечно, природа отношений между индустриализованными регионами и остальной частью мира касается не только вопросов истории. С одной стороны, были подняты проблемы, которые прежде обсуждались под общей рубрикой «империализм», хотя и в исторически новом контексте. С

другой — была поставлена проблема дефиниции или новой дефиниции двух частей мира. Мы не станем сейчас останавливаться на марксистской литературе по этой тематике, открываемой периодом деколонизации. Заметим всего лишь, что исчезновение на практике колоний — в формальном смысле этого термина (то есть районов, находящихся под прямым управлением другой державы и, таким образом, лишенных возможности принимать автономные и суверенные политические решения) — поставило под сомнение необходимость связывать империализм с «колониализмом». Стало очевидным, по крайней мере почти для всех марксистов, что вряд ли политическая деколонизация сама по себе изменит экономические отношения между слабо развитыми ареалами и метрополиями, хотя она и в состоянии повлиять на специфическую позицию страны, которая прежде осуществляла прямое колониальное господство. Изобретение термина «неоколониализм», призванного характеризовать новые отношения, мало что меняло в целях марксистского анализа, коль скоро существование регионов, которые, несмотря на формальный суверенитет, фактически входили в империалистическую экономику, и регионов, которые, хотя и были номинально независимыми, по-прежнему были политически и военным образом привязаны к державе, действовавшей в качестве «советника», уже давно было признано путем использования таких терминов, как «полуколониализм». С другой стороны, появление выражений типа «третий мир» указывало на более широкий пересмотр привычной классификации.

В марксистской теории нет никакого предшественника концепции «третьего мира», и сколько бы марксисты ни старались наряду с другими использовать этот расплывчатый, хотя и удобный термин, он не имеет никакой четкой связи с марксистским анализом. Это выражение стали употреблять прежде всего, чтобы отличать отсталые страны или те, которые, во всяком случае, не встали на путь явной индустриализации, от тех, которые уже прошли через индустриализацию либо осуществляют ее в условиях капитализма («первый мир»), равно как и от недавно расширившегося социалистического сектора («второй мир»). Таким образом, была проведена черта, определяющая фундаментальное различие между двумя экономическими системами, или по меньшей мере между группами стран, правительства которых намеревались реализовать идеал той или иной из двух систем. Политический раздел мира, с одной стороны, между Соединенными Штатами и Советским Союзом с соответствующими союзниками и, с другой — начиная с 1960 года между Советским Союзом и Китаем только подчеркнул этот факт. Ибо, с одной стороны, Китай считал се-

бя знаменосцем революционного «третьего мира», противостоящего советскому блоку, а, с другой — этот новый термин как бы накладывался на концепцию «неприсоединившихся стран», отказывавшихся связать себя будь то с военно-политическим лагерем Соединенных Штатов или же с Советским Союзом. Как можно было предвидеть, значительное большинство этих стран было расположено в Азии, Африке и (по крайней мере потенциально) в Карибском бассейне и Латинской Америке. Тем не менее это выражение, несмотря на всю свою нечеткость, на протяжении одного-двух десятилетий, пожалуй, представляло собой некую реальность. Речь идет о государствах, которые независимо от режима правления были скорее бедными, чем богатыми, технологически отсталыми и отнюдь не вставшими решительно на путь создания процветающей промышленной экономики. Наличие других синонимов для указания на это различие — «развитый» и «слаборазвитый», «Север» и «Юг» и пр. — указывает лишь на тот факт, что данная ситуация была признана повсеместно.

Нередко марксистам не удавалось устоять перед соблазном использовать концепцию «третьего мира», несмотря на тот факт, что ее нелегко было приспособить к классическому марксистскому анализу и что всегда представлялось несколько нереалистично помещать, скажем, Аргентину или даже Чили в ту же группу, что и Бирму и Нигер. Многие марксисты внесли свой вклад в обширную литературу, которая ставила себе задачей объяснить природу «третьего мира» и осудить силы, сделавшие его бедным и зависимым. Это было вызвано как тем, что термин, казалось, можно приспособить к изменившейся модели империалистической эксплуатации колониального или неocolониального мира — бедного и, по существу, неиндустриального из-за самой природы деятельности капитализма, — так и тем, что перспективы социальной революции, представлявшиеся все более и более отдаленными в странах развитого капитализма, казались, сохраняются только в Азии, Африке и Латинской Америке. В этом смысле различие между «вторым» и «третьим миром» было, так сказать, хронологическим. Китайская революция завершила ту фазу продвижения социализма, в результате которой число государств с марксистским правлением возросло с одного (или двух, если считать Монголию) до одиннадцати. Факт также и то, что многие из них (например, Албания и значительная часть Югославии) обладали (по меньшей мере на первых порах) многочисленными характерными чертами стран «третьего мира». Последующее увеличение числа этих государств произошло за счет неевропейских стран: Вьетнам (1954—1975), Куба (1959), бывшие португальские колонии в Африке, Эфиопия, Сомали,

Южный Йемен, Кампучия, Никарагуа (60-е и 70-е годы). Кроме того, государства, которые иногда с малым на то основанием, иногда в течение короткого периода заявляли о том, что они социалистические или стремятся стать таковыми (не обладая при этом марксистским руководством), также располагались в ареале «третьего мира». Все эти страны, марксистские или немарксистские, по-прежнему оставались нищими и отсталыми, равно как и (в случае марксистских государств) сталкивались с активной враждебностью Соединенных Штатов и их союзников. Под этим углом зрения различия в политических системах и планах на будущее между странами «третьего мира» выглядели менее значительными в свете той общей ситуации, в которой они оказались.

В течение 60-х и 70-х годов концепция «третьего мира», слабо развитого, единого и всеобъемлющего, становилась все менее состоятельной. И не столько оттого, что многие входящие в этот регион страны, особенно производители нефти, оказались вдруг обладателями значительных богатств (хотя бы в плане комплексных параметров, несмотря на то что их население так и не смогло воспользоваться соответствующими благами), сколько потому, что некоторые из них начали совершенно явно сокращать разрыв, существующий между слабо развитыми и развитыми в промышленном отношении странами. Вряд ли теперь имеет смысл рассматривать Бразилию, Южную Корею и Сингапур, используя те же критерии, что и, скажем, при анализе Бангладеш, Мали или Сейшельских островов. Это развитие, которое марксисты начали анализировать в 70-е годы, потребовало значительного переосмысления утвердившихся в марксистском анализе шаблонов, причем не только при изучении стран «третьего мира», но и вообще тенденции развития капиталистической экономики в мировом масштабе, преобразований внутри его собственной структуры и международного разделения труда. Некоторые аспекты подобного пересмотра будут проанализированы далее. В то же время надежды на революции в странах «третьего мира» представляются теперь менее лучезарными. Движения социалистических левых в Латинской Америке, будь то повстанческого характера или нет, завершались трагическими провалами, которые не могли быть компенсированы свержением тирании в какой-нибудь крохотной стране Центральной Америки или возможной победой в столь же небольших по величине странах. В Азии индокитайская революция оказалась в изоляции. В исламском ареале победой завершилась революция, которую изо всех сил поддерживали марксисты других регионов, однако, хотя Алжир и завоевал свою независимость, а правительства Египта и стран «Благодатного полумесяца»,

казалось, ярко воплощали радикальное народничество, которому могли симпатизировать левые, политические прогнозы для этой взрывоопасной зоны вряд ли могли породить какие-либо большие надежды среди марксистов. Результаты и перспективы представлялись более обнадеживающими в Африке южнее Сахары, но большая часть революционных побед, одержанных на этом континенте, может рассматриваться как эффект индукции или итог затянувшегося сопротивления политической деколонизации или, как в случае Эфиопии, крушения устаревшей феодальной монархии. То в одном, то в другом месте может еще возникнуть какая-нибудь африканская республика, провозглашающая себя народной и строящей социализм, но маловероятно, чтобы марксисты остального мира возлагали большие надежды на подобную смену вывески. Короче говоря, с наступлением 80-х годов перспективы значительного расширения социалистического мира посредством преобразований в странах «третьего мира» и соответствующего ослабления международного капитализма уменьшились.

Тем не менее в течение всего периода существования концепции «третьего мира» марксистская мысль испытывала на себе ее значительное воздействие. Поскольку движения в этом регионе, судя по всему, не опираются на рабочий класс (который едва лишь начал там зарождаться, да и то в ряде случаев сам этот процесс находится под вопросом), марксисты обратили внимание на революционный потенциал и провели в связи с этим соответствующий анализ других общественных классов, особенно крестьянства. Значительный пласт марксистской и немарксистской теории был посвящен аграрному и крестьянскому вопросам в период с начала 60-х годов. Марксистская литература в этой области, стимулом для которой служили также осмысление опыта социалистических стран и вновь открытый теоретик крестьянского социализма в России Чаынов, впечатляюще широка¹². Интерес к «третьему миру», судя по всему, во многом способствовал сильному развитию марксистской социальной антропологии, которое отмечено в этот период, особенно во Франции, благодаря работам таких ученых, как Годелье и Мейассу.

Наконец, радикальная волна конца 60-х годов также затронула марксизм по двум основным аспектам. Прежде все-

¹² Это документально обосновано в ряде новых периодических изданий, как, например, в (немарксистском) «Journal of Peasant Studies». Среди заслуживающих внимания авторов можно упомянуть Эрика Вольфа, Теодора Шанина и Хамзу Алави. Что же касается вновь открытого Чаынова (отчасти марксиста), см.: *D. Thorner. Peasant Economy as a Category in Economic History*. Hague, 1965, p. 287. См. также книгу: *Sajanov. Viaggio di mio fratello Aleksej nel paese dell'utopia contadina*. A cura di V. Strada. Torino, 1979.

го, чрезвычайно расширился круг авторов, читателей и потребителей марксистских сочинений и тем самым в абсолютном выражении увеличился объем марксистских дискуссий и теории. Во-вторых, размах этой волны был настолько широк (по меньшей мере в некоторых странах), возникновение столь неожиданным, а характер настолько беспрецедентным, что казалось необходимым широко переосмыслить многое из того, что большая часть марксистов в течение долгого времени считала раз и навсегда установленным. Волна эта, подобно революции 1848 года, обладала в глазах тех, кто занимается историей, определенными общими с ней чертами: она возникла и исчезла с такой же значительной скоростью и, подобно революции 1848 года, имела гораздо больше последствий, чем казалось на первый взгляд.

Радикальная волна имела немало и своих особенностей: началась она как движение молодых интеллигентов или, говоря точнее, студенчества, ряды которого значительно увеличились в течение 60-х годов почти во всех странах мира. Вообще эта волна представляла собой движение молодых людей — выходцев из средних слоев; в некоторых странах эта волна охватила только студентов или тех, кто мог стать студентами, тогда как в других, особенно во Франции и Италии, она стала искрой для развертывания движений рабочего класса такого масштаба, какого эти страны не знали на протяжении многих лет. Это движение носило самый широкий международный характер: оно пересекало демаркационные линии между развитыми и зависимыми государствами, капиталистическим и социалистическим обществом. 1968 год — это веха в истории Югославии, Польши и Чехословакии, равно как и Мексики, Франции и Соединенных Штатов. Тем не менее оно привлекало к себе внимание прежде всего потому, что развилось в странах, составлявших часть основного ядра развитого капиталистического общества, переживавшего апогей экономического процветания, но также и потому, что его столкновение с политической системой и институтами многих стран, где оно проявилось, при всей своей кратковременности приняло чрезвычайно драматический характер.

Что касается марксизма, то 1968 год привел к появлению «новых левых», которые независимо от своего желания отождествляли себя с именем Маркса или какой-либо иной фигуры из марксистского пантеона, устремили свой взор далеко за пределы традиционного марксизма. Таким образом, наблюдалось второе рождение анархистских тенденций как в виде самосознающего¹³ феномена, так и камуфлирующих-

¹³ D. Cohn Bendit. *L'estremismo. rimedio alla malattia senile del comunismo* (1968). Torino, 1969.

ся какой-нибудь марксистской этикеткой (как большая часть западного «маоизма»), или же в виде аполитичного или антиполитического культурного недовольства. Наблюдалось также появление политических групп, чей энтузиазм при декларировании их связи с Марксом отнюдь не затушевал того факта, что они следуют стратегической и политической линии, которую марксистские революционеры традиционно отвергали или рассматривали с крайней подозрительностью; «фракция Красная армия» или «красные бригады» складывались по образцу народнического терроризма в России в гораздо большей мере, чем в соответствии с идеями Ленина, тогда как движения национального сепаратизма в Западной Европе, нередко имеющие исторически правое или даже крайне правое происхождение, смогли пользоваться марксистской революционной терминологией, причем иногда совершенно искренне. Одним из следствий такого развития стало в 70-е годы шумное возобновление марксистской дискуссии по вопросу, который обычно принято именовать национальным¹⁴. Естественно, возникновение «новых левых» ни в коем случае нельзя считать следствием исключительно событий конца 60-х годов. Хотя традиционный анархизм практически перестал существовать в результате поражения Испанской республики в 1939 году — этого анархизма в мае 1968 года в Париже уже не было, — различные авторы и марксистские исследователи неортодоксального направления все-таки выжили, несмотря на период господства ортодоксального коммунизма (Исаак Дойчер, Поль Маттик, Корнелиус Касториadis, Ч. Л. Р. Джеймс), и обрели новых последователей среди левых после 1956 года. Между тем организованные группы марксистских еретиков левого направления по сравнению с ортодоксальным марксизмом никогда вообще не переставали (пусть даже в самом скромном масштабе) предавать друг друга анафеме или раскалываться на еще более мелкие и взаимно враждебные группы. Во многих странах распри, проявившиеся в ортодоксальном коммунистическом движении после 1956 года, придали этим группам (особенно троцкистам) новую силу как потому, что к ним примкнули разочарованные коммунисты, так и потому, что коммунистические партии не располагали более тем, что на практике представляло собой их монополию на привлечение к себе людей, склонных принять революционную перспективу. В этом смысле «новые левые» после 60-х годов

¹⁴ Среди недавних работ особый интерес представляют: *M. Hroch. Die Vorkämpfer d. nationalen Bewegung bei d. kleinsten Völkern Europas. Praha, 1968; G. Haupt, M. Lowy, C. Weill. Les marxistes et la question nationale 1848—1914; T. Nairn. The Breakup of Britain. London, 1977, прорецензированная мной в: "New Left Review", 1977, № 105.*

состояли отчасти из «старых» возродившихся левых. При этом не следует недооценивать и периодические приливы-отливы лиц, разочаровавшихся в той или иной группе после 1968 года, вошедших или вышедших из старых коммунистических партий, или же приток в них тех, кто радикализировался недавно. Кроме того, между 1956 годом и концом 60-х годов недовольство политикой коммунистических партий иногда, как, например, во Франции, сосредоточивалось в студенческих организациях и приводило к периодическим исключениям или расколам, поставляя дополнительно потенциальных активистов и руководителей «новых левых». Разрыв между СССР и Китаем создал благодаря «маоизму» новый полюс притяжения для диссидентствующих коммунистов и других активистов, находившихся на позициях революционных левых.

Хотя на первых порах маоизм рассматривался ими в качестве менее мирной и более активной революционной и повстанческой формы коммунизма, чем ортодоксальный коммунизм, то есть своего рода осовремененной формой троцкистской критики «предательства» мировой революции, содеянного Сталиным, «культурная революция» середины 60-х годов привела к появлению гораздо более радикальной критики большевизма — и ортодоксального, и троцкистского, да и вообще какого угодно — и выдвигению по отношению к нему собственной альтернативы. Границы марксистского анализа «старых левых» были значительно расширены, например, благодаря прямому и недвусмысленному указанию на спонтанную инициативу масс, однозначному пересмотру роли «партии», но особенно благодаря волюнтаризму самой концепции «культурной революции». «Маоизм», таким образом, явился своего рода мостом, соединившим старых марксистских левых с «новыми левыми».

В силу очевидных причин движение «новых левых» в социалистических странах приняло форму критического коммунизма и в этом смысле шло параллельно внутреннему развитию «старых левых» на Западе. Тенденции, отвергавшие коммунизм, конечно, не обнаруживали себя, хотя в период временного замешательства (как, например, в Венгрии и Польше в 1956 году) на короткий срок появлялись на поверхности. Те же, кто отвергал марксистский анализ в качестве официальной доктрины (их не следует смешивать с теми, кто пытался развивать, корректировать или пересматривать его), были вынуждены отвергать также и сам режим как таковой, со всеми его свершениями и, таким образом, не были намерены считать себя составной частью вообще каких бы то ни было левых. Скорее они были склонны к ориентации на капиталистический Запад или вытаскивали на свет альтернативные местные религиозные, националис-

тические или прочие традиции. Подобная ситуация оставалась без изменения вплоть до 80-х годов.

Однако и четвертая группа событий начала оказывать явное влияние на развитие марксизма. Речь идет об общем кризисе капиталистической и некапиталистической части мировой экономики, которым ознаменовалась большая часть 70-х годов и который все еще продолжается в год столетия со дня смерти Маркса. При нынешнем положении дел не представляется возможным оценить его долгосрочный эффект, но два замечания все-таки можно высказать в порядке гипотезы.

Во-первых, нынешняя ситуация привела к решительному возрождению марксистского анализа действительно существующей капиталистической экономики. Учитывая глубокие, неожиданные и непредусмотренные изменения в структуре и в перипетиях капитализма вообще после второй мировой войны, можно было бы ожидать, что марксисты своевременно перейдут к анализу и систематическому изучению этой новой фазы капитализма, подобно тому как они поступили, не теряя времени, когда возникла необходимость исследования «империалистического» этапа мировой экономики после 1900 года. Немарксистские исследователи провели этот анализ и пришли к выводу (правильному) о том, что новый этап капитализма по целому ряду существенных аспектов отличается от предшествующего, нередко считая при этом (ошибочно), что он теперь и не должен именоваться капитализмом. Марксисты же, напротив, проявили чрезвычайную медлительность, столкнувшись с новой реальностью в промышленной сфере мировой экономики, окрещенной такими немарксистами, как Дж. К. Гэлбрейт, соответствующими названиями, которые за неимением лучшего стали в конце концов употреблять и сами марксисты (например, выражение «общество благосостояния»). Большинство марксистов, анализируя развитую капиталистическую экономику, стремились показать, что в сущности капитализма, собственно говоря, ничего не изменилось, и объяснить, почему экономические последствия развития капитализма, которые они до сих пор предрекали (например, тяжелые кризисы капиталистической экономики и массовая безработица), не имеют места в действительности. Подобный способ трактовки материала ясно просматривается в первых серьезных попытках дать более общую картину нового этапа капитализма, например в работах Бэрана и Суизи (1966) и Майкла Кидрона (1968)¹⁵. При этом наблюдалась также четкая тенденция объяснять «доброе здравие» мирового капитализма главным

¹⁵ P. A. Baran, P. M. Sweezy. *Monopoly Capital*. New York, 1966 (trad. it. Torino, 1968); M. Kidron. *Western Capitalism since the War*. London, 1968.

образом особыми факторами, такими, как широкие затраты на вооружение; в меньшей степени проявлялись тенденция пренебрегать экономикой слаборазвитых стран и нежелание признать, что, какой бы ни была продолжающаяся эксплуатация этой экономики или «зависимость», пришедшая на смену тому, что прежде именовали совокупностью «колониальных и полуколониальных стран», структура этой зависимости требует уже серьезного переосмысления. Марксисты стали торопиться с опубликованием книг, озаглавленных «После империализма»¹⁶, хотя только немарксисты или бывшие марксисты стремились отнести весь капитализм к прошлому. Марксистская экономическая литература по проблематике «третьего мира» была, как мы видели, чрезвычайно обширной в течение 50-х и 60-х годов; отчасти это объясняется тем, что проблема экономической развитости и слаборазвитости находилась в центре многочисленнейших дискуссий среди экономистов, поскольку большое число стран только что были деколонизированы, а также в связи с носящими экономический характер опасениями Латинской Америки. Однако, по сути дела, непропорциональному интересу марксистов к «третьему миру» и их склонности к пересмотру традиционных марксистских теорий империализма способствовала нестабильность «третьего мира» и намечавшиеся там перспективы революционных изменений, которые марксисты считали обязательными. Подобные перспективы совершенно явно отсутствовали в развитом мире. Марксистский анализ нового этапа развития капиталистической экономики, казалось, в 50-е и 60-е годы не внушал марксистам больших надежд. Лишь тогда, когда весь этот развитый мир снова стал вступать в период общей нестабильности и кризиса, марксистский анализ развитого капитализма снова стал модным. Так случилось и с экономическим анализом капиталистического кризиса. Возрожденные тенденции к анализу послевоенного капитализма как нового специфического этапа капиталистического развития широко проявились на основе оживления не угасавшего среди марксистов интереса к «третьему миру» благодаря расширению анализа «многонациональных» монополий, которые в течение длительного времени считались одними из главных эксплуататоров зависимых стран¹⁷.

Второе замечание имеет более негативный характер. Пе-

¹⁶ M. Barrat Brown. *After Imperialism*. London, 1963.

¹⁷ См. об этом: F. Froebel, J. Heinrichs, O. Kreye. *Die neue internationale Arbeitsteilung*. Reinbek, 1974; *Multinationale Konzerne: Entwicklungstendenzen im kapitalistischen System* (hrsg. von O. Kreye). Berlin 1974; *Starnberger Studien 4; Strukturveränderungen in der kapitalistischen Weltwirtschaft*. Frankfurt, 1980; *Krisen in der kapitalistischen Weltökonomie* (hrsg. von F. Froebel, J. Heinrichs, O. Kreye). Reinbek, 1981.

ред лицом общего кризиса 70—80-х годов, который вызвал у марксистов и немарксистов возобновление интереса к проблеме «длинных волн» капиталистического развития, связанной с именем Н. Кондратьева¹⁸, марксисты оказались в замешательстве. В отличие от периода 30-х годов теперь у них не было никакого заслуживающего внимания предложения. По мере того как они более или менее формально оказывались вовлеченными в управление капиталистическим государством (ситуация в нынешние времена гораздо более обычная, нежели в 30-е годы), им мало на что можно было положиться, разве что на политику, основанную на каком-либо варианте экономики в стиле Кейнса (ставшей общепризнанной ортодоксией среди стольких правительственных экономистов на Западе в послевоенное время) или же на словесные повторы насчет революции и «социализма». Учитывая при этом, что значительная часть западной капиталистической экономики уже контролировалась, планировалась государством или даже находилась во владении государства, простое требование замены анархии капиталистической конкуренции обобществлением и планированием не звучало более так убедительно, как всего лишь 40 лет назад. Кроме того, марксисты не могли больше ссылаться на ту часть мира, которая переживает этап социалистического строительства и в которой нет экономических кризисов в отличие от капиталистического мира. Социалистическая экономика во главе с экономикой СССР переживала трудности, и даже ее первенство в темпах роста, которое в свое время производило чрезвычайное впечатление, в начале 80-х годов нельзя было приводить в качестве достоверного свидетельства ее превосходства.

Внутренние противоречия социалистической экономики, дефекты планирования и управления, общие экономические проблемы, в которых увязли страны социализма, стали в хрущевский период осторожно обсуждаться самими экономистами этих стран. Поражение «пражской весны» и эмиграция (насильственная) многих интеллектуалов еврейского происхождения (среди которых было немало экономистов) из Польши в конце 60-х годов вызвали новое, критическое обсуждение проблем экономики с централизованным планированием (прежде такая дискуссия велась в узком кругу специалистов-экономистов), оказавшееся в центре внимания западных марксистов. Эта тема развернута на других страницах данного тома; здесь же достаточно указать, что простое

¹⁸ Троцкист Эрнест Мандель в течение долгого времени сохранял живой интерес к Кондратьеву (см. его: *Late Capitalism*. London, 1975, а также сборник статей: *Parvus, Kautsky, Trockij, Kondratev, Mandel. Die langen Wellen der Konjunktur: Beiträge zur marxistischen Konjunktur und Krisentheorie*. Berlin, 1972; а также его статью "Technical innovation and long waves in world economic development". — "Future", XIII, № 4, 1981).

противопоставление капиталистической экономики, переживающей кризис, экономике социалистической, идущей победоносным путем планируемого строительства, сейчас уже никем не принимается всерьез — особенно теперь, когда многие социалистические страны стали сталкиваться, прямо или косвенно, с теми же экономическими трудностями, что и мировая капиталистическая экономика.

Непосредственный результат этого общего кризиса способствовал, однако, развертыванию конкретного марксистского анализа мировой капиталистической экономики и более живому показу ее экономических противоречий, хотя одновременно и возросли сомнения и неуверенность марксистов в отношении достижений и экономических перспектив того, что официальная доктрина в СССР и связанных с ним государствах стала именовать «реальным социализмом». В некотором смысле это укрепляет общую позицию, с которой марксисты смотрят на мир в момент, когда они отмечают столетие смерти основоположника их учения. Они знают, против чего выступают и почему, но туманно представляют, чего они хотят, разве только в весьма общем смысле.

3. Молодая интеллигенция и академический марксизм

Среди долгосрочных факторов, повлиявших на развитие марксизма начиная с 50-х годов, два взаимосвязанных фактора особенно очевидны: изменение социальной базы марксизма как политической идеологии и преобразования в мировом капитализме.

В отличие от того, что произошло в эпоху II и III Интернационалов, развитие марксизма после 50-х годов происходило прежде всего, а в ряде случаев и преимущественно, среди интеллигенции — социального слоя, численность и значение которого все возрастали. Сказанное отражало радикализацию существенной части этого слоя, особенно его молодежной части. Прежде, напротив, социальные корни марксизма были главным образом, а чаще исключительно, представлены движениями и партиями работников физического труда. Это, правда, не означает, что было много книг или брошюр, написанных или читаемых рабочими, хотя рабочий активист-самоучка («lesender Arbeiter», «читающий рабочий» Брехта) представлял собой важный отряд потребителей марксистской литературы, являвшейся объектом изучения в кружках, на курсах, в библиотеках и учреждениях, связанных с рабочим движением. Так, в угольном бассейне Южного Уэльса в период между 1890 годом и 30-ми годами нашего века сложилась разветвленная сеть из сотен библиотек для шахтеров, где повышали свое образование профсоюзные и полити-

ческие активисты района, отличавшиеся особенно радикальными настроениями еще накануне 1914 года¹⁹. Все это означало, что трудящиеся, организованные в движения подобного типа, принимали, ценили и воспринимали некую форму марксистского учения (своего рода «пролетарскую науку») в качестве составляющей своего политического сознания и что значительное большинство марксистской интеллигенции — лучше сказать, всей интеллигенции, связанной с движением, — считало себя, по сути дела, на службе у рабочего класса, или, говоря вообще, движения за освобождение человечества, которое осуществляется через исторически неизбежный подъем и триумф пролетариата. С начала 50-х годов становится ясно, что почти во всем мире, где рабочие социалистические партии сложились на массовой базе, они не только не росли, но, напротив, имели тенденцию к утрате своих позиций: это относилось как к социал-демократии, так и к коммунистам²⁰. Кроме того, в промышленно развитых странах класс работников физического труда, являвшийся центральным ядром движения трудящихся, также терял почву как в относительном, так иногда и в абсолютном смысле по сравнению с другими слоями занятого населения. Более того, ослабили его последовательность и внутренняя сила. Значительное улучшение жизни рабочего класса, сильное, сконцентрированное давление, оказываемое коммерческой рекламой и средствами массовой информации на желания (реальные или индуцированные) потребителей, как индивидуумов, так и семей, последствия приватизации жизни рабочего класса, несомненно, ослабляли сплоченность рабочих сообществ, являвшуюся столь важным элементом в определении силы партий и массовых движений пролетариата. Между тем рост занятости в сфере нефизического труда и расширение среднего и высшего образования абсорбировали весьма значительный процент сыновей и дочерей лучше оплачиваемой и более квалифицированной части рабочего класса, то есть потенциальные пролетарские руководящие кадры рабочего движения или тех рабочих, которые проявляли склонность к чтению и получению образования. Как было с некоторой долей грусти отме-

¹⁹ Перечень некоторых из этих библиотек, их каталоги и читательские формуляры см.: *H. Francis. Survey of Miner's Institute and Welfare Libraries, October 1972 - February 1973.* — "Llafur", I, № 2, may 1973, p. 55—64.

²⁰ Явное возрождение некоторых слабых или переживающих глубокий кризис социалистических партий в начале 70-х годов, например во Франции, Испании или Греции, не должно вводить в заблуждение. Эти партии действовали уже не по традиции, как массовые партии с пролетарской базой, а как организации, способные мобилизовать социально неоднородный электорат, объединенный одним лишь недовольством по отношению к существующим консервативным режимам и желанием комплекса реформ государства, экономики и общества.

чено в исследовании библиотек для шахтеров Южного Уэльса в 1973 году, когда сохранилось лишь 34 из них, «начиная с 60-х годов в отличие от 30-х годов чтение более не относится к важнейшим формам досуга шахтеров»²¹. Те, кто отошел от своих родителей, вовсе не обязательно утратили веру в их дело и перестали проявлять политическую активность. Но это уже не работники физического труда.

Развитие в подобном направлении не могло глубоко заинтересовать классовое движение и марксизм, так как оба развились главным образом на основе того убеждения, что капитализм порождает тех, кто похоронит его, то есть пролетариат, понимаемый как класс работников физического труда в промышленности, растущий в количественном отношении, повышающий свою сознательность и силу, представленный своими партиями и движениями и исторически предназначенный стать социалистическим, то есть революционным (хотя существовали различные мнения насчет того, что это может в точности означать), и одержать триумф в качестве носителя исторически неизбежного процесса. Ныне же развитие западного капитализма, равно как и рабочего движения внутри него после второй мировой войны, казалось, ставит под все большее сомнение подобную перспективу.

С одной стороны, трудящиеся теряли веру в историю, которую внушали им социалистические движения (и которую они давали сами этим движениям). Один известный консервативный государственный деятель Великобритании напомнил о талантливом и динамичном депутате-лейбористе из рабочих, который говорил ему в 30-е годы: «Ваш класс — класс прошлого. Мой класс — класс будущего»²². Подобное заявление лейбориста в 80-е годы вообще трудно себе представить. С другой стороны, марксистские партии, хотя и прекрасно сознают, что пророчества насчет неизбежной исторической победы социализма недостаточны для того, чтобы обеспечить руководство в сфере политической стратегии, тем не менее сбиты с толку той неуверенностью, с какой их активисты и руководители отнеслись к компасу, при помощи которого они определяли свой исторический курс. Их дезориентация еще более возросла в связи с событиями в Советском Союзе и других социалистических странах, а события эти после 1956 года становилось все труднее не замечать и не осуждать.

Радикальное переосмысление большей части того, что марксисты до сих пор считали раз и навсегда устоявшимся — и структурного анализа Маркса и других классиков, и долгосрочной и краткосрочной стратегии и тактики, — стало неиз-

²¹ Francis. Survey of Miners' Institute, cit., p. 59.

²² Эта фраза цитируется в: R. A. Butler. The Art of Memory. London, 1982, p. 79.

бежным. Подобное переосмысление постепенно становилось все затруднительнее осуществить в рамках главной традиции марксизма, установившейся после 1917 года, то есть традиции, связанной с СССР и международным коммунистическим движением, пока эта ортодоксия, становившаяся все более догматической, не разлетелась вдребезги. Центральную традицию марксизма отличали закостенелость и склеротичность, тогда как процесс ревизии марксистского анализа искусственным образом откладывался в долгий ящик, хотя бы по той причине, что начиная с 1900 года большая часть марксистов и, вне всякого сомнения, все те, кто сформировался в рамках коммунистического движения²³, сами слова «ревизия» или «ревизионизм» рассматривали как отказ от марксизма или даже его предательство. Движение за ревизию марксистского анализа вышло на поверхность, следовательно, совершенно неожиданно, но конфликт, который таким образом возник между старыми и новыми марксистами не стал от этого менее драматичным. Изменение характера капитализма можно было бы проследить сразу же после окончания первой мировой войны, однако марксистские исследователи все в один голос продолжали утверждать, что в 30-е годы марксизм «все еще способствовал разработке последовательного, хотя и не адекватного, объяснения мирового экономического кризиса и вызова, брошенного фашизмом»²⁴, или что «великий кризис 30-х годов прекрасно согласуется с Марксовой теорией»²⁵. Они, однако, соглашались, что «никакое движение не имело большего успеха, чем либерализм, сформулировавший теорию посткапиталистического общества» (Лихтгейм), или что он «немало способствовал пониманию нами существенных характеристик „общества благосостояния”» (Баран, Суэзи). В глазах лучших представителей целого поколения большинство марксистов оказалось неспособным или не решавшимся померяться силами с действительностью того мира, который они желали переделать.

Лавинообразное развитие явления обновленчества внутри марксизма в дальнейшем было подтверждено массовой радикализацией молодых интеллигентов, особенно во время их ученичества, которое, как мы уже видели, в значительной мере трансформировало саму социальную базу марксистских теорий. Возникли организации и марксистские партии, особенно мелкие, чьи активисты и тем более руководители бы-

²³ Как мы уже видели, значительный отряд «новых левых», и, во всяком случае, немалая их часть, интересующаяся марксистской теорией, состоял на первых порах из бывших коммунистов (ортодоксов и диссидентов), вышедших или исключенных из партий, и групп, сформировавшихся в большевистском русле или так или иначе с ним связанных.

²⁴ G. Lichtheim. *Marxism*. London, 1961, p. 393.

²⁵ Baran, Sweezy. *Monopoly Capital*, cit., p. 3 (trad. it. p. 5).

ля, по существу, дипломированными специалистами²⁶. В самом деле, как показывает развитие профсоюзов, в то время как уменьшился удельный вес организованных в промышленности работников физического труда, возросла численность и удельный вес организованных сил среди служащих нефизического труда, особенно в постоянно расширявшемся государственном секторе среди лиц интеллигентных профессий, организованных в профсоюзы, в средствах массовой информации и в сферах занятости, предполагающих непосредственную социальную ответственность: просвещении, здравоохранении, соцстрахе и т. д. Этот отряд работников нефизического труда все больше пополнялся мужчинами и женщинами, которые получили высшее образование в той или иной форме.

Кроме того, радикализация молодых интеллигентов не только привела к значительному расширению круга читателей марксистской литературы и марксистской интеллигенции, но и сформулировала механизм их воспроизводства. Выступления студентов стали пронизываться марксистской идеологией; когда же молодые люди, в прошлом студенты-радикалы (чей радикализм был порой эндемический, как в Латинской Америке, порой эпидемический, как во многих европейских странах в конце 60-х годов), стали либо преподавателями, либо сотрудниками средств информации, тогда марксизм занял более солидное место в институтах, связанных с просвещением и информацией. Это стабилизировало его влияние. Новые поколения 60-х годов начали, таким образом, длительную карьеру в качестве преподавателей и литераторов (если они не подвергались систематическим политическим преследованиям). И хотя многие из них с годами умерят свой юношеский пыл или вовсе откажутся от своих убеждений, никто не пойдет на поводу у выродившегося в насилие студенческого радикализма.

Подобное развитие можно было предвидеть. Незадолго до того, как оно стало предельно ясным, один из наиболее трезво мыслящих исследователей марксизма уже замечал, что в «развитых» странах, кажется, «дошли до того, что стали критиковать современное общество как таковое» большей частью «с целью оправдать отказ интеллигентов принимать тот мир, который создан современной промышленностью и научной технологией; причем основная почва столкновения в ходе этой дискуссии была подготовлена университетами»²⁷. Новым был и неожиданно широкий масштаб обращения интеллигентов в марксизм, и, говоря вообще, чрезвычайное рас-

²⁶ Это утверждение применимо не только к отдельным революционным сектам или группам, но и к некоторым небольшим обновившимся коммунистическим партиям, как, например, к шведской.

²⁷ *Lichtheim. Marxism, cit.*, p. 393—394.

ширение числа высших учебных заведений и студентов, записывавшихся во всем мире в эти учебные заведения на протяжении 60-х годов; подобного явления не было в предшествующей истории.

Радикализация интеллигенции, особенно молодежи, отличалась целым рядом характерных черт, отразившихся в марксистской мысли, сформировавшейся в этой среде. Во-первых, поначалу эта мысль не была функционально связана с неудовлетворенностью состоянием экономики и кризисом. И в самом деле, в наиболее яркой форме она предстала перед нами в конце 60-х годов, то есть в апогей эпохи «экономического чуда», капиталистического роста и процветания, в тот момент, когда перспективы обучения и последующей карьеры студентов были в большинстве стран великолепными. Следовательно, главная направленность этой мысли была не экономической, а социальной или культурной. Если и существовала наука, представлявшая это направление поиска критики общества в целом, то ею являлась социология; она-то и привлекала студентов-радикалов в немалом количестве, так что нередко отождествлялась на практике вообще с радикализмом «новых левых». Во-вторых, несмотря на традиционную связь марксизма с рабочим классом (а в «третьем мире» — с крестьянством), молодые радикалы из интеллигенции были благодаря своему уровню жизни и социальному происхождению далеки как от рабочих, так и от крестьян, как бы страстно ни пытались в теории отождествлять себя с ними. Если это были дети буржуазии, самое большее, что они могли сделать, это попытаться «пойти в народ», подобно народникам «последнего призыва», или же хвастать, что в их группах есть — хотя и относительно мало — представители пролетариев, крестьян, негров. Если же они сами происходили из пролетарской, крестьянской или, как правило, чаще мелкобуржуазной среды, то в таком случае и их положение, и профессиональные ожидания автоматически выводили их за рамки своего социального происхождения. Но они не были ни рабочими, ни крестьянами, да таковыми их и не считали собственные родители, родственники или друзья. Более того, в их политических идеях наблюдалась тенденция к гораздо большей радикализации, чем у подавляющего большинства рабочих, даже тогда, когда (как в дни «французского мая» 1968 года) они все вместе оказались участниками бурных событий.

«Новая левая» интеллигенция иногда склонялась, таким образом, к отходу от рабочих как класса уже не революционного, или, быть может, даже «реакционного», поскольку он интегрирован в капитализм (классическим примером подобного анализа стал «Одномерный человек» Маркузе, опубликованный в 1964 году). Или же они проявляли по меньшей

мере склонность порывать с рабочими движениями и массовыми партиями — как социалистическими, так и коммунистическими, — которые рассматривались как реформистские предатели социалистических чаяний. При всем том практически во всех странах развитого капитализма, а порой и не только там, политизированное студенчество отнюдь не пользовалось популярностью среди масс; во всяком случае, к ним относились как к привилегированным сынкам среднего класса или как к потенциально правящему привилегированному классу. Таким образом, марксистская теория в среде «новых левых» развивалась в обстановке некоторой изоляции, а ее связи с марксистской практикой носили весьма проблематичный характер.

В-третьих, эта среда продемонстрировала тенденцию к продуцированию такой марксистской мысли, которая была академичной в двух смыслах: как потому, что была адресована публике, которая была, есть и будет студенческой и использовала относительно эзотерический язык, мало доступный неакадемической аудитории; так и потому, что, цитируя еще раз Лихтхеима, «они цеплялись за те элементы Марксовской системы, которые были особенно далеки от политического действия»²⁸. Они продемонстрировали ярко выраженное предпочтение чистой теории, в особенности же наиболее общей и абстрактной из дисциплин — философии. Библиография марксистских философских публикаций после 1960 года росла как на дрожжах. В самом деле, национальные и международные дискуссии среди марксистов, вызвавшие наибольшее внимание со стороны радикальной интеллигенции, были связаны с философами: Лукач и Франкфуртская школа, грамшианцы и последователи Делла Вольпе, Сартра, Альтюссера и их различных учеников, критиков и оппонентов. Это, быть может, и не вызывало удивления в странах, где никто из получающих высшее образование не в состоянии избежать той или иной философской обработки (как, например, в Германии, Франции и Италии), но вкус к подобным философским дискуссиям стал вдруг весьма значительным даже там, где философия никогда не была частью комплексной системы высшего образования гуманитарного профиля, как, например, в англосаксонских странах.

Философия обнаруживала тенденцию проникать в другие дисциплины: вспомним хотя бы, что альтюссеранцы, похоже, считают «Капитал» Маркса прежде всего трудом по эпистемологии. Философия стала даже превращаться в практику, как, например, в случае с быстро прошедшей модой (возникшей в той же самой среде) на так называемую «теоретическую практику». Исследовательская работа и анализ реально-

²⁸ Ibid., p. 393.

го мира отступили на второй план по сравнению с тем вниманием, какое начали уделять его структурам и механизмам или даже общим вопросам, вроде того, каким образом мир вообще может быть познаваем. Теоретики испытали соблазн заняться изучением действительных проблем и перспектив реального общества лишь в ходе дискуссии по вопросу о так называемой «артикуляции» «способов производства» вообще²⁹. В последних своих работах Пулантцас, отвечая на критические замечания в свой адрес, в которых утверждалось, что он не провел никакого конкретного анализа да и вообще не обратил особого внимания на «конкретные эмпирические и исторические факты», говорил, что критика такого рода является признаком эмпиризма и неопозитивизма, хотя и был при этом склонен признать, что его работа все-таки страдает «некоторым теоретизированием»³⁰. Крайние проявления подобного теоретического абстрагирования подчеркнуто связаны с влиянием французского философа-марксиста Альтюссера, достигшего своего расцвета как раз между 1965 и 1975 годами, причем международный характер этой моды уже сам по себе показателен; однако общая склонность к чистому теоретизированию была и без того значительной. Она вызвала замешательство даже среди некоторых марксистов старшего поколения, причем не только в странах, считающихся эмпирическими³¹. Эти марксисты неизменно сосредоточивали свое внимание на абстрактной теории, особенно когда приходилось иметь дело с проблемами, которыми и сам Маркс занимался со всей энергией, как, например, проблемами экономической теории. Независимо от научных интересов этих исследователей и научных заслуг тех, кто занимался этими вопросами, переосмысление основы марксистской теории стало существенным элементом необходимого критического рассмотрения работ Маркса и марксизма, понимаемого как цельная и гомогенная система идей. Однако между подобным теоретизированием и конкретным анализом действительности пролегла дистанция огромного размера, и связь между этим теоретизированием и большей частью трудов самого Маркса нередко представлялась аналогичной той, которая существует между философией науки и самими учены-

²⁹ Полезные сведения насчет эволюции термина «артикуляция» в марксистской теории, начиная с Альтюссера, см.: A. Forster-Carter. *The Mode of Production Debate*. — "New Left Review", № 107, 1978, p. 47—48.

³⁰ N. Poulantzas. *The Capitalistic State: a Reply to Miliband and Laskau*. — "New Left Review", № 95, 1976, p. 65—66; Основные работы Пулантцаса: *Potere politico e classi sociali*. Roma, 1971; *Fascismo e dittatura*. Milano, 1971; *Classi sociali e capitalismo oggi*. Milano, 1975.

³¹ Ср. элегантную, но безжалостную критику, высказанную одним из старых марксистских историков: P. Vilar. *Histoire marxiste, histoire en construction: essai de dialogue avec L. Althusser*. — "Annales", № 28, janvier 1973, p. 165—198.

ми. Ученые нередко с восхищением относились к специалистам по философии науки, но, увы, не столь часто получали от них помощь в конкретной научно-исследовательской деятельности, особенно когда философия науки показывала, что ученые даже не в состоянии удовлетворительным образом доказать аутентичность результатов, на достижение которых они потратили всю жизнь.

Тем не менее следствия радикализации интеллигенции носили не только теоретический характер хотя бы уже потому, что интеллигенты уже не могли считаться или считать себя сами людьми, которые, чтобы связать свою жизнь с рабочими, перешагивают через классовые границы, а также потому, что, как мы уже видели, разрыв между интеллигенцией как социальным слоем и рабочими все более увеличивался. В крайних случаях, как, например, в Соединенных Штатах, одни из них пополняли ряды активистов пацифистского движения во время войны во Вьетнаме, другие — ряды демонстрантов, выступавших в поддержку этой войны. Но даже в тех случаях, когда все они занимали левые позиции, центры их политических интересов не совпадали. Таким образом, оказалось гораздо более легким делом возбудить страстный интерес к проблемам окружающей среды и экологии в кругах левой интеллигенции, чем в организациях чисто пролетарских.

Комбинация обеих групп доказала свою чрезвычайную эффективность, как об этом свидетельствуют польские события 1980—1981 годов. Разногласия или отсутствие между ними координации — будь то постоянное или временное, — по всей вероятности, нанесли ущерб практической перспективе преобразования общества путем деятельности марксистских движений. В то же время этот опыт показал, что политические движения, опирающиеся преимущественно на интеллигенцию, не способны создавать массовые партии, сравнимые с традиционными социалистическими или коммунистическими рабочими партиями, которые сплочены воедино пролетарским сознанием и верностью классовому делу, да и вообще с какими бы то ни было массовыми партиями. Это расхождение, по всей вероятности, нанесло также ущерб политическому потенциалу и перспективам созданных интеллигентами групп и, следовательно, тем марксистским доктринам, которые они разрабатывали.

С другой стороны, растущее влияние интеллигенции в вопросах марксизма, особенно влияние молодежи, или работников высшей школы, или же тех и других вместе, значительно облегчило осуществление чрезвычайно быстрой связи между различными центрами также и за пределами национальных границ. Этот слой чрезвычайно подвижен и удивительно приспособлен к быстрому налаживанию связей; кроме того, связь между интеллигентами и их отношения друг с другом

необычайно устойчивы к распаду, если только, конечно, мы не имеем дело с систематическими и безжалостными репрессиями со стороны государства. Скорость, с какой студенческие движения распространяются от одного университета к другому, является тому доказательством. На новом этапе, таким образом, стало более легким достижение — как на практике, так и в теории — довольно-таки эффективного неформального интернационализма именно в момент, когда организованный интернационализм марксистских движений, впервые после 1889 года, практически прекратил свое существование. В результате появилась неформальная, спорящая, космополитическая марксистская культура. Конечно, национальные и региональные факторы по-прежнему сохраняются, равно как существует целый ряд марксистских авторов, почти неизвестных за пределами своей родной страны. С другой стороны, можно назвать немного стран, где бы определенные имена не были известны всем тем, кто интересуется подобными вопросами; при этом неважно, писали ли они свои работы первоначально на английском, французском или каком-либо другом языке мира: все их сочинения немедленно переводятся. Тем не менее наибольшие препятствия на пути объединения этого международного сообщества, говорящего на марксистском языке, являются лингвистическими (например, в том, что касается оригинальных работ, написанных по-японски) или экономическими (как, например, в случае с нищенствующими индийскими интеллигентами: им не по карману покупка книг, на которые нет скидки за счет государственной дотации, и они не могут из-за отсутствия иностранной валюты приобрести достаточно зарубежных публикаций). И все же в сравнении с любым другим предшествующим периодом в истории марксизма это сообщество географически значительно расширилось, а число «теоретиков» или других марксистских авторов, ведущих в его лоне свои дискуссии, с уверенностью можно сказать, стало и более широким, и более неоднородным, чем когда бы то ни было.

4. Плюрализм и новые виды ревизионизма

Итак, каким образом подвести итог тенденциям и развитию внутри марксизма в период после 1956 года?

Во-первых, его плюрализм был признан и санкционирован благодаря отсутствию какой-либо господствующей на международной арене ортодоксии, сравнимой с той, какую де-факто осуществляла германская социал-демократическая партия до 1914 года и советский коммунизм в период своей гегемонии в мировом марксизме. Стало труднее рассматривать разнородные интерпретации в качестве абсолютно немарксист-

стских, и в то же время соблазн социалистов, несогласных с ортодоксией, порвать свои связи с Марксом пропорционально уменьшился. В политическом плане очевидными результатами являются: фрагментарность международного коммунистического движения, неуверенность в стратегических вопросах и перспективах рабочих социалистических партий, а также тенденция других движений и партий, стремящихся к радикальным преобразованиям, начертать на своем идеологическом знамени имя Маркса и не в последнюю очередь — изменившийся социальный состав приверженцев марксизма, о котором мы уже упоминали. Первый результат привел к возникновению соперничающих марксистских ортодоксий, находящихся друг с другом в состоянии войны, как, например, между ортодоксией советского блока и Китая. Второй вызвал дискуссию, к которой относятся с терпимостью или даже поощряют, между сторонниками различных интерпретаций марксизма внутри марксистских партий, причем иногда в ряде коммунистических партий теперь не ясно, какая именно интерпретация является преобладающей. Он предопределил и оформление тенденций или соперничающих фракций внутри этих партий, а также множественность групп и организаций, особенно на левом фланге старых компартий, причем каждая из них ведет борьбу с той или иной группой во имя марксизма или готова пойти на дальнейшие расколы, оправдывая их в идеологическом плане. Третий породил применение марксизма вкупе с иными идеологиями (католической, исламской или националистической) или применение его группами, довольствующимися всего лишь ссылками на Маркса или какого-нибудь другого марксиста (например, Мао) по поводу какой угодно идеологии, которую им случается поддерживать. Четвертый результат укрепил тенденцию плюрализма, но в то же время и обнаружил благодаря приобщению к марксизму новой интеллигенции тенденцию к расширению марксизма за рамки политики в направлении академической сферы и культуры вообще.

Новый плюрализм необходимо отличать от терпимости к расхождению во мнениях, свойственному периоду до 1914 года. Ревизионизм Бернштейна терпели в германской социал-демократии, хотя он отвергался как партией, так и большей частью марксистов как нежелательная и неортодоксальная теория. Хотя некоторые теории, разработанные теми или иными марксистами, вызывают у других подозрительное и враждебное отношение, сегодня уже почти не встречается широкого консенсуса, как на национальном, так и на международном уровне, по вопросу о том, что же является законной интерпретацией, а что де-факто нельзя считать «марксистским». Все это особенно очевидно в таких областях, как философия, история и экономика.

Следствием этой плюрализации марксизма, обладающего нечеткими границами, и одновременного заката интерпретаций, поддерживаемых харизматическим авторитетом, было появление «теоретиков»³². Однако в отличие от периода, предшествовавшего 1914 году, «теоретик» уже не связан тесно с какой-либо определенной политической организацией и даже с какой-нибудь политической линией; менее всего он выполняет теперь какую-либо важную политическую функцию, пусть хотя бы иногда и неформальную, как это было в свое время с Каутским. Автоматическое отождествление вождей партии с теоретиками умерло вместе со сталинизмом, если, конечно, не принимать во внимание некоторые социалистические государства, где подобная идентификация породила странные aberrации (например, в Северной Корее), или какие-нибудь небольшие движения, руководимые интеллектуалами, где они могут все еще играть двойную роль вождя и теоретика.

Даже когда отдельные авторы пользуются престижем и влиянием в ходе международной марксистской дискуссии, вокруг них создаются «школы» и они известны как члены партии, все равно они, как правило, не считаются «представителями» партии; они чаще всего проявляют свое влияние в качестве частных лиц, авторов статей и книг, свободных от формальных связей. Именно такой в те или иные периоды или во имя достижения тех или иных целей была, например, позиция Альтюссера, Маркузе, Сартра, Сраффы, Суизи и Барана, Коллетти, Хабермаса, А. Гундера Франка, если ограничиться только этими именами. Для плюрализма этого периода типично, что не только природа их марксизма, но их действительная связь с ним порой недостаточно ясна. И поскольку что написано пером, то не вырубишь топором, не всегда имело значение даже то, что авторы уже умерли, если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что они уже не в состоянии прокомментировать интерпретацию своих произведений. Развал ортодоксии вернул сфере публичной марксистской дискуссии целый ряд выдающихся личностей прошлого, достойных того, чтобы ими еще раз восхитились, и готовых вдохновить своих новых последователей: Лукача и Бенямина, Корша и Отто Бауэра, Грамши и Марнатеги, Бухарина и Розу Люксембург.

Во-вторых, как уже указывалось, демаркационная линия между тем, что является марксистским, и тем, что таковым не является, стала менее четкой. Этого и следовало ожидать хотя бы по той причине, что многое из того, что до сих пор воспринималось как существенное у Маркса и последующего марксизма, нуждалось в глубоком пересмотре; однако подоб-

³² См.: "Storia del marxismo". Vol. III, tomo I, p. 411 sgg.

ный факт — это также естественное следствие быстрого развития аудитории, состоящей из интеллигенции, интересующейся марксизмом, а также ее включения по основным направлениям в процесс усвоения марксизма и академическую дискуссию, которая имела место главным образом после 1956 года. В одном из исследований (немарксистских) по европейской историографии, изданном в 1978 году, было замечено, что «в последние десятилетия марксистские историки оказались в состоянии осуществить успешное проникновение «внутри профессиональной корпорации»; при этом указатель имени этого издания содержит больше ссылок на Маркса, чем какое-либо иное имя, за исключением Леопольда фон Ранке и Макса Вебера³³. Самый значительный учебник по экономике, изданный в 1970 году, содержит специальный раздел по марксистской политэкономии³⁴.

Во Франции, например, марксизм стал одной из составляющих интеллектуального мира наряду с де Соссюром, Леви-Стросом, Лаканом, Мерло-Понти и всеми другими авторами, которые стали считаться важными уже для последних классов французских лицеев и обсуждались обитателями V и VI парижских округов. Марксистская интеллигенция, сформировавшаяся и впитавшая марксизм в подобном культурном контексте, сочла более желательным перевести марксизм на господствовавший в тот момент теоретический жаргон как для того, чтобы сделать его понятным для читателей, еще не привыкших к марксистской терминологии, так и для того, чтобы доказать критикам, что также и в терминологии их теоретических установок марксизм отстаивает заслуживающие внимания ценности. Типичный продукт этого периода — возрождение благодаря трудам Дж. А. Козна материалистической концепции истории, в соответствии с терминологией и «образцами ясности и строгости, которые характеризуют аналитическую философию XX столетия»³⁵. В других случаях налицо было просто некое сочетание марксизма с иными авторитетными теориями, такими, например, как структурализм, экзистенциализм, психоанализ и т. д.

Новых марксистов Маркс нередко привлекал уже в тот момент, когда они приобрели в школе или университете теоретические познания и позиции иного типа, которые в дальнейшем придавали своеобразную окраску их марксизму. Мы ничего не отнимем у Альтюссера, ставшего коммунистом в зрелом возрасте, после войны (в 1948 году), если уточним, что его интеллектуальные корни далеки от марксизма и что он гораздо лучше знал, пожалуй, произведения Спинозы и Мон-

³³ G. G. Iggers. *Neue Geschichtswissenschaft*. München, 1978, p. 157.

³⁴ P. A. Samuelson. *Economics*. London, 1976, cap. 42.

³⁵ G. A. Cohen. *Karl Marx' Theory of history: a Defence*. Oxford, 1978, p. IX.

тескье, чем работы Маркса, когда начал писать о нем. Если же эти новые марксисты были достаточно молоды, то они могли пользоваться покровительством учителей, которые иногда и сами внесли в свои работы некоторые элементы марксизма, приобретенные ими, быть может, в годы своей революционной юности, сочетая их с иными влияниями и научными достижениями. Вообще говоря, это не было каким-то новым явлением. Уже и в прошлом марксисты, имевшие высшее образование, предпринимали попытки преодолеть разрыв, преднамеренно раздутый ортодоксами, между марксистами и последователями университетской культуры. Так было, к примеру, с австромарксистами и Франкфуртской школой. Теперь же новизна ситуации состояла в том, что произошла массовая радикализация интеллигенции, воспитанной в академической среде, в момент, характеризовавшийся кризисом и неуверенностью старых цитаделей институционализированного и сепаратистского марксизма.

В то же время марксисты все чаще были вынуждены обращаться за пределы марксизма, так как самоизоляция марксистской мысли — наиболее вопиющая особенность коммунистической фазы (не только для ортодоксов, но и для таких еретиков, как троцкисты) — привела к появлению значительных областей знания, над которыми марксисты мало размышляли, тогда как, напротив, немарксисты вели здесь глубокую работу. В этом смысле тема Марксовой экономики является хорошим примером. Как только марксистские правительства, руководившие экономикой с централизованным планированием, поняли, что в программировании их экономики и управлении ею имеются дефекты, стало невозможно пренебрегать какой бы то ни было формой буржуазной академической политэкономии и продолжать считать ее одной из форм апологетики капитализма. Таким образом, марксистская экономика не могла более ограничиваться пересмотренным и исправленным повторением ортодоксальной «политэкономии», разработанной, по сути дела, для того чтобы доказывать, будто капитализм не в состоянии разрешить ни одной из своих проблем и будто он так и не изменил «существенным образом» своего характера, и предназначенной также для сведения всех своих суждений насчет социалистической экономики к общим положениям, лишенным значения³⁶. Какой бы ни была ортодоксия в теории, на практике экономисты, работающие в социалистическом обществе (хотя формально их не представляли в качестве экономистов), должны были осмысливать оперативные исследования и проблемы программирования и, поступая таким образом, знакомиться с трудами эконо-

³⁶ Хорошим примером этого является издание под ред. О. Куусинена: *Fundamentals of marxism-leninism*. Moscow, 1960, part II, chap. 22 and 23.

номистов капиталистического общества и использовать их, включая также работы по экономике социализма³⁷. И не важно при этом, что некоторые фундаментальные достижения экономической науки уходят своими корнями в марксизм Восточной Европы или в идеи, авторы которых предприняли попытку решить новые проблемы советской экономики в 20-е годы, так что этим достижениям была придана марксистская биография, хотя долгое время они отвергались официальными марксистскими канонами.

Таким образом, марксисты, которые не относились к теории, как к простой служанке идеологии, оправдывающей претензии на исключительное право быть обладательницей истины в конечной инстанции, в то время как все другие считаются заблуждающимися («антимарксистами»), не могли больше позволить себе не замечать того, что делают в этой области немарксисты. Новое поколение марксистской интеллигенции, сформировавшейся в университетах, с большим трудом могло игнорировать эти знания. При всем том давление со стороны радикального студенчества конкретизировалось также во введении специальных курсов по марксизму или по таким темам, как марксистская политэкономия, — и это в университетах, где невежество в отношении этих проблем было иногда вопиющим. Такого рода спецкурсы стали весьма обычным явлением в англоязычном мире в 70-е годы. Однако и без подобного давления проникновение марксистского влияния в институты и академические дисциплины заметно возросло, отчасти потому, что марксистская интеллигенция старшего поколения продолжала еще свою карьеру, тогда как новое поколение 60-х годов приступало к ней³⁸, но главным образом потому, что во многих областях вклад марксизма был воспринят теми, кто не питал к нему особых симпатий. Подобное, в частности, произошло с историей и социальными науками. Ни французская историческая школа «Анналов», ни ее крупнейший представитель Фернан Бродель не обнаруживали на первых порах сколько-нибудь заметных призна-

³⁷ Одним из первых примеров в этом смысле является работа: *O. Lange. Political Economy, vol. I, Central Principles, Warsaw, 1963*, где глава «Принципы экономической рациональности» содержит приложение «Математические основания планирования», в котором имеются ссылки, среди прочих, на работы Фриша, Самуэльсона и Солоу. Ланге был выдающимся профессором-социалистом, возвратившимся в Польшу после войны.

³⁸ Так, в Великобритании по меньшей мере четверо из участников маленькой и незаметной «Исторической группы» британской компартии, существовавшей в 50-е годы, были избраны в Британскую академию — отнюдь не радикальное учреждение. Лондонская школа экономики, не имевшая в 50-е годы профессоров с аналитическими познаниями или особым интересом в области марксистской экономики, приняла в свой экономический департамент по меньшей мере двух преподавателей, являющихся крупными специалистами в этой области.

ков воздействия на них марксизма, тогда как последняя крупная работа Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» содержит больше ссылок на Маркса, чем какая-либо другая работа французского или иностранного автора. Хотя этот выдающийся историк далек от того, чтобы быть марксистом, фундаментальный труд по избранной им теме вряд ли мог обойтись без ссылок на Маркса. Принимая во внимание это сближение, марксисты и немарксисты ведут во многих областях научно-исследовательскую работу по большей части одинаковым образом, так что стало трудно установить, может ли та или иная работа считаться марксистской или немарксистской, разве что сам автор заявит об этом или специально опровергнет, возьмет под защиту или обрушится с нападками на марксизм. Возросшая готовность марксизма отказываться от старых канонических интерпретаций сделала еще более трудными, а порой и бесполезными усилия тех, кто почитает своей задачей устанавливать жесткое деление всех научных работ на принадлежащие к тому или иному лагерю.

Эта склонность марксизма к пересмотру не только марксистской традиции, но и теории самого Маркса — третья характерная черта его развития после 50-х годов.

Естественно, этот факт сам по себе не является чем-то новым. Дискуссия среди политэкономов-марксистов, разгоревшаяся вновь с необычайной силой начиная с 60-х годов³⁹, обычно носила оживленный характер, если только ее не душили догмы, навязанные властью предрержащими. Попытки модифицировать отдельные части Марксова анализа в различных областях были весьма часты в первое десятилетие нашего века, причем не только в связи с «ревизионизмом» Бернштейна. В самом деле, практика считать марксизм скорее «методом», нежели научной системой, которая, судя по всему, появилась благодаря деятельности первых австромарксистов, была отчасти некой элегантной формой выражения несогласия с тем, о чем Маркс писал с такой любовью. Однако, как уже было отмечено, новизна ситуации, сложившейся начиная с 50-х годов, заключается в том, что аргументация, которая в иные времена привела бы и должна была привести ее сторонников к полному отказу от идей Маркса, считалась теперь определенным шагом вперед по пути оживления, модернизации и укрепления марксизма. Подобная аргументация выдвигалась теперь настойчиво и часто теми, кто заявлял о своей убежденной и восторженной верности Марксу.

Так, в 60-е и 70-е годы появляется все больше и больше

³⁹ В значительной мере под влиянием книги П. Сраффы (*P. Sraffa. Produzione di merci a mezzo di merci. Torino, 1960*), вышедшей в тот самый год, когда разгорелась примечательная дискуссия между марксистами-«рикардианцами» и «нерикардианцами».

марксистов, исключавших из марксизма теорию трудовой стоимости или теорию падения нормы прибыли; отвергавших тезис, согласно которому «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»⁴⁰, и, следовательно, опровергавших марксистскую точку зрения на «базис» и «надстройку»; находивших все сочинения Маркса, написанные до 1882 года, недостаточно марксистскими; их можно было бы назвать (используя традиционную марксистскую терминологию) философскими идеалистами, а не материалистами, или людьми, отвергающими различие между идеализмом и материализмом, полностью отказывающимися от Энгельса, утверждавшими, что «изучение истории не только в научном, но и в политическом отношении лишено ценности»⁴¹. Полагаю, что никогда прежде в истории марксизма эти или подобные взгляды — явно противоречащие всему тому, что утверждало большинство марксистов до сих пор, — не высказывались в столь неприкрытой форме и не воспринимались позитивно теми, кто считал себя марксистом.

В задачу историка не входит давать оценку этих ревизий, нередко выглядящих вульгарно, всего того, что до сих пор почти что все школы и направления марксизма считали существенным для теории, хотя история и может с определенной уверенностью утверждать, что многие подобные ревизии вызвали бы резкую реакцию Маркса, чей гнев, как известно, нетрудно было вызвать. Занимая своего рода нейтральную позицию наблюдателя, можно сказать следующее: подобный вызов, брошенный идеям Маркса (не говоря уже об идеях Энгельса и последующих «классиков»), представляет собой самый глубокий из когда-либо имевших место прежде разрывов в преемственности марксистской научной традиции. В то же время этот вызов представляет собой некое усилие — пусть «уклонистское», — направленное на то, чтобы укрепить марксизм путем его обновления и еще большего развития марксистской мысли, и в таком смысле это демонстрирует значительную мощь и привлекательность Марксовой теории в последние десятилетия. Вызов этот указывает также на следующие две вещи: признание необходимости радикального осовременивания марксизма наряду с непрекращающимися поисками возможных ошибок и несоответствий в учении его основателя и в то же время убежденность в том, что теория Маркса в своей совокупности является необходимым руководством для понимания и переделывания мира.

⁴⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 7.

⁴¹ Эта фраза взята нами из книги, начинающейся следующими словами: «Эта книга представляет собой марксистскую теоретическую работу» (B. Hindess, P. Q. Hirst. Pre-capitalistic Modes of Production. London, 1975).

Вне всякого сомнения, настало время позаботиться о том, чтобы хоть отчасти разредить этот густой и запутанный теоретический подлесок, так как одни авторы новых теоретических положений будут развиваться в соответствии с логикой собственных рассуждений и отойдут от марксизма, тогда как другие исчезнут из нашего поля зрения, но зато подвернутся какому-нибудь аспиранту, занятому подбором аргументов для диссертации, или попадут в будущие тома какой-то другой истории марксизма. Возможно также, что снова обнаружится некий консенсус по вопросу о том, что в развивающейся теории можно по праву считать происходящим из Марксовой мысли или ей соответствующим, равно как и по более спорному вопросу о том, какие части теории Маркса могут быть отброшены, так чтобы при этом не лишился целостности весь анализ в комплексе. И в подобном случае преемственность Марксовой традиции снова могла бы восстановиться, хотя на этот раз уже не в форме единого «правильного» марксизма, а, скорее всего, благодаря восстановлению граней, в рамках которых и участники дискуссии, и несогласные могли бы с полным основанием утверждать свою духовную связь с Марксом. Но даже и в случае восстановления подобной преемственности то, что можно считать «основными» марксизмами, продолжало бы сосуществовать с тем, что мы назвали бы «маргинальными» марксизмами людей, которые по какой-либо причине будут по-прежнему заявлять, будто их идеи порождены Марксом, хотя анализ духовного родства и обнаруживает несостоятельность их претензий. Претендуя на то, чтобы считаться марксизмами, эти теории оказываются частью истории марксизма, да нам их и не понять вне рамок этой истории, точно так же, как религии и маргинальные или синкретические культы, называющие себя христианскими, входят в историю этой религии, сколь бы далеки они ни были от тех учений, которые составляют общее наследие христианства⁴².

Наконец, как основной, так и маргинальный марксизмы должны сосуществовать, как они сосуществуют уже сейчас, при расширении зоны (большей частью, хотя и не исключительно, академической), где не проводится никакого четкого разграничения между тем, что является марксистским, а что таковым не является.

Одно, пожалуй, представляется ясным уже сейчас. Даже если и возникнет консенсус в вопросе о том, что является основным марксизмом (или основными марксизмами), то он, вероятно, сможет сохраняться и в отношении текстов, менее

⁴² Это, однако, не означает, что доктрины «основного» марксизма уже только поэтому являются более истинными, чем доктрина «маргинального» марксизма: это означает только то, что они более близки мысли Маркса.

связанных с оригинальными текстами «классиков», чем в прошлом. Маловероятно, чтобы к последним снова относились, как к какой-то целостной теории и учению, обладающему однородностью в международном плане, как к аналитическому описанию, дающему непосредственный ответ на проблемы, волнующие экономистов и общественную жизнь сегодня, или как к прямому руководству конкретными действиями, предпринимаемыми марксистами. Разрыв в преемственности марксистской традиции, вероятно, уже никогда не сможет быть преодолен.

«Классические» тексты не могут использоваться в качестве учебников политического действия, ибо марксистские движения сегодня и, по всей вероятности, в будущем находятся и будут находиться в ситуациях, имеющих мало общего (за исключением какого-нибудь случайного и временного исторического стечения обстоятельств) с теми, при которых разрабатывали свою стратегию и тактику Маркс, Энгельс, социалистические и коммунистические движения первой половины этого столетия. Показательно, что полвека спустя после смерти Ленина большая часть старых партий, которые все еще ведут борьбу за преодоление капитализма в своих странах, пребывают в поиске новой стратегии и по этой причине (несмотря на ностальгию по былой уверенности, сохраняющуюся еще у многих членов партии старшего поколения) отказываются от марксистского эквивалента библейского фундаментализма. Там же, где жажда былой уверенности еще преобладает и марксизм используется в качестве «урока», который только и остается что сформулировать и «правильно» применить (причем «правильное применение» его какой-нибудь одной группой является «ошибкой» другой), подобная разновидность марксизма сводится к теоретическому бессмыслию. Такой марксизм имеет тенденцию свестись к немногим простым элементам, к простым лозунгам: основополагающее значение классовой борьбы, эксплуатация трудящихся, крестьянства и «третьего мира», осуждение капитализма или империализма, необходимость революции и революционной борьбы (быть может, и вооруженной), осуждение «реформизма» и «ревизионизма», неизбежность «авангарда» и т. п. Подобные упрощения создали возможность разрыва всякой связи марксизма со сложностями реального мира, так как весь анализ сводится просто-напросто к доказательству истинности уже объявленной истины в ее чистой форме. Таким образом, эта истина вполне может выступать в комбинации со стратегией чистого волюнтаризма. По существу же, эта остаточная форма марксистского фундаментализма, используемого в качестве руководства к действию, состоит из упрощенных элементов, взятых напрокат из классического ленинизма, если только и они не растворились в риторике, как это было в случае с нео-

анархистами. Вне всякого сомнения, многому можно научиться на опыте борьбы прошлых лет и от такого исключительного профессионала революционной политики, каким был Ленин, но, конечно же, не путем буквальных ссылок на прошлое и сочинения Ленина.

Повторим еще раз: если общая экономическая теория Маркса и его анализ капиталистического развития должны, судя по всему, оставаться точкой отсчета для будущих марксистов, «классические» тексты определенного периода уже не могут использоваться для описания последующих этапов капитализма. Благодаря присущему ему реализму Ленин признал этот факт: его работа по империализму в отличие от других сочинений марксистов, пытавшихся проанализировать новый этап капитализма после 1900 года⁴³, не содержит никаких ссылок на тексты Маркса и Энгельса, за исключением двух важных фрагментов, заимствованных из их переписки и касающихся последствий существования Британской империи для английского рабочего класса. И тем не менее в период, последовавший за 1917 годом, авторы огромного числа марксистских работ, посвященных развитию капитализма в данный момент времени, не последовали за Лениным, а, напротив, приложили действительно колоссальные усилия, чтобы доказать, что ленинская работа (или, что реже, какое-нибудь другое марксистское сочинение) является — де все еще действенным анализом той фазы капиталистического развития, которую Ленин опрометчиво назвал «высшей», либо чтобы откомментировать эту ленинскую работу, либо чтобы уже тогда, когда эта работа стала представлять собой лишь исторический интерес, выводить из случайно брошенной Лениным в 1917 году фразы целую теорию «государственно-монополистического капитализма» применительно к периоду после второй мировой войны⁴⁴. Выйдя из все менее многочисленных рядов старой догматической ортодоксии, большая часть марксистов не чувствует себя более обязанными использовать в собственном анализе нынешнего этапа капитализма терминологию, содержащуюся в тех текстах, которые относятся к обстановке, уже в значительной мере связанной с прошлым.

Наконец, теперь широко признано, что самой теории Маркса, в той мере, в какой он ее систематическим образом сформулировал, не свойственна гомогенность, по меньшей мере в

⁴³ Например, «Финансовый капитал» Гильфердинга и «Накопление капитала» Розы Люксембург, где они постоянно ссылаются на Маркса.

⁴⁴ Это фраза из его работы «Государство и революция». Тот факт, что в 70-е и 80-е годы анализ опирался на зыбкий авторитет текста, привел к тому, что задолго ленинцы почувствовали себя обязанными утверждать, будто государственно-монополистический капитализм переживал этап полного развития в течение и после первой мировой войны. См. статью: Staatsmonopolistischer Kapitalismus.— In: "Wörterbuch der marxistischen-leninistischen Soziologie". Berlin, 1977, p. 624 sgg.

одном плане. Можно утверждать, что она включает анализ капитализма и его тенденций и в то же время некую историческую надежду — выраженную с чрезвычайной пророческой страстностью и в терминологии гегельянской философии — в духе извечного стремления человека к созданию более совершенного общества, которое достижимо благодаря пролетариату. В интеллектуальном развитии Маркса второй элемент предшествовал первому, и в интеллектуальном плане его нельзя вывести из первого. Другими словами, имеется качественное различие между тезисом, согласно которому, например, капитализм порождает по своей природе непреодолимые противоречия, неизбежно создающие условия для его преодоления, так как централизация средств производства и обобществление труда в конце концов приходят к той стадии, на которой становятся несовместимыми с развитием капитализма, и другим тезисом, по которому послекапиталистическое общество положит конец отчуждению человека и приведет к полному развитию всех индивидуальных человеческих способностей. Эти два тезиса принадлежат двум различным формам речи, хотя в конечном счете они оба могут считаться истинными⁴⁵.

Кроме того, никогда не отрицалось, что Маркс не оставил после себя никакого определенного свода систематической теории (только один том «Капитала» был им действительно доведен до конца); трудно также отрицать, что ему не всегда удавалось с успехом перевести «грандиозность замысла»⁴⁶ на удовлетворительный язык теоретического анализа. Так, в Марксовом анализе имеются «теоретические проблемы, в течение длительного времени являвшиеся предметом разногласий» среди марксистов, равно как и «интерпретации марксистских теорий, которые широко разошлись друг с другом»⁴⁷. Это не могло не заставить теоретиков изучать все, написанное Марксом, с чрезвычайным вниманием; однако эти попытки соединить все, что вышло из-под его пера, в последовательное и реалистическое целое имеют мало общего с использованием этих текстов в качестве авторитетных высказы-

⁴⁵ С этой точки зрения дискуссии насчет разрыва, существующего между юным Марксом и Марксом зрелым, ставшие известными благодаря альтюссеровской формулировке об «эпистемологической купюре» и предваренные нежеланием советского ортодоксального марксизма признать ранние сочинения Маркса по праву принадлежащими к учению марксизма, были действительно важными. Вопрос заключался, однако, не в том, отказался ли Маркс от гегелевского наследства или от аргументации, содержащейся в парижских рукописях 1843 года. Ясно, что он этого не сделал. Вопрос, пожалуй, состоит в том, каков эффект, вызванный сочетанием двух совершенно противоположных способов представлять себе будущее.

⁴⁶ J. A. Schumeter. Storia dell'analisi economica. Torino, 1960, p. 538.

⁴⁷ P. M. Sweezy. The Theory of Capitalist Development. London, 1946, p. VII (trad. it. Torino, 1951).

ваний в области того, «чему нас учит марксизм». Немногочисленны, зато хорошо подготовлены экономисты-марксисты, которые всегда считали адекватными популярными изложениями марксистской политической экономии (как, например, вторую часть «Анти-Дюринга» Энгельса). Подобные изложения или основополагающие тексты Маркса, рассматриваемые в этом ключе (например, работа «Заработная плата, цена и прибыль»), сыграла важную роль в тот период, когда марксистское образование активистов и членов массовых рабочих и социалистических партий было первоочередной функцией самих этих партий. В результате их преобразования, а порой и ослабления, а также заката ортодоксии, декларировавшей существование только одного «правильного» марксизма, их роль уменьшилась. Во всяком случае, марксистская теория, де-факто адресованная прежде всего интеллигенции — будь то активистам партии, выпускникам вузов или тем и другим вместе, — обнаружила тенденцию к менее некритическому подходу к классическим текстам⁴⁸.

Четвертая характерная черта марксистской мысли в период после 50-х годов заключается в следующем. Марксисты сосредоточили усилия главным образом в области социальных и гуманитарных наук, не говоря уже о естественном интересе к вопросам, непосредственно связанным с политической деятельностью. Что же касается широких и фундаментальных пластов естественных и технических наук, то это та область, куда рискнули проникнуть лишь немногие марксисты в последнюю четверть века; в иных кругах стало даже модно утверждать, что марксизм не имеет ничего общего с этой областью знаний или даже что он структурно имеет дело с «природой» только лишь как с «человеческой природой»⁴⁹. Это противоречит не только Марксу и Энгельсу, которые оба весьма интересовались естественными науками и у обоих было что сказать об этих науках (хотя Энгельс уделял им больше внимания, чем Маркс), но и некоторым периодам истории марксизма, как, например, 30-м годам, когда определенное число ученых (по крайней мере в Англии и во Франции) были увлечены марксизмом и пытались применить его к научно-исследовательской работе в своих областях. Наука,

⁴⁸ Ср.: *M. Dessai. Marxian Economic Theory*. London, 1974. Хороший пример работы, предназначенной для студентов, написанной экономистом-марксистом: «В этой книге Марксова политэкономия рассматривается как программа научно-исследовательской работы, продолжающейся и в наше время, когда необходимо разрешить целый ряд вызывающих сомнения вопросов» (p. 6).

⁴⁹ *G. Lichtheim. On the Interpretation of Marx's Thought*. — In: *From Marx to Hegel*. New York 1971, p. 69: «Ясно, что единственная «природа», взятая в соображение Марксом, — это природа человека наряду с природой среды, которую он преобразует благодаря своей «практической деятельности». При этом внешний мир, как существующий в себе и для себя, является несущественным».

социальные факты и политика сегодня соединены друг с другом как никогда прежде, и многие ученые, конечно же, сознают и свою социальную функцию, и свою ответственность. Среди ученых и теперь есть радикалы и даже революционеры и марксисты, несмотря на то что некоторая враждебность по отношению к науке и технике как таковым (чаще всего в философии под видом отбрасывания «позитивизма») была очень распространена среди радикальной «новой левой» молодежи начиная с 60-х годов. Судя по всему, именно по этой причине радикальные левые потеряли свою привлекательность в глазах тех, кто занимался естественными науками, исключая, однако, те отрасли биологических наук, где явно невозможно обойти темы, связанные с природой человека и общества (например, генетика или смежные с ней области). Так или иначе, марксизм радикальных ученых имеет слабые связи с их профессиональной теорией и практикой.

Можно выдвинуть предположение, что большая часть специалистов в области естественных наук и технических дисциплин, работающих в социалистических государствах, также придерживаются того мнения, что марксизм не является существенным для их профессиональной деятельности, хотя они и не решаются заявить об этом открыто. Но как серьезные ученые они не могут не иметь собственной точки зрения на отношения между естественными науками и настоящим и будущим общества.

Такое положение дел явно ограничивает сферу действия марксизма, одной из мощнейших привлекательных сторон которого для прошлых поколений была именно его способность, как представлялось тогда, выработать полную, всеобъемлющую и ясную концепцию мира, частью которого и является человеческое общество и его развитие. Можно ли продолжать движение именно в этом направлении? Трудно сказать. Можно только отметить наличие признаков того, что полное исключение из марксизма всего того, что не связано непосредственно с человеческой деятельностью, вызывает определенную реакцию⁵⁰. Можно также заметить, что философские моды, согласно которым отрицается объективное существование мира или возможность его познания на основе наблюдений, исходя из того, что все «факты» существуют только в силу априорной концептуальной структуры человеческого мозга, переживают закат (и в самом деле было бы затруднительно соединить их с практической деятельностью как самих ученых, так и тех, кто желает переделать мир при помощи политических действий). Конечно же, можно предвидеть возврат к более широкой концепции марксизма, чем та, которая господствовала в самые последние десятилетия.

⁵⁰ Например: S. Timpanaro. Sul materialismo. Pisa, 1975.

5. Кризис «внутри» марксизма

В свете сказанного на предыдущих страницах не вызовет удивления тот факт, что исследователи периода после 50-х годов в который уже раз говорят о кризисе марксизма. Былые убеждения или конкурирующие с ними предположения относительно будущего капитализма, социальных и политических сил, которые, как ожидается, в состоянии произвести переход к новой общественной системе, относительно природы социализма, который будет построен, и природы и перспектив того общества, которое уже сейчас заявляет о том, что осуществляет социалистические преобразования, — все эти былые убеждения были поставлены под сомнение. Или, лучше сказать, они более не существуют. Фундаментальная теория марксизма, включая и мысли самого Маркса, как правило, в широком масштабе подвергается глубокому критическому изучению и переосмыслению с целого ряда полемизирующих друг с другом позиций. Значительная часть из того, что большинство марксистов приняло бы в прошлом, сегодня поставлено серьезным образом под вопрос. Если исключить официальные идеологии социалистических государств и тех или иных — как правило, небольших — сект фундаменталистов, все интеллектуальные усилия марксистов исходят из той предпосылки, что традиционная теория и доктрины марксизма нуждаются в существенном переосмыслении, модификации и ревизии. С другой стороны, спустя 100 лет после смерти Маркса никакую особенную версию этого переосмысленного или модифицированного марксизма нельзя считать утвердившейся в качестве господствующей.

Все это по праву может быть описано как некий кризис марксизма или, лучше сказать, как кризис *внутри* марксизма. Ибо, как мы уже видели, взятие под сомнение традиционного марксизма происходило параллельно с ярко выраженным общим ростом привлекательности и влияния марксизма. Нельзя, конечно, утверждать, что это зависело от привлекательности, свойственной живым и развивающимся марксистским партиям (а это действительно имело место в последнее десятилетие прошлого века), ибо сегодня ничто в той ситуации, в которой находится большая часть этих партий, не позволяет так думать. Напротив, если до 1956 года отождествление с СССР (воспринимаемым, правильно ли, ошибочно ли — другой вопрос, как первое рабочее государство, плод первой рабочей революции, первое социалистическое общество) являлось подлинно вдохновляющим источником для активистов, особенно рабочих, и для международного коммунистического движения (причем до 1945 года не только для них), то сегодня оно все более отталкивает интеллигенцию и более широкие слои общества. В самом деле, основное течение антимарксиз-

ма начиная с 50-х годов было склонно следовать простой логике политических рассуждений — отвергая также и «неомарксистов», которые были ревизионистами каждый на свой лад, — построенных, по сути дела, на том, что тот, кто открыто не откажется от Маркса, неизбежно придет к сталинизму или к его эквивалентам. Традиционные попытки доказать, что Марксовы теории в интеллектуальном отношении сегодня непригодны, хотя еще и не совсем прекратились, стали менее существенными, и ныне редко можно столкнуться с точкой зрения, согласно которой Маркс и марксисты отвергались бы как не заслуживающие внимания в интеллектуальном плане.

Рост влияния марксизма был обусловлен другими факторами. Вне сомнения, он был облегчен некоторым прояснением в идеологической сфере на протяжении 60-х годов. Поражение фашизма на некоторый период практически свело на нет правый радикализм как псевдореволюционный по причине его связей с гитлеризмом; отказ от социальной критики со стороны либералов, приходивших все чаще в 50-е годы к идеологии самодовольства, превозносившей способность существующего ныне западного общества разрешать все свои проблемы, оставил свободным поле деятельности для Маркса. Именно прочувствованная необходимость радикальной критики буржуазного общества и наиболее вопиющих форм неравенства и несправедливости, имеющих место внутри этого общества, наряду с существовавшим явно неприемлемым режимом привела многих к марксизму. Важную роль сыграл также и тот факт, что организованные марксисты считались наиболее эффективными борцами против подобных режимов. Так, проникновение марксизма в интеллектуальную жизнь Испании произошло в 60 - - 70-е годы, когда роль Коммунистической партии Испании внутри антифранкистской организованной оппозиции была явно центральной.

Короче говоря, как уже было сказано в отношении марксистской экономики, марксизм в целом остается живым и жизнеспособным учением «благодаря непреходящему политическому значению Марксова анализа. Он является инструментом анализа капитализма, и в этом смысле изучение его приносит пользу»⁵¹. После же изучения его становится очевидно, что свойственный ему значительный интеллектуальный интерес оказывает притягательную силу. До тех пор пока капитализм нуждается в критике, марксизм, пусть трансформированный, вряд ли когда-либо исчезнет.

Каким будет его будущее, невозможно предвидеть. Но он останется в качестве теории. Было бы абсурдно утверждать — подобно тому, как поступали даже серьезные критики в 50-е и 60-е годы, — что он уже исчерпал свои интеллектуальные

⁵¹ *Desai. Marxian Economic Theory, cit., p. 2.*

и творческие потенции. Рост марксистской интеллигенции «по вертикали», разнообразие и высокое качество научно-исследовательских работ интеллектуалов-марксистов, наконец-то освободившихся от необходимости отстаивать ошибочные или устаревшие утверждения⁵², увеличение числа марксистских работ в библиотеках и та глубина, с какой элементы марксизма проникли в общую культуру и в различные академические дисциплины, — все это лишает подобные утверждения какой бы то ни было основы. Интеллектуальные моды меняются, равно как и положение чаши весов в дискуссии между учеными. Однако представляется крайне невероятным, чтобы место, которое Маркс завоевал в интеллектуальном мире нашего столетия, стимул, найденный в марксизме многими интеллектуалами, и дискуссии, развернувшиеся вокруг него, исчезли в будущем, — разве что произойдет уничтожение всех книг или вообще всего человеческого общества в его внешней форме.

С другой стороны, невероятно, чтобы он имел большое будущее в качестве догматической идеологии, все более далекой от реальности, то есть в таком виде, в каком он развился в СССР и других социалистических странах. И в качестве такового он является продуктом исторических обстоятельств, воспроизводство которых немислимо в большей части будущего мира. Хотя социальные революции, осуществляемые партиями ленинского авангарда (или такими, которые стараются стать на них похожими), еще могут кое-где и произойти, теперь кажется очевидным, что революции «большевистской» эры (от Ленина до Мао) не были ни предшественниками, ни моделями социалистического преобразования остальной части мира, несмотря на то что им иногда и подражали в «третьем мире»⁵³. Какую бы форму ни принял переход к социализму в тех странах мира, которые в настоящее время не являются социалистическими, невероятно, чтобы он последовал, даже в большинстве стран «третьего мира», моделям 1917—1949 годов, равно как невероятно, чтобы послекапиталистический

⁵² До 1956 года было бы трудно найти какого-нибудь марксиста, который согласился бы заявить со всей искренностью, что «большая часть из того, что считается оригинальной марксистской теорией первобытных обществ, является ни чем иным, как компиляцией старых антропологических тезисов, лишь переформулированных в марксистской терминологии. Наиболее известный пример, хотя, быть может, и не единственный, да и не самый крупный, — это работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», которая, как всем хорошо известно, построена на идеях Моргана, Бахофена и др., многие из коих либо опровергнуты, либо переосмыслены современной антропологией» (A. Palerm. *Antropologia y marxismo en crisis*. — In: «*Antropologia y marxismo*». Mexico, 1980, p. 15).

⁵³ Не произошли французское военное вмешательство, вьетнамская революция, производимая типичной ленинистской «авангардной партией», одержала бы победу раньше китайской революции.

марксизм повторил модель нынешнего государственного социализма. Что же касается последнего, то можно ожидать процесса его эрозии изнутри⁵⁴.

И последнее: каково будущее марксизма как руководства к политическому действию движений, стремящихся к преобразованию общества? Каким будет исход предпринимаемых ими усилий? Единственное, что можно утверждать с уверенностью, это то, что марксистская практика приспособляется и, вероятно, будет продолжать приспособляться все более сознательным и систематическим образом к историческому периоду, весьма отличающемуся от того, когда эта практика оформилась в своих разновидностях — социал-демократической и коммунистической. Это еще более верно для стран «третьего мира», равно как и для остального мира. Точно так же очевидно в свете истории социалистических государств этих последних 30 лет, что необходимость широкомасштабного корректирования уже признана на практике, хотя и не обязательно отражена в официальной теории.

Историк марксизма, как историк, не должен говорить больше того, что уже сказано. Как заметил сам Маркс, предваряя одно из своих наиболее действенных сочинений «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «люди сами делают свою историю». Но делают ее, как еще раз подчеркивает Маркс, «не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали». Однако делают. Несомненно, является истиной, как для марксистов, так и для всех, что люди делают историю не только в рамках новых обстоятельств, вмешивающихся в их жизнь помимо их воли, но также и под тяжестью «традиций всех мертвых поколений», включая сюда и те, которые познали целое столетие марксизма. Вне всякого сомнения, некоторые темы истории марксизма могут быть описаны при помощи слов, заимствованных из «Восемнадцатого брюмера»: «И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории»⁵⁵.

И однако же они работают, чтобы переделать самих себя и то, что их окружает, и они уже изменились благодаря этим действиям и будут по-прежнему изменяться. Как и сам

⁵⁴ Это не означает, что в социалистических странах с давней марксистской традицией, восходящей к XIX веку, например, в СССР или ГДР, не могут произойти интересные события, пусть в жестких рамках официальной идеологии.

⁵⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 119.

Маркс, они будут искать, несмотря на то что не смогут полностью разорвать путы своего времени и преодолеть наследие собственного прошлого, каким образом «покончить со всяким суеверным почитанием старины... Революция [XX-го *] века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы»⁵⁶.

Настоящая «История марксизма» была начата ссылкой на ту «очевидную предпосылку, что историю марксизма нельзя считать завершенной, поскольку марксизм — это структура постоянно живой мысли»⁵⁷. Следовательно, практика марксизма продолжается. Если верно, что люди сами делают свою историю, то, какие формы она примет и каким будет ее исход, зависит от того, что сделают марксисты. Но это выходит за границы исторического предвидения, хотя и входит в задачи рефлектирующего разума и создания надежды.

* Разумеется, у Маркса написано: «XIX».

⁵⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 122.

⁵⁷ См.: "Storia del marxismo", vol. I, p. XII.

Франц Марек

ТЕОРИИ РЕВОЛЮЦИИ И ПЕРЕХОДНЫЕ ФАЗЫ

Марксистской мысли приходится неоднократно сталкиваться на практике с коренной проблемой теории: Марксову модель революции получает воплощение не в передовых промышленно развитых странах, для которых она была разработана, а в отсталых странах, причем в наиболее развитых промышленных странах Запада — Соединенных Штатах Америки, Англии, Федеративной Республике Германии — марксистское движение оказывается чрезвычайно слабым. Безусловно, социализация производства пошла по предполагаемому пути; вмешательство государства и меры, проводимые им, свидетельствуют об утрате средствами производства функций капиталистической собственности, но тем не менее пролетариату не удалось завладеть властью. Указания Маркса и Энгельса, согласно которым неизрасходованная энергия еще не осуществленной буржуазной революции способна питать пролетарскую революцию в отсталых странах (именно поэтому в 40-е годы XIX века Маркс и Энгельс сосредоточили свое внимание на Германии, а в 80-е годы — на России), практически заслонили собой основную модель. Не случайно Грамши назвал Октябрьскую революцию «революцией против „Капитала”», революцией вопреки главному произведению Маркса. Однако Ленин, верный концепции своих учителей, утверждал, что революция в отсталой стране станет детонатором для мировой революции, способным занести искру революции в передовые промышленные страны, то есть в страны, отвечающие классической модели революции. Между тем трагедия Троцкого главным образом и состояла в том, что он всю свою жизнь верил в классическую модель революции, которая на деле не подтвердилась¹. Следует напомнить, что Ленин, не облекая свою интерпретацию Маркса в логическую систему, утверждал на II конгрессе Коминтерна, что отсталые страны при поддержке пролетариата развитых стран могли бы прийти к советскому строю и

¹ См.: *E. H. Carr. 1917: Illusioni e realtà della rivoluzione russa. Torino, 1976*.

к коммунизму, минуя капиталистическую фазу. Если в этой концепции еще ощущается связь с классической моделью революции, то очевидно, что акцент смещается в сторону «забытых» континентов — главным образом Азии и (несколько меньше) Африки и Латинской Америки.

1. Передовые страны и национальные пути к социализму

Радикальные преобразования, происшедшие после второй мировой войны, поначалу были истолкованы многими марксистами как настоящие революции, поскольку частная капиталистическая собственность была в значительной мере экспроприирована, основные отрасли промышленности национализированы, а управление государством взяла на себя партия, объявившая себя марксистской. Отсталость большинства этих стран наводила на аналогию с советской моделью, однако тем же путем пошли два промышленно развитых государства — Восточная Германия и Чехословакия. Так как в большинстве случаев революционное рабочее движение в этих странах было довольно слабым, советские теоретики революции представили Красную Армию в качестве субъективного фактора, вышедшего за рамки собственной страны: по убеждению Сталина, революция должна была развиваться естественным путем, подобно расплывающемуся на воде маляному пятну.

Китайская революция, напротив, никак не увязывалась с ленинским вариантом марксистской модели, хотя Мао, выстраивая свою модель, использовал марксистские концепции, непрестанно обращаясь и к Марксу, и к Ленину. Но в модели Мао главной силой революции оказывались крестьяне, а установка о руководящей роли пролетариата находила выражение главным образом в руководящей роли марксистской интеллигенции. Кроме того, известную роль — не только на этапе антиимпериалистической и антифеодальной борьбы, но и в период построения социализма — должна была играть национальная буржуазия. Следовательно, и революционные вспышки в Африке, и кубинскую революцию нельзя считать простыми разновидностями этой великой антиимпериалистической революции; они имеют собственные четко выраженные черты, даже если каждый их боец и цитирует высказывание Мао о том, что необходимо чувствовать себя среди населения, как рыба в воде.

Главная проблема теории приобрела, таким образом, форму конкретных и острых вопросов. Является ли исторической закономерностью тот факт, что революция побеждает в остальных странах, а не на промышленно развитом Западе, как это предсказывали Маркс и Энгельс? Имеются ли револю-

ционные перспективы у Запада или следует ждать, пока революционная волна, поднявшаяся в «центрах мировой революции третьего мира», не распространится и на западные страны? Может ли тот факт, что революционная модель, разработанная Марксом, не осуществилась, быть достаточным основанием для вывода о том, что и Марксова модель социализма не получила практического воплощения в Восточной Европе? Какой может быть модель революции на Западе в наши дни? Совершенно ясно, что невозможно ответить на эти вопросы без некоторой ревизии отдельных теоретических положений. Это как раз и объясняет, почему сейчас почти нет марксистов или марксистских групп, которых не обвиняли бы в «ревизионизме».

В частности, на риск такого обвинения пришлось пойти и тем, кто пытался разработать революционные модели для промышленно развитых стран. Они предлагали отход от всех формул, провозглашенных основоположниками марксизма, серьезный анализ современного капитализма и роли государства в нем, а также дискуссию о том, возможно ли вмешательство и регулирование со стороны государства при проведении мер, противоречащих логике капиталистической прибыли. Как отмечал еще Энгельс, усиление роли государства можно расценивать как частичное признание общественного характера производства, навязанного капиталистам. В заново открытых «Экономических рукописях 1857 -- 1859 годов» (первоначальный вариант «Капитала») (Grundrisse) можно прочитать: «До тех пор пока капитал слаб, он сам еще ищет опору в прошлых или исчезающих с его появлением способах производства. Когда он чувствует себя сильным, он отбрасывает эти костыли и движется соответственно своим собственным законам. Когда он начинает ощущать самого себя пределом для развития и когда его начинают рассматривать как такой подлежащий преодолению предел, он ищет прибежище в таких формах, которые, хотя они кажутся завершением господства капитала, вместе с тем, в результате обуздания свободной конкуренции, являются провозвестниками его разложения и разложения покоящегося на нем способа производства»².

Доказательством предсказанного «Капиталом» разделения функций собственности и управления³ можно считать явление, нашедшее выражение в утверждении прослойки менеджеров, тесно связанной с собственностью. Именно это явление придало широкий резонанс аналогии, проведенной Грам-

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. II, с. 155.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, с. 420: «Промышленный капиталист, в отличие от собственника капитала, выступает поэтому не как функционирующий капитал, а как лицо, функционирующее даже помимо капитала...»

ши, напомнившим о том, как в свое время аристократия потеряла монополию на командование войсками⁴. И подобно тому, как абсолютизм защищал собственные социальные и политические структуры с помощью «просвещения», так и современный капитализм пытается защититься от угрозы радикальных преобразований (то есть от революции) частичным признанием социального характера производства, деля это прежде всего по соображениям политической конъюнктуры⁵.

И тут, естественно, возникает такой серьезный спорный вопрос, который ставит под сомнение Марксову модель революции в целом: считается ли пролетариат все еще тем революционным фактором, который может и должен создать новое общество? Разве с возникновением «общества благосостояния» не достигнута настолько широкая интеграция рабочего класса в общество, что всякая модель революции — при условии, что последняя рассчитана на высокоразвитые промышленные страны, — оказывается зависимой от других сил и факторов? Чарлз Райт Миллс⁶ (безусловно, исходя из Маркса) взбунтовался против всякой метафизики труда, обратив внимание на тот факт, что не рабы создали феодальное общество и не крепостные крестьяне — буржуазное. Поскольку рабочие стали в большой мере переменной величиной в системе, способными проводить экономические забастовки в целях удовлетворения своих непосредственных нужд, Марксова модель революции должна была бы утратить свое обоснование. Но даже если бы все это и имело смысл для Соединенных Штатов, где революционными факторами в разнооб-

⁴ Gramsci A. Quaderni del carcere (a cura di V. Gerratana). Torino, 1975. (Quaderno 12. Per la storia degli intellettuali), p. 1513 sgg. Грамши А. Избранные произведения, т. III, с. 457—458: «Всякая социальная группа, рождаясь на исконной почве экономического производства, органически создает себе вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание ее собственной роли не только в экономике, но также и в социальной и политической области... Можно заметить, что представители «органической интеллигенции», которую каждый новый класс создает вместе с собой и вырабатывает в своем поступательном развитии, являются большей частью «специалистами» в области отдельных сторон основной деятельности нового социального типа, который новый класс вывел в свет. И феодальные сеньоры обладали известной технической способностью (в частности, в области военной деятельности), и именно с того времени, когда аристократия теряет монополию в военно-техническом деле, начинается кризис феодализма».

⁵ Так, в резолюции VIII съезда ИКП (1956) говорилось: «Появление государственного капитализма также может открыть путь к социализму, если оно будет сопровождаться политической борьбой, которая обеспечит доступ трудящимся классам к управлению государством и позволит им осуществлять эффективный контроль за управлением общественным богатством».

⁶ C. Wright Mills. The Marxists. London, 1963.

разных теориях выступают негры, «белые негры», маргиналы, «молодежь как класс» и т. п., то можно ли это применить к Западной Европе с присущими ее рабочему движению традициями? Разве не идет речь о том, чтобы добиться проведения той моральной и интеллектуальной реформы, за которую выступал Грамши и которая — в силу того, что революция не обязательно должна быть следствием процесса абсолютного обнищания, — открывает путь для социалистического преобразования общества? Уже Шумпетер в своей работе «Капитализм, социализм, демократия» обвинял интеллигенцию главным образом за ее «активную разлагающую деятельность», которая угрожает капитализму.

Официальный марксизм искал ответа в «национальных программах», которые пытались соединить анализ современного капитализма с одним из вариантов Марксовой модели революции. Попытки в этом направлении делались уже после второй мировой войны, однако полемика с Югославией привела к тому, что эти «программы» исчезли со сцены вместе со своими исполнителями⁷.

И в этом случае путь был открыт XX съездом КПСС. В своем докладе съезду Хрущев утверждал, что новое соотношение сил на мировой арене делает возможным «парламентский путь к социализму» в промышленно развитых странах. Возникшие условия позволяют рабочему классу — если он сумеет объединить вокруг себя сельских труженников, интеллигенцию и все патристические силы, нейтрализовав при этом оппортунистов, неспособных отказаться от политики компромиссов с капиталистами и помещиками, — окончательно подавить реакционные силы, завоевав устойчивое большинство в парламенте и преобразовав его из органа буржуазной демократии в орган выражения народной воли. В этом случае, как утверждал Хрущев, такой традиционный для высокоразвитых стран институт мог бы стать инструментом подлинной демократии, демократии для трудящихся. Но еще до полемики с китайскими коммунистами, которые отвергли тезисы Хрущева как ревизионистские и оппортунистические, компартии Западной Европы осторожно отвергли отождествление парламентского пути с мирным путем, заявив в своих программных резолюциях о пути их стран к социализму, что эта возможность зависит не только от новой расстановки сил, но и от поведения сил реакции, и подправили слишком идиллический вариант Хрущева, отметив, что и мирный путь к социализму чреват суровой и трудной борьбой народа.

Моделью для этих программ послужил главным образом «итальянский путь к социализму», указанный Тольятти; в нем ленинский принцип подхода к революции и полного развития

⁷ См. "Storia del marxismo", vol. 3/II, p. 726 sgg. e 747 sgg.

демократии нашел свое отражение в форме постепенного перехода: предполагалось поэтапное проведение структурных реформ на пути к социализму. Эта концепция была разработана еще в годы Сопротивления, и дух ее проник даже в конституцию Итальянской Республики, причем в такой степени, что, по мнению Тольятти, она оказывалась вполне совместимой с мерами, направленными на разрушение капиталистической структуры общества, которые могли бы открыть Италии путь к социализму. «Стремление к постоянному утверждению демократических ценностей и демократии, открытой для любого нового возможного развития»⁸, должно было получить отражение в «демократическом программировании», то есть таком программировании, которое будет направлено на преодоление капитализма.

В 1959 году коммунистические партии Западной Европы, не случайно собравшиеся в Риме, заявили, что демократия является главной целью их стратегии, хотя в то время они все еще ожидали, что в этом вопросе им поможет практическое доказательство превосходства реального социализма, особенно практика Советского Союза. Ориентация на структурные реформы все больше сосредоточивалась на двух основных направлениях: на мерах по национализации, способных ограничить власть монополий, и на рабочем контроле внутри предприятий в целях укрепления власти самих трудящихся. Таким образом, после XX съезда КПСС вновь вернулись к той давно существовавшей в марксистском движении ориентации (ее защищала еще Роза Люксембург сразу после Октябрьской революции)⁹, согласно которой социализм не должен упразднять уже существующие демократические завоевания, а обязан еще больше расширять сферу демократических свобод.

Несмотря на неоднократные заявления о том, что выбор мирного пути к социализму нельзя отождествлять с парламентским путем, в основе программ коммунистических партий Западной Европы все же появилось положение о том, что в этих странах рабочее движение не может ориентироваться на фронтальное наступление на капитализм. Независимые марксисты вроде Андре Горса и других исходили из предпосылки о кризисе парламентской демократии, интерпретируя (толкая) структурные реформы как вмешательство, имеющее целью разрушить систему путем осуществления трудящимися контрольных функций, без чего сами меры по огосударствлению не будут шагом вперед. Противоречивый вопрос — реформы или революция — был разрешен с помощью форму-

⁸ P. Togliatti. *La via italiana al socialismo*. Roma, 1964, p. 258 (см.: П. Тольятти. Избранные статьи и речи. М., т. II, с. 968—969).

⁹ См.: "Storia del marxismo", vol. 2, p. 352 sgg.

лы «революционные реформы». Речь шла о реформах, которые в полной мере создавали бы условия для будущей пролетарской демократии: трудящиеся должны были взять на себя функции контроля, понимаемые как средство борьбы, но в особенно напряженных ситуациях превращающиеся в функции власти самих трудящихся¹⁰. Речь шла, таким образом, о создании «центров народной власти при прямой демократии» в рамках стратегии переходного периода, содержанием которого и были революционные реформы.

После майских событий 1968 года в Париже и «горячей осени» 1969 года в Италии на смену дискуссиям о структурных реформах пришли споры о формах прямой демократии по типу Советов. Проблема огосударствления окончательно отошла на второй план. Во Франции речь шла о самоуправлении, в Англии — о «рабочем контроле», в Скандинавских странах — о «демократии на рабочих местах», в немецкоязычных странах — об «участии в управлении», при этом здесь использовали термин, свидетельствовавший о значительных изменениях, которые претерпела идея, первоначально не очень далекая от идеи «социального партнерства». В ту пору вновь возродилась идея Советов, так глубоко проникшая в европейское рабочее движение после первой мировой войны. Вновь переиздали Паннекука и Корша, а на всю дискуссию, несомненно, повлияла та трансформация, или, лучше сказать, та «эрозия», жертвой которой стала сама концепция «Советов» в СССР. Разве не ликвидация фабрично-заводских комитетов, которую пожелал Ленин, привела к перерождениям в сталинскую эпоху? И разве идея Советов не была выхолощена еще при жизни Ленина, когда партийный аппарат взял на себя все функции руководства? Естественно, что в таких дискуссиях вновь была изучена и проанализирована роль профсоюзов. В результате ленинское определение профсоюзов как «приводного ремня» было отброшено как изжившее себя в ходе технической эволюции. Но дело этим не ограничилось: более глубокую разработку получила проблема интеграции рабочих организаций, для которых характерен бюрократический патернализм, противоречащий любой форме прямой демократии и любым усилиям, направленным на ее осуществление.

В ходе дискуссий неизбежно должен был возникнуть и вопрос о Советах, а именно — кого и как они должны представлять? Можно ли еще говорить о пролетариате в Марксовом понимании этого термина? Соответствует ли сегодня термин «диктатура пролетариата» тому, что говорил об этом Маркс в своем письме Вейдемейеру в 1852 году или в «Критике Готской программы»? Остается ли эта концепция в силе, несмотря на опорочившую ее практику? Можно ли

¹⁰ А. Gorz. Réforme et révolution. Paris, 1967.

говорить о «главенстве пролетарского ядра», если в передовых промышленных странах это ядро все более явно оказывается в меньшинстве внутри класса работающих по найму? В то же время разве отказ от этой марксистской концепции не является типичным для хрущевского ревизионизма?

Факты свидетельствуют о том, что в передовых промышленно развитых странах число служащих начало превосходить число занятых ручным трудом, что появился средний класс работающих по найму, в который входят ИТР, научные работники и вообще все те, кто раньше представлял «свободные профессии», что, наконец, приобретен опыт таких забастовок, в ходе которых именно на наиболее современных предприятиях технические кадры (в основном довольные своим материальным положением) выдвигали требования качественного характера, связанные, например, с контролем над производством, в отличие от требований «количественного» характера, преобладавших в традиционных сферах — на строительстве, железных дорогах, текстильных предприятиях и т. д. Все эти структурные изменения, захватившие население, и особенно класс работающих по найму, а также накопленный опыт забастовок и борьбы побудили марксистов вновь обратиться к изучению той концепции «коллективного работника», которую Маркс разрабатывал в XIV главе первого тома «Капитала», объясняя ее необходимость тем, что в сложном трудовом процессе понятие «производительный работник» получает более широкий смысл, а продукт становится коллективным продуктом коллективного работника. В «Экономических рукописях 1857—1859 годов» (первоначальный вариант «Капитала») была обнаружена гениальная мысль, что, когда наука становится непосредственной производительной силой, создание реального богатства начинает зависеть не столько от затраченных времени и труда, сколько от общего уровня развития науки, технического прогресса и применения науки в производстве. Рабочий выполняет функцию наблюдения за производственным процессом и его регулированием, но не является более его главным действующим лицом. Похищение чужого рабочего времени становится слишком ничтожной базой для создания капиталистом богатства по сравнению с тем, что даст ему связь техники производства с наукой, в том смысле, что первая все больше оказывается результатом второй (см. Тетрадь VII). И наконец, разве в «Гражданской войне во Франции» Маркс не открыл удачной формулы различия между «производительными классами» и классами, «присваивающими» богатство?

После исследований, проведенных на современных предприятиях, Серж Малле пришел в 1966 году к заключению,

что «новый рабочий класс», то есть класс специализированных рабочих и техников, выражает волю к самоуправлению, причем к такому, которое соответствует более высокому уровню отчуждения и производства. «Новый рабочий класс неизбежно будет стремиться ставить иные проблемы, которые не могут быть решены в сфере потребления. Объективное положение рабочего класса делает его способным хорошо видеть трещины в современной капиталистической организации и приближает к осознанию необходимости нового типа организации производственных отношений — единственных, которые смогли бы удовлетворить человеческие потребности, но которых нет в современной структуре»¹¹.

Высококвалифицированный рабочий вновь обретает сознание производителя, как на заре движения пролетариата, когда еще была жива гордость ремесленников за свой труд, а Потье, автор «Интернационала», называл труженика «producteur» (производитель). В противоположность идее техноструктуры, выдвинутой Гэлбрейтом и в которой «все кошки серы» (от техника до генерального директора), С. Маллет подчеркивает, что и занятые на производстве квалифицированные рабочие и интеллигенция находятся в основном в одинаковом положении и для обеих категорий верно то, что Гэлбрейт относил только к рабочим, а именно отсутствие у них какого-либо контроля над управлением, то есть над предметом, способом и целями производства: «рабочие не обрели [власти]. Они завоевали лишь ограниченную возможность влиять на вознаграждение за труд и на условия труда, но не имеют никакой власти на предприятии»¹².

Таким образом, предметом дискуссии стала концепция о «демократии производителей», разработанная Грамши в условиях движения за создание рабочих Советов сразу после первой мировой войны. Эта концепция оказалась приемлемой, действенной, причем как для тех, кто стремился выстроить революционную модель, пригодную для промышленно развитых стран, так и для тех, кто критиковал результаты практики, в ходе которой Советы, воспринимавшиеся как первичные органы прямой демократии производителей, полностью утратили это содержание. Такая критика способствовала появлению течения «тьермондизма»¹³, которое в значительной степени опиралось на те революционные идеи, которые содержались в «генеральной линии», выдвинутой китайскими коммунистами в 1963 году.

¹¹ S. Mallet. La nuova classe operaia. Torino, 1970², p. 44.

¹² J. Galbraith. Il nuovo Stato industriale. Torino, 1968, p. 52.

¹³ «Тьермондизм» (от франц. tiers monde -- «третий мир») -- левореволюнистское течение, провозглашавшее «третий мир» главным центром революционного движения современности. -- Прим. ред.

2. Теория «третьего мира», слаборазвитость и насильственная революция

Эта линия возникла в результате полемики с советскими коммунистами и при открытом столкновении с «генеральной линией на мирное сосуществование» и мирное соревнование, которое должно предположительно завершиться победой социализма. Более того, опубликованный в Китае 14 июня 1963 года документ, целью которого было разносторонне осветить революционные идеи и революционную модель Коммунистической партии Китая, можно свести к двум главным тезисам: мирного пути к социализму не существует; Азия, Африка и Латинская Америка — очаги мировой революции. В ряде писем, продолжавших появляться до падения Хрущева в октябре 1964 года, эти тезисы оправдывались и уточнялись.

«Обширные территории Азии, Африки и Латинской Америки, — говорилось в документе, — это районы, где сосредоточены различные противоречия современного мира; самое слабое звено господства империализма, главная зона бурь мировой революции, которые наносят непосредственный удар по империализму».

Поэтому в определенном смысле дело революции международного пролетариата в целом зависит от революционной борьбы народов, проживающих в этих районах и составляющих подавляющее большинство населения земного шара. Руководствующаяся революционной моделью, предложенной Мао, эта «генеральная линия» предполагает возможность и необходимость как можно более тесного единства в национальной революционной борьбе.

«Самые широкие слои населения этих районов, — писало руководство КПК, — не хотят находиться под ярмом империализма. В их числе не только рабочие, крестьяне, интеллигенция, мелкая буржуазия, но патристически настроенная национальная буржуазия и даже некоторые патристически настроенные короли, принцы и аристократы».

Особенно часто возникает необходимость союза с патристически настроенной буржуазией (несмотря на ее неустойчивость и частые колебания) и с прогрессивным национализмом против реакционного национализма. Это положение остается в силе в некоторых новых независимых странах, где путь к социализму уже был открыт национально-демократической революцией («Предложение относительно генеральной линии международного коммунистического движения»).

Что касается развитых капиталистических стран, то здесь нет ни одного примера мирного пути к социализму. В документах китайских коммунистов мирный путь отождествлял-

ся с парламентским и при этом делались ссылки на доклад Хрущева XX съезду; утверждалось, что подобно тому, как не может быть мирного сосуществования угнетателей и угнетенных, так не может быть и мирного пути к социализму. Мирный путь к социализму допустим как тактический маневр; именно так поступили китайские коммунисты в ноябре 1957 года, приняв соответствующий документ, который они до поры не предавали огласке. Однако завоевание большинства в парламенте еще не означает разрушения государственного аппарата, а теория Тольятти о «структурных реформах» в конечном итоге выливается в иллюзию о том, что, мол, правительство народного фронта, имеющее большинство в парламенте, способно изменить буржуазный характер парламента и власти («Пролетарская революция и ревизионизм Хрущева», 31 марта 1964 года). Революционное насилие — главный закон пролетарской революции: оружие дает власть. А значит, убеждение, что социализм мирно, осязаемо сам продемонстрирует свое превосходство, попросту смехотворно. В самом деле, в письме от 30 марта 1963 года, направленном Центральным Комитетом КПСС Центральному Комитету Коммунистической партии Китая, действительно говорилось, что Советский Союз уже обогнал в экономическом отношении наиболее развитые европейские страны, он занимает сейчас второе место в мире и в ближайшем будущем выйдет на первое место.

Больше всего в китайских документах поражает оценка тех государств, которые освободились от колониального ига с помощью национальных революций, не придерживаясь при этом четко социалистической ориентации. Она отчасти напоминает оценки тех советских документов и особенно решений совещаний коммунистических партий (одобренные также Коммунистической партией Китая), в которых говорилось о «национально-демократических» государствах, идущих по некапиталистическому пути развития. Теперь же в своих речах китайцы нередко говорили о «националистических» государствах, которые не являются ни социалистическими, ни капиталистическими («Два полностью противоположных типа политики мирного сосуществования», 12 декабря 1963 года). Как совершенно очевидно, очень сложно давать однозначную и окончательную оценку явлениям, которые из-за их противоречивости и изменчивости нельзя ограничить рамками одной-единственной концепции. Вдобавок для полемики, которая развернулась внутри коммунистического движения при обсуждении моделей революции, было характерно использование таких марксистских концепций и терминов, которые шли вразрез с основной теорией, на которой строилась традиционная марксистская модель.

Это относится и к основополагающей статье по вопросам

стратегии «Да здравствует победа в народной войне!», опубликованной Линь Бяо в сентябре 1964 года и рекомендовавшей военные концепции Мао в качестве общей стратегии мировой революции. Описывая триумфальное шествие китайских коммунистов, Линь Бяо открыто заявлял: «Буржуазно-демократическая революция, направленная против империализма и феодализма, является в действительности крестьянской революцией... Крестьяне представляют собой главную силу сопротивления; война против японской агрессии была по своей природе революционной войной крестьян», хотя ею, несомненно, руководил пролетариат (обращение к марксизму-ленинизму заставляет постоянно прибегать к этой стереотипной формуле, не отражающей действительного положения вещей). Ведь речь тогда шла просто о создании отдельных опорных пунктов, а уж потом — о ведении маневренной войны и, наконец, о создании той народной армии, которая одержала победу во всенародной войне.

«В конечном счете марксистско-ленинская теория пролетарской революции есть теория, которая учит нас захвату политической власти путем революционного насилия, **противопоставляя народную войну войне против народа**».

«Мы должны, — продолжал он, — настойчиво подчеркивать, что теория товарища Мао Цзэдуна о создании революционных опорных пунктов в деревне и об окружении городов движением, начавшимся в деревне, имеет огромное, всеобщее и актуальное значение для революционной борьбы всех наций и угнетенных народных масс, в особенности — для наций и угнетенных народов Азии, Африки и Латинской Америки в их революционной борьбе против империализма и его лакеев».

Стратегия Мао, утверждал Линь Бяо, имела универсальную ценность прежде всего для «очагов мировой революции», а стратегия революции китайского образца еще и предвосхищала стратегию мировой революции. «Если в мировом масштабе Северную Америку и Западную Европу можно считать «мировым городом», то Азию, Африку и Латинскую Америку можно назвать «мировой деревней». Стало быть, еще и поэтому «главным противоречием современного мира» следует считать «противоречие между революционными народами Азии, Африки и Латинской Америки, с одной стороны, и империалистами во главе с США — с другой».

Идея о том, что мировая революция должна начаться в нескольких «очагах», и убежденность в необходимости революции, основанной на насилии, вновь получают отражение в африканских и латиноамериканских революционных моделях, где марксистские концепции произвольно видоизменяются как группами и отдельными лицами, которые не

причисляют себя к марксистам, так и целым движением, осуществившим революцию в свой домарксистский период (например, на Кубе). Поскольку эти группы не считают, что они обязаны как-то соотносить свои революционные модели с марксизмом-ленинизмом, то они очень часто отражают революционную проблематику своих стран куда яснее, чем с помощью терминологии китайских коммунистов. Словом, в них не чувствуется необходимости проверять революционную модель по марксистскому историческому закону, согласно которому революция есть результат противоречия между характером новых производительных сил и устаревшими производственными отношениями — напротив, производительные силы соответствуют определенным завоеванным ими производственным отношениям. Идеи, подобные изложенной в предисловии к первому изданию «Капитала», согласно которой «общество... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами», а способно лишь «сократить и смягчить муки родов» нового общества, следует оценивать применительно к революциям, которые часто трансформируют докапиталистическое общество в такое, где крупная промышленность, оптовая торговля и крупнейшие банки принадлежат государству и где государственное устройство сходно по характеру с теми европейскими странами, которые называют себя социалистическими. В этих странах официальный марксизм обычно оперирует не всегда убедительными отличительными признаками, прибегая к формулам типа «антикапиталистическая революция», «некапиталистический путь» или «национальная демократия».

По мнению Франца Фанона, алжирская революция была не только примером борьбы за национальное освобождение, направленной на отвоевание народом страны, собственного человеческого достоинства и своей земли. В книге «Проклятием заклейменные» (1961) Фанон утверждал, что именно крестьянство является подлинной силой революции; тем самым он предвосхитил утверждения китайских коммунистов, не прибегая к традиционной формуле о руководящей роли пролетариата. Городские партии и организации, профсоюзы, равно как и ассоциации торговцев и представителей свободных профессий, — это, по Фанону, привилегированные группы в колониальной системе, которые говорят на языке угнетателей. В отличие от китайских коммунистов Фанон полагал, что национальная буржуазия не сможет сыграть никакой роли ни в ходе революции, ни после нее; революционная интеллигенция организует крестьян, а часть городского люмпен-пролетариата созревает в процессе борьбы и становится союзником революционного крестьянства, которое является главной силой революции — революции,

по необходимости насильственной. «Крестьянин, деклассированный элемент, голодный — вот те из угнетенных, кто очень быстро понимает, что только насилие принесет плоды. Для них не существует компромиссов, нет возможности приспособиться... Угнетенный сознает, что для его освобождения годны все средства, и прежде всего сила»¹⁴. Хотя алжирские власти оказались менее радикальными, чем Фанон, который, между прочим, предложил перевести правительство из столицы в деревню, в алжирской конституции ощущается влияние революционных классов — феллахов, рабочих и революционной интеллигенции.

Использование некоторых марксистских концепций кажется еще более неуместным, когда их применяют к немарксистским моделям революции. Так, если мы рассмотрим, например, терминологию африканских революционеров, скажем, из ПАИГК (в Португальской Гвинее), то увидим, что здесь колониализм трактуется вообще как отрицание исторического развития угнетенного народа, как его полное исключение из истории. Возвращение в историю — это национальная революция всего народа. «Наш народ следует рассматривать как единый класс, который угнетается и эксплуатируется господствующими классами Португалии», — утверждает Амилькар Кабрал¹⁵. А в другом интервью на вопрос, чувствует ли он себя марксистом, Кабрал отвечает: «Учение о диктатуре пролетариата к нам относиться не может. У нас дома нет пролетариата»¹⁶.

Весьма характерным в этом плане является противоречие между марксистской моделью революции и использованием марксистских понятий в разработках, связанных с кубинским революционным движением. Революция победила под руководством борцов, считавших себя «левыми националистами», которые, однако, после поспешного обращения в марксизм-ленинизм представили эту революцию как марксистскую модель, пригодную для всех революционеров Латинской Америки. Главным стал тезис о том, что для этого континента насильственная революция — единственно возможная революция! «Че» Гевара допускал исключения лишь для стран вроде Уругвая, где существовали относительно демократические условия. Традиционные левые всегда искали союза с национальной буржуазией, однако последняя в Латинской Америке связана с латифундистами и североамериканским империализмом; именно в этом — главное отличие от китайской революционной модели. Социалистическая революция должна быть направлена против

¹⁴ F. Fanon. *I dannati della terra*. Torino, 1966², p. 25.

¹⁵ Цит. по: R. Ledda. *Una rivoluzione africana*. Bari, 1977, p. 32.

¹⁶ Ibid., p. 63.

американских монополий, но одновременно и против национальной буржуазии, иначе революции не будет вовсе. Во «Второй Гаванской декларации» (4 февраля 1962 года), в которой ощущается влияние идей Гевары, опыт кубинской революции подается как обобщенная модель, пример для всей Латинской Америки. «Несмотря на то что в слаборазвитых странах Латинской Америки рабочий класс, как правило, незначителен, здесь есть общественный класс, являющий собой потенциальную силу, если принять во внимание бесчеловечные условия, в которых он существует. Если им будет руководить рабочий класс и революционная интеллигенция, он сможет сыграть решающую роль в борьбе за национальное освобождение. Это класс крестьян, составляющий 70 процентов всего населения и живущий в условиях феодального типа». Силы, которым предстоит руководить революцией, характеризуются иначе, чем у китайских коммунистов; здесь революционная интеллигенция наряду с рабочим классом прямо названа руководящей силой. Обобщая историю кубинской революции, «Че» увидел в партизанах авангард, который поддержат крестьяне и который способен добиться победы на последнем этапе путем всеобщей забастовки рабочих в городах.

Книга Режи Дебре «Революция в революции» (1967) была попыткой изложить кубинскую концепцию революции в виде системы, пригодной для всей Латинской Америки, которая рассматривается как совокупная жертва эксплуатации со стороны американских монополий (Дебре не забывает даже о единстве языка). Революция там зреет быстро: Вьетнам был ее прототипом, Куба — моделью, а Анды станут Сьерра-Маэстра Латинской Америки. Борьба должна начаться с партизанской войны, в которой решающую роль будут играть интеллигенция и революционные студенты. Борьбу организует некая мобильная группа, которая будет выполнять те же функции, что и партия во Вьетнаме. Она будет формироваться в горах, и главной ее опорой станут бойцы. История Латинской Америки показала, что города — это кладбища революции, и не только потому, что национальная буржуазия теперь перестала играть прежнюю роль. «Товарищ, который живет в городе, — буржуа, сам того не зная». Горы же «пролетаризируют и буржуа, и крестьянина, тогда как город обуржуазивает даже пролетария»¹⁷. «Че» подчеркивал, что для перехода к вооруженной борьбе революционерам нет необходимости вырабатывать в себе революционное сознание и что, напротив, сами вооруженные действия партизан формируют революционное сознание. В условиях Латинской Америки нельзя говорить о той нацио-

¹⁷ R. Debray. La rivoluzione nella rivoluzione. Milano, 1967, p. 73, 78.

нал-революционной психологии, благодаря которой партизаны Вьетнама чувствовали себя среди населения «как рыба в воде». Партизанские вожди — это и политические вожди, вооруженная борьба — это не форма политической борьбы, а сама политическая борьба.

В 1971 году, после выхода из боливийской тюрьмы, Дебре пересмотрел свои взгляды на кубинскую революцию как на модель для всей Латинской Америки, а также свои идеи о соотношении политической и вооруженной борьбы, правда, без ущерба для оригинальности кастровской модели революции, связав особым образом опыт партизанской войны с попыткой апостериори обобщить этот опыт с помощью марксистских концепций.

Несмотря на специфику революционных моделей, возникших в результате партизанских войн в Африке и Латинской Америке, и их отличие от китайской модели, в основе всех их лежит убежденность их создателей в том, что «забытые континенты» являются «очагами мировой революции». Это мнение разделяют также некоторые экономисты-марксисты, главным печатным органом которых является журнал «Мансли ревью». Пол Бэран и Пол Суизи уточняют: «Направленная против капитализма революционная инициатива, носителем которой во времена Маркса был пролетариат передовых стран, перешла к неимущим массам слаборазвитых стран, которые борются за освобождение от власти империализма и эксплуатации»¹⁸.

Историческое развитие передовых капиталистических стран опровергло традиционную марксистскую ортодоксальность. В Америке промышленные рабочие становятся все более незначительным меньшинством внутри класса работающих по найму; к тому же совсем не они являются теперь главной жертвой системы. Вместе с тем такие жертвы системы, как «маргиналы» (безработные, инвалиды, старики и т. д.), в среде которых Маркузе отмечает революционное брожение, не в состоянии совершить социалистическую революцию и в перспективе построить социалистическое общество. В передовых капиталистических странах революция не может быть осуществлена с помощью собственных сил, а лишь через посредство «революционной войны», начатой «третьим миром». «Драма нашей эпохи — мировая революция; она не сможет завершиться до тех пор, пока не охватит весь мир»¹⁹. Перед глазами Маркса был пролетариат — жертва первых итогов капиталистического способа производства, который, как показала Октябрьская революция, не сможет освободить самого себя, не освободив всего общест-

¹⁸ P. Baran, P. Sweezy. Il capitale monopolistico. Torino, 1968, p. 10.

¹⁹ Ibid., p. 304 и 306.

ва. Однако Ленин доказал, что капитализм превратился во всемирную империалистическую систему. Субъективный же фактор революции обрел, как показывают примеры Вьетнама, Китая и Кубы, новую форму.

«Это не означает, что утверждение Маркса, согласно которому капитализм производит собственных мочильщиков, ошибочно. Если мы будем рассматривать капитализм как всемирную систему... то увидим, что существует деление на горстку стран-эксплуататоров и гораздо более многочисленную группу многонаселенных угнетенных стран. Массы в этих зависимых и угнетенных странах представляют собой силу, революционную в том же самом смысле и по тем же причинам, по каким Маркс считал революционным пролетариат первого периода развития крупной промышленности»²⁰.

Прогнозы Маркса относительно будущего забытых континентов (они находятся в его работах, посвященных Индии), как заметил Самир Амин²¹, в эпоху империализма не подтвердились. Так, Маркс предполагал, что развитие капитализма в Индии ограничится повторением его развития в Западной Европе; однако, хотя наш мир и един, он вовсе не однороден. Как известно, мировой рынок делится на центр и периферию, но все теории отсталости развития (западные и восточные) игнорируют этот факт, тогда как сейчас именно эти «обновленные, но устойчивые формы» первоначального накопления «в пользу центра» оказываются проявлением теории накопления во всемирном масштабе. В этом смысле восточные государства, безусловно, нельзя назвать частью капиталистической системы, однако они составляют часть мирового капиталистического рынка. Для осуществления торговли периферии с центром решающим является тот факт, что не только рабочие, но и крестьянство и даже ремесленники, потерявшие работу вследствие импорта товаров из центра, вовлекаются в эту систему, тормозящую ее (периферии) развитие.

«Торговля слаборазвитых стран, взятых по отдельности или вместе, имеет следующую особенность: из этих стран экспортируются в основном сырье и сельскохозяйственная продукция, а импортируются готовые товары. И это хорошо известный факт. Но этим дело не ограничивается. Подобный торговый обмен слаборазвитые государства ведут главным образом с развитыми странами, а у развитых стран основной обмен происходит между собой... Следовательно, глобально «третий мир» зависит от торговли с развитыми стра-

²⁰ P. Sweezy. Marx e il proletariato. — In: "Monthly Review", gennaio—febbraio, 1968, p. 14 (итальянское издание).

²¹ S. Amin. L'accumulazione su scala mondiale. Critica della teoria del sottosviluppo. Milano, 1971.

нами в гораздо большей степени, чем последние от обмена с ним».

По этой причине, если для центра рост товарообмена — это развитие, хотя бы потому что он способствует его интеграции, то для периферии он не может быть развитием, ибо способствует ее разобщению. Более того, «рост, основанный на интеграции мирового рынка, является развитием отсталости». Самир Амин оспаривал тезис о пролетарских и буржуазных нациях, по которому трудящиеся развитых стран являются буржуа, а буржуа слаборазвитых стран — пролетариями; существует мировой пролетариат, ядром которого, безусловно, являются народные массы периферии; их революция приведет к ослаблению эксплуатации со стороны центра (это именно тот тезис, который индиец М. Рой выдвинул против положений Ленина на II Конгрессе Коминтерна) и таким образом поможет революции в самом центре. Подъем слаборазвитых стран предполагает разрыв с системой интеграции, в которой доминирует центр, облегчая революцию в деревне.

«Именно отход от мирового рынка является главным условием развития. Любая политика развития, проводимая в условиях интеграции с мировым рынком, обречена на провал, поскольку представляет собой несбыточную надежду на непрременную помощь извне».

Этот разрыв с мировым рынком, по словам Самира Амина, может произойти только при наличии у выходящих из него очень обширных территорий. Очевидно, в основу этого обобщения была взята китайская модель.

3. Переходный послереволюционный период

Несомненно, что именно из Китая исходило стремление изучить наряду с проблемами революции и проблемы послереволюционного развития. Дискуссия о перспективах революции все больше и больше перерастала в споры о путях развития после революции. В связи с этим обращались за разъяснениями к работе Мао «О правильном разрешении противоречий внутри народа», опубликованной сразу после событий 1956 года, последовавших за XX съездом КПСС²². В этой работе Мао различает антагонистические и неантагонистические противоречия; первые касаются взаимоотношений с классовым врагом, вторые обнаруживаются внутри нации (между государством и индивидуумами или целыми

²² См. об этом: *Mao Zedong. Rivoluzione e costruzione. Scritti e discorsi 1949—1957*, a cura di M. Arena Regis e F. Coccia. Torino, 1979, p. 535—583.

коллективами). К последним относятся, например, противоречия между демократией и централизмом, между руководителями и руководимыми, между отдельными классами и категориями населения, между бюрократическим стилем работы отдельных звеньев государства и требованиями масс. Однако — и это становится предпосылкой для последующих выводов — даже неантагонистические противоречия могут превратиться в антагонистические. В работе говорится о том, что необходимы демократические методы, которые следует использовать, чтобы «ослабить противоречия внутри нации: это дискуссии, критика, убеждение и воспитание». Необходимо благоразумно подходить к решению вопроса о том, что справедливо, а что ложно; допускается также и критика марксизма, так как решать проблемы догматическими и бюрократическими методами нельзя; нужны терпимость и взаимная критика на протяжении длительного времени, допускается также критика со стороны других демократических партий, поскольку мнение других (разумеется, не контрреволюционеров) также важно. Проводя политику «ста цветов», следует учитывать, что неантагонистические противоречия могут превратиться в антагонистические и что еще долго после победы революции необходимо будет делать различие между «тем, что способствует социалистическому преобразованию и строительству», и «тем, что ему мешает».

Наиважнейшие выводы были сделаны в 1963 году, а затем (в еще более радикальной форме) несколько месяцев спустя, в 1964 году. В «Предложении о генеральной линии» (1963) было повторено, что классовая борьба продолжается и после революции и, следовательно, диктатура пролетариата продолжает быть необходимой. Месяц спустя было объявлено, что Югославия перестала быть социалистическим государством, что она не имеет с социализмом ничего общего и что ею руководит новая буржуазия. Теорию самоуправления и лозунг «заводы рабочим» сочли прямой противоположностью основным марксистским принципам социализма («Является ли Югославия социалистическим государством?»). В 1963 году Советский Союз рассматривался в Китае еще как социалистическое государство (например, в статье «Два полностью противоположных типа политики мирного сосуществования»), однако в 1964 году, выступая против утверждения Сталина, будто в Советском Союзе нет больше антагонистических классов, КПК заявила, что в СССР существует привилегированная прослойка, занимающая доминирующие позиции. «В современном советском обществе привилегированный слой состоит из перерожденцев, которые руководят партийными организациями, государственными учреждениями, предприятиями, колхозами и совхозами; в него входят также обуржуазившиеся интеллекту-

алы — люди, враждебные рабочим, крестьянству, подавляющему большинству интеллигенции и служащих партийного и государственного аппаратов («О псевдокоммунизме Хрущева и об исторических уроках, которые следует из этого извлечь», 14 июля 1964 года).

Привилегии, а также сама иерархическая структура заработной платы (в этой связи отмечалась большая доля вины Сталина) привели к перерождению и образованию буржуазной прослойки внутри категории партийных и государственных служащих. «В настоящее время этот привилегированный слой составляет основу буржуазии Советского Союза и является главной социальной базой хрущевской ревизионистской клики. Хрущевская клика — это не что иное, как политическое представительство буржуазии Советского Союза, и особенно — привилегированных слоев этого класса... Этот привилегированный слой присваивает плоды труда советского народа и имеет доходы, которые в дюжину и даже в сотню раз превышают доходы простых советских рабочих и крестьян».

В настоящей работе мы не собираемся подробно выяснить, соответствует ли такая концепция классов и буржуазии марксистскому пониманию проблемы; главное — это выводы, к которым пришли в названной работе китайские коммунисты: «Трудящиеся должны овладеть культурой, а интеллигенция должна обучиться ручному труду... Абсолютно необходимо сохранить систему, при которой в ручном производительном труде коллектива принимают участие служащие. Служащие нашей партии и нашего государства такие же трудящиеся, как и все, а не господа, сидящие на шее у народа... Во всяком случае, мы должны избегать создания системы, при которой небольшое число лиц получает высокую зарплату. Напротив, различия в доходах партийных, государственных работников, служащих предприятий и народных коммун, с одной стороны, и народных масс — с другой, должны быть разумными и шаг за шагом сводиться к минимуму, ни в коем случае не возрастая. Следует препятствовать тому, чтобы служащие злоупотребляли своим положением для получения каких-либо привилегий».

Во время культурной революции этот принцип получил конкретное выражение в самой радикальной форме в практике развития Китая. В «Постановлении Центрального Комитета Коммунистической партии Китая о великой пролетарской культурной революции» от 8 августа 1966 года в первом пункте говорилось: «В настоящий момент нашей целью является борьба против тех, кто, занимая руководящие посты, следует по капиталистическому пути, и их уничтожение; наша цель — это критика и разрушение авторитета реакционных буржуазных ученых и идеологии буржуазии и

других эксплуататорских классов, перестройка системы воспитания, переориентация литературы и искусства и прочих элементов надстройки, не соответствующих экономическому базису социализма, с тем чтобы способствовать укреплению и развитию социалистической системы». В пятом пункте указывалось: «Главной мишенью настоящего движения являются члены партии, стоящие у власти и идущие по капиталистическому пути». Следовательно, и в Китае возникла прослойка, следующая по капиталистическому пути, аналогичная тем слоям, которые в Советском Союзе составляют «новую буржуазию». Перманентная же революция усиливает классовую борьбу внутри партии, и эта борьба еще далека от своего завершения.

В этой связи в девятом пункте значилось: «Борьба пролетариата против старых идей, обычаев и привычек, против старой культуры, которая тысячелетиями создавалась эксплуататорскими классами, несомненно, продлится долго, очень долго. Вот почему группы культурной революции, комитеты и съезды активистов культурной революции не должны быть временными органами, они должны стать стабильными и постоянно действующими». И далее: «Необходимо ввести всеобщую избирательную систему, подобную той, которая существовала во время Парижской коммуны, для выборов членов групп и комитетов культурной революции, а также делегатов на съезды активистов культурной революции».

Вероятно, ссылка на Парижскую коммуну была бы более точной, если бы она касалась не столько всеобщего избирательного права, сколько принципа федерации; однако этот пункт «Постановления» тотчас отходит на второй план, а основополагающее значение придается другим моментам, в соответствии с которыми ссылка на Парижскую коммуну оказывается совершенно справедливой; это пункты о равенстве, борьбе против привилегий, стремление воспрепятствовать возникновению новых привилегированных слоев.

Марксисты спорили о социалистической революции: вызов, брошенный китайцами, заставил их сделать предметом спора проблему переходного строя после победы социалистической революции. «Мирный переход от социализма к капитализму?» — так называется статья Лео Хьюбермана и Пола Суизи, опубликованная в 1964 году в «Мансли ревью». Исследуя югославский пример, приводимый китайскими коммунистами, Хьюберман и Суизи пытались ответить на вопрос, возможна ли реставрация капитализма после социалистической революции с помощью «особой формы государственного капитализма» или «особой формы рыночного социализма». Вывод был таков: необходима осторожность по отношению к рынку. Рынок — тайное оружие капитализма, тогда как основа экономики истинного социализма —

всеобщее планирование. В ту пору с этим выводом не согласился Шарль Беттельхейм, который нападал на миф о планировании (так он вел себя в дискуссии с «Че» Геварой) и всячески пропагандировал идею экономических реформ, утверждая, что слишком централизованное планирование ведет к огромному расточительству. В 1966 году он уже склонялся к китайским тезисам, критикуя приверженность принципу рентабельности в экономических реформах, поскольку он ведет к выплате разной зарплаты за тот же труд. В марте 1969 года Беттельхейм уже говорил о «новой буржуазии», сформировавшейся в Советском Союзе. По Беттельхейму, решающим является не противоречие между планом и рынком (хотя он продолжал выступать за постоянное уменьшение роли рынка в процессе строительства социализма), а развитие новых классовых отношений. Общество переходного периода, говорилось в письме к Суизи от 18 февраля 1970 года, это не та социалистическая формация, которую предсказывали классики и при которой продукт не превращается в товар и стоимость. Прогресс в социалистическом понимании должен состоять в усилении власти производителей над условиями собственного существования, над средствами производства и продуктами производства.

И действительно, главное противоречие социализма в переходный период развивается не между плановым и рыночным началами в экономике, а между государством и подчиненным положением производителя в обществе. Последовательное устранение рыночных отношений имеет место и в той борьбе классов, целью которой является создание новых общественных отношений уже после упразднения частной собственности на средства производства. Иными словами, именно план становится средством осуществления доминирующего положения нового господствующего класса, чего уже практически добилась в Советском Союзе государственная буржуазия²³.

Проблема реставрации капитализма в послереволюционном обществе возникла в связи с Югославией. Сейчас не-

²³ Еще в начале 1964 года два молодых польских марксиста, Кароль Модзелевский и Яцек Куронь, написали в «Открытом письме Польской Объединенной Рабочей Партии» (оно стоило им длительного тюремного заключения): «В системе огосударственной экономики принимает экономические решения, а значит, и распоряжается средствами производства, осуществляет распределение и использование общественного продукта тот, кто участвует в принятии государственных решений или кто в состоянии на них повлиять». И далее: «Бюрократическая собственность носит не индивидуальный, а коллективный характер; это бюрократическая собственность элиты, отождествляющей себя с государством». Именно такое господство политической «центральной» бюрократии и расценивается как форма классового господства.

безынтересно отметить, что к аналогичным выводам пришли в самой Югославии страстные сторонники самоуправления, критиковавшие опыт того же самоуправления в своей стране, но с идеологических позиций, противоположных тем, которые защищались в Советском Союзе и Китае. Мы говорим прежде всего о сотрудниках журнала «Праксис», которые критиковали деформации в системе самоуправления с позиций самого самоуправления. «Этатизм», «мифизация государства» объявлялись чуждыми социализму, который нельзя считать построенным до тех пор, пока государственный аппарат сохраняет монопольное положение в отдельных сферах общества. И здесь служащие государственного аппарата квалифицировались как «новый класс», господствующий класс, обладающий привилегиями и соответствующим статусом, класс, автоматически воспроизводящий себя своими собственными силами. Говорить об «общественной собственности на средства производства» можно лишь тогда, когда производители действительно распоряжаются ею; ведь собственность церкви в средние века тоже была формой коллективной собственности. Выражаясь словами Маркса, ассоциация свободных и равных производителей, которые сознательно действуют по общему и разумному плану, дает (если следовать модели Парижской коммуны) реальную возможность выбирать и смещать чиновников, обезличивать политические функции и превращать партию в чисто воспитательную организацию, то есть последовательно и решительно упразднить государство. Предполагаются также упразднение существенных различий в доходах и отказ от иерархической структуры заработной платы. Здесь опять-таки видно явное совпадение с тезисами, выдвинутыми китайской культурной революцией, хотя группа из «Праксиса» рассматривала Китай как страну, где огосударствление получило свое классическое выражение. Помимо предприятий, самоуправлением должны быть охвачены все стороны общественной жизни, а каждая местная община должна стать ячейкой в общей «системе общин». Сменяемость рабочих мест, профессиональная подготовка и чувство социальной ответственности трудящихся наряду с поочередным выполнением ими общественных функций должны противодействовать появлению новой бюрократии, разрушающей самоуправление, и способствовать созданию общности свободных производителей.

В столетнюю годовщину Парижской коммуны югославские и китайские коммунисты обратились к ее опыту в том виде, в каком он был описан и истолкован Марксом в «Гражданской войне во Франции». Очевидно, что в своих дискуссиях по теории революции и проблемам послереволюционного развития марксисты — каким бы парадоксальным

это ни казалось — ссылались на Маркса с тем большей легкостью, чем меньше руководимые марксистами революционии соответствовали марксистской модели.

Дискуссии о теории революции и о переходных фазах в конце концов сосредоточились на двух группах проблем — перехода к социализму в развитых капиталистических странах и возможности прийти к созданию в странах Восточной Европы таких ассоциаций, в которых согласно «Манифесту Коммунистической партии» свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех. Что касается социалистического развития в передовых капиталистических странах, то для многих коммунистических партий образцом стал итальянский путь к социализму, и это продолжалось до тех пор, пока идеи «итальянского пути» не были в последние годы синтезированы в «еврокоммунизме». Это понятие объединяет идеи плюрализма, свободы мнений, свободы совести, печати, научного и художественного творчества, суверенного права народа смещать свое правительство и т. д. Что же касается проблемы соотношения представительной и прямой демократии, то никакого теоретического обоснования она здесь не получила.

В то же время в отношении стран Восточной Европы возникло две точки зрения: с одной стороны, появилась концепция «незаконченной революции» с выраженным надежды и требованием, чтобы надстройка была приспособлена к базису соответствующими мерами по демократизации; с другой — укрепилось мнение, что одно лишь отсутствие частнокапиталистической собственности на средства производства еще не позволяет говорить о социализме и что производственные отношения здесь следует считать этатистскими, типичными для госкапитализма.

На характер дискуссии по обоим этим вопросам решительным образом повлияла «пражская весна» и последовавшие за ней репрессии. «Пражская весна», как в фокусе, собрала в себе те проблемы, которые привлекли наибольшее внимание во время обсуждения теорий революции и государства переходного этапа (особенностью этого обсуждения было то, что все вопросы рассматривались в свете соотношения между демократией и социализмом). Можно ли поднять социализм на более высокую ступень развития средствами буржуазной демократии? Так ставил вопрос человек, сыгравший главную роль в событиях в стране, когда «пражская весна» уже отошла в прошлое. А действительно ли то, чему в 1968 году грозила опасность, было социализмом? И не являлось ли все достигнутое в переходный период лишь обеспечением буржуазно-демократических свобод? Можно ли было согласиться с той упрощенной формулой, которую многие марксисты повторяли в те дни, а

именно — будто речь идет о соединении социализма и демократии, причем такого социализма, который несколько не походил на социализм классиков марксизма, и такой демократии, которая в глазах марксистов оказывалась явно недостаточной?

Даже когда эксперимент был насильственно прерван, различные марксистские группы и организации не изменили своего характера. Сторонники вмешательства вооруженных сил Варшавского Договора оправдывали это вмешательство, истолковывая его как печальную необходимость, благодаря которой была предотвращена реставрация капитализма. Группы, солидаризировавшиеся с КНР, заклеили агрессию, с помощью которой одни ревизионисты (они же — реставраторы капитализма) лишили власти других, более слабых ревизионистов (тоже реставраторов капитализма), не встретив сопротивления. Это толкование в некотором смысле близко и к высказываниям троцкистских групп о том, что один бюрократический аппарат (аппарат великой державы) вышиб из седла другой. Коммунисты и левые социалисты Западной Европы, взявшие на вооружение тезис Толлятти, согласно которому путь к социализму в развитых капиталистических странах должен лежать через структурные реформы, плакали, что советские танки раздавили, мол, ростки подлинной социалистической демократии. Среди этих течений были и небольшие группировки, которые, подобно троцкистам, видели в движении рабочих советов главный фактор развития Чехословакии; более того, они полагали, что это движение, вспыхнувшее взрывом в мае 1968 года, как раз и было главной причиной, побудившей прервать весь эксперимент.

Дело в том, что еще в самом начале, в январе 1968 года, чехословацкое движение подвергло критическому анализу советскую модель, которая тщательнейшим образом копировалась в ЧССР со всеми ее ограничениями и искажениями. В программной декларации, принятой Центральным Комитетом Коммунистической партии Чехословакии 5 апреля 1968 года, говорилось, что там ранее были механически приняты и распространены «идеи, привычки и политические концепции, которые противоречат обстановке в нашей стране и нашим традициям». Руководящая роль партии вылилась в бесконтрольную власть; органы революционного преобразования выродились в орудия новой, основанной на угнетении формы господства, которая не допускала критических поправок, не предусматривала альтернатив или изменений. «Социалистическая демократия не была в свое время расширена, методы революционной диктатуры полностью переродились и открыли путь бюрократизму, который препятствует прогрессу во всех областях нашей жизни».

Человек перестал быть субъектом политических событий, указывал в своей знаменательной статье «Кризис нашего времени» Карел Косик («Литературные листы» от 11 апреля 1968 года), он превратился в объект политических манипуляций внутри системы, которая различала только две категории: анонимное большинство и манипуляторов. Такая система предполагала массированное формирование ложного сознания — идеологии худшего толка, как определял его молодой Маркс. Радикальное преодоление этого кризиса, по выводу Косика, станет возможным лишь тогда, когда система полицейской и бюрократической диктатуры будет вытеснена системой социалистической демократии, а «политическое и юридическое бесправие масс заменено политическим равенством граждан социалистического общества».

Так как новый курс был определен самим руководством партии в январе 1968 года, проблема внутрипартийной демократии заняла важное место в развернувшейся дискуссии об отношениях между демократией и социализмом. Прежде всего четко выявлялась причина дискуссии. «Столкновение мнений, говорилось в программной апрельской декларации, есть необходимое выражение многосторонних усилий, направленных на поиски оптимального решения, на утверждение нового в борьбе со старым. Каждый член партии и каждый партийный орган не только имеет право, но и обязан принять участие в обсуждении проблемы, как ему подсказывает собственная совесть, и выступить с предложениями и критикой, высказывая свои, пусть и расходящиеся с общим мнением; он имеет право и должен выступать против любого функционера партии».

Устанавливая принципы дискуссии, руководство указывало также на необходимость трансформировать функции партии таким образом, чтобы она из конечной инстанции, осуществляющей контроль, превратилась в контролируемое сообщество свободных и убежденных людей.

«Коммунистическая партия, — читаем мы в той же декларации, — зиждется на свободной и добровольной взаимной поддержке людей. Она не выполняет руководящих функций, повелевая обществом, а со всей честностью служит делу свободного, прогрессивного, социалистического развития. Она не может утверждать свой авторитет силой, а должна постоянно завоевывать его своей деятельностью. Ее линия не может быть проведена в жизнь, если это будет категорически навязываться; она может быть реализована только трудом ее членов и искренностью их идеалов».

Группа научных работников во главе с Радваном Рихтой* изложила эти принципы в ряде статей, которые были

* Р. Рихта (1924—1983) — известный чешский философ и социолог-марксист, один из руководителей советско-чехословацких исследований

опубликованы в середине июля в центральном органе партии «Руде право». «Как составной элемент политической системы, — указывалось там, — коммунистическая партия должна постоянно предпринимать усилия, чтобы быть в состоянии осуществлять контроль над властью на основе сотрудничества, соревнования идей и людей, сопоставлений и противопоставлений... Вопрос о том, в какой степени тот или иной фактор способствует укреплению политической власти партии, может служить критерием деятельности партии лишь тогда, когда идет борьба за власть; в перспективе главная задача членов партии будет иной: она сведется к развитию социализма как движения или к стимулированию полезной деятельности людей, в связи с чем в некоторых случаях излишняя власть будет скорее помехой».

При такой ориентации было недостаточно повышения роли общественных и государственных органов, необходимо было введение плюрализма, причем это касалось как партии, так и различных институтов и организаций. «Власть в социалистическом государстве, — говорилось далее в апрельской декларации, — не может быть монополизирована ни одной партией, ни какой-либо коалицией политических партий; все политические организации народа должны иметь к ней непосредственный доступ».

Выражение стремления восстановить так называемые «буржуазные свободы», по сути дела, не было желанием реставрировать буржуазную демократию, поскольку утверждалось, что речь шла о придании этим свободам реального содержания в обществе, свободном от погони за прибылью. Тем самым конкретно подтверждалась справедливость слов Ленина о том, что социализм — это совершенная демократия, создающая строй, способный обеспечить максимальную свободу информации, мнений и решений. «Чтобы оценивать со всей ответственностью то, что отвечает интересам всего общества, должен иметься выбор между разными альтернативами, различные технически обоснованные решения всего многообразия противоречивых проблем; кроме того, должна быть гарантирована более широкая информация, открытая для всех граждан».

Только таким образом можно будет доказать (в том числе и в отношении «буржуазных свобод»), что социализм — лучшая ограниченная буржуазной демократии «и может оказаться привлекательной моделью для прогрессивных движений передовых промышленных стран с демократическими традициями».

Достижение столь важного результата, понимаемого как практическое воплощение принципов, разработанных классиком социализма — «Человек—наука—техника» (1973) и «Научно-техническая революция и социализм» (Москва—Прага, 1978).

сиками марксизма, послужило бы наглядным доказательством превосходства социализма над капиталистическим миром. Речь идет о том, чтобы увидеть «в развитии социалистической демократии самое главное социальное условие для достижения гуманных целей», которые ставит перед собой социализм, «преодолевая политические и моральные недостатки, ослабляющие человеческие связи в эпоху капитализма. Это новая модель социалистической демократии», признающая дискуссионное начало и поощряющая «народную инициативу, критику снизу» на базе подлинной свободы ассоциаций и объединений, способных гарантировать свободу своим членам в их деятельности внутри общественных организаций; она не сводит свободу мнений к свободному получению тех мнений, которые соответствующее производство поставляет уже готовыми к употреблению.

«Невозможно гарантировать реальное влияние общественного мнения и убеждений трудящихся на всю нашу политику и успешно противостоять попыткам попортить критику и народную инициативу, если мы сами не будем последовательно и легальными средствами обеспечивать всем гражданам ту свободу выражения собственного мнения, которая санкционирована конституцией, а также политические и личные права граждан в целом. Социализм не может сводиться лишь к освобождению трудового народа от гнета класса, который его эксплуатирует; он должен в большей мере, чем любая буржуазная демократия, способствовать полному раскрытию человеческой личности. Нельзя, произвольно трактуя права трудового народа, который больше не находится в подчинении у класса угнетателей, по одному вопросу информировать этот народ, а другой обходить молчанием, предписывать ему, какие мнения он может высказывать публично, а какие — нет, где он может заставить считаться со своим свободно высказанным мнением, а где не должен».

Для этого необходимо также изменить функции того аппарата внутренней безопасности, который в силу сталинских извращений оказался связанным двойной нитью с руководством партии. «Партия открыто заявляет, — говорилось в апрельской декларации, — что этот аппарат не может быть использован для решения внутренних политических споров и противоречий в социалистическом обществе». В рамках принятой КПЧ программы решительно отвергается какое бы то ни было вмешательство бюрократии в свободу научного поиска и в художественное творчество деятелей искусств.

Связь демократии и социализма, «буржуазных свобод» и социалистической демократии были рассмотрены Косиком в уже упоминавшейся статье, опубликованной неделю спустя после принятия апрельской программы. «Рабочий класс, —

замечал чехословацкий философ, — не способен играть при социализме никакой политической роли без свободы печати, мнений и информации. С одной стороны, без демократических свобод его влияние ограничено узкой средой одного предприятия, рабочим местом, а это чревато корпоративизмом; с другой — есть постоянная опасность того, что бюрократия навяжет свою власть именем того же рабочего класса. Фальшивые друзья народа пытались убедить трудящихся, что свобода печати и мнений интересуется только одну категорию — интеллигенцию. В действительности же демократические свободы жизненно важны именно для рабочего класса, потому что без них он не сможет выполнить свою историческую миссию освобождения».

Однако Косик завершал свою работу выводами, которые явно шли дальше линии действий, намеченной КПЧ. Рабочий класс, который при данной системе деградировал и из класса для себя превратился в класс в себе, может возродиться лишь в том случае, если будут демократизированы и сама коммунистическая партия, и государственные институты, а также если будут введены рабочие советы. «Социалистическая демократия, — подчеркивал Косик, — не может быть ни чем иным, кроме как полной демократией. Основу ее должны составлять как самоуправление социалистических производителей, так и политическая демократия граждан социалистического государства; одно без другого ведет к ее вырождению».

Что касается демократии производителей, то о ней в апрельской программе сказано лишь в общих чертах. В программе настойчиво подчеркивается необходимость того, чтобы профсоюзы в свете новой ориентации перестали быть лишь «приводным ремнем». «Необходимо радикальное изменение функций профсоюзов. Они должны стать подлинными участниками решений всех экономических проблем, а не просто оказывать содействие руководству».

Безусловно, это была весьма туманная формулировка, менее расплывчато говорилось и о демократии на предприятиях. «Партия считает неперемennым условием, чтобы весь трудовой коллектив, который хочет добиться каких-то результатов, приобрел влияние на руководство предприятия. Отсюда — необходимость создания на предприятиях таких демократических органов, которые имели бы четко определенные полномочия в отношении своего руководства».

Эта «необходимость» привела в мае 1968 года к движению за учреждение рабочих советов, участники которого ссылались на Марксово понимание Парижской коммуны и в напоминание о первоначальных функциях советов после Октябрьской революции выдвигали на первый план проблему прямой демократии производителей. Выборы фабрично-

заводских советов поначалу были просто восстановлением органов, учрежденных в период между двумя мировыми войнами и вновь в 1945—1948 годах для защиты интересов производственного персонала. Однако новые рабочие советы почти сразу же потребовали права быть избранными в качестве инициативных комитетов для формирования тех демократических органов руководства предприятием, о которых апрельская программа говорила лишь в общих чертах. Акцент все больше смещался в сторону создания органов прямой демократии производителей. Это требование нашло свое выражение в проекте закона в июле 1968 года. Но уже в мае 1969 года рабочие советы были осуждены как контрреволюционные учреждения, а в 1970 году какое бы то ни было дальнейшее обсуждение вопроса о рабочих советах было вовсе запрещено.

О том, что «пражский эксперимент» в конечном счете не ставил своей целью просто синтез буржуазной демократии и извращенного социализма, а воплощал на практике подлинный социализм путем сочетания реального самоуправления и свободы личности, ясно свидетельствуют многочисленные статьи, опубликованные группой научных работников во главе с Радованом Рихтой в «Руде Право» от 10, 11 и 12 августа 1968 года в рамках дискуссии перед XIV съездом КПЧ, проходившей под названием «За новую модель социализма». Критикуя «модель социализма, созданную нами в прошлый период», группа указывала на то, что основой этой модели была «узкая и искаженная концепция социализма», в которой крылась «опасность его перерождения и дискредитации». Словом, предлагалось «решительно отмежеваться от этой модели и попытаться создать новую модель социалистического общества, свободную от бюрократических ограничений, политического и доктринарного произвола».

Это предложение было затем сформулировано следующим образом: «Развитие функционирующей социалистической системы не должно основываться на простом и полном отрицании капиталистических форм, буржуазных институтов власти и частной собственности на средства производства. Социализм в своей специфической форме не может быть представлен обществом, в котором господство буржуазии сменяется господством бюрократии, государство осуществляет индустриализацию, становясь на место капиталистов, а страна превращается в одну огромную фабрику, управляемую из центра... Маркс, Энгельс, Ленин и другие социалистические мыслители понимали социализм совершенно по-иному... Социалистическим может быть названо лишь то общество, которое постепенно ограничивает и в конце концов упраздняет органы политической власти, чтобы они не мешали социалистическому развитию; это общество, не допускающее вмеша-

тельства органов власти в те сферы, в которых они некомпетентны (например, в экономику, науку, культуру, партийную жизнь и т. д.). Социализм означает все большее расширение свобод и демократических прав каждого человека. Гражданин социалистической страны не должен пользоваться лишь теми правами, которые предоставляет капиталистическое общество (свободой слова, мнений, собраний и ассоциаций, правом свободно перемещаться и путешествовать), или иметь их меньше, чем в буржуазном обществе; у него их должно быть больше».

И наконец, главный вывод: «Везде, где для этого возникнут необходимые условия, социалистическая демократия будет переходить от чисто представительной формы к высшим формам — к прямой демократии и системе самоуправления — и сочетать в себе две эти формы... Альтернатива, о которой идет речь в наши дни, заключается не в том, чтобы «заменить» социализм демократией, и не в том, чтобы «дополнить» социализм демократией извне с помощью бюрократических мер, как утверждают сторонники старой модели; альтернатива наших дней такова: или развитие специфических черт социализма, или крах социалистических проектов, потому что социализм без демократии и без демократического развития — не социализм».

Если читатель хочет получить синтетическое представление о дискуссии, посвященной связи между демократией и социализмом, проходившей во время «пражской весны», ему следует обратиться к докладу Карела Бартошека от 4 июня 1969 года, сделанному им в Праге и опубликованному во французском журнале «Тан модерн» (декабрь 1969 года). Бартошек говорит о «незавершенной пролетарской революции», утверждая, что экспроприация капиталистов — это лишь первый акт такой революции. В наши дни «власть находится в руках бюрократической прослойки, которая руководит экономической и социальной деятельностью и обладает монополией в политике». Речь идет не о том, чтобы заменить искаженный социализм несостоятельной буржуазной демократией, а о том, чтобы произвести новую революцию, «которая сметет бюрократическую структуру и откроет дорогу обществу, основанному на самоуправлении». Именно поэтому в странах Восточной Европы «антибюрократическая революция является продолжением (и составной частью) антикапиталистической революции».

Витторио Страда

МАРКСИЗМ И ПОСТМАРКСИЗМ

О марксизме можно говорить по-разному: его можно сделать объектом апологии или критики, он может стать предметом научного анализа, его (точнее, один из его вариантов) можно использовать со всей страстью, участвуя в движении. Марксизм можно рассматривать и в различных плоскостях: в плане его общей истории или его составных частей и с точки зрения его теоретической интерпретации. Но каким бы ни был разговор о марксизме, необходимо согласиться, что данное идейное движение занимает более чем особенное место в современной действительности. Правда, само определение «идейное движение» не является совершенно точным, поскольку при сравнении с другими идейными движениями нашего времени марксизм выходит за рамки этого определения, что позволяет отнести его одновременно к различным культурным сферам: это одновременно философия, идеология, наука, политика, теория и практика; все они, образуя определенное единство, и позволяют марксизму занимать особенное положение среди доктрин прошлого и настоящего. В определенном смысле претензия марксизма на «необычность» вполне оправдана, и возможная критика может относиться лишь к точкам соприкосновения марксизма с действительностью. В этом ахиллесова пята марксизма, его уязвимое место, свойственное самой его структуре. Критика марксизма с далеких от него позиций бесполезна, но поскольку марксизм гордо заявляет о том, что он в состоянии преобразовать мир в нечто органически единое посредством такой исторической силы, как рабочий класс, то именно с этой точки зрения о марксизме можно судить *juxta propria principia* (в соответствии с его собственными принципами).

В истории марксизма имеется существенный разрыв, рубеж между «до» и «после»: это русская революция 1917 года, как дата начала практического применения марксизма, до того бывшего лишь организационным орудием социальных сил внутри буржуазного общества, основанного на совершенно противоположных принципах, которые марксизмом

были проанализированы и осуждены. Утверждение о том, что 1917 год — это момент прекращения развития марксизма, вызывает неизбежное возражение и является спорным с точки зрения самого марксизма, поскольку такие видные марксисты, как, например, Каутский, отрицали, что большевистская революция проходит в русле марксизма и ведет к социализму. Этим мнением нельзя пренебрегать, и, пожалуй, именно сейчас следует обсудить, действительно ли большевистская революция и особенно ее результат были социалистическими. Но эта дискуссия исторически всегда велась в рамках марксизма, и мы не будем, естественно, следовать целиком за Лениным, назвавшим Каутского «ренегатом», точно так же как и не будем обращать это обвинение против русского революционера, который, кроме всего прочего, после победы революции уничтожил все следы существования социалистической партии в России. Можно вести спор по этому поводу с точки зрения идеологии или доктрины. Но с исторической точки зрения Ленин (ленинизм и большевистская революция) — наравне со своими противниками от Каутского до Мартова — является вехой в развитии марксизма, а 1917 год знаменует дату эпохальной важности для марксизма.

Поскольку мы живем, мыслим и работаем *post revolutionem natam**, разговор о марксизме сегодня ведется теперь иначе, чем *ante*** этой даты. Сегодня марксизм — это не просто теория, которую можно защищать, а можно и опровергать, как это делалось в начале нашего века. Сейчас он полиморфная реальность, которую необходимо понять, но прежде всего описать. Если рассматривать марксизм в диахронном, историческом плане, то получится история либо развития идеи, либо эволюции движения, либо того и другого вместе. На марксизм, однако, следует взглянуть и в синхронном, системном плане и разобраться в том, чем марксизм стал и что он собой представляет. Очевидно, что оба этих подхода не могут быть отделены друг от друга, и было бы смешно погрузиться с головой в спор о примате одного подхода над другим. Можно сказать, что история марксизма без анализа современного марксизма получится неполной, точно так же, как недостаточным будет знание существующего марксизма без понимания его предшествующего развития. Но и это еще не все. Изучение марксизма в системном плане как такового может стремиться к глобальному исследованию всех аспектов и всех ответвлений предмета, но может на законных основаниях остановиться лишь на его существенных частях. Более того, можно выдвинуть гипоте-

* Родившись после революции (лат.). — Прим. ред.

** До (лат.). — Прим. ред.

зу, что после столь многочисленных поверхностных обобщений, лишенных сколько-нибудь серьезной аналитической базы, изучение лишь частей марксизма может явиться хорошей пропедевтикой и, возможно, даже профилактикой. Это не значит, что целое тождественно сумме частей и что части могут быть отделены от целого, но часть (избранная часть) может оказаться наилучшим путем к сердцевине целого, к действительному марксизму в целом. Здесь нет правил, и бессмысленно искать ту часть, благодаря которой мы с легкостью сможем достичь и увидеть целое. Скажу просто, что для познания марксизма наиболее продуктивным мне кажется такое представление о действительном современном марксизме, когда он рассматривается как некий тип «идеологической машины», детали, составные части и механизм которой нужно описать и проанализировать. Мне могут возразить, что в таком случае марксизм не будет раскрыт с точки зрения орудия познания (то есть практико-познавательного). На это я бы ответил утверждением (для обоснования которого мне пришлось бы прибегнуть к моей трактовке истории марксизма¹) о том, что после 1917 года марксизм стал еще больше походить на «идеологическую машину» и соответственно его познавательное значение изменилось по сравнению с периодом до 1917 года. «Научность» этого учения исчезла не только из-за того, что марксизм целиком идеологизировался (особенно внутри советской государственной системы, опираясь на государственно-партийный центр, распространяющий свое влияние по всему миру). Поскольку марксизм стал преимущественно «идеологической машиной», его «научность» автоматически разрушается внутри самой машины, и поэтому эта «научность» может существовать только вне марксизма, растворяясь в общем научном знании и подчиняясь, таким образом, правилам и порядкам тех, кто работает в этой области².

Это вступление и схема размышлений, которые последуют далее, представляют собой размышления не марксиста, а размышления, базирующиеся на анализе собственного определения марксизма. Поскольку мы не собираемся здесь следовать индуктивному методу, начиная рассмотрение взглядов различных несомненных и известных марксистов, а стремимся следовать феноменологическому подходу, при котором анализ одного явления позволяет распространить его результаты на другие явления той же сферы знаний, нам кажется, приводимый ниже тезис Сартра ясно (и с пользой)

¹ По некоторым аспектам можно посмотреть очерки, написанные мною для данной «Истории марксизма».

² Должно быть ясно, что здесь в мою задачу не входит личная оценка степени «научности» той или иной категории марксизма в свете сегодняшних знаний.

раскрывает основную посылку, свойственную (хотя и по-разному сформулированную и аргументированную) всему марксизму, от Ленина до Грамши и от Лукача до Альтюссера. Эту посылку необходимо иметь в виду, если мы рассматриваем марксизм как «видеологическую машину» и если мы хотим найти соответствующее место «научному знанию», вероятным посетителем которого является марксизм.

1. Непревосходимый марксизм

Один абзац из сартровской «Критики диалектического разума» может послужить отправной точкой размышлений над смыслом и значением марксизма в интеллектуальном и политическом исследовании нашего времени. В этом абзаце Сартр на основе гегелевского определения философии как выражения исторического момента формулирует свое мнение по поводу условий и перспектив марксизма:

«Если философия должна быть одновременно тотализацией знания, методом, определяющей идей, оружием преступления и общим языком; если мировоззрение является также орудием, которое воздействует на источенное червями общество, если такое мировоззрение одного человека или группы людей становится культурой, а иногда и сущностью целого класса, то, видимо, эпох философского творчества было мало. В период между XVII и XX вв. я могу назвать только три таких эпохи, олицетворяемые знаменитыми именами Декарта и Локка, именами Канта и Гегеля и, наконец, именем Маркса. Все эти три философские системы, явившись иштательной средой для мысли и горизонтом культуры, были непреодолимы до тех пор, пока исторический момент, чьим выражением они явились, не оказался пройденным этапом»³.

Марксизм как раз и является «философией нашего времени» и останется «испревзойденным, потому что обстоятельства, породившие его, до сих пор не изжили себя»⁴. Следовательно, «антимарксистский» довод — это лишь внешнее подновление какой-либо домарксистской идеи, а «мнимое «преодоление» марксизма может вылиться в худшем случае в возвращение к домарксизму, в лучшем же — в открытие вновь мысли, уже содержащейся в философии, но которая казалась преодоленной»⁵.

Прежде чем приступить к анализу сартровского тезиса, заметим, что провозглашенная им «непреодолимость» марк-

³ J.-P. Sartre. Critica della ragione dialettica, vol. I. Milano, 1963. p. 19.

⁴ Ibid., p. 32.

⁵ Ibid., p. 19.

сизма сочетается у него с заявлением о «склерозе» этого учения: «одной из удивительных черт нашей эпохи является то, что история обходится без самопознания», отсутствие исторического самосознания касается и «коммунистического человека», несмотря на то что «сила и богатство марксизма» состоят в том, что он «был самой решительной попыткой осветить исторический процесс в целом», то есть положить конец «неосознанности» всей предшествующей истории. «Уже двадцать лет («Критика диалектического разума» написана в 1960 году) эта тень падает на историю, потому что марксизм перестал быть с ней и пытается, из-за своего бюрократического консерватизма, свести изменение к тождеству». Но, уточняет Сартр, «склероз не соответствует нормальному старению», а он является «продуктом мировой конъюнктуры определенного типа»⁶.

Данную интерпретацию марксизма стоит проанализировать, не касаясь того, насколько отяжелел марксизм в трактовке Сартра. В своих тезисах Сартр объявляет о вере, выходящей за рамки его философии, и несмотря на то что она аргументирована по-другому, все равно относящейся к марксизму, а именно вере в непревосходимость марксизма как революционной философии нашей революционной эпохи. Кроме того, Сартр, будучи против «восточного» или властвующего марксизма и находясь в согласии с марксизмом «западным» или оппозиционным, после заявления о всемогуществе марксизма тут же признает недостаток его сил и даже импотенцию в последнее «двадцатилетие». Однако здесь же он успокаивает себя и своих читателей своей уверенностью в том, что этот разрыв между потенциальным величием и актуальным убожеством современного марксизма является не плодом органической болезни или необратимого старения, а лишь временной «конъюнктурой», которая за последние 20 лет дала значительные осложнения.

Нас же интересует не столько «конъюнктура», сколько структура сартровских тезисов. «Конъюнктура», на самом деле, должна была бы анализироваться за период гораздо более длительный, чем те 20 лет, о которых говорил Сартр, как с точки зрения перспектив, так и с позиций прошлого. Здесь же возникает вопрос, является ли «конъюнктура» чем-то случайным и внешним по отношению к марксизму или же марксизм сам создал ее. Однако эти размышления увели бы нас в сторону от тезисов Сартра, поэтому мы не пойдем этим путем. Опустим мы также и частичное решение, которое Сартр предлагает в своей книге марксизму, для того чтобы тот вновь обрел утраченную мощь.

В рассуждениях Сартра по поводу обоснования тезиса о

⁶ Ibid., p. 32.

непревосходимости (историко-теоретической) марксизма поражает не столько схематический историцизм, по которому всякое «философское учение» исчерпывает себя в тот «исторический момент», выразителем которого оно являлось, сколько то, что, с одной стороны, Маркс помещается в тот же философско-теоретический ряд от Декарта до Канта и, с другой стороны, в отличие от двух других «философских учений» (Декарт — Локк и Кант — Гегель) «философское учение» Маркса объявляется единственным в нашу эпоху: и не только не непревосходимым, но и ни с чем не сравнимым. Являясь непревзойденной вершиной философской мысли, Маркс становится буквально выше критики, потому что любая критика в его адрес окажется либо впадением в домарксизм и, таким образом, — для Сартра — в то, что уже давно «преодолено» марксизмом, либо в сам марксизм, ибо, если критика окажется к месту, значит, она подразумевалась и находилась в зародышевой форме в самом марксизме. Сартр не отвергает принцип постмарксизма, но, по его мнению, он исторически не соответствует нашей эпохе, которая еще не преодолела «обстоятельств», породивших марксизм, сделав его в настоящий момент действительно непреодолимым.

Можно утверждать, что Сартр сам противоречит этой абсолютной, самодостаточной замкнутости марксизма, которая, будь она строго признана, привела бы к мертвой тавтологии, к постоянному повторению марксистских формул, что является характерной чертой «склеротического» марксизма, связываемого Сартром с «мировой конъюнктурой». Сартр в своем утверждении абсолютности (исторической, то есть действительной для нашей эпохи) марксизма предельно выполняет одну операцию, которую другими методами уже много раз пытались провести с марксизмом, как изнутри, так и снаружи; она сводится к восстановлению былой мощи и полноты марксизма породными идеями, начиная от психоанализа и кончая экзистенциализмом. Операция эта, естественно, вызывает защитную реакцию со стороны «склеротического» марксизма (последовательного поборника автономной «непреодолимости» и самообеспечивающейся абсолютности доктрины) и в большинстве случаев дает, как следствие, бесполой гибрид: ни марксистская рыба, ни немарксистское мясо. Однако если определять марксизм последнего двадцатилетия как «склеротический», ставя диагноз и прописывая курс лечения, то тогда надо предположить, что есть, был или может быть другой марксизм, здоровый, настоящий, подлинный; и это признание приводит к разрыву в понятии марксизма, — разрыву, в другом смысле допускаемому и самим «склеротическим» марксизмом, который замалчивает отличный от себя марксизм как псевдомарксизм или анти-

марксизм, замаскированный под марксизм. И нет нужды замыкаться двадцатилетиями, о которых говорит Сартр, чтобы найти бесчисленные примеры этих взаимных обвинений, присущих марксизму, в том, что те или иные из марксистов не являются подлинными марксистами. В «одиночестве» и «непревосходимости» марксизма существует по крайней мере одна брешь, а именно, используя сартровское определение, между «склеротическим» марксизмом и марксизмом здоровым или, используя более распространенную марксистскую терминологию, разрыв между «ортодоксальным» марксизмом и марксизмом «инакомыслящим» или «еретическим». И поскольку составные части «еретических» марксизмов не всегда идентичны, «ортодоксальный» же марксизм не всегда подобен себе, мы имеем не просто дуализм «склероза» и «здоровья», а все многообразие типов болезней или же различные виды здоровья.

Оставив в стороне тот факт, что критерии определения болезни и здоровья различны и противоречивы, перейдем к тому, о чем забывать не следует: если домарксизм является реальностью, которую не отрицает ни один из самых яро-ортодоксальных марксистов, и если постмарксизм, по Сартру, представляется допустимой далекой возможностью, то тогда существует современный немарксизм, лежащий не только за логическими границами понятия самого марксизма, но и являющийся антитезой последнего. Марксизм представляется силой, направленной на борьбу с немарксизмом, который является антимарксизмом; он же вырабатывает и теорию, по которой этот антимарксизм оказывается археологическим реликтом или окаменелостью домарксизма, плодом невежества и слепоты или же враждебной реакцией на марксизм, связанной с частными практическими, предосудительными («буржуазными») интересами. Эта интерпретационная схема хорошо известна и опробована не только «склеротическим» марксизмом, но и «здоровым». Но она противоречит реальности: и после Маркса, как и на всем пути развития марксизма, научная и философская мысль продолжала работать и давать свои плоды, следуя разнообразным направлениям. Если Сартр в своих личных теоретических рассуждениях мог спокойно игнорировать этот факт, пользуясь в то же время обширным полем современной немарксистской культуры, то там, где марксизм стал организующей силой государства и общества, невозможно обойти проблему отношений между нынешним марксизмом и следующим за ним и параллельным ему немарксизмом. (Домарксизм нетрудно отнести к подготовительному этапу марксизма, даже если это механическое действие влечет за собой тяжкие исторические изменения и искажения.) Эта проблема, частично при Ленине, а в основном и более жест-

ким образом при Сталине и Жданове, решалась путем отказа от «унадочной» и «реакционной» («идеалистической») буржуазной философии и культуры. Но она может быть «решена» лишь в том случае, когда инкриминирующие определения не остаются только словами, а сопровождаются актами наказания (цензура, преследование и т. д. как орудия «гегемонии», преследующей свои конструктивные цели в осуществлении надзора за общественным воспитанием, за печатью и т. п.). Это «практическое» решение, однако, дорого обходится обществу: «склероз» марксизма, относимый Сартром к не слишком ясной «мировой конъюнктуре», рождается в первую очередь благодаря последовательному применению тезиса о «непревосходимости» марксизма, — тезиса, который Сартр безмятежно сформулировал в Париже и сразу опроверг в той же книге, где он был сформулирован, в то время как в другом месте этот тезис был воспринят гораздо более серьезно и не мог быть нарушен никем. Поэтому даже в «склеротическом» восточном марксизме в последнее двадцатилетие заметили, что пренебрежение к немарксизму послемарксовского периода и параллельному марксизму может привести склеротика к летальному исходу.

Сартр изобразил «непревзойденность» марксизма линейной, на самом же деле она имеет более сложный вид. С другой стороны, сартровская формула заслуживает внимания тем, что она раскрыла концепцию, скрываемую «инлюралистическим» компромиссом: в настоящий момент марксизм выглядит как непревзойденная философия и отличается от других, предшествовавших философских систем также и потому, что «момент Маркса» в эпистемологическом смысле ставится в иную плоскость, чем предшествующий ряд моментов «Декарт — Локк» и «Кант — Гегель», а роль скоро представитель этой философии оказывается в единственном числе (отношения Маркс — Энгельс, очевидно, отличаются от диалогическо-полярных отношений Декарт — Локк и Кант — Гегель и имеют значение только внутри истории основания марксизма), обнаруживается разрыв между марксизмом и предыдущими философскими учениями. Однако само собой разумеется, что новое в марксизме заключается совсем в другом, и абсолютно оправдано самоопределение марксизма как революционной философии. Проблема непревзойденности марксизма (которая для Сартра существовала только как позитивная, а не как открытая для нас) может быть сформулирована по-другому: как проблема неизбежности революции, — проблема философии революции и революции в философии.

Перенесем наш анализ из теоретической плоскости в плоскость историко-описательную. Если с точки зрения аналитико-описательной марксизм как объект исследования тре-

бует метатеоретической основы (метаязыка), то с точки зрения истории марксизм как предмет изучения нуждается в системе интерпретации, каноны которой действительно могут быть марксистскими, но в метамарксистском смысле. В обоих случаях, за исключением псевдоанализа и псевдоистории, марксизм должен будет преодолеть себя сам. «Самопреодоление» является условием его критического самоосознания. В этом свете вопрос о том, кто может лучше написать историю марксизма — марксист или немарксист, теряет свою остроту: она может быть написана только метамарксистом, причем не так уж важно, оказывается ли он «вне» марксизма или внутри него. Это методологическое «преодоление» марксизма может проходить на двух уровнях: более широкий из них охватывает всеобщую историю в ее экстенсивном и интенсивном аспектах, где марксизм может объяснить историю, но уже и сам оказывается объясненным ею. Такова парадоксальная связь, разрывающая абсолютную целостность марксизма и сводящаяся не к этой предполагаемой абсолютной целостности, а к ряду относительных совокупностей, поддающихся сравнению. Второй уровень, тесно связанный с первым, — это сама традиция марксизма, когда он теряет свое догматическое единогласие и представляется совокупностью многих голосов (марксизмов), контрастирующих между собой. Это многообразие голосов может быть уничтожено утверждением ортодоксального марксизма, представляющего остальные «марксизмы» как искривления, ренегатство, ошибки; это сделало бы невозможным методологическое преодоление марксизма, и он утвердился бы в своей абсолютной (самонадеянной и слепой) абсолютности. Проблему можно сформулировать следующим образом: может ли марксизм выдержать, не разлагаясь, методологическое преодоление или же для продолжения существования ему нужно другое самообеспечение, поскольку в этом самообеспечении и состоит то новое, что отличает его от других философий? К этому второму решению нас подводит то сугубо специфическое положение, которое занимает марксизм не столько среди других философских систем, сколько в самой современной истории.

2. Марксизм реальный

Давайте рассмотрим самоопределение марксизма, выбрав из многих самое безличное. В статье «Марксизм-ленинизм» в советской «Философской энциклопедии»⁷ читаем:

⁷ Переход от анализа Сартра к официальному тексту может показаться резким. Но, кроме того, что реально дистанция между двумя нашими источниками не так уж и велика, как может показаться, необхо-

«Марксизм-ленинизм — научная система революционных взглядов рабочего класса, трудящихся, отражающая объективные законы развития мира и опыт *классовой борьбы* народных масс против эксплуататоров, постоянно развивающаяся на основе обобщения этого опыта и представляющая собой программу, стратегию и тактику его революционной борьбы против *капитализма*, за *социалистическую* революцию и установление *диктатуры пролетариата* в целях построения *коммунизма*»⁸. Марксизм (мы будем продолжать для удобства называть его так, подразумевая под этим термином также «марксизм-ленинизм» и проблему ленинизма) предстает перед нами как систематизированная совокупность научных знаний универсального характера (поскольку он «отражает объективные законы развития мира»), связанных с практической («революционной») деятельностью части человечества («пролетариата»), которой марксизм отводит общую освободительную миссию. Другой характерной чертой марксизма, по данному определению, является его динамичность, его постоянное развитие на основе обобщенного опыта этого класса. В определении этой основной черты не говорится, что это обобщающее постоянное развитие не принадлежит ни отдельному человеку, ни рабочему классу в целом — оно вырабатывается в специальном привилегированном институте, называемом «партия». До рождения партии марксизм, еще не имевший этого названия, существовал в голове своего отца-творца, который сам создал его в соответствии с традиционной процедурой любого философского творчества (отбор и критическое отношение к традиционной мысли, определение основной и актуальной проблематики, формирование определенных методических критериев и определенного категориального аппарата и т. д.). Но, будучи созданным одним человеком (ситуация, видимо, не изменится, если мы приплюсуем сюда Фридриха Энгельса и опустим природу их сотрудничества и специфику вклада каждого из них), марксизм в отличие от других философских и научных систем приобретает две совершенно новые характеристики: с одной стороны, он перестает быть индивидуальной и универсальной мыслью и становится «мировоззрением» или «научной системой» (я/или универсальным и революционным «методом») класса и, с другой стороны, приобретает обособленнейшее положение доктрины, развитие которой является делом немногих, призванных защищать марксизм от попыток его фальсификации и развивать это

можно заметить, что современный марксизм нельзя рассматривать только с позиций его «культовых» проявлений. Он обязан быть изученным во всех массовых теоретических формулировках с целью понять внутреннюю связь между его «верхом» и «низом».

⁸ «Философская энциклопедия», т. 3. М., с. 314.

учение в соответствии с его истинной сутью, определив прежде эту суть; и не важно, что эти немногие уполномоченные защищать и развивать марксизм являются талмудистами, привязанными к букве учения, либо «творцами», которые за рамками буквы объявляют себя верными духу «метода»; структурно в обоих случаях имеется признание уникального и ни с чем не сравнимого положения марксизма по сравнению с любым другим знанием.

Таким образом проявляются противоположные аспекты марксизма — его жесткость и гибкость. Развитие марксизма происходит, как уже было сказано, в привилегированном и закрытом институте под названием «партия», где на основе принципа власти, прикрытого доктриной, каждый раз устанавливается, какое именно развитие является позволительным и необходимым. Можно заметить, что даже части марксизма, долгое время считавшиеся основными (например, указанная выше «диктатура пролетариата»), окажутся однажды отложенными в сторону, может быть, для того, чтобы потом появиться снова под прикрытием других формулировок. Но марксизм, кроме жизни в замкнутой сфере партии, довольно-таки свободно существует в огромном мире, и здесь он может выступить либо как миссионер партии *in partibus infidelium**, одетый в доспехи авторитарной и доктринерской дисциплины, регулирующей развитие, либо как выразитель свободной инициативы отдельного индивидуума или группы людей, которые, поддерживая сложные отношения сотрудничества или оппозиционные отношения с партийным марксизмом, не подчиняются дисциплинарным правилам, контролирующим партию. Здесь марксизм раскрывает свою вторую душу: насколько партийный марксизм был аскетичным и жестким, настолько светский марксизм оказался открытым и всеядным; и можно сказать, что нет ничего интеллектуально нового и нет ни одной культурной традиции — от психоанализа до структурализма, с которыми он не попробовал бы установить отношения или симбиоз. Сложилась парадоксальная ситуация: марксизм, который называет себя «научной системой» (или «методом», по тоже научным), либо замыкается в самом себе в некую замкнутую доктрину, либо пытается выборочно ассимилировать развитие и результаты знания, которые даже и тогда, когда оно не игнорирует марксизм, развивается в иной плоскости, абсолютно отличной от него. Тогда существовали бы две науки: одна наука марксистская, а другая — немарксистская, первая тогда занималась бы нескончаемой работой самоинтерпретации и самокомментирования (самоконсервации и самовосхваления) и восприятием, пусть частичным, того, что

* Среди неверующих (лат.). — Прим. ред.

непрерывно производит немарксистская наука, свободная от столь упорного нарциссизма. Ситуация вдвойне парадоксальна в том смысле, что «вторая» наука, как того требует марксизм, не только немарксистская, но и «буржуазная», поскольку она является «выразителем» не потенциально универсального класса, то есть пролетариата, а класса эгоистического и агонизирующего, то есть буржуазии. И, основываясь на противопоставлении науки марксистской, то есть правильной, и науки буржуазной, то есть ложной, партийный марксизм не принимал и не принимает не только целые области философии и искусства, рассматривая их как «упаднические», но также и такие научные дисциплины, как генетику и кибернетику. Но если жесткость партийного марксизма, несмотря на всю его трагикомичность, выражается в мрачной последовательности, то не менее важным и симптоматичным нам кажется и мирской марксизм с его ожесточенным желанием соединиться со всем тем, чего нет в марксизме. Однако и в этой жадности мирского марксизма ко всему иному проявляется мысленная структура, присущая партийному марксизму, поскольку мирской марксизм до тех пор пока остается марксизмом, не растворяется с «другим», а поглощает его. Он так же, как и партийный марксизм, чувствует голод по высшему знанию и то ли по мотивам психологическим (надоедает вечно вращаться внутри абсолютного знания), то ли по мотивам практическим (из желания захватить посредством гегемонизации внешнюю интеллектуальную сферу) совершает набеги на лагерь неверных и приносит домой свою добычу. Не имеет значения, что союз «и», соединяющий марксизм с психоанализом, христианством, семиотикой и т. п., остается чисто формальным союзом; важно то, что и у мирского марксизма есть право решать, что приемлемо, то есть является потенциально марксистским в немарксистских знаниях, и что антимарксистским, то есть ложным и не подлинным. Не важно также и то, что партийный марксизм часто осуждает и почти всегда относится с тревогой к свободному поведению мирского марксизма и призывает его вернуться за стены матери-крепости, чтобы очиститься от всей инородной заразы. Мирской марксизм всегда остается сыном партийного марксизма, иногда блудным, иногда потеряннным, но и в том и другом случае в его венах течет кровь «отца», и, даже когда «сын» восстает, это служит хорошую службу «отцу», поскольку утверждает в мире, пусть и в слабо выраженных формах, принцип партийного марксизма, его привилегированную позицию в мире знания и действий, марксо-центристский характер нашего времени и необходимый марксометр для измерения того, насколько совместимо с марксизмом (с его развитием) то, что создано за его пределами.

«Непреодолимый горизонт» — так определил марксизм Сартр; неизмеримое его превосходство — в таких словах характеризуется он в «Философской энциклопедии». Внутри марксизма обе формулировки не вызывают возражений, поскольку марксизму присваивается право утверждаться как специальному знанию, способному к саморегуляции, которая лишь подтверждает его абсолютность. Но если исходить из того факта, что критика в культурной сфере возможна лишь в определенной системе отсчета и при относительности связей, то оба определения свидетельствуют об узурпации научности. Множественность марксизмов, сведенная к конфронтации ортодоксального марксизма и его ответвлений, указывает на то, что внутренняя перспектива марксизма не соответствует самому развитию марксизма. Внешняя же перспектива означает признание формирующей генеалогии марксизма, его связи с рабочим классом, называющим его наукой, его сравнения со своей же конкретной историей и, наконец, его отношения с «другим» марксизмом, то есть немарксизмом не столько домарксистским, сколько постмарксистским, следующим за марксизмом и параллельным его появлению на свет.

Здесь шла речь об особом положении марксизма в плане знаний и воздействия на современный мир, и отсюда-то вырисовалась его существенная феноменология.

В статье, написанной в 1913 году по случаю тридцатилетия со дня смерти Маркса, Ленин определяет «три источника» (и «три составные части») марксизма. Полемизируя с теми, кто хотел представить марксизм в виде секты, возникшей «в стороне от столбовой дорожки развития мировой цивилизации», Ленин утверждает, что Марксово «учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономики и социализма»⁹, то есть «немецкой философии», «английской политэкономии» и «французского социализма». К этим трем национальным источникам марксизма можно присовокупить и четвертый — русское народничество, который послужил мостиком между марксизмом и марксизмом-ленинизмом или, если угодно, ленинизмом. Но, перечисляя источники, необходимо заметить, что не хватает изначально-го источника, чьи воды смешиваются с водами трех остальных, более того, направляют эти воды за собой по проделанному им руслу. Этот изначальный источник является религиозным по своей природе (в смысле контррелигии по отношению к христианству) и составляет сокровенное ядро Марксова и следующего за ним марксизма, ясно проявившееся лишь в определенные моменты истории марксизма (на-

⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 40.

пример, в «богостроительстве» Луначарского и Горького или, несколько по-новому, у Эрнста Блоха, а также в фанатичном и воинствующем атеизме Ленина и его преемников), но всегда составляющее исходный связующий элемент марксизма¹⁰. Здесь не идет речь о спорном и банальном замечании тех, кто утверждает, что «марксизм — это релягия», или о внешнем приравнивании марксизма к католицизму (в аспекте ортодоксальности, ереси, отлучения и т. д.). Остановимся лишь на исторически и филологически достоверном факте отношения Маркса к критике религии Фейербахом. Естественно, здесь не место для подробного разбора столь сложной темы¹¹. Достаточно перечитать важнейшую работу Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение» и в ее свете юношеские статьи, вплоть до «Тезисов о Фейербахе» (то есть чисто философской или, лучше, подчеркнуто философской работы Маркса), чтобы увидеть этот «изначальный источник» марксизма, предваряющий критику религии по отношению к остальным видам критики: «Ближайшая задача философии, находящейся на службе истории, — после того как разоблачен священный образ человеческого самоотчуждения — в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах. Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии в критику политики». И далее здесь делается абсолютно «марксистский» вывод: «Философия не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию в действительность»¹².

Среди многочисленных замечаний, которые вызвал бы этот блестящий Марксов (и марксистский) текст, хотелось бы остановиться на одном: стимул критики религии сам по своей природе религиозный, а не абстрактно-теоретический. Маркса интересует проблема страдания и счастья, а это и есть проблема теодицеи: «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира» — и подавление религиозных иллюзий необходимо, поскольку необходимо отказаться «от такого положения, которое нуждается в иллюзиях»¹³. Используя выражение Бонхеффера, человечество стало

¹⁰ Вспомните у Грамши блестящее определение социализма как «религии, которая должна убить христианство». А. Gramsci. Cronache Torinesi (1913–1917) (a cura di S. Carpioglio). Torino, 1980, p. 329.

¹¹ См. мою статью «Интерпретировать и преобразовывать» в сборнике «Кризис разума». Касаясь столь сложной историко-теоретической проблемы, я отсылаю наиболее заинтересованных читателей к другим моим статьям, с тем чтобы они подробнее ознакомились с ходом моих размышлений. Я также отдам себе отчет в том, что по этому вопросу существуют специальные, очень глубокие труды.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 415, 429.

¹³ Там же, с. 415.

«взрослее» и обогнало время, в котором религия, как сказал в фейербаховском стиле Маркс, «претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью»¹⁴. Это означает, что закат религии произойдет тогда, когда «человеческая сущность» сможет реализоваться, когда человек начнет двигаться «вокруг себя самого и своего действительного солнца» (отсюда следует, что заката не произойдет, если сам человек не возродится)¹⁵. Но особенно важным и интересным является место, где Маркс говорит, что «критика религии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил, действовал, строил свою действительность, как освободившийся от иллюзий, как ставший разумным человек»¹⁶: проблема состоит именно в том, чтобы увидеть, действительно ли марксист, критикующий религию, освободился от иллюзий и не подвержен ли он какой-нибудь другой иллюзии: например, напыщенному гуманизму, который обожествляет человека в духе романтического титанизма. Это однажды заставило молодого Маркса написать: «Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре»¹⁷. Нетрудно обнаружить религиозный и, скорее, поэтико-героический источник этой мысли Маркса, неразрывно связанный в свою очередь с гегельянским и постгегельянским, в частности фейербахианским, мировоззрением, насквозь пропитанным религией и богословием, пусть даже оторванным от церкви и замаскированным. Понимание этого поэтико-героического источника позволяет более серьезно поставить вопрос о «двух Марксах»: Марксе-«пророке» и Марксе-«ученом». Марксизм (самого Маркса и его последователей) — не эмпирическая наука; тем самым объясняется его особое положение, о котором мы уже упоминали выше; но это и не умозрительная философия. Это учение о сущности истории, научно-эмпирическое содержание которого проникнуто религиозно-героическим порывом. Конечно, эмпирическая сторона марксизма может занимать (и занимает) свое место в развитии научного познания, подвергаясь при этом (там, где познание свободно, то есть в «буржуазном» обществе) всем тем проверкам и «искажениям», которым подвергается любое новое учение. Но в этом случае сам Маркс — немарксист: не в том смысле, в каком он сам объявлял себя немарксистом, отказываясь узнавать себя в оплодотворенном и упрощенном образе, а в том, что он прямо

¹⁴ Там же, с. 414.

¹⁵ Маркс, кажется, исключает возможность настолько полного «отчуждения», которое затмит солнце религии и не даст появиться свету «возрождения» самого человека, то есть он не видит ночи штилизма.

¹⁶ Там же, с. 415.

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 25.

противоположен тому Марксу, который прочно вошел в историю нашего времени. В самом деле, «история марксизма» занимается не научными «открытиями» Маркса, а его учением в целом, единым в своей двойственности, а также той ролью, которую это учение сыграло в мире в качестве организатора или руководителя массового политического движения, которому теория Маркса, в популяризованном общепринятом виде, предлагает простой, но жесткий набор правил и убеждений.

Очевидно, рабочее движение приняло на вооружение марксизм именно в силу его сложной и неотрывной от учения Маркса природы. Мифы социализма срастались с поэтико-героическим ядром марксизма, а научная (эмпирическая) сторона Марксова учения становилась руководством к действию для рабочего движения. По этому поводу в голову приходят широко известные строки из книги, оказавшей, после трудов Маркса, наиболее серьезное воздействие на историю марксизма, — из «Что делать?» Ленина. Ленин утверждает, что «классовое политическое сознание может быть принесено рабочему *только извне...*»¹⁸, поскольку «исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание *тред-юнионистское...*»¹⁹. Здесь не место подробно исследовать все исторические последствия этого знаменитого рассуждения, искать его источники в трудах Маркса (хотя бы в приведенном выше отрывке о союзе «философин» с «пролетариатом»), изучать отрицательное отношение русских социал-демократов к этому ленинскому тезису и анализировать результаты, к которым в наш век привели подобные утверждения. Для нас важно, что здесь Ленин впервые пришел к идее, которую затем развил и с неумолимой логикой применил на практике. «Сознание», вносимое «извне» в рабочий класс, понимается как нечто данное, что-то вроде души, вдыхаемой в материю, способную лишь к растительному (тред-юнионистскому) существованию. «Тело» рабочего класса получает «душу» от Демидурга, то есть от «буржуазной интеллигенции», к которой, напоминает Ленин, принадлежали Маркс и Энгельс²⁰. Поражает унижение класса, являющегося всемирным освободителем, который якобы не может выполнить свою историческую миссию без вмешательства выходцев из враждебного ему класса. Но еще важнее то, что «сознание» понимается как раз и навсегда данная теория, вводимая кем-то извне в материю рабочего движения. Значит, рабочие массы превращаются, как отмечали русские противники Ле-

¹⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 79.

¹⁹ Там же, с. 30.

²⁰ Там же.

нина (также марксисты), в простой инструмент в руках «сверхчеловеков» — «профессиональных революционеров», носителей чистого революционного сознания. Однако нерархический порядок устанавливается не только между рабочим классом как «телом» и революционным сознанием как «душой». Мир интеллигенции тоже раскалывается надвое, и граница здесь еще заметнее. В самом деле, «интеллигенты», которые вносят сознание в пролетариат,—это не просто интеллигенты как таковые, а те избранные, которые, поднявшись над обычным знанием, достигли высшего понимания, овладели той особой «научной системой», о которой говорится в определении марксизма, данном в «Философской энциклопедии», или же тем «непревзойденным» видением «исторического процесса в целом», о котором говорил Сартр, определяя марксизм. Вслед за дуализмом тела и души вырастает дуализм науки особенной («революционной теории») и науки обычной (знания, развивающегося по своим законам). Эти два дуализма, раз уж они есть, должны быть как-то сопряжены и опосредованы. Посредником становится партия. Но не та партия, которая уже имела у немецкой и русской социал-демократии, и, уж конечно, не организация «тред-юнионистского» типа — эти знаки подчиненности буржуазии. Речь идет о партии нового типа, — партии, в которой «сверхчеловек», выходец из буржуазной интеллигенции, этакий Прометей, дарящий свое абсолютное знание пролетариату, находит разрешение своему неизбежному интеллектуальному аристократизму в демократизме общения с массовым движением²¹.

²¹ Интересно и показательное следующее рассуждение из «Что делать?», на которое обычно не обращают внимания. Говоря о русских революционных народниках, Ленин утверждает: «Именно теперь русский революционер, руководимый истинно революционной теорией, опираясь на истинно революционный и стихийно пробуждающийся класс, может наконец — наконец! — выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы». При условии, разумеется, чтобы среди членов партии «всякое поползновение признать наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 107). Следовательно, «русский революционер», воплощение революционного духа, существует вне рабочего движения и только «опираясь» на это последнее и «руководствуясь» ортодоксальным марксизмом, сможет «наконец» приложить свои «богатырские» силы, то есть «перевернуть Россию» с помощью архимедова рычага «организации революционеров», как пишет Ленин далее. «Организация» (партия) — это орудие, «теория» (марксизм) — это наука, «класс» (пролетариат) — это материя, обладающая «революционной энергией» (этот термин встречается в книге «Что делать?») (см., например: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 75, где говорится о терроре как неизбежном выходе «революционной энергии» интеллигенции, не «опирающейся» на рабочее движение), той энергией, которая существовала до появления этих исторических сил и впервые проявилась в якобинстве во время Французской революции, а затем нашла свое высшее выражение в «русском революционере». Что касается террора,

Что же касается рядовой интеллигенции, развивающей — и небезуспешно — науку более или менее независимо от марксизма, то и интеллигенция и ее наука расценивались как простой материал, из которого верховный суд абсолютного познания, воплощенный в партийной верхушке, что-то выбирает, а что-то отбрасывает, принимает или осуждает. Суд, который, подобно Миносу, «судит и направляет», то есть устанавливает, что совместимо с марксизмом, а что «революционной теории» чуждо и враждебно, и определяет первое как «научное» и «прогрессивное», а второе как «антинаучное» и «буржуазное». Важна не большая или меньшая снисходительность, судьи, приговоры которого могут изменяться с течением времени, но само его предполагаемое право судить и признание этого права. Можно представить себе даже терпимую и открытую ленинистскую «революционную теорию», перешедшую после долгих лет разрушительной жесткости к политике относительной снисходительности и мягкости. Лишь бы не оказалось под вопросом ее право быть судьей и вершительницей судеб, то мягкой, то строгой, способной даже позволить своим подданным дерзкие эксперименты, но при соблюдении, пусть и формальном, иерархии познания и разумения. Конечно, в той мере, в какой рабочий класс становится предметом апологии и восхваления, превращаясь в инструмент, так и наука, превращаясь в материал, подчиненный высшему знанию, восхваляется в качестве опоры «теории». Создается невиданная доселе система, основанная не только на силе (остающейся, как бы то ни было, главным условием), но и на парадоксальной форме «согласия», то есть интериоризованного духовного насилия, на превращении цивилизованного общества в некое тело, которым управляют высшие властители души.

Ясно, что предпринятые «стыдливymi» марксистами ленинцами попытки приблизить или уподобить ленинскую идею о внесении сознания в пролетариат тому, что примерно в то же время писал об интеллигенции и партии Каутский, были искажением истинного положения вещей. Кроме всего прочего, эти попытки лишали учение Ленина неповторимости и новизны, столь пронизательно понятых уже в начале века дру-

то нельзя забывать, что для Ленина это не только естественный выход «революционной энергии», не направляемой организацией большевистского типа. «Принципиально, — заявляет Ленин, — мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора». «Это — одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения, при известном состоянии войска и при известных условиях» (*В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 7*). Военная терминология постоянно встречается в трудах Ленина и явно перекликается с ленинским пониманием политики как военных действий и с идеей о превращении «классовой борьбы» в «классовую войну», ведущуюся по законам стратегии и тактики, разработанным генеральным штабом, то есть партией.

гимн русскими марксистами, которые потому и боролись против него. Вопрос о том, кто же был «настоящим» марксистом — Ленин или его противники, в данный момент нас не интересует. Конечно, у Ленина, несмотря на то что он во многом видоизменил марксизм, сохранялись в общем и целом основы учения Маркса. Недаром весь марксизм XX века (действующий и торжествующий) несет на себе отпечаток деятельности Ленина. Закончим эту часть наших рассуждений цитатой из Федора Дана, историка большевизма. Эта цитата показывает, что «заговорщический» (и, добавим, «сектантский») характер был внутренне присущ марксизму в период его развития в ленинизм. Дан отмечает, что после победы, одержанной большевиками на V съезде РСДРП (Лондон, 1907), «большевистское ядро» продолжало действовать внутри партии, той же самой РСДРП, подобно некоему тайному двигателю. Поэтому «политика большевиков стала вдвойне «заговорщической» и по отношению к вопросам общеполитического характера, и по отношению к самой партии — ведь «большевистское ядро», воплощая идею узкого кружка «профессиональных революционеров», тщательно конспирировало свою деятельность не только от государственной полиции, но и от партии, и от членов ЦК, стоявших на позициях меньшевизма». И Дан прибавляет, что «это логически вытекало из развития организационно-политической линии, намеченной в книге «Что делать?» Ленина»²².

Нужно заметить, что, конечно же, работая над книгой «Что делать?», Ленин не мог предвидеть все возможные пути развития основной своей мысли, хотя и обладал обостренным чувством реальности, позволявшим ему применяться к обстановке и укреплять принципы, которыми он руководствовался и которым, как бы то ни было, остался верен до конца. Но, несомненно, идеи Ленина и вообще ленинизм развивались глубоко последовательно в соответствии с историческими условиями того времени. С победой Октябрьской революции ленинизм достигает зрелости, пройдя длительный путь развития, начинавшийся от написания «Что делать?». Но корнями он уходит, помимо марксизма, в традиции русского революционного народничества²³.

Ленинизм — это революция не только в умах людей. В 1917 году эта революция воплотилась в государстве, которое встало во главе международной организации, а затем выросла в целую систему одинаковых по структуре государств. Сартр утверждал, что марксизм — непреодолимая вершина нашего времени. Это, пожалуй, верно, но не в том смысле, какой вкладывал в свои слова сам Сартр. Непреодолима

²² F. Dan. Proischozhenie Bol'shevizma. New York, p. 432—433.

²³ См. нашу вводную статью к итальянскому переводу «Что делать?».

не интеллектуальная вершина марксизма, как полагал Сартр, принося очередную «жертву разума» на алтарь этого учения; непреодолима историческая вершина, то есть реальная совокупность исторических сил, действующих в мире, порожденных или воодушевленных марксизмом. После Октябрьской революции марксизм стал важнейшей силой современного этапа человеческой истории. Это отнюдь не означает, что немарксистские определения непригодны для характеристики современного этапа и самого марксизма. Но если верно, что марксизм нашего времени тождествен тому, которым руководствовались большевики при свершении революции (с учетом развития, разумеется), значит верно и то, что доленинский марксизм не может расцениваться как нечто самостоятельное. Поясним это суждение, которое, не будучи высказано марксистом-ленинцем, может показаться неожиданным. Ясно, что существовал, в том числе и в России, марксизм, отличный от ленинизма, в частности меньшевизм. Подобный марксизм возможен и теперь; более того, в странах, где марксизм-ленинизм не стоит у власти, существует марксизм, облеченный подкормкой «буржуазной» культуры в соответствии с тем самым законом взаимообогащения, о котором говорилось выше. Но считается-то именно с тем марксизмом, который воплотился в такую громадную историческую силу, как Советское государство, в империю, распространяющую свое влияние во все концы земного шара. Поверженный марксизм каутских и мартовских, как это часто случается с побежденными, является истинным образцом пошмания и терпимости к чужим мнениям, но торжествует все же иной марксизм. Он торжествует и в духовной сфере — ведь более полувека он влияет на настроения умов в Европе и во всем мире, воздействуя и на самое культуру. Пример тому — такие незаурядные умы, как Лукач и Грамши, «переводившие» ленинизм, каждый по-своему, на язык «западной» культуры, поднимая тоталитарность, заложенную в ленинизме и осуществленную в Советском Союзе, на более высокий уровень, преобразуя насилие в своего рода «согласие» интеллигенции и народа. Эти мыслители пытались воссоединить ленинизм с тем религиозным «источником», о котором мы уже говорили. Доленинский марксизм сегодня может безнадежно устареть и отстать от жизни, если не учтет необратимой трансформации «реального марксизма», поскольку она опирается на мощную политическую и материальную базу. Марксизм-ленинизм тождествен «реальному марксизму», и смешно полагать, что, сняв дефис между марксизмом и ленинизмом, можно высвободить место для пресловутого интеллектуально-политического обновления. Поясним на примере: можно, конечно, сказать, что «реальный социализм» — это не настоящий социализм; более того, такая точка зрения считается признаком независимости от хозяев «ре-

ального социализма»²⁴. Но социализм, который влиял и продолжает влиять на нашу эпоху, привлекая к себе интеллигенцию и пролетариат, — это тот же самый «реальный социализм» во всех его видах (включая маоистский и кампучийский), равно как и марксизм есть «реальный марксизм», неразрывно связанный с «реальным социализмом»²⁵.

²⁴ Среди тех, кто во что бы то ни стало пытается доказать, что «реальный социализм» — это все-таки социализм, бытует следующий заведомо ложный довод: как буржуазный политический строй, будь то демократическая республика или фашистский режим, сохраняет свою капиталистическую природу, так и социализм остается социализмом в «фашистском», то есть сталинском государстве. Это рассуждение имеет два коренных изъяна. Первый состоит в том, что капиталистическое общество являет множество примеров демократии, пусть и буржуазной (а современные формы либеральной демократии зародились непосредственно в капиталистическом обществе как результат внутренней политической борьбы), между тем как фашизм — редкое исключение, искореняемое самой буржуазной демократией. Социализм же не выработал ни одной формы подлинно демократического правления и всегда опирался на «фашистские» (ясно, что это слово мы употребляем исключительно по аналогии), то есть тоталитарные, режимы. Вторая слабая сторона этой отговорки, еще более явная, состоит в том, что такое рассуждение выявляет полное непонимание самой идеи «социализма»: в капиталистическом обществе власть может принимать демократические или фашистские формы, не меняя сущности отношений к собственности (даже если рыночной экономике присуща «рыночная» политика, то есть свободная конкуренция политических сил, и фашизм тогда представляет собой аномалию). В социалистическом же обществе, если власть попадает в руки какой-либо группировки или класса (идео-бюрократия партии-государства) и срастается с централизованной экономической властью, то в таком случае сами основы возможного социализма рушатся, уступая место новой социально-экономической формации, которую именуют «государственным капитализмом», «бюрократическим деспотизмом „азиатского типа“», «тоталитарным режимом» (не будем исследовать здесь эти названия, заметим только, что все они указывают на различные стороны новой общественно-экономической формации, называющей себя «социализмом»). Короче говоря, отношения между экономикой и политикой при капитализме и социализме складываются по-разному, и при социализме *conditio sine qua non* (непременное условие) становится полная и подлинная демократия. Спрашивается, не приводит ли в любом случае уничтожение рыночного хозяйства к установлению той или иной формы тоталитарного («фашистского») режима, как это случилось в странах «реального социализма». Здесь мы не будем отвечать на этот вопрос, но нельзя не заметить, что, по нашему мнению, при полном уничтожении стихии рынка неизбежно формируется тотальный (и тоталитарный) суперкласс хозяев экономики и политики (и идеологии), которые, разумеется, при всех своих привилегиях ссылаются и на «народ», и на «пролетариат», и на «социализм». Часто забывают, что социализм — это положительное явление и что превращение его в явление отрицательное (его «фашизация») равносильно его разрушению. И тут уж бессильны все «марксистские» уловки, которыми пытаются прикрыть этот крах.

²⁵ Марксизм победил не в промышленно развитых странах, а там, где на его долю выпала неожиданная функция идеологии и специфической модернизации, осуществляя которую породил доселе невиданные тоталитарные режимы. Часто западные марксисты пытаются переложить ответственность за советскую модель социализма на историческую обстановку, существовавшую в России. Цель подобных попыток — уберечь

Можно, пожалуй, сказать, что не только «реальный марксизм» переживает кризис — кризисом охвачен весь современный мир, в котором «реальный марксизм» занимает немалое место (правда, в капиталистическом и в социалистическом мире кризисы различны по своей природе и по тяжести — ведь промышленно развитые социалистические страны неспособны справиться с первоочередными экономическими задачами, за исключением задач военной промышленности). Сартр утверждал, что марксизм (понимаемый им как одна из теорий, пусть даже наиболее верная из всех и исторически наиболее значимая) — это непреодолимая вершина нашего времени. Следовало бы, пожалуй, сказать по-иному: реальный марксизм (марксизм «склеротический», по выражению Сартра, но мощный) — это огромная и непреодолимая сила современной истории. Он действительно занимает важнейшее

марксизм от всестороннего критического анализа. Речь идет о повторении, только в более широком масштабе, старой схемы, популярной в западном марксизме, делавшей Сталина козлом отпущения, свалившей на него вину за все пресущие «реальному социализму» изъяны с целью обелить Ленина и ленинизм и уберечь их от беспощадной критики. Обе эти схемы указывают на интеллектуальную бедность прибегающего к ним западного марксизма и на политическую двусмысленность его «реформированных» позиций после XX съезда КПСС. Но, кроме всего прочего, эти схемы противоречат одна другой, поскольку, с одной стороны, Россия оценивается положительно как страна, в которой создавалась возможность возникновения «мутации» марксизма, названной по имени Ленина и утвердившей себя в ходе Октябрьской революции; с другой же стороны, на Россию и ее историю возлагается вина за то, что последовало за большевистской революцией (Сталин и его теория и практика марксизма-ленинизма).

И в этом случае западный марксизм показывает свою несостоятельность, неспособность конкретно поставить вопрос о соотношении русской и советской истории и, напротив, проявляет способность обходить подводные камни и лавировать в вопросах тактики и идеологии. Ясно, что ленинизм — плод исторического развития России. Но, признав эту связь и проведя ее предметный анализ, марксист должен объяснить, почему ленинизм, само по себе глубоко русское явление, был принят целыми организациями как учение интернациональное, вплоть до отождествления его с марксизмом и с рабочим движением; и почему торжествующий ленинизм, при жизни Ленина и в эпоху правления Сталина, успел иметь черты русской истории от Ивана Грозного до Николая I, последовательно уничтожая не менее русские традиции борьбы за свободу, демократию и социализм. Итак, марксист должен объяснить, прежде всего себе самому, почему европейское рабочее движение, создавшее основу для разработки подлинного марксизма, не сумело воспринять большевистскую революцию, сочетая внимание и доброжелательность с критическим отношением с самого ее начала, и уж тем более на последующих стадиях ее развития: почему европейское рабочее движение в большой своей части, напротив, слепо пошло на поводу у государственных учреждений, созданных этой революцией.

Уже из этих кратких замечаний ясно, что вопрос соотношения России с СССР не только не решается при помощи упражнений в ловкости ума, но выходит далеко за пределы России и СССР, затрагивая роль европейского рабочего движения и его так и не проявившуюся способность показать себя самостоятельной, подлинно освободительной силой.

место в интеллектуальной жизни и в исторических исследованиях. Но его не изучают как *проблему*, требующую разрешения. И проблема эта усложняется и обостряется тем, что речь идет не о чистой теории, а о системе власти. Никому не дано знать, чем завершится кризис нашей эпохи, когда наряду с «реальным марксизмом» существуют наиреальнейшие атомные бомбы, но каждому из нас приходится задумываться над этим кризисом и искать выходы из него, необязательно используя для этого лишь марксистские средства. Нужно понять «реальный марксизм», понять его мировоззрение — ведь именно оно, помимо всех интересов и привилегий, определяет дальнейшее развитие кризиса марксизма. Всякий, кто желает разобраться во всеобщем кризисе («реального социализма» и реального капитализма), среди прочих теоретических средств имеет в своем распоряжении учение Маркса, но лишенное целостности и потому не «марксистское». Оно отрезано от своего скрытого религиозного «источника» (разумеется, контррелигии) и потому оно отдает богу — богово, а кесарю — кесарево. «Богово» — это признание того, что вдалеке от всевозможной и необходимой критики религии как института существует ядро, не подверженное критике: вера, та самая вера, хранителем которой во всех ее формах — подлинных и искаженных — выступал Маркс, та вера, которая впоследствии пронизала марксизм. «Кесарево», в таком случае, — свобода, гласность и демократичность научного познания (в самом широком смысле этого слова: в общей культуре и политике, в любой области духовной деятельности), — познания, не признающего особой супернауки, доступной немногим «сверхчеловекам», которые присвоили право развивать ее в пресловутый «творческий марксизм» и по кусочкам бросать ее находящимся внизу массам. Таким образом, от «реального марксизма», то есть от марксизма-ленинизма или просто от марксизма *tout court* *, остается лишь фактическое его существование и ряд проблем, связанных с этим существованием или, точнее, с этой живучестью.

3. Осуществленный марксизм

Итак, между ленинизмом и сталинизмом нет ни явного разрыва, ни явной преемственности. Говоря о волне жестоких преследований, обрушившихся на советскую культуру сразу после второй мировой войны (ждановщина), Ольга Фрейденберг, наблюдавшая разрушительное действие этих мер (и последовавших затем прямых вмешательств Сталина в развитие языкознания) на ленинградские академические круги, пи-

* Просто (франц.). — Прим. ред.

сала: «У нас марксизм — не мировоззрение и не метод, а кнут. Исправительно-полицейская категория»²⁶. Чрезвычайно точное определение! Оно одно стоит целых томов, посвященных исследованию роли марксизма в сталинские времена. Добавим только, что все же в марксизме-«мировоззрении» и в марксизме-«методе» была изначально заложена возможность его превращения в «кнут» — ведь такое превращение не только действительно (и незамедлительно) произошло, но и нашло столь широкую и мощную поддержку, существующую до сих пор, что, право же, трудно поверить, что трансформацией в «исправительно-полицейскую категорию» марксизм обязан лично Сталину. На деле процесс превращения марксизма в догму развернулся уже при Ленине. То новое, что Ленин внес в марксизм, выступало под личиной ортодоксальности и в 1917 году оно было провозглашено единственно «подлинным» (революционным) марксизмом. В дальнейшем ленинизм все заметнее расширял свои юридические права, подкрепляя свою ортодоксию целым рядом мощных государственных органов²⁷. Исследование Сталина Ленину было не столь уж неизбежным, как, впрочем, и наследование Ленина Марксу. Но в обоих случаях речь шла о конкретных возможностях развития, заложенных уже в исходных данных (в учении Маркса и в учении Ленина), и то, что развитие пошло согласно этим, а не иным, теоретически менее вероятным и в конечном итоге перечеркнутым ходом истории возможностям, представляет собой не только предмет исторического исследования, но и факт, раскрывающий структуру марксизма.

Действительно, марксизм никогда не считал себя отвлеченной наукой, занимающейся выявлением и разрешением теоретических проблем. Новизна его с самого начала выражалась в единстве теории и практики, в превращении философии в политическое действие, а политического действия — в философию. В марксизме соотношение между мыслью и действием коренным образом отличается от соотношения, к примеру, между Евангелием и деятельностью церкви или, положим, между философией Руссо и якобинским террором, или между философией Ницше и делами Гитлера (вне всякого сомнения, эти три примера разнятся между собой, хотя все они отличны от марксистского соотношения теории с практикой, то есть, говоря упрощенно, от связи между Лениным и Сталиным, между Марксом и Лениным). Недаром вопрос

²⁶ В. Pasternak. *Perepiska s Olgoi Freidenberg* (edited by Elliott Mossman). New York — London, 1981, p. 290.

²⁷ Относительно важных философских аспектов этого вопроса см. мою статью "Né fede né scienza" («Ни вера, ни наука», предпосланную книге А. Богданова «Вера и наука» S. Bogdanov. *Fede e scienza*. Torino, 1982).

об организации, как о промежуточном звене между теорией и практикой, стал важнейшим вопросом марксизма, и именно Ленин до конца проявил этот вопрос, предложив решение, одержавшее победу в ходе исторического развития. С этой точки зрения марксизм не может вернуться к доленинскому состоянию, но не потому, что нельзя бесконечно упражняться в чтении Маркса — западная академическая культура пестрит всевозможными (научными и гуманитарными) «прочтениями» его трудов. Но все эти «индивидуальные» прочтения, филологически более или менее верные, низводят Маркса до уровня прочих философов, бесконечно толкуемых в лекциях, статьях и монографиях. Эти прочтения отнимают у Маркса его истинную живую сущность. Не нужно быть марксистом, чтобы понять, что Ленин в этом смысле был большим марксистом, чем любой самый дотошный толкователь трудов молодого и зрелого Маркса. Ленин сделал марксизм событием всемирно-историческим, эпохальным, а Сталин, что бы ни говорили о его несомненном отличии от Ленина, был в этом смысле его верным учеником. То, что Сталин применил внутри партии насилие, уготованное Лениным лишь для внешних противников, — это еще не повод, чтобы рвать нить теоретической и практической преемственности между этими великими марксистами или между ними обоими и самой идеей марксизма.

Однако главное различие между Лениным и Сталиным состоит, пожалуй, не в проведении последнего террора внутри партии и усилении террора вне партии, а, скорее, в чрезвычайно своеобразной исторической обстановке, сложившейся во времена Сталина: теперь она кажется столь очевидной, что о ней вроде бы не стоит и говорить особо. Речь идет о союзе с западными демократическими (буржуазными) государствами в борьбе против фашизма. Фашизм стал творческой находкой истории, непредвиденным обстоятельством, пошатнувшим прямолинейный антагонизм (на международном уровне и на уровне нации) между буржуазией и пролетариатом. Конечно, здесь мы не будем разбирать различные точки зрения на фашизм и исследовать тогдашнюю сложную и переменчивую международную обстановку. Ясно одно: если союз между Гитлером и Сталиным многим (не Сталину, разумеется) мог показаться противоестественным, то еще более противоестественным был союз между марксизмом и ленинизмом и буржуазными демократиями, то есть между двумя историческими силами, первая из которых родилась, чтобы уничтожить вторую. Парадокс состоял в том, что антифашизм как таковой, даже во времена наибольшей сплоченности (во время войны с нацизмом), таил в себе, хотя более или менее скрытые, но коренные противоречия между антифашизмом тоталитарным (марксистско-ленинским) и антифашизмом либерально-демо-

кратическим («западным»). Мы не пытаемся перевернуть советскую пропагандистскую схему и доказать, что «западный» антифашизм был выражением образцового государственно-политического строя. Но необходимо признать, что внутри антифашистского союза существовала напряженность, и не случайно союз этот распался сразу после победы над общим врагом в войне. Оказалось, что с точки зрения международной политической борьбы марксизм-ленинизм имеет некоторое «преимущество» перед буржуазно-демократической идеологией. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что западные державы на какое-то время поверили в возможность компромисса с их «классовым врагом», с СССР, между тем как Сталин никогда не видел в союзе с капиталистическими странами что-либо большее, чем вынужденный военный союз, из которого необходимо извлечь что только возможно. И первый сигнал к началу «холодной войны» был дан в области культуры выступлениями Жданова в 1946 году. Эти выступления не были, разумеется, внутренним делом Советского Союза и отнюдь не ограничивались областью культуры. Они были предупреждением, развеявшим всякие надежды (в том числе и надежды советской интеллигенции) на смягчение режима после победы. Выгода, полученная Сталиным и его сторонниками от союза с буржуазно-демократическими государствами, отнюдь не сводилась к присоединению новых территорий. Нельзя забывать и о выгоде в области идеологии, позволившей вложить просоветское содержание в антифашистские лозунги, породив тем самым величайшую путаницу в головах людей. Взять хотя бы тот факт, что, когда в Германии концлагеря были разрушены, в Советском Союзе «гулаг» обрел новую жизнь, или, к примеру, такое устрашающее обстоятельство: в лагерях оказались люди, героически сражавшиеся с нацистами. С другой стороны, «народные демократии», возникшие в зонах, освобожденных от немецкой оккупации и занятых советскими войсками, так и не увидели обещанного демократического строя и оказались под гнетом новых форм тоталитарного господства. И наконец, «национальные пути построения социализма», начертанные в эпоху борьбы с фашизмом, обернулись дорогами, ведущими в конечном итоге к тому, что их создатели понимали под единственной формой социализма и под высшей формой демократии — к сталинской империи. В этих исторических условиях марксизм был не чем иным, как «кнутом» и вместе с тем «опиумом», инструментом тоталитарной власти и не менее тоталитарного «согласия».

В задачу историка не входит выявление того, чем должно или может быть то или иное историческое явление. Историк должен проследить явление в его развитии и выявить все его исторические связи, а не вкладывать в него свои собст-

венные желания и ожидания, как это зачастую случается именно с исследователями марксизма, дающими какой-то приукрашенный его образ. И все же хотелось бы, в заключение этих рассуждений, высказать мнение, основанное на всем сказанном выше. Итак, имеются два возможных пути: или марксизм (с добавлением ленинизма, через дефис или по-иному — неважно) сохранит свое положение сверхзнания, пусть даже смягченное антидогматической «открытостью» по отношению к немарксистским теориям, или же марксизм, наравне с другими теориями, вольется в поток современной науки, уважая все ее правила, приемы, подходы и проверяя таким образом самого себя. В первом случае мы имеем дело с «реальным марксизмом» и с его неизбежным дополнением «реальным социализмом» (неважно, что оба они стали утонченнее по сравнению с наиболее догматическими формами первого и наиболее тоталитарными формами второго; эти изменения заметны только для непосредственно живущих в этих двух «реальностях», и они не имеют принципиального значения). Во втором же случае марксизм как таковой, то есть как некая особая наука, обречен на умирание, даже если он попытается существовать одновременно в двух видах: как вклад, внесенный марксистами, и прежде всего самим Марксом наравне с другими учеными, в современную науку, и как проблема, поставленная непосредственно «реальным марксизмом», воплощенной в «реальном социализме», — проблема исключительно важная для настоящего и будущего, от решения которой зависит сама возможность (в век ядерных вооружений) сохранения жизни на земле. Тогда, в противовес «реальному социализму», начнет поднимать голову социализм будущего, возможности, формы и содержание которого еще предстоит выяснить, с учетом, естественно, подлинного содержания «реального социализма». «Третий путь» пока существует только в воображении и, как бы то ни было, он может привести лишь к одному из описанных выше случаев. Однако «реальный социализм» единообразен даже в национальных вариантах, а социализм будущего обладает широкими внутренними возможностями развития, ограниченными лишь самой жизнью. Сартр ошибся: марксизм не только «преодолим», он уже «преодолен» кризисом «реального социализма». И эти кризисы особенно опасны и непредсказуемы оттого, что разворачиваются внутри строя в его идеологическом самознании (или ложном сознании), — строя, который претендует на роль всемирного избавителя от исторического кризиса нашего времени. В отличие от кризиса «реального марксизма» и «реального социализма» кризисы капитализма, при всей их тяжести, все же являются его органическими моментами, поскольку для современного общества и современного знания характерна самооценка не как окончательного решения всех

проблем, а как совокупности проблематичных и конфликтных ситуаций, как системы закономерностей, на основе которой следует подходить к анализу конфликтов и проблем в их развитии в общественном сознании на основе гласности, открытого обсуждения и свободного участия всех членов общества.

Александр Адлер

ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ В СОВЕТСКОМ ОПЫТЕ

Советский сталинизм вызвал в европейском рабочем движении самый значительный и самый резкий возврат к утопическому социализму, который когда-либо имел место. Как справедливо заметил Грамши по поводу марксизма II Интернационала, более или менее регулярно повторяющиеся поражения глубоко изменяют представление о связи политического движения с исторической реальностью. Рабочее движение на Западе, если не считать его отдельных важнейших побед (создание Народных фронтов во Франции и Испании, освобождение Италии и Франции, что почти незамедлительно усилило его критическое отношение к Советскому Союзу), всю свою борьбу вело преимущественно в условиях, когда инициатива постоянно находилась в руках капитала, что ослабило способность этого движения преобразовывать общество.

Вполне понятно, что при таких обстоятельствах представление об СССР было прямо противоположно картине данного процесса пассивной революции. Так же как в «мире наоборот», нарисованном в великих рабочих утопиях XIX века, развитие, которое, как думали, имеет место на «родине социализма», буквально во всем встречало те же главные трудности, с которыми сталкивались организации европейского рабочего движения¹.

1. Идеологическая ширма

Представление о сталинском СССР можно было бы свети к трем следующим моментам: постоянной инициативе масс, сплоченности классов, стабильности существующих институтов. Хотя появление в 1956 году «секретного» доклада Хрущева XX съезду КПСС полностью опровергло комплекс

¹ Благодаря отсутствию риторики «в духе III Интернационала» книга С. и Б. Вебб «Советский коммунизм — новая цивилизация?», вышедшая в 1935 году (в Турине в 1950 году), является, пожалуй, наиболее интересным примером этого великого регресса в сторону утопии.

представлений, названных нами в качестве первой характерной черты, уступив место образу безжалостных и всеобщих репрессий, однако представление о большей стабильности и сплоченности в Советском государстве и обществе, нежели в западноевропейских обществах, сохранилось в различных формах вплоть до сегодняшнего дня. При этом более всего поражает то, что всякий раз, когда ставится под вопрос преемственность, которую приписал себе советский режим при Сталине, это встречает упорное сопротивление, гораздо более живучее, чем последние крохи симпатии, сохранявшейся в течение определенного времени. Недавний успех различных «тоталитарных» теорий применительно к СССР объясняется парадоксальной необходимостью оправдать ряд сложившихся утопических представлений: описывая катастрофическое разорение русской деревни и последующую ликвидацию основного ядра коммунистической партии якобы в результате интриги, терпеливо осуществленной некой группой, руководившейся хотя и ясными, но смертельно опасными представлениями о социальном развитии, легко поддерживать фантазмагорию всемогущества сталинизма и самого Сталина. Можно предположить, что это делается с вполне определенными идеологическими целями, если вспомнить, в сколь незначительной степени вернулись к критическому обсуждению некоторых догм и сколь мало внимания было уделено некоторым фактам.

Совокупность таких упрощенных ответов, как тоталитаризм, государственный капитализм, русская традиция, вызовет у какого-нибудь Флобера от историкографии лишь ироническую усмешку, но она, к сожалению, способна, пусть отчасти, затруднить и правильный подход к проблемам, которые являются основополагающими для понимания феномена сталинизма. Точнее, невозможно реконструировать смысл основных моментов этого явления, не развеяв при этом иллюзии, непосредственно уходящие корнями в сталинскую идеологию, сам язык которой, вне всякого сомнения, создаст огромные трудности для понимания этих вещей. И все же некоторые проблемы вполне очевидны, хотя и затрагиваются они гораздо реже, чем можно было бы предположить. Например, как объяснить разумным образом физическое исчезновение трех четвертей всех политических руководителей Октябрьской революции в период между гибелью Кирова и Ежова? Никакой «тоталитарный» режим никогда не прибегал к подобным методам, и тем не менее даже этот простой факт не способен разрушить представления о преемственности и стабильности «сталинского аппарата». Сегодня уже точно установлено, что политическая власть Сталина ни разу не одерживала верх благодаря ясной, независимой стратегической линии; скорее наоборот, она добивалась этого путем целого ряда кризисов

и ударов исподтишка, которые постепенно способствовали сплочению сил, пусть иногда и временному, вокруг Генерального секретаря партии.

В цепи конфликтов, последовавших после смерти Ленина, трудно четко обрисовать группу Сталина. Она, скорее, выступает как посредник при появлении разногласий и всякий раз предотвращает раскол в партии или имеющее непоправимые последствия столкновение идей. Эту функцию она выполняла сначала в борьбе между Троцким и Зиновьевым, затем между Бухариным и левой оппозицией. Только в момент разрыва с правыми в 1929 году определилась подлинная сталинская линия, которая в целом ряде аспектов представлялась «посмертным реваншем» левой оппозиции. Будучи нестабильной идеологически, группа Сталина отличалась также и неустойчивостью своего состава: менее чем через год после поражения «тройки» (Бухарин, Рыков и Томский), в 1930 году катастрофа, вызванная массовой коллективизацией деревни, привела к изменениям и в руководящей группе. В 1930 году из нее выбыли новые дезертиры — Бауман, затем Сырцов, Ломинадзе и Чаплин, а в 1933 году — А. Смирнов, Толмачев и Эйсмонт.

Наконец, начиная с лета того же года возникло широкое течение, сложившееся вокруг новой «тройки», представленной Кировым, Орджоникидзе и Куйбышевым. Это течение, оспаривавшее власть Генерального секретаря, оказалось достаточно сильным, чтобы навязать генеральной линии ряд очень важных корректив; кульминацией явился XVII съезд партии, состоявшийся в феврале 1934 года. Эта новая оппозиция Сталину, потенциально выражавшая мнение большинства в партии², вышла из самой «группы Сталина», то есть в ней оказались те ответственные работники партии, которые непосредственно участвовали в борьбе против оппозиций 20-х годов и в битве за осуществление первой пятилетки. Это свидетельствует о неудаче при создании руководящей группы если использовать смысл, который вкладывал Грамши в выражение «руководящая группа», — на что Сталин не мог не обратить внимания. Использование политического убийства, этого, по выражению Монтескье, «регулирующего принципа деспотизма», доведенное до немислимых размеров, хотя и позволило в какой-то мере временно противостоять наибо-

² Высокопоставленный югославский функционер Антон Колендич, объявивший, что в 1967 году он имел доступ к личным бумагам Берни, утверждает — и это вполне правдоподобно, — будто в момент избрания руководящих органов на этом съезде имя Сталина вычеркнул 271 делегат. С другой стороны, известно, что из 1966 делегатов съезда 1108 были уничтожены в течение последующих четырех лет и что секретарь Сталина Поскребышев придумал систему идентификации бюллетеней голосующих.

лее очевидным трудностям, отнюдь не уменьшило остроты проблемы формирования целостной руководящей группы.

Как бы мы ни воспринимали все эти факты, мы не сможем обойтись без новых вопросов. Почему радикальное уничтожение политической элиты не привело к реальной стабилизации системы? Почему имели место еще два почти столь же вопиющих случая ликвидации руководящих работников в 1949 году во время так называемого «ленинградского дела», и в 1952 году в ходе нашумевшего «заговора врачей», которому предшествовали инсценировки процессов в Грузии и Чехословакии, и от которого не осталось и следа в результате неожиданной смерти Сталина? Самое очевидное предположение, напрашивающееся у всякого, кто не желает пассивно довольствоваться объяснениями, основанными на анализе психических особенностей личности Сталина, состоит в том, что за всеми этими обстоятельствами прослеживается наличие взрывоопасных конфликтов внутри советской руководящей группы, причем настолько опасных, что даже частичное политическое их урегулирование на этот раз не представлялось возможным.

Не может не вызвать удивления, однако, и та чрезвычайная поспешность, с какой само коллективное руководство, взявшее на себя управление страной в марте 1953 года, ликвидировало идеологическое наследие Сталина, тогда как средние звенья аппарата, несомненно, по-прежнему сохранили привязанность к наследию диктатора. Все выглядело так, словно оформившаяся по крайней мере с конца 1950 года подспудная критика в адрес проводимой до тех пор политики только ждала подходящего момента, чтобы вырваться на поверхность. Было бы полезно глубже проанализировать в свете этого всю предысторию XX съезда³, который был далеко не внезапной вспышкой молнии, как его иногда изображают, а скорее всего результатом медленной конденсации антисталинского политического курса, свойственного многим высокопоставленным руководителям, причем в некоторых из них он прочно укоренился, во всяком случае начиная с 1939 года. Подобное понимание политической борьбы в верхах приводит к глубокому изменению представления о сталинизме; кризис сталинизма, официально отмеченный 1953 годом, затем еще раз — летом 1956 года, создал представление о монолитном единстве сталинского опыта, не вскрыв при этом *шаткость* усилий, предпринятых Сталиным на протяжении долгих лет

³ Говоря точнее, следовало бы, по сути дела, вести речь о предыстории по причине отсутствия вплоть до 1950 года каких-либо письменных свидетельств, и о протоистории в отношении последующего периода, где ряд неписанных источников сосуществует с кое-какими следами письменных свидетельств.

личного господства, обрядить завоеванные позиции в институциональные одежды.

Но и за рамками этого исследования высших эшелонов власти возникает целый ряд новых проблем, открывающих перед историком простор для построений второго порядка. Для этого, однако, необходимо охватить еще более длительный промежуток времени, практически начинающийся у истоков революционного процесса. Фактически основы того, что можно было бы в целом назвать «советским парадоксом», закладываются уже с октября 1917 года. В самой общей форме этот парадокс можно представить следующим образом: советская революция была актом, направленным на преобразование общества, в котором те, кто его осуществлял (видимый процесс), и те, ради кого его осуществляли (реальный процесс), находились в отношениях относительной отчужденности. Самым очевидным результатом гражданской войны стало полное освобождение русских земель и возврат к устаревшим, нередко докапиталистическим, формам ведения сельского хозяйства, тогда как социальная база новой власти оставалась в городах. Самыми важными культурными завоеваниями периода нэпа и отчасти 30—40-х годов, несмотря на все возраставшие трудности, были учреждение системы классического школьного образования и закладка материальной базы для создания научно-технической элиты, достаточно широкой, чтобы обеспечить развитие рационалистической мысли, аналогичные западному. В то же время режим стремился создать «нового человека», чье мировоззрение было бы мировоззрением «революционного пролетариата». Что же касается рабочего класса, который принято изображать в качестве абсолютного субъекта советской истории, то он в начале революции оказывал революционному процессу отнюдь не безусловную поддержку и в ходе гражданской войны сократился численно в таких пределах, которые неведомы истории со времен зарождения капитализма. Верно, что впоследствии, в период между 1923 и 1939 годами, рабочий класс очень быстро восстановил свою численность, но это происходило в условиях такой классовой организации, которая четко отражала его подчиненное положение по отношению к политической власти, бдительно следившей за его воспроизводством. В ходе двух первых пятилеток, несомненно, наблюдается впечатляющее увеличение количества рабочих (около 17 миллионов), но не повышение их классовой организованности. Ликвидация профсоюзов — одно из тяжелейших последствий поражения бухаринской оппозиции (в частности, Томского и Угланова) — в числе других факторов предопределила и все последующее индустриальное развитие страны. Лишенные голоса, который бы защищал их интересы, промышленные рабочие в полном соответствии с классической

социологической альтернативой, сформулированной Хиршманом⁴, прибегают к использованию многообразных, как горизонтальных, так и вертикальных, запасных выходов. С одной стороны, пребывание рабочего на одном предприятии остается в Советском Союзе одним из самых непродолжительных в мире (при этом следует учитывать, что почти неограниченное предложение работы в сочетании с отсутствием специализации и продвижения рабочих по службе является одним из элементов ускоренной циркуляции рабочей силы). С другой, слабость специализированного труда и природа государственного аппарата, коренящиеся в реальностях советской индустрии, обусловили непрерывный процесс выдвигания вне рабочего места — в техническую сферу (отсюда раздутые штаты управленческого аппарата) и, конечно, в политическую. Если при этом принять во внимание классовое происхождение (крестьянское или, во всяком случае, сельское) подавляющего большинства советских рабочих, то мы получим полную картину чрезвычайной мобильности пролетариата в этом бурно развивающемся обществе. В СССР сталинской, а отчасти и послесталинской эпохи рабочим не рождаются; став же им, мечтают улучшить свое положение и перейти в другую категорию, и во время этого перехода путешествуют — кто больше, кто меньше — весьма быстро со стройки на стройку, из города в город, причем происходит это в условиях социальной аномии (безбрачие, развод, случайное сожителство, утрата привычного образа мыслей, нередко даже языка, семьи), что мало способствуют возникновению какой-либо социальной организации.

В условиях гетерономии трех основных социальных субъектов очень быстро подверглась эрозии сама основа коммунистической партии (большевиков) и марксизма, носителем которого эта партия являлась, так как оба эти момента были явно тесно связаны друг с другом. В 20-е годы крестьянство и интеллигенция, то есть два самых значительных и наилучшим образом организованных класса российского общества, оказались полностью лишены какого бы то ни было непосредственного доступа к политической власти. В то же время они стремились к консолидации революционного процесса в благоприятном для себя направлении. Их демократическо-консервативное самосознание породило целый ряд работ преимущественно в области экономики, философии и литературы. Взятые в совокупности, эти произведения как бы очерчивают границы воображаемой сферы влияния, соответствующей реальной сфере влияния партии социалистов-революционеров и их наиболее близких городских союзников — меньшевиков, получивших на выборах в Учредитель-

⁴ См.: *A. Hirschman. Exit of Voice. Cambridge (Mass.), 1971.*

ное собрание в январе 1918 года абсолютное большинство голосов*. Вряд ли кто-нибудь, лучше Блока в его знаменитой поэме «Двенадцать» — где кровавое насилие большевиков тесно увязано с полным отсутствием у них каких бы то ни было реальных связей с существующим обществом — сумел передать смесь зачарованности с подлинной отчужденностью русской интеллигенции в ее отношении к Октябрю. Тему отчуждения от политики развивает на свой лад и Булгаков на примере жизненного пути молодого человека в «Рассказах молодого врача», где подробнейшим образом повествуется о борьбе молодого врача, только что закончившего университет, со стихией в далекой русской деревне, с ужасными эпидемиями, страшными стихийными бедствиями, снежными бурями. В конце концов молодой врач одерживает победу над многоликой смертью, преследующей крестьянина; он возмужал благодаря этим испытаниям. В этом воспитательном романе есть только один чрезвычайно политизированный элемент: повествование открывается в начале ноября 1917 года. И это всего лишь один-единственный парадоксальный намек на политику на протяжении всей книги в целом. Жизнь продолжается вопреки артиллерийским залпам. Эту тему широко развивает в теоретических трудах и на практике экономист Кондратьев. В еще большей мере, чем его друг и коллега Чайнов, великий защитник крестьянской автономии в Народном комиссариате земледелия, Кондратьев был подлинным теоретиком экономики советского общества 20-х годов. Очевидна тесная связь, в частности, между его деятельностью в качестве специалиста по сельскохозяйственной политике в годы нэпа, его теорией «генетического планирования» и его научной работой, в которой впервые на основе статистического материала выявлены объективные закономерности в развитии экономики. Тем самым он, как по-своему и многие другие советские интеллектуалы, защищал необходимость учета политической властью объективной социальной реальности, основанной на фактически неопровержимых экономических данных. Здесь, как и в других случаях, выявляется параноическое использование Сталиным политической теории. Обвиняя Кондратьева и других специалистов с эсеровским прошлым, работавших в Народном комиссариате земледелия, в том, что они будто бы намеревались основать «трудовую крестьянскую партию» (декабрь 1930 года), Сталин прекрасно понимал, что имеет дело с активизировавшейся в области культуры организованной силой, которая при иных политических обстоятельствах сумела бы

* Эти выборы состоялись в ноябре 1917 года, а в январе 1918 года произошел созыв Учредительного собрания, которое, как известно, сразу же было распущено Советской властью. — *Прим. ред.*

выйти за пределы сфер интеллектуальных занятий и потребовать себе места в структуре власти.

Политический анализ тем, представляющих наибольший интеллектуальный интерес в Советском Союзе, по-видимому, привел бы, хотя и не в столь явной форме, как в случае с политической экономией, к тем же исходным моментам — желанию исправить ошибки, допущенные Октябрем, поиску закономерностей и объективных темпов развития, причем главным образом там, где оно представляется совершенно лишенным всякой рациональности, попыткам дать широкие функциональные описания социальной реальности. Все это входит в «эпистему» советской интеллигенции, очерчивает в целом ее горизонт. Феноменологические исследования Л. Выготского в области рациональной психологии, основанные на изучении доречевых семантических элементов, работы школы Бахтина в области социологии литературы, триумф формализма на протяжении всего этого периода, весьма многообещающие первые попытки моделирования планов и первые формулировки «формальной и праксеологической базы»⁵ экономики, открывшие путь эконометрики (Случк, 1926 год), являются звеньями единого и последовательного процесса революционной модернизации социальной мысли, который впоследствии в России уже не возобновлялся⁶. Однако при этом следует оговориться, что уцелевшие в пертурбациях объекты исследований рационального в советской действительности всегда встречали отрицательное или пренебрежительное отношение со стороны политической власти, к ним относились: крестьянский фольклор (работы Владимира Проппа), сельскохозяйственный рынок с его системой объективно складывающихся цен (труды Кондратьева и Фельдмана), история русской интеллигенции и ее места в жизни нации (исследования Тынянова и Шкловского), оптимизация производства в обществе, характеризующаяся высокими темпами технического развития (работы Канторовича), критическая теория литературных утопий и разговорного языка (труды Бахтина и его школы).

Можно было бы еще немало сказать об этой основной ориентации советской культуры, в частности о нередко скрытой функции, выполнявшейся ею в течение некоторого периода и заключавшейся в преобразовании подхода интеллигенции к

⁵ Эти работы Случка широко использовал крупный польский логик Котарбиньский, воздавший дань уважения своим несчастным советским предшественникам.

⁶ Среди многочисленных примеров подобного ультрарационализма можно процитировать очерк Бахтина о фрейдизме, который разворачивается в диаметрально противоположном по отношению к иррационализму направлении, характерном, например, для восприятия психоанализа во Франции.

прациональности своего государства. Именно она гораздо полнее, чем «диссидентство» второй половины 60-х годов, отражала наиболее глубокие тенденции общества, направленные на позитивную перестройку взаимосвязи между политикой и идеологией. Чтобы увидеть ее символику, достаточно обратить внимание на решающее значение, которое ее ведущие представители придавали ценности человеческой жизни — как своей собственной, так и чужой, — что проявлялось в тактической осторожности перед лицом власти и в отказе от революционного романтизма (Пастернак в этом отношении — наилучший пример). Что же касается результатов этой культурной революции, то весьма симптоматична относительно большая продолжительность жизни ее основных действующих лиц в условиях страны, где политические деятели, пользующиеся или пользовавшиеся статусом «великих старцев» (Молотов, Каганович, Поскребышев), оказываются всего лишь высокопоставленными убийцами.

2. Педагогика «простого человека». Сталинская «картина мира»

Итак, мы попытались определить «сдвиги» и противоречия в сфере той идеологии, в рамках которой развивался и действовал советский марксизм. Здесь, с одной стороны, налицо личная власть Сталина, недостаточно правомочная и потому шаткая, способная выжить только ценой постоянных кризисов, и, с другой, общество, отвергающее большую часть положений комплексного проекта большевизма, но характеризующееся подлинно революционной динамикой в среде как крестьянства (вставшего на путь демократизации благодаря движению социалистов-революционеров, но сохранившего склонность к общинному фундаментализму)⁷, так и интеллигенции, где основная постепенно утверждавшаяся тенденция сводима в общих чертах к тому, что можно определить скорее как рационализм, нежели как материализм, и скорее как функционализм, нежели как диалектику.

С начала 20-х годов советский марксизм пребывает в поиске такого философского элемента опосредования, который позволил бы продумать, чего не хватает в отношениях между государством и народом и что обуславливает, таким образом, кровавый характер политических кризисов. В связи с этим доминирующие группы в сфере советской культуры и политики были вынуждены считаться с широким движением

⁷ См. ставший уже классическим анализ в работах: *M. Lewin. Paysannerie et pouvoir soviétique*. Paris, 1972; *T. Shanin. The awkward class*. London, 1973.

интеллектуальной и моральной перестройки общества особенно с того момента, когда смерть Сталина позволила начать не столь чреватый опасностями, как раньше, обмен мнениями между руководителями и руководимыми, а также публикацию ряда работ, относящихся к сталинскому периоду (по времени написания) или к послесталинскому (по дате публикации).

Здесь следует сделать кое-какие дополнительные замечания относительно шершестий советского марксизма в период между 1920 и 1953 годами. Не останавливаясь на лишние подробности дискуссий, возникших прежде всего в связи с теорией стоимости (полемика по тезисам Рубина между 1925 и 1931 годами и с природой диалектики, кульминацией последней явилось осуждение Деборина и его школы в 1931 году), можно сказать, что марксизм в СССР очень скоро распался на три крупных течения, которые все сильнее отгораживались друг от друга непреодолимыми барьерами.

1. С одной стороны, в качестве левого притока широкого русского рационализма появилось (наряду с гуссерлианской феноменологией и структурализмом) определенное марксистское течение рационалистического типа. Оно питает обозначившийся среди русской интеллигенции интерес к социальным фактам и к поиску неидеологических объяснений тех или иных моментов социального развития, причем нередко этот интерес обратно пропорционален соответствующим открытым заявлениям. В этой одежде русский марксизм, как это интуитивно предсказывал в своих последних работах Плеханов — большой знаток работ историков-западников XIX века Ключевского и Соловьева, — все более становился одной из форм демократической версии западничества. Это был посмертный реванш «легальных марксистов», вычитывавших из «Капитала» путь для гражданского развития индустриальной России.

2. С другой стороны, официальный марксизм превращается в доктрину, связь которой с конкретным действием довольно быстро ослабевает (параллельно с процессом угасания коммунистической партии по окончании гражданской войны). Достаточно вспомнить лозунг, брошенный Лениным в 1922 году в статье «О значении воинствующего материализма», написанной для журнала «Под знаменем марксизма», — о «сражающемся материализме», а не «сражаемом»⁸. Уже в этот период развитию марксизма в Советском Союзе угрожала волна большевистской интеллектуальной посредственности. Были приняты такие срочные меры, как увеличение выпуска работ, переведенных с иностранных языков, изда-

⁸ «Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется... не столько сражающимся, сколько сражаемым» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 31).

ние классиков, робкие шаги в направлении назначения на работу в университеты специалистов-меньшевиков. Рубин и Деборни — самые известные среди них. В действительности же все эти усилия служили только одной задаче — оттянуть наступление кризиса, неизбежного в связи с развитием партийного образа мышления. Как чрезвычайно убедительно показал Джулиано Прокаччи⁹, постепенное преобразование политической инициативы большевистской партии в педагогическую практику воспитания масс рабочего класса вызвало необратимое изменение ее связи с теорией. Марксизм-ленинизм, выражение, использованное впервые в полемических целях сторонниками Зиновьева с целью обеспечить изоляцию Троцкого от того, что тогда считалось телеологически необходимым историческим развитием большевизма, вскоре стало похоже на то, что незуитская педагогика, с которой боролся еще Декарт, именовала «картиной мира» (*orbis pictus*), то есть полным и дедуктивно построенным изображением подлунного мира начиная с первопричины¹⁰.

3. Таким образом, сталинизм, как и всякая контрреформация, унаследовал два типа культуры, четко отличающихся друг от друга. Первым была марксистско-ленинская педагогика, структурированная вокруг концепции закономерности, которая закладывала базу для элементарной материалистической культуры, приспособленной к массам, и прекрасно сочеталась с авторитаризмом, необходимым для обеспечения процесса ликвидации неграмотности в широком масштабе (здесь упор делался на законы диалектики, доказывался примат диалектического материализма в изучении общества, примат лингвистики синтаксиса, отстаиваемый Сталиным в его работах о языкознании в противовес результатам, достигнутым русской наукой со времен Бодуэна де Куртенэ).

Одновременно с этим типом культуры и как бы на противоположном конце, поощрялось воссоздание элитарной культуры, как правило ведомой на коротком поводке и все более отдаляющейся от «науки для простых людей». В беззащитно реакционном характере этой элитарной культуры следует искать корни тех правых и крайне правых течений, которые после 1960 года утверждают себя как в советских официальных кругах, так и в среде интеллигенции, противостоящей официальной точке зрения.

В то же время следует признать, что по данному вопросу существовало вполне определенное, хотя и не достаточно четко выраженное мнение Сталина. Джузеппе Боффа привлек

⁹ См.: *G. Procacci. Il partito nell'Unione Sovietica. Bari, 1974.*

¹⁰ Здесь, быть может, следует вспомнить ту упорную борьбу, которую вел Ленин на страницах «Материализма и эмпириокритицизма» и «Философских тетрадей» против того, что он сам именовал «дедуктивизмом» Плеханова и его односторонним пониманием закономерностей.

внимание к тому сравнению, которое Сталин употребил в одной из речей, произнесенной им в июле 1921 года перед слушателями Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова. Это речь долгое время оставалась неизданной и появилась только в Собрании сочинений Сталина. В 1951 году его издание было прервано. Сталин сравнил партию авангарда с рыцарскими орденами Средневековья, в частности — и это весьма симптоматично — с орденами прибалтийских рыцарей. Он утверждал, что, подобно Петру Великому, русская революция тоже должна обратиться к разрозненным национальным меньшинствам, чтобы довести до конца унификацию и преобразование русской земли. Здесь очевиден намек Сталина на положение дел в *своем собственном доме*. Вообще ясно, что подлинная мысль Сталина целиком обусловлена типично консервативной рефлексией, более того — реакционной рефлексией в том, что касается смысла русской истории и первостепенности задачи создания государства. Политику он представлял себе как произведение искусства, оторванное от какого бы то ни было материального исторического процесса формирования коллективной воли, а между тем под прикрытием материализма в стране устанавливался безумный культ личности. Мироззрение Сталина в действительности целиком принадлежало XIX веку и как таковое особенно ярко проявлялось в области эстетики. Идеальный багаж Бонапарта ограничивался Плутархом и Оссианом. Более объемистый багаж Сталина состоял из трудов Карамзина, историка русской реставрации, предсмертных произведений Гоголя, оправдывавших крепостничество, романов Достоевского и несомненно из худших творений Маяковского и лучших — Пастернака. Двумя красугольпими камнями этого элитарного мироззрения так и останутся почти пиццешанский иррационализм, возводящий силу в наивысшую ценность — эту извращенность несравненно показал Эйзенштейн в «Иване Грозном», — и радикальный пессимизм религиозного свойства, который при помощи тысячи риторических уловок в конце концов приводит к обесценению понятия свободы личности (через реставрацию государственности и отрицание всякой возможности отмирания государства, путем утверждения зависимости надстройки, невариантности языка, вечного возвращения исторического процесса, насаждения доктринального, если не сказать — фашистского, антисемитизма, продолжающихся и в наши дни попыток учреждения языческого культа солнца вокруг фигуры вождя — солнца). Можно было бы даже пожалеть, что краткий — но сколь поучительный! — период германо-советского пакта, который привел к первой волне устранения из руководящего состава всех лиц еврейского происхождения и к взрыву безудержных восторгов по поводу реставрации государственности, не

позволил Эйзенштейну завершить постановку колоссального фильма о Нибелунгах, который, вне всякого сомнения, затмил бы своей откровенностью постыдную поделку Фрица Ланга, вышедшую пятнадцатью годами раньше.

Мы отошли от темы марксизма-ленинизма, однако это отступление было необходимым для понимания общего процесса, проявляющегося в двух ипостасях — в культуре простых людей и в культуре избранных. Как бы то ни было, этот непродолимый дуализм сохраняется и поныне. Пустой формализм марксизма-ленинизма постоянно питается эмпирическим содержанием, заимствуемым из самой архаичной реакционной культуры. Так, в период польского кризиса 1980—1981 годов можно было убедиться в том, что неосталинистское течение во главе с Ольшовским удерживалось на поверхности при помощи двух подпорок — катовицкого марксистско-ленинского журнала «Форум» и патриотического (и антисемитского) — «Союза Грюпвальда»¹¹.

В подобных условиях связь между марксизмом и социальной практикой становилась все более непрочной. Как на уровне элиты, так и в массах, «действующие критики» (если воспользоваться выражением, введенным Альтюссером) были вынуждены заниматься весьма сложной работой — *склеивать* и без того уже запутанные тезисы своих сочинений. Изначально сложность явления антисталинизма в Советском Союзе можно считать результатом интеллектуального разрыва между руководителями и руководимыми, а также отсутствия коммуникации между субъектами, что вызывает эффект, давно известный историкам науки, — неосознанное повторение одних и тех же тем паряду с метафорическим подходом к проблемам (история Византии выступает как критика государства, математическая логика — как критика «диамата», семантика — как протест против деградации языка в результате его инструментального использования в пропагандистских целях, социология — как обвинение в иррациональности процесса принятия решения). Оставим в стороне развитие критики общества (тем не менее она имеет фундаментальное значение для написания реальной истории СССР), которая после 1960 года вылилась в крупное движение «диссидентства», распространившееся прежде всего среди интеллигенции, так как оно лишь отчасти связано с историей марксизма (братья Медведевы, Конелев, Егидес, Гейфер, журналы «Поиски» и «Память»). Вместо этого пе-

¹¹ Вспомним того же пресловутого Миттня, знаменосца ортодоксального марксизма-ленинизма в 30–40-е годы, который сейчас может использовать свое положение благоволучного и сытенького пенсионера для распространения знаменитой царской фальшивки — «Протоколов сионских мудрецов». См.: *N. Cohn, Licenza per un genocidio*. Torino, 1968.

ренесем наше внимание на другую сторону процесса, то есть на попытки политической власти и некоторых ее сторонников отыскать возможное звено, соединяющее мысль и практику на базе какой-либо более или менее модифицированной версии марксизма. Можно сказать, что в среде советского руководства в разное время возникли три фигуры, которые вполне достоверно, хотя и парадоксальным образом олицетворяли собой эти попытки. Люди эти занимали по отношению друг к другу диаметрально противоположные позиции, однако в их деятельности можно проследить общие характерные черты. Каждый из них был олицетворением коллективной воли, и за каждым из них шло много людей. Но деятельность таких личностей, как Бухарин, Берия и Хрушев, может служить иллюстрацией самых серьезных попыток проведения реформы в СССР; их влияние по-прежнему сказывается при формировании любых реформаторских течений даже в лоне нынешней группы советских руководителей.

3. Три попытки реформы: Бухарин, Берия, Хрушев

С именем Николая Ивановича Бухарина связан процесс реформы социализма в духе подлинного культурного поворота, уходящего своими корнями в сложное и развитое общество времен нэпа. Однако основополагающие идеи Бухарина не были восприняты достаточно глубоко и точно за пределами Советского Союза хотя бы потому, что существенная часть его работ, изданных на Западе, предшествовала по времени наиболее интересному этапу развития его рефлексии. Бухарин начал карьеру партийного руководителя в качестве представителя наиболее революционных левых, когда уже стали появляться первые критические высказывания в адрес «военного коммунизма». Одобрив с некоторым опозданием новую политику перестройки общественной структуры, начатую Лениным, Бухарин после 1922—1923 годов, конечно, под влиянием кронштадтской травмы стал убежденным защитником нэпа. В то же время несомненная последовательность его последующих позиций была результатом процесса подлинного переосмысления основ его прежних марксистских взглядов. Начиная с этого момента политические выступления Бухарина в пользу союза с крестьянством учащаются; он высказывался также за терпимость по отношению к наиболее современным интеллектуальным течениям, за международное соглашение с социал-демократией (политика «единого фронта», основы которой были заложены Лениным на III и IV конгрессах Коминтерна) и, наконец, за стратегический всемирный союз с классом крестьянства, представленным колониальными и полуколониальными народами.

Общим фундаментальным элементом всех этих позиций представляется его желание отыскать унитарный подход к решению проблем послереволюционного общества и упорядочению отношений этого общества с окружающим миром. В соответствии со своей политикой Бухарин со временем начал поддерживать новейшие взгляды формалистической школы; иногда он буквально использовал выводы Кондратьева о роли крестьянского рынка и поддерживал линию на стратегический союз с партиями эсеровского типа в Китае и Болгарии с тем, чтобы укрепить в самой России основополагающий союз с крестьянством¹². Хотя Бухарин, будучи одной из центральных фигур в Политбюро вплоть до начала 1930 года, не смог с достаточной терминологической четкостью выразить свою общую позицию по различным вопросам, достаточно простого обзора тех проблем, которые интересовали его в процессе общественной деятельности, чтобы получить подлинную картину интеллектуальной жизни в СССР в 20-е годы. Сознывая катастрофический характер революционного процесса, начатого Октябрем, Бухарин, приступая к диалогу с интеллигенцией своей страны, был исполнен намерения залечить травму, нанесенную формирующейся русской демократии. Подлинный масштаб его величия показывает последняя его битва, когда, уже будучи прижатым к стене, после уничтожения (или самоубийства) своих покровителей Кирова, Орджоникидзе и Куйбышева Бухарин продолжил безнадежную скрытую борьбу против всемогущества Сталина, искивая любую возможность для хотя бы частичного успеха своей политики «несмотря ни на что». Провозгласив условия, необходимые для конкретной эмансипации литературного творчества в речи на I съезде советских писателей, состоявшемся в августе 1934 года, в наиболее благоприятный момент для кировских реформ, Бухарин продолжал свои попытки сориентировать внешнюю политику СССР на антифашизм, который не носил бы только тактический характер. Во время своей последней поездки в Париж, куда его послал Сталин, вероятно, предоставляя ему таким образом возможность эмиграции, и незадолго до привлечения его к суду на первом московском процессе (апрель 1936 года) Бухарин встретился с историком-меньшевиком Борисом Николаевским, зятем своего старинного друга Рыкова. Он изложил ему свое подлинное политическое завещание: уста-

¹² Крестьянский интернационал (Крестинтерн), созданный по его инициативе, явился основой для разработки обновленной марксистской теории о крестьянских движениях. Первая работа Мао о крестьянском движении в Хунани в значительной мере является воспроизведением русских текстов-инструкций Крестинтерна. Что касается Восточной Европы, то здесь заслуживает внимания первое в своем роде исследование: *Jackson. Communism and the peasants. London, 1967.*

повлечение действительной послереволюционной законности, главным ориентиром которой оставалась так называемая «сталинская» Конституция 1936 года (основным автором ее вместе с Радеком был сам Бухарин); введение партийного плюрализма, наилучшим образом отражающего плюрализм общества; восстановление единства между двумя основными течениями международного рабочего движения, создание культуры, основанной на принципах «социалистического гуманизма». Поведение Бухарина во время процесса, его откровенная ирония, записки, которые ему еще удалось послать на волю, — все это останется одним из наиболее высоких проявлений того, чем являлся большевистский героизм.

Ликвидация всей руководящей группы, которая управляла страной после Октябрьской революции, была определенно санкционирована процессом «по делу» Бухарина и убийством Троцкого. Это ознаменовало собой провал первой серьезной попытки демократической реконструкции послереволюционной России. Поражение Бухарина явилось также концом того, что можно было бы определить как «короткий путь» к реформам, в некотором смысле синхронное движение в направлении демократизации как партии, так и общества; это движение позволяло возобновить диалог, прежде считавшийся невозможным, и показать общие перспективы развития России. Ясную формулировку этого можно встретить в неосторожной агитационной платформе, написанной в 1933 году без ведома Бухарина его бывшими секретарями, Рютиним и Слепковым. Их манифест требовал для партии принятия мер по демократизации, которые оставал Троцкий в «новом курсе», а для общества — постепенного возвращения к тому равновесию, которое было достигнуто в годы нежа. Именно эта платформа, как известно, дала сталинской полиции необходимый материал для фабрикация акта обвинения по делу о так называемом право-троцкистском блоке. Ясно, что и по этому вопросу Сталин, как говорится, смотрел в корень: тогда еще существовал кратчайший выход из сталинизма путем восстановления связи большевизма с его социал-демократическими корнями, путем допуска (пусть частичного) к деятельности советского государства интеллигенции и крестьянства в качестве социальных субъектов наряду с недавно сформировавшимся рабочим классом. Подобная модель, предоставив место меньшевизму в партии и инародничеству в обществе, позволила бы усомниться, как открыто признал Бухарин в своей беседе с Николаевским, не только в правильности «великого перелома» 1930 года, но отчасти в справедливости подавления политических свобод, начавшегося с ноября 1917 года. Никакая историческая необходимость не помешала бы Кирову решить эту задачу. Примерный функционер, активно

действовавший еще в дооктябрьский период в единой организации большевиков и меньшевиков во Владикавказе, Сергей Миронович Киров не проиграл сражение и не оказался в меньшинстве в партии, подобно Троцкому или Зиновьеву, он был хладнокровно уничтожен людьми из НКВД. Ужасные последствия этого первого акта репрессий вылились в физическое истребление почти 800 тысяч потенциальных сторонников упомянутых реформ. Чтобы увидеть, чем завершился этот путь, достаточно вспомнить события 1948 года, когда югославские коммунисты, ведомые Тито, оказали сопротивление сталинизму; начиная с этого времени опыт «самоуправления» продемонстрировал в особых условиях свои возможности и свои пределы.

После того как был закрыт и этот прямой путь к демократии, вторая попытка реформы была предпринята, хотя и в гораздо более скрытой форме, в период между 1945 и 1953 годами. По своему интеллектуальному и моральному характеру она резко отличалась от первой. Главным действующим лицом этой новой попытки стал человек, который в послесталинском СССР стал символом политической и человеческой извращенности — Лаврентий Павлович Берия. Поставить это имя в один ряд с именами общепризнанных крупных реформаторов нас заставляет отнюдь не стремление к парадоксам. С конца 50-х годов наиболее внимательные наблюдатели, занимавшиеся советским обществом¹³, отмечали существенные признаки реального развития кризиса, обозначившегося в СССР после XIX съезда партии (ноябрь 1952 года). Последующие свидетельства (например, уже цитировавшиеся показания Антона Колендича, чья судьба делает их заслуживающими доверия) лишь подтверждают, что ранее уже просматривалось в венгерских, китайских и восточно-германских источниках: Берия в те три месяца, которые отделяют его падение и арест от смерти Сталина (март — июнь 1953 года), был главным зачинщиком наиболее радикальных реформаторских мер, принятых в тот момент. В частности, была немедленно прекращена чистка, проводимая в связи с «заговором врачей»¹⁴, было оказано

¹³ Ограничимся одной лишь работой английского историка Р. Конквеста (см.: *R. Conquest. Power and Policy in Soviet Union. London, 1958*).

¹⁴ В декабре 1952 года один из агентов НКВД, врач Тимашук, допел на десяток врачей-евреев, пользовавшихся большой известностью, обвинив их в шпионаже по заданию сионистской организации, которая после «отравления» Жданова собиралась якобы совершить убийство Сталина. Тотчас же начались разговоры о халатности, ставившие под сомнение всю деятельность Берии в руководстве советскими секретными службами. После смерти Сталина обвиняемые были по приказу Берии незамедлительно освобождены.

непосредственное давление с целью достижения перемирия в Панмыньжоне в Корею, открыты переговоры с ФРГ в попытке положить начало объединению Германии (именно в этот момент в СЕПГ появилась реформаторская группа Цайссера-Гернштадта, враждебно относящаяся к политике Ульбрихта), и, уже на исходе этого периода, на пост премьер-министра Венгрии вступил Имре Надь, положивший конец пероновским бесчинствам периода правления Ракоши. Документы, цитируемые Колендичем, показывают, что в вопросах внутренней политики Советского Союза между Маленковым, Берией и Микояном (последний, как известно, спустя три года произнес на XX съезде наиболее резко анти-сталинскую речь), сложился неоспоримый союз, в результате чего удалось тотчас же повысить закупочные цены на сельскохозяйственные продукты и обеспечить приоритет развития отраслей промышленности, производящих товары широкого потребления ¹⁵.

Наиболее важным звеном реформаторской деятельности в 1953 году, которые признал сам Хрущев в своих мемуарах, все-таки остается майская резолюция по национальному вопросу, представленная Берией в соавторстве с Микояном и Маленковым. В короткий период весны 1953 года временно был положен конец прежней практике назначать первому секретарю каждой компартии в советских республиках вторым секретарем представителя русской нации. После падения Берии эта резолюция была изменена в прорусском духе, хотя и было сохранено разрешение пользоваться национальными языками, которое в дальнейшем было подтверждено XX съездом, когда Хрущев приписал эту заслугу себе.

Как видим, тот период, когда Берии удавалось проводить в жизнь свои директивные указания, был периодом реформ, которые никоим образом нельзя игнорировать. Однако вопрос в том, идет ли здесь речь о человеке-оборотне, который после личного руководства политикой сталинских репрессий (но крайней мере начиная с 1930 года) предпринял попытку отмежеваться от нее, когда смерть вдохновителя этой политики сделала ее особенно опасной, или же за всем этим скрывается, быть может, какой-то гораздо более тонкий и глубоко продуманный план? Исследование Роберта Конквеста и более недавнее Мак-Кэгга ¹⁶ дают нам в этом отношении существенные отправные точки для решения этой дилеммы. Представляется, что сфера власти каждого из руководителей партии, стоявших во главе различных от-

¹⁵ С конца 1953 года, после поражения Берии и изоляции Маленкова, на повестку дня вновь встал вопрос о приоритете накопления ради производства средств производства. Вплоть до конца 1955 года Хрущев теоретически оправдывал этот поворот назад.

¹⁶ См.: *R. Mac Cagg. Stalin Embattled. Cambridge (Mass.), 1977.*

делов и географических регионов на протяжении второй мировой войны, способствовала усилению специализации их функций. Кроме того, политика, проводившаяся во время войны, имела одно серьезное последствие — ослабление контроля над обществом и в результате приобретение различными его компонентами (интеллигенцией, церковью, национальностями, крестьянством, руководителями предприятий, кадровыми военными) значительной автономии, которая способствовала возрождению более свободных дискуссий и более открытых форм жизни. В послевоенный период эта перспектива была поставлена под сомнение: контроль над военными ужесточился (на это время приходится донос на молодого офицера-артиллериста Александра Солженицына и его арест), было реорганизовано политическое руководство армией, началась ожесточенная кампания против «космополитизма» и были выдвинуты обвинения в отсутствии классового чутья у художников, писателей и ученых. Все происходило так, словно руководство партии стремилось как можно скорее отменить все уступки, которые были сделаны в момент общей опасности. Судя по всему, человеком, взявшим на себя руководство этой политикой национал-пролетарской реакции, стал ленинградский партийный секретарь Андрей Жданов. Но почти сразу же возникли сомнения и сложности: политика, проводимая Ждановым, оказалась далекой от единодушного одобрения, на которое, видимо, рассчитывали. На разных уровнях в партийном аппарате появляются признаки сопротивления. Несмотря на то что чистка в армии пошла вглубь, особенно в таких высоко «технизированных» видах вооруженных сил, как военно-морской флот и авиация¹⁷, крупные военачальники вроде Жукова сохранили свое влияние, даже будучи отодвинутыми на второй план. Обвинения в «либерализме» обрушились на таких высокопоставленных лиц, как «философ» Александров, ближайший сотрудник Маленкова; тем не менее попытки воспрепятствовать любому оригинальному осмыслению развития капитализма натолкнулись вдруг на необычайное сопротивление со стороны Евгения Варги. Обвиненный своими коллегами в том, что он будто бы поддерживает идею антициклической политики вроде той, что была предложена Кейнсом, и изображает опыт стран народной демократии в Восточной Европе как попытку реализации смешанной экономики, Варга в этот период (1946—1948) упрямо отказывался от какой бы то ни было самокритики. Этому упрямству старого интернационалиста, делающему, конечно, честь его политическому мужеству, судя по всему, способствовало

¹⁷ Отзвуки этих событий можно обнаружить в знаменитой поэме Твардовского «Возвращение Василия Теркина» (1946).

также и отсутствие единодушия в той руководящей группе, которая выдвигала против него обвинения. Все стало ясным, когда неожиданная смерть Жданова¹⁸ летом 1948 года сразу положила конец злключениям Варги и Александрова и обеспечила триумф Маленкову, чьим серьезным соперником и был Жданов. Маленков с помощью Берии взял на себя руководство секретариатом партии. Вскоре, уже в 1949 году, «ленинградское дело» привело к устранению всех друзей и сотрудников Жданова¹⁹. Этот эпизод «ждановщины» дает нам важное свидетельство того, что Берия и Маленков были не только организаторами чисток в Ленинграде, но и наиболее решительными противниками Жданова. Это прямо подтверждается политическими событиями периода 1950--1952 годов. 1950 год был отмечен странной «оттепелью», которая словно бы предвещала весну 1953 года: началась политика развития потребления, пошли разговоры о необходимых в сельском хозяйстве реформах (знаменитые «агророда» Хрущева). Вышедшая за подписью Сталина работа по языковедению, сочиненная, однако, в значительной мере языковедом Виноградовым, ознаменовала собой, несмотря на ряд тревожных симптомов, удар, нанесенный по «ждановщине», так как в ней отрицалась концепция «пролетарской науки» и осуждалось существование в сфере культуры некоего таинственного деспотизма «в духе Аракчеева»²⁰. Критика колоритной фигуры Николая Яковлевича Марра, пролетарского языковеда, умершего еще в 30-е годы, косвенным образом ставила под вопрос всю ждановскую платформу. В том же году писательница Вера Панова была удостоена Сталинской премии по литературе за откровенно критический роман, герой которого --- директор завода, упорствуя в своем сектанстве, постепенно утратил контакт с реальностью жизни и использовал репрессивные методы для расправы с ближайши-

¹⁸ Врачей-евреев, привлеченных по делу о «заговоре» 1952 года, обвиняли в том, что они убили Жданова.

¹⁹ Здесь не представляется возможным дать аналитическое описание всех известных альянсов внутри руководства КПСС. Жданов после 1945 года, пытаясь захватить власть в партии и государстве, развернул ультрадогматическую кампанию, используя для этого низменные чувства сотрудников аппарата. Однако, если исходить из принципа «двух культур», это отнюдь не исключает возможности его покровительства некоторому ограниченному кругу реформаторов, на которых он, впрочем, взирал с подозрением. Это объясняет и его альянс с Вознесенским, высокопоставленным хозяйственным руководителем, а также с другими руководителями промышленности и с военными (например, с Косыгиным, с генералом Новиковым) и его безоговорочную поддержку Тито между 1945—1948 годами, стихийный экстремизм которого он использовал для борьбы со «слишком примиренческими» тенденциями в советской дипломатии по отношению к западным союзникам. Несомненно, что стремление Тито к независимости явилось одной из причин поражения Жданова.

²⁰ Аракчеев — приближенный царя Александра I; имя его стало со временем нарицательным для определения самого жестокого деспотизма.

ми сотрудниками. Все эти элементы новизны создавали впечатление подлинного поворота в политике страны. И поворот этот совпал по времени с апогеем власти Берии. Но всего лишь несколько месяцев спустя все снова заколебалось. Панову сделали мишенью для злобных выпадов в печати. Посыпались удары и на тех биологов, которые пытались, используя пример Марра и официальное осуждение культурного деспотизма, изолировать Лысенко. Но главное — была начата подготовка к партийному съезду, откладываявшемуся столь длительное время (13 лет отделяют XVIII съезд от XIX), а также предприняты маневры в Грузии и Чехословакии, что вновь ставило под сомнение политику местных властей, которая при всем ее различии тем не менее характеризовалась одинаковым стремлением добиться умеренности в подходе к разным слоям общества.

Подобным же образом экономическая дискуссия, начатая в ходе подготовки к XIX съезду, позволила Сталину недвусмысленно отвергнуть перспективу какой бы то ни было реформы сельского хозяйства²¹ или планирования. Одновременно процесс Сланского в Праге послужил началом беспрецедентной антисемитской кампании, отразившейся в Советском Союзе в разоблачении «заговора врачей» и в проекте депортации русских евреев в Казахстан; в то же время «мингрельский процесс» в Грузии²² дал повод для развертывания кампании против тех, кто выступал за ослабление экономической централизации, готовя своего рода новый нэп.

Эти две сходящиеся тенденции, судя по всему, брали под прицел именно Берию и его политику умеренности, проводившуюся в 1950—1951 годах в тесном союзе со значительной частью старой гвардии — Маленковым, Микояном и Хрущевым, понесшим поражение в сельскохозяйственной политике. По своим наиболее характерным чертам этот реформизм сверху противостоит прямому реформизму Бухарина. На смену последовательной стратегии, направленной на поиск общего языка между народом и партией, приходит «просвещенный деспотизм» кулуарного типа, напоминающий попытки наставников юного царя Александра I, Лагарпа и Чарторыйского, которые стремились направить российскую политику в русло обновления, никоим образом не посягая на ее иерархическую структуру. Используемые методы ничем не отличались от тех, к которым прибегали противники; это бы-

²¹ Ответ товарищам Саниной А. В. и Венжеру В. Г. в: *И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР*. М., 1952.

²² Мингрелы — одна из наиболее крупных этнических групп в Западной Грузии, откуда родом был сам Берия. Значительная часть руководства Грузии, состоявшая из мингрелов, была обвинена в 1951 году в саботаже.

ли убийства, заговоры, полицейские операции при единственном, быть может, оправдании — правомочности самообороны. Однако главными были косвенные методы, например премирование литературного произведения, подключение к борьбе аппарата и фракций (чарквианцев в Грузии или того же Сланского), поддержка независимых личностей, например экономиста Варги или агронома Венжера (активнейшего реформатора 60—70-х годов), с целью «запуска пробных шаров». Весь этот процесс со своими подъемами и спадами настолько вплелся в секретный механизм аппарата, что и по сей день расшифровка его требует поистине усилий археолога.

Результат, вне всякого сомнения, налицо. Эта революция сверху преследовала цель облегчить бремя, несомое крестьянством, ввести децентрализованное управление экономикой, увеличить потребление, предоставить больший простор для деятельности интеллигенции и научных учреждений, проводить внешнюю политику мирного сосуществования, подчеркнуть автономию народных демократий, объединить Германию, превратить ее в нейтральное государство, заблокировать политику руссификации и остановить волну антисемитизма. Нельзя не поражаться огромной диспропорцией между шириной реформаторского проекта и узостью субъективного элемента, на котором строилось это движение. Оно охватывало всего какой-нибудь десяток лиц, входивших в Политбюро, и их ближайших сотрудников, которые, кстати, не сделали почти ничего, чтобы поставить под вопрос политическую традицию и культуру, продуктом которых были они сами. Значительная часть дилеммы политического реформизма в СССР как раз и состоит в этой двусмысленности, до сих пор так и не преодоленной.

Совершенно иной была попытка, предпринятая Никитой Сергеевичем Хрущевым — двусмысленным наследником сталинского прошлого. Довольно поздно став членом Политбюро, он лишь постепенно приближался к реформаторскому течению, представленному Маленковым, хотя уже в 1952 году числился в списках жертв предстоявшей чистки. В качестве посредника он взял на себя роль руководителя в борьбе против Берии, заключив тесный союз с маршалом Жуковым, но в дальнейшем согласился на существенные уступки сталинскому догматизму (в том числе и на сохранение в аппарате лиц, замешанных в сталинском заговоре 1952 года)²³. Одна-

²³ Среди прочих выделяется имя Михаила Сулова, который на короткое время был изгнан из Президиума ЦК партии после смерти Сталина, но вновь введен туда на первые роли самим Хрущевым в 1955 го-

ко после XX съезда и изгнания антипартийной группы все весьма быстро изменилось. Сознвая объективную необходимость и неисследованные возможности политического развития, Хрущев при мощной поддержке Микояна все энергичнее утверждает себя защитником набирающего силу и открытого антисталинизма. Так начинается третий реформаторский путь, средства и цели которого резко отличаются и от деспотизма Берии, и от просвещенности Бухарина. Тем не менее есть одна черта для всех троих реформаторов — это программа-минимум. Сельское хозяйство, либерализация, мирное сосуществование — вот три стабильных основополагающих элемента советского антисталинизма.

Эта удивительная политика, которая в течение всего нескольких лет мобилизовала против себя разношерстную коалицию, простиравшуюся от крайне правых до крайне левых на советском политическом горизонте, явилась выражением своего рода неонародничества, по содержанию и формам своим восходящего к определенному ленинскому интегрizmu. Так, темы отмирания государства и построения коммунизма были использованы с конца 50-х годов, для того чтобы установить новые, хотя бы и утопического характера отношения с народными массами. Частичная неудача этих попыток в дальнейшем вызвала все более безудержное стремление на последнем этапе хрущевского руководства к демонстражу самого партаппарата. Перманентная ротация руководящих работников, разделение партии на городскую и сельскую — все это открывало дорогу, как показали Жорес и Рой Медведевы, к своего рода социально-политическому плюрализму, неприемлемому для большей части партийных кадров. Однако следует отметить и глубокую враждебность Хрущева (в противовес Бухарину) диалогу с советской интеллигенцией и со специалистами в области экономики. До самого конца Хрущев так и остался враждебно настроенным к реформам в сфере управления, предпочитая поощрять формы индустриального корпоративизма, а его выступления на темы культуры отличались грубостью, не лишенной даже презрения. По целому ряду аспектов издание повести «Один день Ивана Денисовича» полностью соответствовало его народническим воззрениям, согласно которым свидетельское показание жертвы концентрационных лагерей более доступно для восприятия, нежели сложные интеллектуальные построения, содержание которых невозможно переделать в партийную речь. Вот поэтому еще при Хрущеве вынужден был эмигрировать Бродский, подвергался преследованиям Пастернак и не получали поддержки многие научно-исследовательские работы.

Впоследствии Сулов выказал ему свою благодарность, выступив в союзе с ним в 1957 году, несмотря на свою прочную связь со сталинским наследием.

Однако открытые заявления Хрущева о своем антисталинизме не должны создавать у нас впечатление, будто указанные элементы свидетельствуют о разрыве с прошлым. К тому же и список жертв сталинизма, почти символический, выбранный Генеральным секретарем для упоминания в докладе, зачитанном только перед советскими делегатами XX съезда, указывает на то, что критике прошлого были поставлены определенные границы. В числе жертв — наиболее близкие коллеги Хрущева: Эйхе, Постышев, Косиор, Чубарь, уничтоженные на последнем этапе чисток 1935--1937 годов; их имена были названы в качестве типичного примера «невинных» жертв сталинизма. Бухарин же по-прежнему считался предателем, а коллективизация и пятилетки рассматривались как правильные стратегические решения, которые осуществляло мифическое коллективное руководство.

Это крайне осторожное и даже раболопное отношение к ортодоксии в оценках советской истории — уже само по себе ценное указание на ограниченность операции, предпринятой Хрущевым. Уверенность, с какой он демонстративно появлялся на публике, почти равная сталинской, не должна вводить нас в заблуждение. Хрущев действовал, постоянно ощущая как субъективное, так и объективное бремя, отягощающее его антисталинизм. Объективное бремя объясняется прежде всего тем, что личная власть Хрущева неизменно основывалась на своего рода соглашениях с элементами, совершенно чуждыми его политической программе, и потому он постоянно вынужден был считаться с организованным давлением, которое оказывали на него люди типа Суслова и Козлова, выражавшие опасения и недоумения аппарата. Ведь и сам Хрущев был одним из тех, кто сделал головокружительную карьеру в самый мрачный период сталинской диктатуры. Принадлежность его к этому слою руководителей из рабочих, не имеющих достаточной политической культуры и пришедших к руководству страной при чрезвычайных обстоятельствах, дает нам представление о Генеральном секретаре как о человеке не слишком самостоятельном.

Будучи бессильным свидетелем нравственного огрубения верхушки аппарата в последние годы сталинского господства, Хрущев предпринял попытку, как показывает Солженицын в своей повести «Бодался теленок с дубом», направить массовую динамику сталинизма в иное русло, очистив сталинизм от присущих ему наиболее зверских аспектов и сгладив его наиболее вопиющие авторитарные тенденции. В то же время Хрущев отчасти воспринял и его волюнтаристские черты, когда он, например, до последнего защищал Лысенко от любых нападок со стороны научных кругов.

С целью упрочить свой «сглаженный» волюнтаризм Хрущев попытался мистифицировать общественность и предстать

перед ней в образ «истинного ленинца», осуществляющего примирение глубинных преобразований 30-х годов с некровавой концепцией «великого выдвижения», благодаря которому была вынесена на поверхность большая часть руководящей группы, сложившейся в 1956 году. Этот «возврат к Ленину», оторванный от какой бы то ни было серьезной попытки осмысления конкретной истории, в действительности стал препятствием для развертывания углубленной дискуссии о необходимости экономических реформ, хотя и имел то достоинство, что продемонстрировал ясное намерение покончить наконец официально с недавним прошлым.

Оказавшись неспособным реально изменить центральный механизм воспроизводства руководящего состава партии и государства, Хрущев обратился к мерам, направленным на установление прямой связи с массами; он начал даже приглашать «ударников» на заседания Центрального Комитета и выставлять на показ приватные стороны своей жизни, появляясь на экранах кино и телевидения. Таким образом, он стал изобретателем своего рода аппаратного «народничества» в аппарате с целью соединения авторитарных аспектов сталинизма с народной базой в новом синтезе, смелом на словах, но на деле мало чем отличавшемся от прежней ситуации. Основной аспект «хрущевизма» как раз и заключался в стремлении передать в руки «всего народа» (неслучайно и мы вынуждены употреблять это столь общее выражение, используемое выступавшими на XX съезде) ту часть инициативы, которая была конфискована у него партией и государством, не изменяя при этом по существу предшествовавший тип социального развития. В области сельского хозяйства Хрущев, отклонив выдвинутые ранее Маленковым предложения по расширению сферы личной инициативы, попытался выйти из положения, снабдив обращение к массам (ростпуск МТС, который, по крайней мере формально, позволял колхозникам стать владельцами средств производства; освоение целинных земель) традиционной верой в преобразующую силу техники, получаемой ими сверху, обещаниями улучшить производство удобрений, ввести новые сельскохозяйственные культуры (например, кукурузу) и обращаться за советами к Лысенко и прочим шарлатанам.

С точки зрения традиционных структур самой важной реформой, которая была осуществлена, стало упразднение многочисленных министерств и резкое ограничение власти Госплана в пользу объединений территориального типа. Эта робкая затравка регионального самоуправления, сокращая объем власти государственной технократии, усилила роль периферийных органов партии, ставших таким образом подлинными хозяевами промышленности на местах. В некоторых республиках (Грузия, Украина, Средняя Азия) это привело к рас-

ширению возможностей интеллигенции, национальных меньшинств. Такая наивная форма «отмирания государства», однако, не могла встретить полной поддержки народных масс, так как оставила в неприкосновенности основы экономического развития. Децентрализация политической власти, не подкрепленная крупномасштабной рационализацией в сфере экономики, неизбежно должна была спровоцировать целепую конкуренцию между местными феодалами. В то же время эти институциональные трансформации привлекли внимание общественности, у которой к этому времени возрос интерес к таким политическим вопросам, как укрепление партии. Все это отнюдь не способствовало росту популярности принимаемых мер.

В последние годы хрущевского периода (1962—1964) произошли более существенные изменения: был поставлен под вопрос приоритет тяжелой промышленности, появилось автономное по отношению к партии общественное мнение, Либерман опубликовал свои первые статьи о необходимости ведения новых критериев управления экономикой. Именно в этот момент консервативные союзники Хрущева пришли к выводу, что рубикон, за которым начинается кризис власти, уже перейден.

Аналогичные «волюнтаристские» позиции прослеживаются и в хрущевской внешней политике. Советское руководство, демонстрируя добрую волю, стремилось расширить антиимпериалистическую борьбу. Открытие дверей в отношении Тито и Мао, носившая порой авантюристический характер поддержка Фиделя Кастро и Насера — вот наиболее значительные шаги в этой попытке «возврата к Ленину», которая предусматривала очевидный пересмотр концепции интернационализма. Но и здесь недостаточное понимание отношений между СССР и мировым революционным движением вызвало почти повсюду внезапное похмелье: убийство Имре Надя через три года после восстания в Будапеште (несмотря на обязательства, взятые на себя Андроповым), новая напряженность в отношениях с Югославией, отзыв советских специалистов из КНР, положивший начало непреодолимому разрыву отношений после краткого «медового месяца» в 1955—1957 годах, все более острые разногласия с кубинцами и быстрое сокращение сферы свобод, завоеванных благодаря реформам в Польше, — все это тяжелым бременем легло на внешнюю политику Хрущева. Возведение Берлинской стены, которую Ульбрихт потребовал в обмен на свое присоединение к борьбе с маоизмом, создало в Германии невыносимое положение. Хрущев попытался покончить с ним в 1964 году, выступив с сенсационной инициативой в отношении ФРГ, по существу позаимствовав проект, выдвигавшийся Берней и Маленковым в 1953 году. Это прозвучало сигналом тревоги в

кабинетах консервативного аппарата. Эта последняя попытка Хрущева также вошла в объемистый обвинительный акт, предъявленный ему Сусловым на октябрьском Пленуме 1964 года, который положил конец политической карьере Хрущева.

Хрущевизм предстает перед нами как политика, по сути дела не лишенная определенной последовательности, а именно как массовая неонародническая политическая линия, рассчитанная на то, чтобы преодолеть сталинское наследие путем подключения к политической жизни новых социальных элементов, которые до этого были исключены из сферы власти, то есть крестьянства, национальных меньшинств, братских социалистических стран. Однако отказ пойти на реальное соглашение с авторитетными представителями этих элементов весьма скоро полностью остановил реформаторское движение. Тем не менее критика, пусть даже только словесная, сталинского догматизма все сильнее объединяла тоскующих по прошлым временам, так что правые и крайне правые (в том смысле, в каком эти понятия могут иметь соответствие в советской действительности, то есть сталинисты), сумели развернуть свое контрнаступление, тогда как заинтересованные в реформах социальные слои не успели мобилизоваться в поддержку народничества, которое в данном случае обнаружило не только свою неуверенность, но даже и неспособность защищаться.

Конечно, Хрущев мог бы записать себе в актив значительное ускорение экономического развития СССР, когда на протяжении 10 лет его правления были реализованы неиспользованные возможности экстенсивного развития сельского хозяйства и промышленности, что сопровождалось быстрым социальным подъемом, а также последние революционные результаты деколонизации. Однако, исчерпав этот капитал, политика Генерального секретаря вступила в полосу явного кризиса. Было очевидно, что для проведения последовательной и решительной политики экономических реформ и мирного сосуществования нужны гораздо более решительные и не столь импровизированные действия.

Таким образом, мы имеем дело с глубокой двусмысленностью не только в том, что касается хрущевского реформизма, который нам лучше всего известен, но и советского реформизма в целом. Слишком тесная связь Хрущева с властью, враждебно настроенной по отношению к комплексной модернизации общества, делает его, как и его предшественников 30-х годов, соучастником такого социального воспроизводства, при котором государство является одновременно централизующей силой, будучи деспотическим и парадоксально слабым, не обладая ни подлинной юридической правомочностью, ни соответствующим развитым аппаратом, если не считать его

полицейских придатков. В каждой из этих реформистских попыток, не имевших в строгом смысле слова почти ничего от марксизма, можно обнаружить и элементы политические (желание установить связь с рабочим классом, стремление к демократии как процессу преобразования общества), и идеологические (ориентация на отмирание государства, равенство между национальностями), которые лишь в общих чертах согласуются с марксистской традицией. Однако все это осталось лишь на уровне благих намерений, даже у Бухарина в 30-е годы.

Сегодня в связи с постановкой вопроса о наследии Брежневца и с появлением на сцене реформаторских элементов, каким, вполне вероятно, является Юрий Андропов, переключаются, во всяком случае, с прошлым опытом Берии и Хрущева, но не Бухарина, возникает проблема (четко сформулированная Роем Медведевым) возвращения в СССР к реформаторской политике и критической теории, способной восстановить связь с марксизмом. Не отваживаясь на рискованные прогнозы, можно было бы ограничиться утверждением, что исторический процесс в СССР указывает на то, какой узел следует разрубить, чтобы советский марксизм снова обрел свою силу. Только возможность — увиденная отчасти Богдановым, а затем и Бухариным — диалога между политической теорией и русским научным рационализмом (а он продолжал развиваться все эти годы нередко ценой героических усилий) в состоянии наделить хоть каким-то смыслом философию исторического материализма. Также и на почве культуры этот процесс не может не совпадать с началом преодоления противопоставления в советском обществе руководителей руководимым, которое неизменно затрудняет разработку действительно социалистической политики.

Быть может, не так уж утопично предположение, что в один прекрасный день сможет произойти слияние великой рационалистической и критической традиции русской интеллигенции с реформаторскими инициативами сверху. В прошлом подобные операции наталкивались на непреодолимые препятствия. Однако нельзя отрицать и того, что глубокая модернизация советского общества радикализовала выбор экономической и международной политики, но вовсе не ослабила причины столкновений внутри руководящей советской группы. На горизонте уже появилась устремленная в будущее политическая сила, крепнущая благодаря последовательно сменяющим друг друга этапам исторического развития и чередующимся кризисам. Ее появление имеет решающее значение для будущего Европы. Это единственная реальная возможность для преодоления того положения, при котором советским марксизмом оправдывают зловещее бессилие социалистического движения на Западе. В случае такого долго-

жданного поворота событий освобождение русского общества и русской мысли прежде всего означало бы разрыв с утопией и явилось бы одной из предпосылок для подъема социалистического движения, которое престарелый Энгельс называл в свое время «научным социализмом», вложив в это понятие столько же надежды, сколько и необоснованной смелости.

Юхан П. Арнасон

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Было немало критиков марксизма, усматривавших его особенно серьезный недостаток в неспособности разработать теорию «реального социализма». Согласно этой точке зрения, институционализация какой-то одной марксистской идеологии и ее воплощение в некоей новой политической системе скорее привели к появлению еще большего количества эпистемологических препятствий на пути марксистской теории, чем способствовали подтверждению ее действительности. Не приходится отрицать, что данный тезис на первый взгляд выглядит внушающим доверие. Ни одно исследование советского общества или его более или менее верных копий в Восточной Европе не может обойтись без констатации важности идеологических и политических различий. Редукционистские аспекты классического марксизма (в концентрированном виде представленные в модели «базис—надстройка») препятствуют адекватному пониманию масштаба этих различий; трудности возрастают также и в связи с вовлеченностью самого марксизма в генезис таких феноменов, по отношению к которым он не обладает некоторым аналитическим отходом.

Но подобная критика имеет смысл только при условии, что она не превращается в поспешный диагноз. Дело в том, что существует прочное и разноплановое концептуальное ядро, свидетельствующее о применимости Марксовых концепций к критике «реального социализма». Оппозиционный марксизм, осмысливающий новый опыт, накопленный в послереволюционном обществе, сделал очевидными как мельчайшие дефекты, так и потенциал самопреобразования традиции, из которой вышел. Нижеследующий анализ и будет посвящен некоторым заслуживающим внимания результатам, достигнутым критическим марксизмом в Восточной Европе в той мере, в какой они способствуют демистификации и объяснению того социального порядка, в рамках которого они были получены. Другие темы, например более общий вопрос о недогматических марксистских течениях в философии и социологии, будут рассмотрены только мимоходом, хотя они подвергались широкому обсуждению теми же авторами. С

другой стороны, будут кратко затронуты некоторые более широкие течения и глубинные направления, учитывая при этом в особенности двусмысленность и иллюзии, которые в ряде случаев ослабили результаты теоретической деятельности оппозиционных движений. В восточноевропейском контексте появление критического марксизма предполагало наличие трех отличных друг от друга этапов в ходе достижения определенной теоретической автономии: а) отмежевание от политики «коммунистической реформы», то есть от различных реформистских течений в партии, стимулировавшихся кризисом сталинизма в Советском Союзе и потерпевших окончательное поражение в результате вторжения в Чехословакию в 1968 году; б) недвусмысленный разрыв с ленинским крылом марксистской традиции (или, говоря точнее, разрыв с ленинским искажением марксистского наследия); в) критический пересмотр ряда основополагающих установок исторического материализма с особым акцентом на их совместимость с фрагментарным образом современности. Но хотя эти три этапа и могут в некотором смысле рассматриваться как логически связанные друг с другом, они тем не менее не обязательно развивались исторически именно в такой последовательности. Так, очень мощное движение за «коммунистическую реформу» — чехословацкое движение 60-х годов — привело к отрицанию многих элементов ленинской модели, тогда как, напротив, существенные остатки ленинских взглядов можно усмотреть в точке зрения оппозиции, хотя многие ее участники и утратили веру в стратегию «коммунистической реформы». Третья и наиболее серьезная ревизия допускает значительное разнообразие степеней и направлений, исключая при этом какой-либо намек на возможность возникновения «новой ортодоксии», сравнимой с тем миражем, за которым упрямо гонятся некоторые левые движения на Западе. Повторное открытие Маркса в Восточной Европе было повсеместно вызвано проявлениями критического духа, более высокого, чем на Западе.

Исторические и географические пределы настоящего исследования легко очертить. За исключением Югославии и Венгрии (в первом случае идеологические нововведения явились прямым следствием разрыва с советским блоком в 1948 году, во втором — альтернатива «коммунистической реформы», сопровождавшаяся брожением в среде интеллигенции, обрела форму уже в 1953—1955 годах), оппозиционные течения, требующие рассмотрения, возникли в ответ на ситуацию, вызванную XX съездом и его более или менее отдаленными последствиями. Если 1956 год явился переломным пунктом в истории Восточной Европы, то аналогичным образом можно считать, что польские события 1980—1981 годов, хотя отличающиеся по своей природе, также являются не ме-

нее важными. Каким бы ни был их исход в ближайшем будущем, они, вне всякого сомнения, представляют собой новый этап в развитии социальных конфликтов в этом районе мира. Между этими двумя поворотными датами «пражская весна» и ее поражение представляют собой основной демаркационный пункт.

В географическом плане в центре внимания настоящего очерка находятся прежде всего Югославия и наиболее западные районы сферы советского господства (главным образом Польша, Чехословакия и Венгрия). История советского диссидентства — весьма сложного и стимулирующего исследовательскую работу явления — не имеет непосредственного отношения к нашей настоящей работе. Советское диссидентство, занимая промежуточную позицию между гораздо более мощными либеральными и консервативными направлениями, обладает марксистским компонентом, незначительным по своему объему в сравнении с течениями, которые служат предметом обсуждения в настоящем очерке. Точка зрения диссидентствующего марксизма на сталинскую и досталинскую эпохи советской истории были выражены, если ограничиться наиболее известными работами, в сочинениях Роя Медведева, однако их толкования вряд ли выходят далеко за пределы, очерченные ортодоксальным подходом¹. С другой стороны, ссылки на центральную роль советского диссидентства сохраняют свое значение в связи с более разнообразной критикой, которая идет с периферии. Дело в том, что как дискуссия по идеологическим вопросам, советскую монополию на которую отрицает эта критика, так и система советского господства, которую периферия желала бы опрокинуть, — все это берет свое начало и имеет свое конечное основание в Советском Союзе.

1. Кризис и реконсолидация советского марксизма

Некоторые исследователи описывали советский марксизм как идеологическую систему. Другие были склонны понимать идеологию преимущественно в более узком смысле, ставя, таким образом, под сомнение ее применимость к советской официальной доктрине, по крайней мере в ее нынешнем состоянии². Однако в связи с тем, что здесь не место для более

¹ Среди советских эмигрантов рупорами неомарксистского течения могут считаться Вадим Белоцерковский и Леонид Плющ.

² Ср.: A. Besançon. *Les origines intellectuelles du féminisme* Paris, 1977; *Présent soviétique et passé russe*. Paris, 1980. Вторую точку зрения отстаивает Корнелиус Касториадис: «Идеология появляется только тогда, когда появляется попытка «рационального» и рационализирующего оправдания точек зрения какой-нибудь группы или

подробного уточнения смысла концепций, я попытаюсь вкратце объяснить ту терминологию, которой отдаю предпочтение. Понятие идеологии соотносимо с культурными течениями в той мере, в какой они: а) напрямую выступают в качестве формообразующих элементов господства; б) положены в основу открытого оправдания (представленного в более или менее рациональном виде) этого господства. Путь советского марксизма обозначен весьма неравномерным развитием этих двух аспектов. Постоянная преемственность системы, вовсе не поколебленной хрущевской интермедией и ее последствиями, гарантирует выживаемость первого аспекта, тогда как второй уже прошел этап временной интенсификации и рационализации, за которым последовал процесс головокружительного падения, приведший на практике к провалу. Кризис, признанный даже в официальных речах, облегчил развитие марксистской оппозиции. Таким образом, краткий очерк этой ситуации логически является отправной точкой нашего исследования.

Советский марксизм подчиняет обедненную и искаженную версию классической марксистской теории общества доктрине так называемого «диалектического материализма», изображаемого к тому же в качестве систематической космологии и универсального научного метода. В наши задачи не входит рассматривать здесь различные источники, используемые для разработки этой системы. Более важная задача, связанная с ее специфическими функциями и ее общими механизмами приспособляемости, может быть решена благодаря анализу ее двух основных принципов — материализма и диалектики. Несмотря на все свои извращения и карикатурность, сталинская концепция диалектики все еще сохраняет внутреннюю связь с гегелевской системой (по этой причине «реабилитация» Гегеля после смерти Сталина не привела ни к какой значительной корректировке). В обоих случаях релятивизация частных точек зрения выступала в комбинации с претензией на абсолютное знание, однако как характер этих элементов, так и процедура синтеза были коренным образом дифференцированы. В сталинском контексте релятивизация противоречий и реальных столкновений имеет рациональную подкладку. Она используется для нейтрализации диссонанса между одеяниями революционной традиции и практикой послереволюционной ситуации (так, Сталин прибегал к помощи диалектических доводов в поддержку тезиса, согласно которому «отмирание государства» возможно осу-

какого-нибудь класса (не важно, идет ли речь о сохранении существующего положения вещей или его изменении)» (*C. Castoriadis. Devant la guerre*. Т. I, Paris, 1981). Если в свете этих слов рассматривать марксистско-ленинскую риторику нынешнего советского режима, то она более не является идеологией.

ществить только путем его неустанного укрепления), а также для прямого оправдания изменений стратегии во внутренней и внешней политике в качестве выражения фундаментально идентичных целей. В этой связи следует различать некоторые уровни: цель системы, то есть расширение и максимизация контроля, выражена на языке всеобъемлющей идеологии и таким образом представляется менее уязвимой по отношению к частичным стратегиям. Идеология в свою очередь испытывает потребность в сталинской версии диалектики для того, чтобы она содействовала сосуществованию с реальной политикой, в которой не придерживаются принципов господствующего аппарата.

Таким образом, релятивизирующие аспекты диалектики становятся средством манипулирования реальностью. Это вызывает соответствующее изменение статуса материализма, с которым она связана. Здесь-то и заключается подлинное значение «материалистического» тезиса. Согласно определению Лепина и последних систематизаторов ленинизма, объективное познание и абсолютная истина поставлены на прикол «теорией отражения», то есть, по сути дела, сознание сводится к копии внешней реальности. Даже в том случае, когда происходит искаженное и неполное отражение, возможное абсолютного соответствия основывается на общей модели связи между сознанием и реальностью и кодифицируется в «законах диалектики», которые, как считается, имеют универсальное значение. Канонизация «научного мировоззрения», то есть адекватного комплексного отражения природной и социальной действительности, разрушает диалогические элементы диалектики и подменяет их целым рядом псевдомолологических аксиом. Система, построенная на подобных основаниях, не испытывает никакой внутренней потребности перманентно осуществлять сопоставление с другими школами мысли. Она признает только стратегическую задачу срывания с них масок и ведения над ними судебных процессов. С другой стороны, монополия на знание, захваченная руководящей группой партии, периодически подтверждается путем осуждения ревизионистских уклонов и волюнтаристских эксцессов. К концу сталинской эры подобная операция, судя по всему, все чаще становилась самоцелью. Очень трудно установить связь последних идеологических выступлений Сталина (по вопросам языкознания и «экономическим проблемам социализма в СССР») с реальными событиями и подлинными проблемами того момента. Их роль, вероятно, заключалась лишь в том, чтобы дать комплексное подтверждение своего научного авторитета. Подлинная неспособность выйти за пределы чисто репрессивных решений перед лицом послевоенных проблем потребовала дополнительного укрепления абстрактно понятого идеологического фундамента.

Эта комбинация абстрактного и бессмысленного теоретизирования в сочетании с системой самовоспроизводящихся репрессий представляет собой почву советского марксизма после 1953 года. Кризис, начавшийся со смертью Сталина, прошел через острый этап своего развития в 1956 году и породил сложный и двусмысленный феномен, известный под названием хрущевизма, за которым в свою очередь в 1964 году последовала фаза регрессивной стабилизации. На первых порах выбор средств был ограничен невозможностью простого и откровенного продолжения политики сталинизма и немыслимостью проведения в жизнь такой линии, которая бы поставила под вопрос монополию власти партии. Принимая во внимание подлинное бесплодие идеальных «марксистско-ленинских» разработок, идеологические соображения не могли уже сыграть какой-либо важной роли в конфликте, который сформировался в столь узких рамках. Но едва лишь обозначилась господствующая тенденция, олицетворяемая Хрущевым, как уже применительно к этой цели был задействован весь механизм приспособления диалектического материализма. Как теория отражения, так и арсенал законов диалектики могли быть использованы для оправдания некоторых нововведений, избегая одновременно радикального разрыва и направляя критику прошлого на решение второстепенных задач. Сталинский принцип обострения классово-борьбы по мере строительства социализма, до этого времени защищавшийся как один из законов диалектики, был теперь осужден в качестве примера неправильного, механического применения той же диалектики. Новое подчеркивание наличия специфических «неантагонистических» противоречий в социалистическом обществе было направлено отчасти на то, чтобы априорно установить некоторые вполне определенные границы возможности критики, отчасти же на то, чтобы придать менее мистифицированный облик «реальному социализму». Прежде всего тезис о большей автономии культуры мог быть построен на особенностях характеристики «эстетического отражения действительности». Однако, до тех пор пока теория отражения оставалась в неприкосновенности, правомочность идеологического надзора в качестве последней инстанции не подлежала обсуждению. Короче говоря, некоторая гибкость основных принципов и связанных с ними доктрин обеспечивала такое положение, при котором идеологические ресурсы системы становились неисчерпаемыми; в то же время эта гибкость способствовала первым шагам в направлении развития более радикальной критики системы. Пересмотренный вариант диалектического материализма противопоставлялся «догматизму» прошлого. Ярлык догматизма, в известном смысле принятый на вооружение зарождавшейся оппозицией, только сильно запутывал дело. Идеологический компонент

сталинизма был основан не столько на догматических принципах, сколько на абсолютной власти определенного учреждения, обладавшего правом догматизировать и пересматривать теорию.

Независимо от этой общей стратегии приспособления, советский марксизм на этапе своего постсталинского существования смог продемонстрировать более специфическую реакцию на кризис. Ее можно было бы определить как «ответные формулировки», поскольку их функция явно состояла не только в том, чтобы предотвратить возможную критику, но и в том, чтобы определить позитивным образом пути выхода из кризиса. Этот процесс охватил три аспекта, которые были выдвинуты на первый план на втором этапе развития хрущевизма в Советском Союзе (1961—1964), но были конкретно разработаны в Польше, Чехословакии и Венгрии. Во-первых, понятие «общенародного государства» пришло на смену «диктатуре пролетариата» как соответствующее более высокой ступени социалистического развития. Во-вторых, появились новые «модели и механизмы социалистической экономики» (В. Брус), которые предполагали частичную реабилитацию рынка; и, в-третьих, возникла концепция «научно-технической революции», понимаемая как качественная трансформация производительных сил. Очевидно, что второй аспект обладал более солидной экспериментальной базой и большим практическим значением, чем остальные. Однако в настоящий момент он нас интересует только в той степени, в какой попытки сочетать планирование с некоторым рыночным регулированием вызвали появление теоретических проблем, затрагивающих саму социальную структуру. Несмотря на неодинаковый концептуальный уровень, эти три аспекта поддаются в той или иной мере различным интерпретациям, круг которых простирается от простой и откровенной апологии до умеренного критического отношения. Хотя лозунг о «всенародном государстве» официально использовался для подтверждения действительности модели этатизированного социализма, частичное разделение понятий «класс» и «государство» открыло путь для менее узкого отношения к политической теории, а также подорвало сами устои нигилистического отношения к законности, унаследованного от сталинских времен. Экономические реформы породили самые разнообразные интерпретации. Наиболее консервативный способ их толкования заключался в выдвижении перспективы нового этапа интенсивного развития, нуждающегося в формах управления более сложных, чем те, которые были приняты на предыдущем этапе экстенсивной индустриализации. На противоположном полюсе их рассматривали как запоздалую корректировку ущербной и противоречивой формы общественной собственности, все еще занимающей господствующее положение

в системах советского типа. Аналогичным образом научно-техническая революция была представлена в качестве цели, достижимой под руководством партии; более того, научно-техническая революция якобы вызывала необходимость укрепления руководящей роли партии. Однако мысль о новом этапе развития производительных сил могла также, особенно в сочетании с иными аргументами, использоваться для выражения сомнений относительно традиционных моделей социализма, восходящих к устаревшей материальной базе³.

Наконец, следовало бы также упомянуть и еще об одном, стоящем как бы особняком пути приспособления — попытке сконструировать более гибкую модель ортодоксии, способную воспринимать и ассимилировать разнообразные элементы «буржуазных» теорий, не ввергая при этом в кризис логичность марксистского мировоззрения. Подобная операция предполагала наличие относительной автономии ее сторонников по отношению к политическим инстанциям. Некоторые представители официального или полуофициального марксизма в Польше — особенно в период до 1968 года — попытались претворить в жизнь эту стратегию. Наиболее известные примеры — различные работы философа Адама Шаффа и последующие попытки ряда польских социологов обосновать необходимость конвергенции между историческим материализмом и соответствующим образом интерпретированной структуралистско-функционалистской теорией⁴.

Развитие советского марксизма после 1964 года (особенно после 1968 года) описано одним из исследователей как «идеологическая контрреформа»⁵. Однако, пожалуй, более подходящим к данному случаю был бы термин «реконсолидация». В идеологическом плане руководящая группа, пришедшая на смену Хрущеву в Советском Союзе, и те, кто подчинен ей в

³ Каждый из этих трех аспектов наиболее глубоко был обсужден в Чехословакии. Переход от хрущевского «общенародного государства» на более критические позиции документально отражен в различных работах Зденека Млынаржа, изданных в 60-х годах. В наиболее авторитетной форме анализ «социалистического производства» был проделан Ота Шиком. Систематическое изложение теории «научно-технической революции» см.: *R. Richta. Civiltà al bivio: le conseguenze umane e sociali della rivoluzione scientifica e tecnologica*. Milano, 1972 (первоначально издано в Праге в 1967 году).

⁴ *P. Sztompka. System and function. Toward a theory of society*. New York, 1974; ср. также «адаптированную интерпретацию» исторического материализма, которую отстаивал Лешек Новак и др. (*L. Nowak. The theory of socio-economic formations as an adaptive theory*. — In: "Revolutionary World", vol. 15, Amsterdam, 1975; *ID. Epochs and formations: an attempt at nonmarxian generalization of historical materialism*. — In: "Wittgenstein, the Vienna Circle and critical rationalism", Wien, 1979; *P. Buczkowsky, L. Nowak. Werte und Gesellschaftsklassen*. — In: "Arbeit, Handlung, Normativität", Frankfurt am Main, 1980).

⁵ *H. Dahm. Ideologische Gegenreformation*. — "Studies in Soviet Thought", vol. II, 1971, № 1, p. 19—39.

других странах Восточной Европы, приняли на вооружение стратегию, по преимуществу оборонительную; это тем более удивительно, что по времени она совпала с реальной политической откровенно экспансионистского направления. Конечно, реформистские идеи 60-х годов подвергаются гонению, тогда как непрерывающаяся кампания против «ревизионистских уклонов» и «новых методов идеологического саботажа» была развернута в целях профилактики против возможных новых ересей. В той мере, в какой проблемные нововведения хрущевской эры оказывались обоюдоострым оружием, их значение приуменьшалось, а влияние сводилось до минимума. Однако что касается трех исследуемых нами аспектов, то официальная доктрина воздержалась от открытого их осуждения, так как оказалась неспособной предложить им замену. Даже после падения Хрущева продолжался поток заявлений насчет преобразования диктатуры пролетариата во «всенародное государство» при том, однако, единственном добавлении, что рабочий класс, мол, станет осуществлять в новом государстве руководящую роль. Более суровой была реакция на разнообразные концепции «рыночного социализма». Хотя восстановленная ортодоксия и обладает еще кое-каким запасом гибкости, чтобы допустить использование механизмов рынка, тем не менее опасные вопросы насчет действительной и возможной роли рынка в обществе советского типа более не поднимаются⁶. Напротив, теория «научно-технической революции» все еще пользуется относительным признанием, однако практически уже исчезли наиболее многообещающие философские экстраполяции, которые она породила на протяжении 60-х годов. Интерпретация современной науки как «важнейшей производительной силы», похоже, не получила полного права на существование.

Потенциальная альтернатива как по отношению к хрущевским, так и к реформистским идеям, в течение непродолжительного времени выдвигалась в Восточной Германии в конце 60-х годов. Некоторые теоретики СЕПГ развили идею социализма как самостоятельной общественной формации, обладающей постоянными характерными чертами и специфическим механизмом самовоспроизводства, а не просто как переходной фазы. Данная концепция была относительно неправовой и могла быть использована для оправдания стратегии реформ сверху, ограниченных и контролируемых. Представляется вероятным, что советское противодействие оказало решающее значение в удушении этой инициативы: практические результаты, видимо, показались чересчур взрывоопас-

⁶ О развитии экономической теории в Советском Союзе см.: *H. Chambre. L'évolution du marxisme soviétique. L'économie et le droit.* Paris, 1978.

ными, чтобы можно было согласиться на какой-нибудь идеологический эксперимент. Ничто так не раскрывает бесплодный консерватизм эры Брежнева, как восхваление «реального социализма», открыто повернутое против «утопических» моделей, а скрытым образом — против самой идеи о том, что существующий порядок нуждается в изменениях или может ориентироваться на радикальную перестройку существующего порядка. Это было весьма показательным отходом от сталинской и хрущевской версии «строительства коммунизма»⁷.

В то же время основные принципы ортодоксии были оставлены в неприкосновенности. Более того, ссылки на их действительность систематически становились все энергичнее без какой-либо надежды на компромисс. Весь этот процесс можно было бы описать также как широкомасштабную «нормализацию» языка. Как показал опыт 60-х годов, язык официального марксизма мог до известного предела существовать в отрыве от своей институциональной матрицы и использоваться для завоевания новых территорий. Реконсолидация, последовавшая за 1968 годом, постепенно все более затрудняла подобные операции. Подчеркивать эту общую тенденцию — вовсе не означает отрицать значительные различия между отдельными странами советского блока. Хотя решающий импульс и поступил, совершенно очевидно, из Советского Союза, самый катастрофический крах произошел в Чехословакии, тогда как венгерский вариант «контрреформы» оказался относительно умеренным. Но различные степени однородности не должны затемнять тот факт, что репрессивная политика Советского Союза задает тон также и в Восточной Европе.

С другой стороны, восстановление тотального идеологического контроля было невозможно в той форме, в какой он практиковался в сталинскую эру. В частности, необходимо было представить некоторую автономию различным научным отраслям знания. В отдельных случаях, подобная снисходительность была обусловлена соображениями сугубо технического порядка. Например, именно по этой причине произошла реабилитация кибернетики, которую прежде заклеямили, потому что присущие ей претензии на универсальность, казалось, вступают в конфликт с философией диалектического материализма. То же можно сказать и в отношении недавней «деидеологизации» биологии, доведенной, однако, до конца только после падения Хрущева. Переменчивая же судьба общественных наук — социологии, и особенно истории, — была более зависима от политической конъюнктуры

⁷ Об идеологии «замены» реального социализма см. прекрасную статью: *M. Kusy. Velky brat a velka sestra. — "Listy", 1980* (франц. перев. в: „L'alternative“, 1981).

и национальных факторов. Однако несмотря на различные мотивировки, отступление на этом фронте носило скорее стратегический, чем принципиальный характер. В той мере, в какой официальная идеология утверждает, что она, дескать, открыла «общие закономерности бытия», она, следовательно, получает полную свободу на вмешательство в какую угодно сферу интеллектуальной работы.

Более чем когда-либо пробным камнем ортодоксии сегодня является признание «руководящей роли партии». Роль же марксистско-ленинской доктрины состоит в узаконении верховенства партии и в то же время в сокрытии подлинного механизма, посредством которого оно осуществляется. Подчеркивание роли партии направлено своим острием прежде всего против реформистских ересей; однако, с точки зрения господствующего аппарата, оно является также и защитой от чрезмерной персонификации власти и тормозом для соперничающих группировок. Некоторые изменения сталинского варианта диалектического и исторического материализма можно объяснить, исходя именно из этого. Функциональные изменения, однако, более существенны, чем на это указывает простой анализ содержания. Кодифицированное официальное мировоззрение все менее годится для использования в целях идеологической мобилизации, оно все более сводится к роли ширмы, за которой скрываются дестабилизирующие проблемы и концепции.

Коротко резюмируя основы советского марксизма так, как он отразился в нынешнем способе легитимации партийной жизни, целесообразно провести различие между двумя основными аспектами — общей структурой мировоззрения, соответствующей структуре власти при реальном социализме, и более специфическим обликом общества и его истории, в рамках которой определяется роль партии.

Диалектический материализм является «социально-космической концепцией Вселенной» — так определяет его З. Джордон⁸. Иными словами, его онтологические принципы неотделимы от защиты какого-то одного специфического социально-политического порядка. В качестве всеобъемлющей мировоззренческой концепции он претендует на статус завершенной философской системы. Однако иногда его описывают и как «научную идеологию», обладающую исключительной компетенцией формулировать долгосрочные интересы рабочего класса и «масс». И наконец, он выступает в роли «мировоззрения марксистско-ленинской партии», выполняя при этом двоякую функцию, с одной стороны, состоящую в том, чтобы оправдывать историческую миссию партии, а с другой — снабжать ее познавательным инструментом, который

⁸ Z. Jordan. The evolution of dialectical materialism. London, 1967.

она, предположительно, применяет в целях построения социализма.

Центральными тезисами диалектического материализма являются положения, относящиеся к «закономерностям природы, общества и человеческой мысли», скажем мы, используя типичную советскую формулировку. Философия, следовательно, мыслится как наивысшая форма номологического знания. В то же время она служит «руководством к действию». Она наделяет неким общим значением решения и инициативы марксистско-ленинского авангарда и рационализирует призрак тотального контроля над революционным процессом и послереволюционным обществом. Напряженность отношений между детерминизмом и волюнтаризмом представляла собой постоянную характерную черту советского марксизма и в то же время излюбленную мишень для нападок его критиков. В рамках, очерченных диалектическим материализмом, данная антиномия с точки зрения логики является непреодолимой, однако ее воздействие было сглажено различными способами. Различия между первоначальной сталинской моделью и последующими разработками не указывают на сколько-нибудь явный сдвиг от одного полюса к другому. Скорее всего произошло изменение в способе уравнивания обоих полюсов. В своем докладе партийному съезду в 1934 году, который часто цитируется в качестве примера наиболее откровенного волюнтаризма, Сталин утверждал, что значение «так называемых объективных условий» сведено теперь к минимуму и что решающими факторами отныне являются — де «правильная политическая линия» и «качество руководства». Но идеологическая система, на картине которой он делал, так сказать, завершающий мазок, была в то же самое время насыщена крайним фетишизмом универсальных закономерностей. Так что для примирения обоих аспектов системы понятие закономерности было заполнено специфическим содержанием и ссылками на объективность. Согласно сталинской концепции, самые общие законы мироздания уже более не отличаются от основополагающих задач политической манипуляции обществом. Подобное слияние уничтожающихся друг другом философии и политики привело Сталина к формулировке «законов диалектики», в которых все взаимосвязано и подлежит изменению.

Точно так же послехрущевская реконсолидация не означала отказа от волюнтаризма. Познавательная и политическая монополия партии и в этот период не оставляет места для каких-либо самоограничений, а ее все возрастающая роль при «построении коммунизма» подчеркивается постоянно. Однако относительная рационализация структуры власти привела к более открытому изучению объективных препятствий и к соответствующему корректированию доктринальных основ. В

то время как «основные закономерности бытия» формулируются с прежней выпрепностью, сама концепция закона стала менее пустой: четыре закона Сталина были заменены двухплановой концепцией диалектики, основанной теперь на различении категорий и законов. В недавно изданном советском учебнике категории были определены как «отражающие наиболее существенные и основополагающие связи» общего характера⁹. Несмотря на явную синонимичность — категория здесь представляется первым шагом в направлении формулировки закона, — диалектика более не отождествляется с пологическим знанием. Для новой концепции более полезным представляется указание насчет законов диалектики, данное Энгельсом, а не Сталиным. В учебнике упоминаются три закона: закон о переходе количества в качество; закон единства и борьбы противоположностей; закон отрицания отрицания. «Изложение» последнего закона особенно сбивчиво, однако это в некотором смысле способствует привлечению внимания к более сложным механизмам развития.

Данная более разработанная интерпретация диалектики сопровождается также более сильным акцентированием тезиса о примате материализма. В то время как сталинское изложение открывалось законами диалектики, наиболее современные учебники, как правило, в качестве отправной точки выбирают материалистический ответ на «основной вопрос философии» (то есть на вопрос об отношении мышления к бытию). Законы диалектики вводятся, следовательно, как законы материи, находящейся в движении. Подобное укрепление материализма в отношении диалектики явно связано с общей реакцией на «субъективные ошибки»; однако при этом следует заметить, что оно одновременно сделало более серьезной другую проблему, над которой постоянно бьется советский марксизм: с одной стороны, по-прежнему признается ленинское определение философской концепции материи, направленное на то, чтобы выработать в советском марксизме иммунитет в условиях развития естественных наук; с другой — более своеобразное и, следовательно, более уязвимое представление о материи как субстанции также является необходимым, чтобы придать позитивное содержание «материалистической точке зрения».

Согласно советской интерпретации, фундаментальные истоки исторического материализма выводятся из основ диалектического материализма. Онтологическая первичность материи над сознанием предполагает первичность материального производства по отношению к иным аспектам социальной жизни. Данное соображение привело к расплывчатому и произвольному использованию термина «материальный», од-

⁹ A. F. Sheptulin. Marxist-leninist philosophy. Moscow, 1978, p. 175, 215.

нако оно в значительной степени повлияло на теорию общества. Модель базис—надстройка становится практически неотличимой от дихотомии социального бытия и социального сознания. Другая сторона этого изменения — более акцентированная в советском марксизме, чем в каком-либо ином течении марксизма, — состоит в абсолютной слепоте в том, что касается специфических структур и характерных черт политической сферы. Как показывает опыт, вместо того чтобы мешать, эта слепота, напротив, облегчает инструментальное использование официальной идеологии. С другой стороны, тенденция уравнивания надстройки с формами общественного сознания порождает новые проблемы. Начиная с того момента, когда режим декларировал, что он основан на научных принципах социальной организации, потребность в абсолютистском образе науки стала постепенно утверждать себя в противовес релятивистским характерным признакам модели базис—надстройка. Фундаментальное ядро науки было освобождено от надстроечных ограничений (что было уже отчасти заметно в последних работах Сталина), однако еще не сформулировано точное определение ее статуса. Хотя этот случай является наиболее очевидным, аналогичные вопросы касались всего комплекса «социалистической надстройки». Во имя защиты последовательности теории модель базис—надстройка все еще изображается в качестве универсально действующей, однако функция социалистической надстройки явно отдалается от этой общей модели. По авторитетным версиям эта функция играет роль в создании социалистического базиса, способствуя выполнению экономических и административных задач и ускорению развития будущего нового общества.

Законы функционирования и развития человеческого общества, изученные историческим материализмом, отражают специфику проявления более общих законов диалектики. Более того, они-то и являются законами прогресса. Советскому марксизму всеобщая и догматическая концепция прогресса присуща так же, как и подчеркивание «специфических характерных черт прогресса при социализме». В то время как более общие дефиниции направлены на затемнение различий между прогрессом как таковым (прежде всего здесь имеется в виду развитие производительных сил) и его специфически социалистической формой, более аналитические модели подчеркивают гомогенный характер этой последней формы. Безнадежно бессодержательная концепция «неантагонистических противоречий» и абсолютно ничего не имеющее общего с марксизмом понятие о некоей классовой структуре, основанной на сотрудничестве и взаимной помощи, — таковы постоянные элементы социализма в советском представлении. В течение «антагонистической», то есть досоциалистической, фазы общественного развития есть два основных механизма про-

гресса — это развитие производительных сил и классовая борьба. Социалистическая революция подчиняет первое сознательной регламентации и заменяет второе сотрудничество неантагонистических классов под руководством марксистско-ленинского авангарда.

Сталинская концепция производительных сил (средства производства и соответствующие технические способности производителей) не была пересмотрена ни в одном из существенных пунктов. В недавно изданной литературе по данному вопросу более всего выделяется «субъективный фактор» и время от времени цитируется ссылка Маркса на революционный класс как на наиболее важную производительную силу. Однако вряд ли здесь идет речь о чем-то большем, чем о простой словесной уступке. После того, как теория априорно была поставлена на детерминистскую позицию, категория производительных сил неизбежно тяготеет к техническому детерминизму. Будучи *primum movens* социальной эволюции и последней гарантией непрерывности исторического процесса, производительные силы являются общим знаменателем всякого прогресса — антагонистического или неантагонистического.

Сведение классовых отношений к формам собственности — одна из характерных черт советского марксизма. «Во всех социально-экономически антагонистических формациях определенные классы удерживают в своих руках средства производства и выступают в роли эксплуататоров, другие же совершенно или отчасти лишены средств производства и являются, таким образом, эксплуатируемыми»¹⁰. Различные фазы классового общества, следовательно, отождествляются с чередующимися формами частной собственности, тогда как преодоление классового антагонизма совпадает по определению с ликвидацией частной собственности. Осуществление контроля над процессом производства и прибавочной стоимостью посредством механизмов, отличающихся от тех, которые присущи эпохе частной собственности, не принимается во внимание. При этом достигается двойная выгода: во-первых, исключается возможность классового анализа самого советского общества (то есть показа, что оно представляет собой что-то иное, чем идиллическая картинка классов, стремящихся лишь к сотрудничеству друг с другом), а во-вторых, создается возможность осуществления линейной реконструкции прошлого. Постепенное приспособление классовой структуры к развитию производительных сил может быть интерпретировано как замена тотальной формы частной собственности ее все более ограниченными формами. По этой причине советские идеоло-

¹⁰ "Historical materialism. Basic problems" (edited by Glezerman and Kursanov), Moscow, 1968, p. 85.

ги отнюдь не склонны отказаться от догмы, согласно которой классовое общество повсюду начинается с рабовладения (то есть с формы частной собственности, которая предполагает наличие тотального контроля над производительными силами и средствами производства), хотя надо сказать, что и эту позицию, которую более невозможно отстаивать, уже не навязывают советской исторической науке с той же жесткостью, которая применялась в сталинские времена.

Хотя советские концепции производительных сил и классовой структуры могут рассматриваться в качестве упрощения прежних марксистских подходов, третий компонент более оригинален. Речь идет о прославлении «масс» и их роли в истории. «На всех исторических этапах трудящиеся массы являются основным субъектом и решающей силой общественного развития»¹¹. Когда Маркс устанавливал зависимость между уровнем участия масс и полнотой общественных преобразований, то это прежде всего была гипотеза насчет грядущих революций. В советском же марксизме «признание решающей роли масс» стало символом веры и обязательным элементом материалистической концепции в философии. Марксово видение истории, таким образом, искажено народнической мифологией. В политическом плане разбавление классовой теории путем введения туманного понятия «трудящихся масс» подчеркивает обязательность внешнего авангарда. Описание общественных сил как масс — это также уловка, чтобы подчеркнуть, будто они испытывают потребность в каком-то руководителе и командовании.

В сравнении со сталинской эрой официальное толкование исторического материализма представляется менее изменившимся, чем сочинения по диалектическому материализму. Принимая во внимание нынешнее состояние официальной идеологии в совокупности, чрезвычайно трудно ожидать какого-либо важного нововведения в ближайшем будущем.

2. Критические альтернативы

Как мы уже видели, некоторые аномалии в развитии официальной идеологии при особых обстоятельствах могли привести к возникновению подлинно критических взглядов. Но было бы ошибочным представлять историю критического марксизма в Восточной Европе как результат хрущевизма и его преобразований. Оппозиционные течения обладают собственной историей. Она начинается с формулирования самостоятельного ответа на кризис, обнаруживший себя в 1953 году, и приводит к росту внутренней дифференциации. Хотя

¹¹ Op. cit., p. 227.

процесс отделения от советского марксизма как воплощения «научности» не был ни прямолинейным, ни одноплановым, тем не менее использовались самые различные источники, в том числе внешнего происхождения. Когда же воздали должное отдельным положениям работ Маркса, которые прежде игнорировались или отвергались, наиболее сокровенные основы диалектического материализма оказались опрокинутыми. На первых порах это повторное открытие Маркса сосредоточилось на «Экономическо-философских рукописях 1844 года», тогда как в оценке важности «Экономических рукописей 1857- - 1859 годов» проявилась гораздо меньшая осведомленность. Систематические интерпретации теории Маркса в свете этого последнего текста все еще остаются редким явлением в рамках восточноевропейского контекста. Лучшее понимание оригинальных намерений марксизма вызвало интерес также и среди менее конформистски настроенных групп марксистов. Предпочтения или отказы были продиктованы чрезвычайно ясными уроками опыта Восточной Европы. Среди предшественников антисталинского марксизма в период между двумя мировыми войнами те, кто придерживался критических и освободительных принципов, выходящих за рамки традиционной модели пролетарской революции, оказывались более убедительными, чем левые оппозиционеры, защищавшие сталинскую модель от искажений и предательства. Западный послевоенный марксизм рассматривался в Восточной Европе скорее с точки зрения его частичной или эпизодической связи с иными традициями, нежели с точки зрения его попыток заложить основы альтернативной ортодоксии. Отсюда, между прочим, и безразличие к альтиуссеровскому проекту интеллектуальной реформы, очевидная близость которого с советским марксизмом привела критиков в Восточной Европе к недооценке вызова, брошенного господствующим вариантам марксистского гуманизма.

В философской сфере совпадения отдельных достижений западного марксизма с достижениями других школ мысли были прежде всего двух типов: должно ли быть марксистское наследие приспособлено к прозрениям феноменологии или к достижениям современных философий науки? Эта дихотомия по существу совпала с наиболее важной линией раздела в Восточной Европе. Плюрализм, существовавший де-факто и стремившийся заменить собой монолитное мировоззрение марксизма-ленинизма, никогда не был признан официально; лишь в чрезвычайно благоприятных ситуациях принцип плюрализма провозглашался открыто. В той мере, в какой эту проблему было разрешено обсуждать, различие между антропологическими и сциентистскими интерпретациями марксизма выдвигалось в качестве отправной точки, как наиболее подходящей к данному случаю; говоря более широко и ссы-

лаясь скорее па аналогии, чем на содержание процесса, здесь была применена как феноменологическая, так и позитивистская этика. В настоящем очерке данная мысль будет затронута нами в свете различных подходов к критике реального социализма.

Для тех же, кто считал деидеологизацию марксизма прежде всего приспособлением к канонам научного исследования (при этом особый упор делался на изучение послереволюционного общества), реабилитация социологии (прежде осуждавшейся как «буржуазная лженаука») представлялась очевидным итогом. Естественно, история социологии в странах Восточной Европы после 1956 года не может быть исследована нами достаточно глубоко. Тем не менее некоторые ее общие черты должны быть отмечены. Хотя давление критики и сыграло решающую роль в восстановлении статуса социологии как самостоятельной научной дисциплины, ее последующая культурно-политическая роль отличается большим разнообразием. В тех странах, которых — по сравнению с другими — не коснулись политические кризисы (в частности, в Восточной Германии и Болгарии), подрывной потенциал социологии был с успехом нейтрализован. В других случаях (главным образом в Польше и Чехословакии 60-х годов) социология сыграла важную роль в теоретической подготовке реформистской политики. Наиболее радикальные деятели отводили ей роль полулегальной интеллектуальной оппозиции. Чем больше социологии удавалось освободиться от политического контроля, тем очевиднее ее развитие представлялось результатом ряда совпадений; методологически развитый марксизм не мог не установить контакта с современной западной социологией и национальными социологическими традициями, и среди них польская традиция была как раз наиболее мощной. Попытки определить специфические принципы марксистской недогматической социологии были уравновешены более синкретическими программами, например функционально-структурными обобщениями в духе исторического материализма или расплывчатыми высказываниями в духе критического гуманизма¹².

Если абстрагироваться от различных меняющихся ориентаций и разных степеней автономности, то, говоря о долгосрочных тенденциях «социалистического Просвещения» в Восточной Европе, можно сказать, что оно ослабило и дискредитировало марксистско-ленинские представления о прочно-

¹² Все эти три тенденции ясно представлены в польском марксизме. Следует учитывать, что в Польше социологические исследования особенно интенсивно велись прежде всего благодаря работе Станислава Оссовского и основанной им школе как сразу же после освобождения страны, так и по окончании самого жестокого сталинского периода: начиная с 1957 года вплоть до смерти Оссовского, последовавшей в 1960 году.

сти социалистического общества. Эмпирические исследования пролили свет на иерархическое разделение труда и клубок антагонистических противоречий, которые имеют мало общего с декларациями о якобы гармоничном сотрудничестве между неантагонистическими классами. За фасадом социалистических принципов распределения (каждому по его труду) действительность продемонстрировала целую систему более или менее институционализированных привилегий. Даже ликвидация старого строя оказалась гораздо менее завершённой на практике, чем это было в теории. Некоторые традиционные виды неравенства, как оказалось, воспроизводятся внутри нового общества. Коротче говоря, социологический анализ послереволюционного общества пролил свет на различные формы разделения, неравенства и господства, вопиюще несоместимые с учением партии и которые по меньшей мере затруднительно объяснить на основе классического марксизма.

С другой стороны, радикальная критика реального социализма не могла ограничиваться лишь усвоением социологических прогнозов и методов. На деле это означало бы уход от фундаментальной проблемы: до какого предела некоторые основные предпосылки и общие требования марксистской и социологической традиций могут претерпевать редукцию своей шкалы ценностей в случае их применения в целях интерпретации опыта развития Восточной Европы? Данный вопрос более систематическим образом рассматривался теоретиками антропологического течения. Дело в том, что оно обусловило наиболее характерный вклад восточноевропейского марксизма в решение проблемы, а также наиболее серьёзные попытки преодоления изнутри марксистской проблематики; в этой связи представляется целесообразным дать хотя бы краткое изложение основной аргументации данного течения.

Различные компоненты антропологического течения объединяло скорее своеобразное, своего рода «семейное сходство», чем какая-то общая программа; некоторые из них отвергали ярлык антропологии, которая, по их мнению, является признаком некоего релятивизма. Антропологический подход состоял в реконструкции Марксовой концепции человеческой природы (главным образом основанной на «Экономическо-философских рукописях 1844 года»); сторонники этого подхода разрабатывали аргументацию в пользу нередукционистского понимания человеческой индивидуальности и ее связей с обществом и историей, а также наиболее динамичные модели «человеческой сущности», реализуемой в истории и придающей ей внутреннее единство. Что касается наиболее ам-

бициозного варианта, при котором проектировалось создание некой «онтологии человека», главная задача состояла в том, чтобы выработать общую тематику отношений между человеком и миром и, следовательно, переформулировать некоторые основополагающие концепции исторического материализма. Сторонников антропологического подхода объединяла отчасти реакция на гиперобъективистскую и детерминистскую философию истории, с которой отождествлялся марксизм, а также наряду с этим реакция на соответствующее обеднение концепций «субъективного фактора». «Философия человека», которой вменялось в обязанность восстановление равновесия двух чаш весов, выступала с предложениями альтернативных способов концептуализации человеческой деятельности, порывая, таким образом, с традиционным истолкованием труда и классовой борьбы как прямо или косвенно подчиненных законам развития производительных сил. Что касается тех критиков, которые претендовали на то, что они отстаивают дело подлинного марксизма против послереволюционного истэблишмента, то, как им представлялось, наиболее достойным и привлекательным решением является воскрешение Марксовой концепции практики. Однако фрагментарный характер большей части философских текстов Маркса привел к тому, что сторонники такого подхода заняли совершенно различные позиции. Практику можно было определять как «сознательную социальную деятельность, ориентированную на достижение определенной цели, в ходе чего человек реализует наилучший потенциал своего существа, и которая, следовательно, представляет собой „цель в себе”» (Михайло Маркович), или же как комплексное трехмерное единство: создание специфически человеческого мира, реализация свободы посредством борьбы за утверждение своей собственной индивидуальности и установление связи с окружающим миром во всей его тотальности (Карел Косик).

Теория объективации в том виде, как она была разработана будапештской школой (включающей в себя как концепцию, в стиле Лукача, *Gegenständlichkeitsform*, так и отдельные аспекты последующей самокритики того же Лукача), по ряду аспектов является альтернативой философии практики. Парадигме объективизации, как представляется, оказано предпочтение по разным причинам. Понятию неограниченной самореализации, связанному с концепцией практики, необходимо было противопоставить конфронтацию с природой, как внешней, так и внутренней, в качестве момента человеческой деятельности (подобный аргумент уже выдвигал Лукач, когда он подметил неспособность своей работы «История и классовое сознание» воздать должное диалектике труда). Таким образом, только присвоение природы представляется противостоящим объективации; хотя объективация и при-

своение рассматриваются в качестве «рефлектирующих детерминант» в гегелевском смысле (Д. Маркуш), тем не менее это относится как к первичному присвоению путем объективации, так и ко вторичному присвоению объективаций, которое осуществляется индивидами. С другой точки зрения парадигма объективации релятивизирует различия между инструментальной деятельностью, равно как и деятельностью коммуникативной и экспрессивной. За рамками реализации субъективных целей как труд, так и более сложные формы деятельности приводят к материализации социальных правил и человеческих способностей. Эти три аспекта сливаются в ходе конституирования сложной и стратифицированной социокультурной реальности, компоненты которой могут быть градуированы согласно уровням гуманизации и саморефлексии.

Эта скрытая критика философии практики наиболее полно представлена в югославском варианте (которым мы займемся несколько ниже). Контраргументация с большей легкостью выводима из концепции практики, сформулированной Косиком. С его точки зрения, парадигма объективации редуцирует мир до уровня социального бытия, исключает реальную возможность взаимных отношений между человеком и природой и сводит последнюю к роли простого ограничителя. Образ социальной реальности как иерархии объективаций ставит в привилегированное положение свои собственные институциональные аспекты и растворяет лежащее внизу измерение трансинституциональной социальности.

Политические позиции антропологического течения были более однородными, чем его философия. Императив гуманизации стал отправной точкой для критического анализа институтов и политического курса партий. Когда официальная или полуофициальная идеология реформизма признала устарелость классовой политики в ленинском смысле, оппозиция смогла развернуть более открытую защиту человеческих ценностей вообще и права этих ценностей на то, чтобы быть на первом плане в социалистическом обществе.

С этой целью некоторые наиболее радикальные представители оппозиции снова включили в арсенал своих средств Марксово видение коммунизма. На первом этапе, однако, право марксистов вести гуманистическую критику подвергалось обсуждению прежде всего в русле концепции отчуждения и ее применимости к послекапиталистическому обществу. Вне всякого сомнения, широкое использование концепции отчуждения (применявшейся с особой настойчивостью в Чехословакии в начале 60-х годов) было отчасти вызвано тем, что эта концепция служила прикрытием для развертывания более конкретной и острой критики. Однако применение этой концепции отражало также осознание исключительной важности философских вопросов, выдвинутых на повестку дня

всем опытом Восточной Европы. Если отчуждение интерпретировалось как утрата автономии, это в конечном итоге перерастало в критику засилья бюрократии; если же отчуждение обозначало вычеркивание индивида из социального и культурного развития, то реальный социализм обвинялся в насаждении антагонистических форм прогресса, в неспособности пойти дальше поверхностного разрыва с капитализмом. Постепенно в ходе развития дискуссии абстрактное противостояние между практикой и отчуждением стало создавать более дифференцированную картину, дающую возможность учитывать процессы частичной гуманизации, сдерживаемой или извращенной.

Дополнительная характеристика антропологического течения состоит в интересе, проявленном им к более специфическим темам, которые марксизм-ленинизм игнорировал либо запрещал. Среди этих тем прежде всего выделялся философский и социологический анализ обыденной жизни. Сопоставление с параллельным развитием западного марксизма выявляет здесь как сходства, так и различия. В том, что касается развития на Западе (примером может служить творчество Анри Лефевра), интерес к обыденной жизни был мотивирован стратегией радикализации: мир повседневности должен быть, как утверждалось, трансформирован благодаря «культурной революции», более глубокой, чем это способны сделать простые нововведения в сфере политической и экономической жизни. Что касается критиков в Восточной Европе, то и для них также была ясной незавершенность такой революции, которая оставляет в неприкосновенности основополагающие структуры обыденной жизни. Однако они сопровождали это свое наблюдение более или менее открыто выраженным требованием демифологизации революционной перспективы. Ссылки на обыденную жизнь, неважно, преподаны ли они в виде феноменологизации общественной реальности (Карел Косик) или же касались сферы индивидуального воспроизводства (Агнеш Хеллер), были, таким образом, по сути дела, способом демистификации общественной жизни. Что касается сферы элементарных антропологических структур, то данный прием использовался против современной деификации и натурализации истории; в том же, что касается комплекса проблем, тесно связанных с существованием более специализированных институтов, то эта демистификация выдвигала требование ревизии модели «базис—надстройка».

Тесно связанной с анализом обыденной жизни была также проблематика потребностей. В этой области теоретический вклад Маркса наиболее существен, однако и он был переоценен и радикализован, согласно специфически восточноевропейской точке зрения. Развитие потребностей понималось как сущностное и протяженное во времени опосредование между

природой и обществом. Сама по себе идея подобного опосредования плохо согласовывалась с догматической онтологией диалектического материализма: потребности в Марксовом смысле (то есть как выражение зависимости человека от природы, но в то же время способности человека наделять природу известным смыслом) являются конкретными функциями автономии и завершенности. Миф о тотальном контроле над природой и суверенном управлении историей был, однако, несовместим с подлинной концепцией труда как деятельности, основанной на специфических структурах потребностей, которая к тому же обусловлена этими структурами. Другие аспекты концепции потребностей увязывали ее с тезисами, выдвинутыми в поддержку автономии культуры. Хотя потребности и представляют собой отношения между человеком и миром, переживаемые человеком как «внутренняя потребность» (Маркс), они явно включены в многогранный процесс присвоения этого мира и предполагаются им. Некоторые теоретики отождествляли этот процесс с культурным измерением общественного сознания постольку, поскольку оно отличается от идеологического измерения. Наконец, понятие «радикальные потребности», соотношенное с субъективными предварительными условиями революционного преобразования, было понято как марксистская альтернатива ленинской мешанине волюнтаризма и детерминизма.

Новый образ человека потребовал рассмотрения теории ценностей. Взгляды, основанные на ценности человеческой деятельности, служили ярчайшим доказательством их несводимости к материальному производству или к интенциональной рациональности. Данная тема была предметом жарких дискуссий, но ее связь с концепцией праксиса -- или ее эквивалентами -- повлекла за собой целый ряд оригинальных открытий. Показательно в этом смысле определение, которое предполагает Агнеш Хеллер: объективизации являются ценностями в той мере, в какой они прямо или косвенно способствуют развитию человеческой сущности¹³. В пределах, очерченных антропологической концепцией ценности и динамической концепцией человеческой сущности, могут быть выявлены две основные тенденции. Одна из них подчеркивает нормативный аспект ценностей. Способность человеческой деятельности преодолевать материальные и социальные пути приписывается прежде всего тому факту, что эта деятельность включена в нормативный контекст, тогда как нормы интерпретируются в качестве кодификации сложных и изменчивых связей между индивидуумом, обществом и родом. Ло-

¹³ См.: A. Heller. *Sociologia della vita quotidiana*. Roma, 1975. В последних работах автора эта концепция заменена более плюралистическим взглядом, подчеркивающим функцию ценностей в качестве выражения различных форм жизни.

гический результат этой установки — возобновление философской этики, которая оспаривает пальму первенства у попыток систематизации, предпринятых официальными доктринами морали. С другой точки зрения ценности прежде всего рассматриваются в качестве проявлений человеческого творчества, то есть практики, которая предполагает не только трансценденцию природы посредством создания социокультурного мира, но также и трансценденцию собственных исторических условий посредством создания ценностей (по данной теме см. важные разделы, посвященные ей в работе Косика «Диалектика конкретного»). В политическом плане это соответствовало весьма мощным требованиям автономии культуры.

Рассмотренные в совокупности теория потребностей и теория ценностей предстают как сильная реакция на один из наиболее подчеркнутых элементов редукционизма в традиционном марксизме, то есть объяснение социального поведения с точки зрения интересов. И дело не в том, что эта концепция традиционного марксизма изначально не приспособлена для критического использования. Как известно, она сыграла важную роль в идеологии коммунистического реформизма (в частности, см. работы Ота Шика). Однако эмпирический вопрос о существовании антагонистических противоречий в послереволюционном обществе был в конечном итоге неотделим от более общих проблем, касающихся теоретической функции и исторической ограниченности концепции интересов как таковой. Эта концепция уже использовалась в качестве общей формулы, для того чтобы связать друг с другом структурные и субъективные аспекты. И все это шло согласно тезису, принадлежащему Энгельсу, по которому производственные отношения проявляются в форме интересов. Тем не менее при более внимательном прочтении сочинений Маркса видно, что он ограничил концепцию интересов гораздо более узкими рамками, обусловленными производством абстрактного богатства и фетишизацией общественных отношений; антагонистическая корреляция между частными и общими интересами была полнокровным элементом в определении этой концепции. Подобная модель исключала возможность простой экстраполяции. При анализе иных форм социализации интересов должны были бы приниматься во внимание также и иные компоненты, из которых складывается субъективность. Отсюда важность потребностей и ценностей; несмотря на то что политические последствия были указаны нами только отчасти, подобное сочетание могло породить более радикальную форму плюрализма, чем, например, та дифференциация, которая основана исключительно на учете интересов ¹⁴.

¹⁴ Работы Колаковского были значительным новаторским вкладом

События 1968 года ознаменовали собой окончательное поражение реформистского коммунизма, они же изменили и все взгляды марксистской оппозиции. Военное вторжение в Чехословакию, за которым последовала реставрация «старого режима» сталинистского типа, жестоким образом напомнило о тех препятствиях, которые стоят на пути реформы, и о возможности регресса. В 70-е годы урок этот не прошел даром для поборников критической теории, однако способ его усвоения был весьма различным. В ряде случаев антропологический марксизм был отброшен как философская иллюзия и отклонение от основополагающей задачи анализа социальных конфликтов и механизмов господства. Философия практики и политика реформистского коммунизма обе были отправлены на свалку истории. В связи с подобной позицией следует, однако, заметить, что некоторое правильно понятое антропологическое обрамление по-прежнему остается необходимым для критики реального социализма и что самые многообещающие теории после 1968 года — это те, которые оказываются в состоянии сочитать философскую интерпретацию со структурным анализом.

Для начала отметим, что частичное сходство между антропологическим марксизмом и реформистским коммунизмом не следует принимать за существенную идентичность. Для реформаторов 60-х годов гуманистические идеологии представляли чрезвычайно полезную платформу легитимации их позиций (достаточно вспомнить знаменитый призыв к «социализму с человеческим лицом»), но концепции и проблемы философии практики (в широком смысле этого слова) не сводимы к этой политической роли. Оставив в стороне прочие соображения, скажем только, что идеи антропологической школы могут быть подвергнуты испытанию в том, что касается их внутренней способности к саморефлексии и радикализации, в связи с наличием препятствий не менее крупных, чем те, которые возникли в 1968 году. Однако различия между нынешними марксистами не сводятся лишь к большей или

в антропологическую дискуссию, хотя в данной области более глубокие исследования проведены венгерскими авторами; работа Д. Маркуша «Марксизм и антропология» (*"Marxismo e antropologia"*), изданная в Венгрии в 1965 году (англ. перев. — Assen, 1978, итал. перев. — Napoli, 1978), представляет собой самое систематическое изложение концептуальных положений марксистской антропологии. По антропологическим фундаментальным темам см., в частности, следующие работы: А. Хеллер. *Sociologia della vita quotidiana*, (издано в Венгрии в 1970 году; нем. перев. — Frankfurt am Main, 1978; итал. перев. цит. выше); ID *Per una teoria marxista del valore* (Издано в Венгрии в 1970 году; англ. перев. в журнале "Kinesis", 1972; итал. перев. — Roma 1974). К. Косик (*K. Kosik. Dialettica del concerto*. Praga, 1963; англ. перев. — Boston, 1976); итал. перев. — Milano, 1965) утверждает перспективу скорее некой «онтологии человека», чем антропологии. Однако и в этой книге обсуждаются темы, связанные с проблематикой обыденной жизни, потребностей и ценностей.

меньшей способности хранить веру в опыт 60-х годов. Они отражают также различные теоретические программы. По всеобщему согласию первостепенной задачей был анализ структур господства, которые отчасти устояли перед натиском реформы, отчасти абсорбировали ее инициативу, хотя и оставили известную возможность выбора.

Хотя новый подход до некоторой степени более близок традициям антисталинистской левой, чем это было характерно для сторонников реформистского коммунизма, историческая дистанция воспрепятствовала возобновлению троцкистских и послетроцкистских дискуссий. Ключевая концепция общества переходного типа была, очевидно, неприменима к Восточной Европе в периоды после Сталина и после Хрущева. В глазах внутренних критиков реальный социализм представлял в качестве монолитного социального режима, обладающего изощренными механизмами самовоспроизводства; как показали чехословацкие события, дефекты функционирования внутри подобного режима могут вылиться в общий кризис, однако его развитие с наименьшей ясностью продемонстрировало, что такой режим в состоянии возрождаться и систематически устранять всякую альтернативу. Для того чтобы сгладить напряженность и структурные противоречия в общественной жизни, необходима была такая обстановка, при которой отсутствует неуверенность в исходе борьбы между капиталистическими и социалистическими тенденциями. В то же время выглядело неприемлемым предложение, иногда проповедуемое левотроцкистскими критиками, интерпретировать общество советского типа как крайнюю форму капитализма. Согласно этой концепции, революционные потрясения в длительной перспективе способствовали только ускорению концентрации и бюрократизации капитализма, развитие которого было заблокировано в традиционных цитаделях капитала в силу ряда внутренних причин. Более глубокое понимание системы реального социализма привело к выводу, что подобные теории, хотя и содержат рациональное зерно, все-таки не учитывают некоторые важные явления. По меркам капиталистической рациональности непреодолимое отставание общества на Востоке Европы более чем очевидно; точно так же очевидно, что сохранение и укрепление различных докапиталистических форм (в сфере культуры и общественной жизни) блокирует путь, ведущий к подлинному преодолению отсталости.

Итак, два наиболее типичных экспликативных подхода, подсказанные западным марксизмом, оказались неадекватными реальности стран Восточной Европы. Но и немарксистская теория тоталитаризма, предложенная в различных вариантах противниками советской системы как справа, так и слева, также не представляла собой удовлетворительной аль-

тернативы. Понятие тоталитаризма могло быть применено только в описательных целях; теоретические конструкции, построенные на основании этого понятия, оказывались либо слишком ограниченными, либо чересчур расплывчатыми. Тоталитаризм в смысле системы правления, основанной на постоянной идеологической мобилизации и массовом терроре, был скорее характеристикой сталинской эры, нежели длительной чертой системы. Понятие тоталитаризма относится только к такому обществу, в котором существует тотальный контроль. Следовательно, такое понятие никоим образом не в состоянии вскрыть структурные особенности советской модели.

Наиболее традиционным среди прочих подходов был критический анализ господства бюрократии. В противоположность тезису Троцкого вариации на эту тему, предлагаемые восточноевропейскими критиками, могли бы обрести определенный смысл лишь в результате более продолжительного и уравновешенного опыта жизни в странах реального социализма. Было бы абсурдным сводить деятельность бюрократического аппарата в конечном итоге к пассивному отражению зашедшей в тупик классовой борьбы; кроме того, политические инициативы этого аппарата также нельзя объяснять как простую реакцию на внешнее принуждение. Однако даже соответствующим образом осовремененное определение бюрократии представляется чрезмерно редуцированным. Пусть и не связанное с логикой капитализма, определение тем не менее на деле слишком вписано в итоге в исторический контекст капиталистического развития, чтобы оказаться сколь-нибудь заметно полезным при интерпретации новой социальной формации; его динамику можно было бы уловить лишь в негативном аспекте, то есть как процесс устранения препятствий, мешающих завершению процесса установления бюрократией, понимаемой как социальная сила, своей гегемонии. Когда же основополагающие принципы реального социализма были наконец подвергнуты тщательному анализу, то общие определения бюрократической рациональности в лучшем случае оказывались только подходящими.

Менее уязвимыми оказались теории, в которых акцент ставился на изменение отношений между государством и обществом. Феномен «этатизма», то есть поглощения гражданского общества государством, был, судя по всему, более характерен для советской модели, чем простое развитие бюрократии. Однако разрешение «загадки» реального социализма заключалось не в этом. Нужно было еще объяснить, как социальные силы действуют внутри подобного этатистского обрамления; каков смысл существования специфической модели развития, навязанной этим силам; и последнее — конечно же, не по значению, — почему государство оказалось инсти-

туционно и идеологически подчиненным партии? Все эти вопросы предполагают необходимость изучения роли идеологической детерминанты в жизни общества.

Гипотеза возникновения нового классового общества представлялась в этой связи заслуживающим внимания ответом на вопрос. Согласно этой гипотезе, государство и партия являются дополнительными формами организации господствующего класса, а появление марксизма советского образца — превращением революционной теории в идеологию-ширму. Подобного рода теории возникли на обочине основного течения левой оппозиции в период между двумя войнами, однако их аналог в условиях Восточной Европы видел теперь иную перспективу: для восточноевропейских исследователей новая форма классового господства заключается не в капиталистической форме современного общества, а скорее в посткапиталистической альтернативе социализму. Но и при наличии этих ограничительных оговорок данный тезис, как оказалось, весьма трудно поддавался защите. По меньшей мере следовало признать, что различные основополагающие аспекты концепции класса в Марксовом смысле (структурный аспект, институционный, поведенческий и идеологический) не обладают в данном случае такой же силой взаимосвязанности, как в капиталистическом обществе.

С менее ортодоксальной точки зрения подобная фрагментарность была признаком более радикальных изменений. Кульминация в процессе социального расслоения и борьбы за власть, казалось, переместилась из сферы отношений между государством и обществом или классом и классом в область отношений между институтами и индивидами. Политизация общества и периодические вспышки социальных конфликтов являются, несомненно, важным фактом, однако болевые точки системы расположены скорее на антропологическом уровне, чем на уровне социально-политическом. Это направление мысли выразилось в определении реального социализма как «диктатуры потребностей», разработанном Будапештской школой.

3. Тупики польского марксизма

Один из пионеров марксистской оппозиции в Восточной Европе, Лешек Колаковский, в последнее время пришел к весьма негативным выводам относительно ее роли. В том виде, как он понимает сейчас эту роль, исследовательский поиск некоего чистого и автономного марксизма, или ревизионистское движение, как предпочитает называть его сам Колаковский, с самого начала был обречен на то, чтобы себя дискредитировать. Временная политическая функция этого поиска состояла в выдвигании требований демократизации, нацио-

нального суверенитета и экономических реформ; в философском плане ревизионисты подвергли критике теорию отражения, детерминизм и «попытки выведения нравственных ценностей из абстрактных историографических схем». Однако «ревизионизм мог быть эффективным только до тех пор, пока партия принимала всерьез традиционную идеологию, а аппарат был в какой-то мере чувствительным к идеологическим вопросам. Однако сам ревизионизм как раз и оказался одной из главных причин того, что партия утратила уважение к официальной доктрине, а идеология становилась все более бесплодным ритуалом, без которого тем не менее нельзя было обойтись. В этом смысле ревизионистская критика, особенно в Польше, сама подрубила тот сук, на котором сидела (...). Сам же ревизионизм обладал определенной внутренней логикой, которая весьма скоро вывела бы его за рамки марксизма (...). Вместо того чтобы обогатить себя и увеличить свой вес, марксизм растворился в хаосе идей»¹⁵.

Согласно Колаковскому, само существование ревизионизма зависело, следовательно, от политической гегемонии реформистского коммунизма и от интеллектуальной гегемонии марксизма, однако реформистское движение способствовало одновременному разрушению этих двух предварительных условий. Хотя жизненный опыт автора, казалось бы, дает основание полагаться на данный диагноз, он тем не менее оказывается дезориентирующим упрощением. В самом деле, трехполюсная связь между реформистскими фракциями внутри господствующих коммунистических партий, марксистскими критиками системы и интеллектуальными ресурсами марксистской традиции отнюдь не повсеместно выглядела сообразующейся с польской моделью (Колаковский, судя по всему, делает здесь всего лишь одно исключение для Югославии). Но даже и в отношении самой Польши проблемы представляются нам гораздо сложнее, чем на это указывает Колаковский. Дело в том, что никакая подлинно коммунистическая реформистская группа никогда не находилась у власти в Польше. Вопреки самым распространенным ожиданиям политика Гомулки после 1956 года была ориентирована скорее на реставрацию, чем на реформы. Недолгое соглашение между партией и ревизионистами было построено на простом недоразумении, а разрыв этого соглашения знаменовал начало длительного кризиса марксистской оппозиции. Модель Колаковского не проводит, однако, различия между этим по существу негативным опытом, с одной стороны, и более позитивными познавательными процессами, которые прорвались сквозь действительно существующие бреши, пробитые реформистским коммунизмом.

¹⁵ *L. Kolakowski. Main currents of marxism, vol. III, London, 1979, p. 465.*

Несмотря на сложность процесса, окончательный итог не подлежит дискуссии: специфически марксистский компонент польского диссидентства практически исчез. Если принять во внимание, что аналогичный процесс имел место повсюду в Восточной Европе, то польскую ситуацию следует считать наиболее красноречивой. Массовое общественное движение, развившееся в 1980 году, включало в себя, конечно же, мощный социал-демократический компонент, представители которого оказались отнюдь не склонными формулировать свои программы и свои чаяния на марксистском языке. Колаковский истолковывает подобное положение дел как необратимый и заслуженный упадок реформистского движения, вина за который должна быть приписана каким-то общим пробелам в теории марксизма, а не каким-то специфическим особенностям польской ситуации. Со своей стороны я бы предложил показать также отдельные аспекты той внутренней несвободы, которая и ослабила марксистскую оппозицию в Польше. Хотя польские теоретики в известном смысле и предсказали ход развития событий, которые впоследствии произошли в других странах, обратная сторона медали их деятельности, однако, свидетельствует об их склонности к чрезмерному упрощению и незрелому синтезу.

История ревизионизма в изложении Колаковского отвечает следующей модели. Хотя его последние работы не могут быть отражены в настоящем очерке как уже чуждые марксизму¹⁶, тем не менее его ранние суждения о реальном социализме заслуживают серьезного рассмотрения. Так, в 1956 году он проводил различие между интеллектуальными и институциональными аспектами марксизма, что было одной из первых попыток переформулировки отношения между теорией и политикой. Несмотря на внимание, которое он обращал на научный метод и необходимость развития на соответствующей основе марксистской теории, главное ядро «интеллектуального марксизма» все-таки было более философским, чем методологическим. После отмежевания Марксовой точки зрения от тоталитарной политики и лженаучной метафизики специфическое содержание марксизма представало в форме радикального историцизма, основанного на том убеждении, что «человеческая природа является продуктом истории человеческого общества, тогда как все мировоззрение целиком, считающееся общепризнанным, является «со-

¹⁶ Об интеллектуальной эволюции Колаковского см.: *G. Neri. Aporie della realizzazione. Milano, 1980, p. 103—129*; см. также: *G. Schwan. Leszek Kolakowsky. Eine marxistische Philosophie der freiheit. Stuttgart, 1971*; *H. Skolimowski, L. Kolakowsky. Le phénomène du marxisme polonais. — "Archives de Philosophie", XXXIV, 1971, p. 265—279.*

циально субъективной» конструкцией; другими словами — это продукт коллективного труда, организующего реальность в соответствии с биологическими и общественными потребностями и запечатлевающего эту модель в памяти. Следовательно, весь находящийся вне человека мир является производением человека»¹⁷. Эпистемологические последствия этого «антропологического реализма» были развиты Колаковским в его знаменитом очерке «Карл Маркс и классическое определение истины»¹⁸, где концепция «природы как произведения человека» была представлена в качестве радикального антитезиса, противостоящего теории отражения, и в то же время в качестве «крайней формы торжествующего платонизма».

Вряд ли стоит останавливаться подробно на хрупкости подобной концепции (достаточно будет указать всего лишь на один пункт: как можно примирить идею о детерминированной человеческой природе с образом предсоциального и доисторического «хаоса»?). Однако интерпретация Маркса, предложенная Колаковским, — это поучительный *tour de force*. Если парадигма производства представляет собой оригинальное ядро исторического материализма, то самые недавние события могут быть, следовательно, интерпретированы либо как радикализация, либо как релятивизация данного интеллектуального обрамления. «Антропологический реализм» Колаковского был наиболее крайней и бескомпромиссной версией первой альтернативы; те аспекты человеческой активности, которые привлекались другими в целях борьбы с эксцессами продуктивизма (присвоение мира посредством познания, экспрессивное измерение деятельности, характер участия в общественной деятельности), все были поглощены тотализирующей концепцией производства. Однако эта тотализация была в то же самое время воспитанием безразличия. По Марксу, производство — это процесс между человеком и природой; по Колаковскому, оно является односторонним процессом создания человеком естественного порядка. Внутри этой модели Колаковского уже не остается места для анализа трудового процесса в качестве структурного взаимодействия между субъектом и объектом; вопреки намекам на «диалог между человеческими потребностями и их объектами» из-за онтологического характера этих объектов диалог может быть в конечном итоге только монологом. То же самое происходит в случае неравенства или напряженности отношений между материальным и социальным уровнями производства. Короче говоря, дифференциации и связи, тради-

¹⁷ L. Kolakowski. *Der Mensch ohne Alternative*. München, 1960, p. 15.

¹⁸ Издано по-английски в: L. Kolakowski. *Marxism and beyond*. London, 1969 (итал. перев.: Cosenza, 1979).

ционным образом ассоциируемые с концепциями производительных сил и производственных отношений, подвергаются девальвации. Однако, учитывая тот факт, что историко-материалистическая теория реального социализма должна, совершенно очевидно, исходить из критического применения истории производства, крайняя абсолютизация последнего, проведенная Колаковским, разрушает потенциальную связь между философией и общественным анализом.

В порядке компенсации философии гарантируется статус «гуманитарной науки». Задача ее — интерпретировать мир и способствовать формированию нравственного поведения. Космология диалектического материализма подменяется, следовательно, антропоцентрическим мировоззрением. Однако в случае, если содержание и функции мировоззрения изменяются, то это не может не касаться также и его структуры. Вместо изучения всеобъемлющих принципов главное направление поиска, таким образом, переносится на объяснение фундаментальных различий: между наукой и идеологией, между Sein и Sollen, между реализмом и утопией. Настоячивое подчеркивание подобных неразрешимых антиномий придает антропологии Колаковского плюралистический изгиб. Последующая критика Маркса, с которой он стал выступать, основывается скорее на опрокидывании этих предпосылок, нежели на их реинтеграции. Хотя теперь он с большей ясностью проводит различие между основными темами марксизма (господство над природой, самосознание, примирение между индивидом и сообществом), в его работах по-прежнему собственное гуманитарное и историческое «я» противопоставляется позиции элигонов диалектического материализма. Но у Колаковского изменилась самая идея человека и истории. Когда он огульно осуждает марксизм как «самообожествление человека», которое на практике оказывается всего лишь «фарсовым проявлением его рабства» или основанным на недоразумении проектом эмансипации, открывающим путь тоталитаризму, то этот приговор основывается на некоем радикальном плюрализме, который не допускает никакой унифицирующей модели человеческой природы или человеческой сущности. На обоих этапах философия Колаковского ориентирована скорее на культурную критику, чем на социальный анализ; его растущее разочарование послереволюционным обществом отражается в пессимистической оценке всей социалистической традиции. Очерк «Надежда и отчаяние»¹⁹, опубликованный в 1971 году, — быть может, самый откровенный документ, характеризующий мысль Колаковского на этапе перехода от марксизма к постмарксизму. Более того, это его единственная попытка резюмиро-

¹⁹ См.: "Survey", 1971, p. 37—52.

вать сильные и слабые стороны марксистской критики «бюрократического социализма». Его обзор положения дел в марксизме не является перечнем специфических источников; это нечто большее, чем реконструкция предшествующих мнений; весьма вероятно, что он принял во внимание аргументы, которые были выдвинуты левым крылом польской оппозиции, особенно в «Открытом письме» Куроня и Модзелевского.

Колаковский определяет как неапологетическую ту марксистскую позицию, согласно которой «коммунистическая система в нынешней своей форме является нерепарированной». До тех пор пока позиция господствующего аппарата подвергается анализу как комбинация классово-теоретической структуры с структурным анализом, подобный вывод представляется неизбежным. Учитывая, что политическая монополия олигархии является существенно важным элементом для сохранения ею исключительного контроля над средствами производства и присвоения прибавочной стоимости, вряд ли может быть терпима хотя бы частичная ее экспроприация. Всякое развитие, которое могло бы разумным образом привести к возникновению уравнивающих центров власти — в результате экономических реформ, либерализации в сфере культуры или свободного обмена информацией, — воспрещено, и даже если какая-нибудь уступка и будет сделана, то все равно аппарат будет изо всех сил бороться за то, чтобы свести к минимуму ее последствия. Система, которая проявляет тенденцию к максимизации контроля и конформизма, осуждена на то, чтобы пожрать самое себя в том смысле, что она приводит к общему упадку интеллектуального и морального поведения; подобный процесс может разрастись даже до всеобщего тотального краха, однако стоит только какой-либо революционной инициативе оказаться загнанной в тупик или понести поражение, как система неизбежно возвращается в свое нормальное положение.

Колаковский не оспаривает подобного описания механизмов действия бюрократического социализма. То, против чего он выступает, — это скрытые редуционистские предпосылки у тех, кто утверждает невозможность реформ. Вопрос о возможности преобразования того или иного общества, подчеркивает он, нельзя никоим образом возводить до уровня объективных структур, так как этот вопрос всегда касается убеждений и позиций людей, которые живут в данном обществе. История капитализма показывает пределы классической марксистской мысли. Развитие капитализма было обусловлено в гораздо большей мере классовой борьбой, чем какими бы то ни было «естественными законами» развития системы. Колаковский в конце концов утверждает — и в этом заключается наиболее интересная часть его рассужде-

ний, — что структура бюрократического социализма делает все более проблематичными прогнозы, основанные на тенденциях развития самой системы. Такая система, «формы существенной деятельности которой направлены против общества», требует создания механизмов контроля более сложных и всеохватывающих, чем какая-либо иная предыдущая форма угнетения; но по той же самой причине она и провоцирует более спонтанное и более широкое сопротивление. Стоит лишь этому сопротивлению стать более сильным, как оно в состоянии будет с легкостью взорвать внутренние противоречия системы, обострившиеся на основе общего антагонизма между обществом и аппаратом. Колаковский демонстрирует наличие трех противоречий данного типа: неспособность олигархии примирить императивы единства и безопасности, конфликт между давлением в пользу идеологической модернизации и каноническим статусом марксизма-ленинизма, а также противоречие между промышленным прогрессом и системой политической власти.

Вне сомнения, недавние события в Польше в некоторой мере укрепили тезисы Колаковского в поддержку реформизма, основанного на активном сопротивлении; однако его теоретический анализ реального социализма не пошел дальше в своем развитии. Понятие системы, «формы существенной деятельности которой направлены против общества», в лучшем случае является всего лишь первым приближением к действительному положению вещей. Полезнее подчеркнуть новизну феномена, чем объяснить его *modus operandi*.

Хотя Колаковский среди польских ревизионистов был наиболее ясной и влиятельной фигурой, его развитие от этапа частичного возвращения к Марксу до внезапного разрыва с его учением обнаруживает сильное сходство с историей деятельности других теоретиков оппозиции. Позиции радикальных левых в польской оппозиции были весьма четко сформулированы в «Открытом письме к Польской Объединенной Рабочей Партии», написанном Куроном и Модзелевским в 1964 году²⁰. Авторы этого письма впоследствии заняли весьма различные политические позиции, тогда как программа, содержащаяся в нем, не имела сколько-нибудь значительного влияния на развитие польской ситуации. Тем не менее это была первая попытка проанализировать структуру общества стран Восточной Европы как своеобразную антагонистическую формацию, причем некоторые из использо-

²⁰ См., "Kultura", Paris, 1966; англ. перев. в: "Revolutionary marxist students in Poland speak out". New York, 1968; (нем. перев. — Hamburg, 1969).

ванных аргументов предварили дискуссии, которые лишь спустя некоторое время развернутся в других странах. Форма чрезвычайно упрощенного классового анализа, которую являет этот документ, так же относится к более сложным моделям 70-х годов, как неомарксистская антропология Колаковского к чехословацким и венгерским альтернативам.

Исторически «Открытое письмо» возникло на почве регрессивной политики, принятой на вооружение руководством во главе с Гомулкой после 1956 года, и последующего крушения иллюзий относительно всякой возможности реформы сверху. С марксистской точки зрения классовый анализ, казалось, — наиболее адекватный ключ при интерпретации этой новой ситуации. Куронь и Модзелевский утверждали тогда, что основным препятствием на пути реформ является власть нового господствующего класса — «центральной бюрократии», определенной в письме редуктивным образом в качестве «элиты, установившей свое господство над партией и государством, свободной от всякого общественного контроля, способной монополизировать все общественно важные позиции в экономической и политической сферах»²¹.

Учитывая, однако, что марксистская классовая концепция предполагает парадигму производства, ее применение к обществам Восточной Европы еще должно быть продемонстрировано. Главная трудность очевидна: отношения производства и развития производительных сил детерминированы политическим образом в такой мере, что невозможно установить между ними сколько-нибудь значащую корреляцию в рамках автономной экономической подсистемы. Третий же компонент парадигмы приобретает, напротив, гораздо большее значение, чем он имел при анализе капитализма, проведенном самим Марксом; на первый план выступает цель производства, иными словами, ориентация производственной деятельности, придерживающейся критериев пользы, рациональности и ценности. Что касается стран Восточной Европы, то цель производства, как представляется, заключается в слиянии экономических и политических детерминант. Куронь и Модзелевский определили ее как производство ради производства. Они, правда, признают прогрессивную роль центральной бюрократии, сыгранную ею на начальном этапе послереволюционной индустриализации. Однако они утверждают, что ее первоначальная социальная функция выродилась в обслуживание исключительно интересов господствующего класса. Таким образом, рост производства неизбежным образом становится самоцелью, так как он не обусловлен ни сферой обмена, ни сферой потребления. Интересы же двух других основных классов, присутствующих на истори-

²¹ Цит. по немецкому изданию, с. 13.

ческой сцене — технократии (то есть тех, кто выполняет функции управления и контроля) и рабочего класса, — ориентированы на потребление; в силу этого обстоятельства они и выступают против примата накопления. Вместо обреченной на провал реформистской стратегии Куронь и Модзелевский призывали к пролетарской революции в классическом смысле этого слова. Их представление о подлинно рабочем государстве не может не вызывать в памяти коммунизма Советов, хотя наиболее сильный акцент Куронь и Модзелевский делают на элементах плюрализма и противопоставления любым формам парламентского правления. Каким образом рабочий класс, ориентирующийся на потребление, может обрести способность вести такого рода действия против господствующего класса, занятого развитием производительных сил, так и осталось неясным (то же относится и к технократии, в которой Куронь и Модзелевский усматривали главный класс, выгадавший от югославской системы). Однако наибольшая слабость этой модели коренилась в самом определении господствующего класса. В ходе чрезвычайно быстро сменявшихся этапов индустриализации, характерной для Польши начала 50-х годов, «производство ради производства» и в самом деле могло показаться достоверным описанием целей, которые польский господствующий класс поставил тогда перед собой. Но долгосрочное развитие системы подсказывает все-таки иную интерпретацию: примат производства обусловлен приматом контроля, который с ним крайне тесно связан. Зигзаги официальной экономической политики нельзя объяснить в понятиях чистой логики накопления; расширение производства — это не столько самоцель, сколько наиболее эффективный путь для укрепления и легитимации власти господствующего аппарата. Хотя последний отказ Куроня и Модзелевского от марксистской перспективы имел меньший резонанс, чем декларации Колаковского, общая характеристика их деятельности — переход от марксистской критики системы к постмарксистскому реформизму — представляется типичной для польской оппозиции, взятой в целом. Наиболее важное исключение представляет собой Влодзимеж Брус, отстаивавший в различных очерках, изданных в 60-е и 70-е годы²², концепцию, которую можно было бы определить как идеальную модель реформистского коммунизма. Подобные модели, конструируемые теоретиками оппозиции при отсутствии реальных сил, способных принять программу реформистского коммунизма, известны также и в других странах Восточной Европы (достаточно обра-

²² W. Brus. *The market in a socialist economy*. London, 1972; *Id.* *The economics and politics of socialism*. London, 1973 (статьи 1966—1971 годов); *Id.* *Socialist ownership and political system*. London, 1975.

таться к анализу «альтернативы» Баро, о чем будет сказано ниже), но в данном случае их традиционалистские предпосылки были зафиксированы особенно ясно.

Брус предлагает анализировать как историю реального социализма, так и его нынешнее затруднительное положение в свете Марксовых положений о производительных силах и их влиянии на общество. Его основополагающий тезис состоит в том, что реальное обобществление средств производства (явление, весьма отличное от их национализации) становится в наше время необходимым в результате развития производительных сил. Обобществление — это скорее непреходящая задача послереволюционного общества, чем результат начального этапа. Подобное рассуждение предполагает ревизию двух важных пунктов официальной доктрины. Прежде всего отвергается резкая дихотомия между планом и рынком: сознательное регулирование общественного производства не может быть приравнено к планированию в советском смысле; оно может и должно осуществляться благодаря посредничеству рыночных механизмов. Во-вторых, политическая демократизация становится, таким образом, составной частью процесса обобществления: «Закон необходимого соответствия производительных сил производственным отношениям действует в направлении приспособления политической системы к требованиям развития производительных сил в данный момент»²³. При нынешних обстоятельствах это приспособление требует установления «эффективного социального контроля над правительством», которое в свою очередь предполагает свободу слова, свободу объединения и возвращает авторитет законам. По Брусу, экономическая рациональность подлинной демократии основывается прежде всего на двух «потребностях развития»: проблеме мотивации и проблеме информации, которые выливаются в процесс принятия решений.

Представление об автономии и растущем примате производительных сил, дискуссионное в том, что касается общих философских основ, становится вдвойне проблематичным в случае применения к обществам стран Восточной Европы. В том виде, как оно используется Брусом, это представление затемняет историческое своеобразие и сторонников демократизации, и противников; концептуальные рамки этого представления обуславливают недооценку как последовательности, так и специфических противоречий модели развития, навязанной господствующим аппаратом.

4. Югославский вклад

Развитие марксистской теории в Югославии по весьма хорошо известным причинам отличается от общей восточноев-

²³ *Id.* Sistema politico, cit.

ропейской модели. В настоящем очерке я ограничусь рассмотрением наиболее важной марксистской оппозиционной группы — так называемой школы «Праксис», — сформированной философами и социологами, которые, разделяя некоторые основополагающие теоретические и политические установки, так и не достигли согласия по целому ряду второстепенных вопросов²⁴. Их позиция по отношению к руководящей группе партии и официальной доктрине была двусмысленной и нестабильной, хотя ее и нельзя сравнивать с «двухколейкой», о которой говорит Колаковский. Нововведения сверху были достаточно солидными, чтобы предоставить некоторую свободу силам, критикующим режим во имя его же собственных принципов. Отсюда своеобразный статус группы — как бы полу-дозволенного диссидентства, пользующегося предоставленной ему свободой публично высказывать свои взгляды; это позволило югославской оппозиции сыграть такую роль, которую нельзя себе даже представить в сфере советского господства. Отсюда также и причины ее международного влияния. Однако сосуществование с неортодоксальной коммунистической системой, не исключавшее, правда, острых столкновений с руководящей группой, было основано на таких установках, которые на протяжении 60—70-х годов обнаруживали во все возрастающей мере свою проблематичность, что и не позволило югославской оппозиции (по меньшей мере ее наиболее типичным представителям) радикализовать свою критику реального социализма.

Разрыв между Югославией и Советским Союзом произошел в результате сталинской попытки поставить на место независимую революцию, так что «югославская модель» зародилась в качестве попытки закаленной в боях югославской руководящей группы укрепить свою социальную базу. Ограниченные, но реальные уступки были сделаны с целью мобилизации народной поддержки, и наиболее важным аспектом этой стратегии стала институционализация некоторых форм самоуправления, оказавшегося длительным и идеологически взрывоопасным отклонением от советской модели. Официальная доктрина, однако, переиначила факты истории: историческая реальность состояла в том, что руководила революцией сталинская партия и лишь впоследствии в ответ на серьезную угрозу извне она решилась на эксперимент частичной и контролируемой демократизации; в этой чрезвычайной обстанов-

²⁴ Югославское издание журнала «Праксис» выходило в 1964—1975 годах; международное издание — с 1965 по 1974 год. Наиболее аналитическое описание деятельности школы «Праксис» см.: G. S. Sher. *Praxis*. London, 1977. Сборники статей и очерков сотрудников «Праксиса» появлялись в переводах на западные языки: "Revolutionaire Praxis" (a cura di G. Petrović). Freiburg, 1969; "Étatisme et autogestion" (a cura di R. Supek). Paris, 1973; "Praxis" (a cura di M. Marković, G. Petrović). Boston, 1979.

ке эксперимент стал интерпретироваться как новое открытие классических и повсеместно применимых установок при переходе от капитализма к социализму. «Югославский путь к социализму» отождествлялся с Марксовыми представлениями об «отмирании государства». По аналогии общество советского типа представлялось как историческая аномалия, действующая в широком масштабе, а не как новая общественная формация. Несмотря на случайное использование тех или иных ярлыков, например «бюрократический деспотизм» или «государственный капитализм», — причем скорее в пропагандистских, чем теоретических целях, — перспективу, уготованную обществу советского типа, сводили к деформированному или выродившемуся социализму. Однако, несмотря на четкость, с какой югославские руководители изображали различные альтернативы советскому обществу, их взгляды по-прежнему преподносились под соусом традиционной дихотомии между капитализмом и социализмом.

Хотя оппозиция в Югославии, естественно, характеризовалась более критическим отношением и более высоким уровнем концептуальной четкости, ее взгляды в основном не выходили за рамки идей партийной программы. Теоретическая основа деятельности оппозиции представляется всего лишь вариантом теории переходного периода. Причем если в разработках партийных теоретиков она была расплывчата и подвержена конъюнктурным влияниям, напротив, у оппозиционеров эта теория более четко и строго сформулирована. Как в том, так и в другом случаях эта теория существенным образом отличается от троцкистских или послетроцкистских вариантов.

Хотя не стоит пренебрегать внутренними разногласиями школы «Праксиса», следует, однако, отметить, что господствующей тенденцией было рассмотрение революций, придерживающихся ленинской модели, в качестве социалистических революций, а послереволюционного общества — как общества, располагающего по меньшей мере социалистическим потенциалом; в Югославии этот потенциал был реализован лишь отчасти, тогда как в странах советского блока его развитие систематически блокировалось. В широкой мере этот потенциал отождествлялся с деятельностью институтов самоуправления. Оппозиция отнюдь не воздерживалась от критики самоуправления. Ее споры с властями и порождались главным образом именно этим вопросом. Но подобная критика могла проводиться на различных уровнях. Самым простым приемом было бы сопоставлять приносящую ущерб практику самоуправления с официально декларированными принципами. При более радикальной критике вся югославская модель могла быть поставлена под сомнение. Разве самоуправление не является структурно расчлененным на отдельные сегменты, носящие

подчиненный и местнический характер, служба, по сути дела, лишь придатком бюрократическому господству, осуществляемому аппаратом партии-государства? Логика подобной системы явно представляет собой антипод фундаментальным целям социализма, таким, как гуманизация экономики, гармонизация интересов и свободного развития демократии. Наконец, само понятие самоуправления, причем в не меньшей степени, чем традиция, которая его поддерживает, содержит целый ряд проблем. В той мере, в какой для самоуправления характерна тенденция сведения организации производства и самоинституционализации общества к общему знаменателю, ему присуща чуть ли не общая слабость социалистической мысли как таковой — редукционистский подход к политической сфере жизни. Именно эта врожденная неспособность увидеть специфику политической проблематики и облегчила регрессивную политизацию общества во имя «руководящей роли партии».

Югославские критики настаивали на первом и втором аспектах этого общего рассуждения²⁵. Их нежелание исследовать также и третий аспект свидетельствует об их своеобразном редукционизме: не инструментальная концепция политической сферы приводит к полному отрицанию ее автономии, а тот факт, что эта автономия рассматривается сквозь призму отчуждения²⁶. Предполагается, что преодоление отчуждения предопределяет поглощение политики более общей «самодеятельностью человеческого общества» (А. Кресич).

Если самоуправление рассматривать как сущность социализма, то тогда, конечно, основным препятствием на пути его осуществления является бюрократия. Хотя формула «бюрократического вырождения социализма» ни в коей мере не принималась школой «Праксиса», все равно именно она лучше всякого иного определения передает общий смысл установок этой школы. Югославские дискуссии по вопросу о бюрократии очень многое заимствовали от марксистской традиции: бюрократия как выражение раскола между индивидуальным и общественным бытием человека (в соответствии с анализом молодого Маркса); как одна из форм наемного труда и часть процесса овеществления (Лукач); как форма, основан-

²⁵ Более явную и радикальную критику югославской модели см. в статье: *L. Pesic-Golubovic*. Les idées socialistes et la réalité. — In: "Etatisme et autogestion...", p. 326—360.

²⁶ См. статью: *A. Kresic*. Politique et communauté humaine. — In: "Etatisme et autogestion...", p. 85—115. Аналогичным образом Михайло Маркович отождествляет представление о политике в духе Вебера с состоянием политического отчуждения. Эта точка зрения, однако, не была единодушно одобрена югославской оппозицией. См., в частности, очерк: *M. Djurić*. Homo politicus. — "Praxis" (a cura di Marcović et Petrović), p. 101—120, где "homo politicus" рассматривается в качестве корректива "homo faber" и "homo oeconomicus".

ная на политической экспроприации рабочего класса (Троцкий). В своей наиболее специфической послереволюционной форме бюрократический синдром был, естественно, источником новых социальных конфликтов, неважно — скрытых или явных. С этой точки зрения столкновение между югославской и советской моделью представляется столкновением двух различных степеней бюрократизации, но также и качественных различий, если учитывать, что югославское общество допускало некоторые проявления разнообразия интересов и требований, которые в других странах Восточной Европы просто напросто удушались.

Подчеркивать частичный консенсус между руководящей группой и оппозицией не означает утверждать, что последняя не встречала никаких помех. Репрессивные меры, предпринятые против группы «Праксиса» в первой половине 70-х годов, были итогом конфликта, продолжавшегося немало времени и кульминацией которого может считаться 1965 год. Экономические реформы этого года, официально представленные как дальнейший шаг на пути децентрализации, были подвергнуты критике марксистами «Праксиса» как простой суррогат, носящий к тому же регрессивный характер в свете необходимости перевода самоуправления на более высокий политический уровень; новое подчеркивание роли рынка рассматривалось «Праксисом» скорее как специфический идеологический вариант экономизма, чем приспособление к абстрактным принципам экономической рациональности. Успехи этой идеологии, характеризующейся на антропологическом уровне лже-социалистическими представлениями о homo oeconomicus, а на политическом уровне проповедью неограниченного развития производства товаров, потребовали социологического объяснения. В то время как отдельные критики связывали эти успехи с технократическими элементами в югославском обществе, другие шли дальше и предрекали зарождение «нового среднего класса», занятого соперничеством с либеральной буржуазией. Пробуждение националистических тенденций, казалось, подводит к тем же выводам.

Хотя политические идеи югославской оппозиции в той или иной мере были соразмерны самому умеренному партийному ревизионизму, дискуссия о философских принципах шла гораздо дальше. Что касается школы «Праксиса», то автономность философской мысли не означала отхода от политики. Скорее всего, это было существенное предварительное условие для завершения политической миссии. Настойчивость, с какой говорилось о философском фундаменте, была логической реакцией на несостоятельность партийной доктрины. Первые официальные критические высказывания в адрес советской

модели были составлены поверхностным радикальным языком, который приобрел более сглаженные формы, как только был установлен *modus vivendi*. Гораздо более осторожная линия была принята югославским руководством в отношении основных принципов диалектического материализма. Эта смесь философского консерватизма и политического оппортунизма с самого начала была неприемлемой для наиболее радикальных критиков. Теоретики «Праксиса» подвергали ее нападкам во имя более последовательных взглядов, которые связали бы воедино гуманные намерения социализма с гуманитарными основами философии Маркса. В этом смысле их основные усилия укладываются в русло антропологического течения, о котором уже было сказано выше, хотя некоторые оппозиционеры и отрицали идею систематической антропологии как чрезмерно редуктивистской.

Концепция праксиса и его значение, согласно разработке Михайло Марковича, хотя принята и не всей школой «Праксиса», тем не менее характеризует югославский подход к антропологическим проблемам в том, что в нем есть особенного по сравнению с господствующими установками в других странах Восточной Европы.

Для начала скажем, что Маркович различает нормативную концепцию праксиса, понимаемую как самореализация эпистемологической концепции практики (деятельность, направленная на изменение объекта) или концепции труда и материального производства (необходимые условия для поддержания человеческой жизни)²⁷. Второй пункт представляется особенно важным. Он предполагает отход от парадигмы производства и, следовательно, отказ от возможного ее применения к послереволюционному обществу. Лишенная этой проблематики, концепция праксиса становится синтезом экспрессивной и нормативной деятельности. Точнее говоря, она обозначает высшую норму человеческой самореализации. В качестве нормативной концепции человеческой природы она «предполагает некоторые основополагающие человеческие способности, которые являются существенными компонентами человеческой природы и которые присутствуют в каждом нормальном человеческом существе в форме скрытых предрасположенностей»²⁸. В связи с тем, что такая концепция предполагает выборочное акцентирование отдельных компо-

²⁷ См. введение Марковича к антологии "Praxis", XXVIII—XXIX. О различных аспектах его философии праксиса см. также его книги: "From afluence to praxis". Ann Arbor, 1974; "The contemporary Marx. Spokesman Book, 1974. Следует подчеркнуть, что другие философы «Праксиса» заняли гораздо более критическую позицию по отношению к концепциям человеческой природы и человеческой сущности, предлагая более подчеркнуто феноменологическое прочтение Маркса. См. в этой связи, в частности, работы Г. Петровича и М. Кангрга.

²⁸ "Praxis", p. 25.

нентов, по-прежнему сохраняется необходимость в широкой и описательной концепции человеческой природы (включающей в себя также ее наиболее темные стороны и «негативные предрасположенности»). Нормативная концепция человека должна, таким образом, сопоставляться с фактической основой так, как она зарегистрирована в описательной концепции; что касается обоснования подобного оценочного выбора, то у Марковича здесь наблюдается меньшая ясность; можно лишь предположить, что такой выбор предполагает критерии демократического консенсуса и философской традиции.

Нормативная концепция человеческой природы явно конгениальна политической оппозиции, которая редуцирует установленный порядок, выявляя в нем пробелы и искажения по сравнению со справедливой по своей сути программой действий. Натурализация основополагающих ценностей служит подчеркиванию их универсальности и в то же время редуцирует значение социальных препятствий и исторических альтернатив. При этом следует заметить, что гораздо более ограниченный оптимизм чехословацких и венгерских диссидентов до 1968 года сопровождался разработкой более сложных антропологических моделей. В ходе реконструкции Марксовой антропологии, проведенной Д. Маркушем, проект эмансипации не был выведен из фундаментальных установок, касающихся человеческой природы; скорее всего предполагалось, что концепция человеческой сущности является одноприродной с пониманием истории, сориентированной на будущее, и от нее неотделимой. Данная концепция указывала на наличие антропологического содержания в представлениях об истории как прогрессе. Корреляции между интерпретационными и оценочными аспектами в данном случае гораздо более сложные, чем в рамках нормативной концепции человеческой природы. То же можно сказать и об онтологии человека, разработанной Косиком. Его концепция практики не является чисто нормативной. Она соотносена скорее с целой системой отношений между человеком и миром, чем с сокровенными предрасположенностями человеческого индивидуума как такового, и учитывает дифференцированные и переменчивые связи, которые устанавливаются между историко-социальной реальностью и культурными ценностями. В этом смысле практика представляет собой интерпретационный горизонт, а не высшую норму.

Маркович цитирует следующие примеры фундаментальных человеческих способностей, которые должны быть включены в нормативную концепцию человека: неограниченное развитие чувств; разум, понимаемый как «склонность анализировать ситуации... и разрешать проблемы»; воображение, то есть «способность преодолевать... пределы данной реальности»; способность к коммуникации; творческий дух; способ-

ность примирять противоречивые интересы, а также способность оценивать и выбирать; способность развивать критическое самосознание²⁹. Не говоря уже об интуитивном характере подобной подборки, само рассуждение автора представляется малоубедительным в более важном отношении: все эти способности амбивалентны в том смысле, что они открыты для автономного или гетерономного развития. Ни одна из этих способностей не застрахована по самой природе вещей от включения в систему угнетения.

Самое интересное отклонение от общей модели школы «Праксиса» представляет собой теория этатизма, разработанная Светозаром Стояновичем, поскольку в ней содержится критический подход к реальному социализму³⁰. Отправной точкой в его работах служит изменение толкования формулировки о революции сверху, предложенной Сталиным в конце 20-х годов, и об общественном строе, порождаемом такой революцией. Стоянович определяет этот процесс как «этатистскую революцию», ее результат — как этатизм, то есть новую форму классового общества, в котором господствует класс, чьи экономические привилегии зависят от политической власти в большей мере, чем от чего бы то ни было другого. Основным элементом производственных отношений является форма коллективной классовой собственности, отличающейся как от частной собственности, так и от подлинно общественно-го присвоения средств производства. Аппарат государства распространил свою власть на все сферы общественной жизни и таким путем превратился в новый господствующий класс. В то же время идеологическое наследие социалистической революции было приспособлено к новой роли — средства оправдания этой власти. Новые формы угнетения и эксплуатации были затемнены «этатистским мифом социализма», тогда как реальность этатизма — это капиталистическая и антисоциалистическая форма общественной организации, хотя идеологически этатизм и изображает себя как единственную законную модель социализма.

Хотя советский путь к этатизму представляет собой наиболее четко сформулированный и исторически важный пример, возможны и другие формы перехода и более гибкие варианты системы. Антиколониальные революции во многих случаях породили этатистские общества, которые не являются прямым слепком с советской модели. Стоянович рассматривает также предположение о том, что развитое капиталистиче-

²⁹ Ibid., p. 25—26.

³⁰ S. Stojanović. Between Ideals and Reality. New York, 1973 (итал. перев. — “Gli ideali e la realtà. Critica e futuro del socialismo”. Milano, 1974; нем. перев. — München, 1978).

ское общество (точнее говоря, общество государственного капитализма) в состоянии развиваться в направлении форм либерально-демократического этатизма. Что же касается самой советской модели, то он усматривает две возможности разрешения нынешнего кризиса его «политократических» структур — технократическую и милитаристскую.

Наиболее убедительная часть этой теории — полемика с теми, кто выдвигает понятие «перерождения социализма». Доказать, что власть господствующего аппарата переходит всякие границы паразитизма или извращений, нетрудно. Но концепция этатизма вызывает необходимость постановки фундаментального вопроса о смешении двух категорий, которые первоначально относились к двум независимым сферам. Теория классов по меньшей мере в том, что касается концептуально строгих и эмпирически плодотворных ее вариантов, предполагает наличие дихотомических классовых отношений. Другими словами: классы существуют только благодаря конфликту между ними. Этот комплекс отношений в структурном смысле отличается от комплекса отношений между государством и обществом. Априорно нет ничего абсурдного в идее некой новой общественной формации, которая бы релятивизировала различие между двумя полюсами — класс против класса, государство против общества. Однако в таком случае становится очевидной необходимость теоретической рефлексии, которая пошла бы еще дальше. Начинать же с того, чтобы ставить на одну доску дефиниции класса и государства, все равно, что ставить телегу впереди лошади. Более того, структурное изменение такого масштаба не может не затронуть также и других сфер общественной жизни. Трансформация идеологии и ее функции по меньшей мере предполагается в описании «этатистского мифа», однако Стоянович не развивает своего анализа.

В этом смысле концепция «этатизма» закрывает возможности критики реального социализма. Недостаточная предрасположенность этой концепции к более углубленному структурному анализу, судя по всему, подтверждается общей направленностью самого тезиса Стояновича. Внутренние механизмы системы очерчены лишь в общих чертах. Их функционирование в сфере культуры (в частности, идеология «авторитарно-пауперистского коммунизма», олицетворяемая досталинской большевистской партией) изучено более исчерпывающим образом.

5. Интеллектуальный контекст «пражской весны»

Феномен реформистского коммунизма следовало бы анализировать скорее с точки зрения краткосрочной исторической конъюнктуры, чем как цельную, законченную идеологическую

программу. Он возник как следствие попытки пойти дальше диагнозов и лекарственных средств, предложенных XX съездом КПСС в 1956 году, используя возможности, открытые хрущевской политикой. По мере того как эта политика одерживает успехи, она прекращает свое движение в направлении более широкой и глубокой модернизации общества. Таким образом, мы имеем дело с переходным по своей сути явлением. Принимая же во внимание общую ситуацию в рамках советского блока, можно сказать, что ее успехи неизбежно были и незначительными и эфемерными. В качестве второстепенного течения реформизм присутствовал всюду, однако только два раза он действительно сыграл решающую роль: в Венгрии и в Чехословакии. Венгерский случай был аномальным в двух отношениях: первые проявления движения за коммунистическую реформу (правительство Надя, 1953—1955 годы) относятся к периоду до XX съезда, и можно предположить, что они были с самого начала обречены вследствие своей изолированности. Вторая возможность представилась в 1956 году: в этот момент временная гегемония реформистского течения была только следствием неконтролируемого революционного взрыва. В противовес его преждевременному зарождению и такому же преждевременному уничтожению в Венгрии реформистский коммунизм в Чехословакии созрел медленнее, но более прочно укоренился и был лучше вооружен для постепенной радикализации. Этот коммунизм был следствием запоздалой реакции на XX съезд и получил более решительный импульс в период после 1963 года³¹; его победа в 1968 году стала сигналом к выступлению партийных низов, имевших со стороны интеллигенции самую активную поддержку, которая, однако, распространялась и на другие слои населения. Таким образом, чехословацкая модель—это единственный заверченный пример реформистского коммунизма. Обратная сторона медали—это великий сплав идеологии ре-

³¹ Расхожие представления о стагнирующем вплоть до 1968 года сталинском режиме совершенно неверны. В действительности политика чехословацкой руководящей группы после смерти Сталина претерпела важные изменения. На первом этапе сталинизм в Чехословакии продемонстрировал большую способность приспосабливаться, чем где бы то ни было. Так, Чехословакия была единственной страной Восточной Европы, где чистка, начавшаяся в начале 50-х годов, продолжалась и после 1953 года. После XX съезда и ликвидации первых «ревизионистских» поползновений консервативные тенденции породили своего рода «забегание вперед», наиболее ярким проявлением которого стала конституция 1960 года, где декларировалось, что строительство социализма завершится в самое ближайшее время. Непримиримый отказ пересмотреть вопрос о политических процессах был еще одним проявлением той же самой тенденции. Эта стратегия потерпела провал в 1962—1963 годах под объединенными ударами XXII съезда КПСС и экономического кризиса. Начиная с 1963 года руководство Новотного приняло на вооружение новую политику, которая включала важные уступки зарождавшемуся движению за реформы.

формистского коммунизма и критического анализа реального социализма. В 60-е годы растущее реформистское движение вобрало в себя силы интеллигенции, относящейся к различным течениям и отраслям знания (в настоящем очерке мы не имеем возможности останавливаться на этом вопросе подробнее); нередко интеллектуалы были носителями более выраженных бунтарских настроений. Даже после военного вторжения на следие реформистского коммунизма продолжало оказывать более или менее непосредственное влияние на мысль чехословацкой оппозиции, во всяком случае, более сильное, чем в любой другой стране Восточной Европы.

Как показали факты, программа реформы оказалась несовместимой с установившимися интересами советской руководящей группы. Однако ошибки, допущенные реформистами в тактических оценках, были определенным образом обусловлены их общими идеологическими предпосылками. Учитывавшая стихийность и разнородность движения, не представлялось возможным достичь какого-либо теоретически обоснованного консенсуса. Тем не менее две неоспоримые мотивировки — реакция на сталинизм и возрождение интереса к демократии — оказались достаточно сильными, чтобы обусловить возникновение общего языка. Наиболее часто используемая и общепринятая характеристика сталинизма и его производных в тот период времени — это «извращенный социализм». Фатальная ошибочность этой концепции очевидна; но в то время и в тех обстоятельствах она означала по меньшей мере шаг вперед по сравнению с официальными осуждениями «культы личности». Деформации социализма, естественно, определялись и объяснялись самым различным образом. На крайнем фланге некоторые публицисты развернули критику бюрократии и пропагандировали планы антибюрократических преобразований, которые напоминали троцкистскую традицию³²; диаметрально противоположной позиции придерживались реформисты, которые работали внутри партийного аппарата; они заявляли об отказе от чрезмерно централизованной политической и экономической системы; по их мнению, подобная система была нужна на этапе, непосредственно следующем за революцией, но исчерпала свое право на существование в новой обстановке.

Несмотря на тактические уловки, стремление реформистов играть авангардную роль внутри «социалистического лагеря» было неоспоримым; в связи с более высоким уровнем предреволюционной ситуации и большей развитостью демократических традиций демократизация социализма представлялась реформистам достижимой с большей легкостью в Чехослова-

³² Особый интерес представляют статьи Р. Каливоды в: "Literární Listi", апрель-май 1968 года.

ки, чем в других странах. В наиболее амбициозных заявлениях реформисты даже доходили до противопоставления «азиатским» основам сталинизма «европейской модели социализма, несущей с собой позитивное наследие западной цивилизации». В свете последующего опыта своеобразный путь, пройденный чехословацким коммунизмом, вызывает необходимость обсудить следующее предположение. После второй мировой войны Чехословакия была единственной страной зарождающегося советского блока, где коммунистическая партия располагала массовой поддержкой со стороны трудящихся и интеллигенции. Это облегчило завоевание власти и упрочило послереволюционный режим. Однако когда кризис углубился, то самобытное наследие чехословацкого сталинизма стало движущей силой радикальной реформы. Основная цель «политики нормализации», проводимой после 1969 года, заключалась в том, чтобы распылить и парализовать общественные силы, действовавшие внутри реформистского движения, и таким образом ликвидировать угрозу возвращения к положению, существовавшему до 1968 года. Следовательно, в ретроспективе потенциал обновления общественной жизни, выявивший себя в 1968 году, просто лишь задержал глубинную советизацию Чехословакии, но отнюдь не выдвинул модели будущей эволюции всего советского блока.

В начале очерка я указал на три идеологические концепции, которые могли быть использованы в качестве основы для разработки более сложной стратегии реформ. В отличие от того, что считалось общепризнанным на Западе, теория «научно-технической революции» как магистрального пути к коммунизму оказалась менее всего приспособленной к выполнению подобной задачи³³. Как утверждал Радован Рихта, эта теория обладала лишь поверхностным сходством с идеями классического марксизма, причем отчаянные попытки подчеркнуть элементы техницизма в Марксовой антропологии сочетались с непреодоленным партийным фетишизмом. Партия, видите ли, должна была стать «движущей силой и организатором научно-технической революции»; ее руководящая роль должна была осуществляться путем «регулирования регуляторов». Критика, с какой выступил против этой теории Карел Косик, была разумной: он осудил эту теорию как мистификацию, направленную на то, чтобы свести к минимуму культурные и политические аспекты необходимых преобразований, и, кроме того, как упускающую из виду противоречивый характер изменений, происходящих в сфере техники.

Идея новой политической системы гораздо лучше стимули-

³³ См. рецензию на труды Рихты в: *G. Neri. Variazioni ideologiche del socialismo realizzato*. — "Aut Aut", 1975, № 145—146.

ровала дискуссию, хотя была более спорной. Она оказалась в центре откровенных публичных обсуждений, состоявшихся в Чехословакии в период между январем и августом 1968 года. Военное вторжение так повернуло ход событий, что большая часть материалов этой дискуссии имеет сегодня лишь историографический интерес, хотя не следует упускать из виду некоторых существенных совпадений в содержании этой дискуссии и послереформистского диссидентства 70-х годов. Пока коммунисты работали в направлении политической эмансипации социальных сил, в их программе содержалась черта подлинного плюрализма. Было в ней также — и об этом открыто говорили отдельные теоретики движения — определенное усилие с целью изменить отношения между государством и гражданским обществом. В этом смысле первый программный документ Зденека Млынаржа дает верное представление об основных линиях развития: «Прежде всего необходимо признать, что статус политически независимого действующего лица не может быть более признан только за обществом как неким целым»; он должен также признаваться за его специфическими компонентами, группами и социальными слоями, имеющими общие интересы, в конце концов за каждым гражданином как индивидом»³⁴. С другой стороны, официальная интерпретация нового курса была прочно связана по-прежнему с «руководящей ролью партии», хотя и предполагалось, что она станет более демократичной как по форме, так и по содержанию. Ретроспективно эта комбинация представляется явно недостижимой. Что же касается аргументов, выдвинутых в ее защиту в 1968 году, то очень трудно сказать, находясь за пределами Чехословакии, где заканчивалась сфера тактической осторожности и где начиналась полоса самообороны аппарата.

В ходе менее официальных дискуссий выявились две основные линии дифференциации³⁵. Одна из них отделяла «постепеновцев» от тех, кто утверждал, что только немедленное и безусловное принятие плюралистических принципов в состоянии обеспечить долгосрочный успех движения. Тема, которая обсуждалась самым горячим образом, заключалась в институционализации политической оппозиции. После оживленного обмена мнениями в мае—июне 1968 года проблема эта была отодвинута на второй план в связи с необходимостью решения более срочных вопросов. Нет, однако, никаких причин

³⁴ Z. Mlynár. *Winter in Prague* (ed. by R. A. Remington). Cambridge, 1969, p. 4. Впервые статья была опубликована в «Руде право» в феврале 1968 года.

³⁵ Об этих дискуссиях см.: H. Gordon Skilling. *Czechoslovakia's Interrupted Revolution*. Princeton, 1976; V. V. Kusia. *Political Grouping in the Czechoslovak Reform Movement*. London, 1972. Что касается взгляда со стороны на лагерь реформистского коммунизма, см.: I. Sviták. *The Czechoslovak Experiment*. New York, 1971.

сомневаться в том, что многие коммунистические реформаторы считали введение многопартийной системы логическим итогом процесса демократизации, хотя они и не полагали, что в 1968 году уже созрели условия для такого решения проблемы. Второй аспект дискуссий развивался медленнее, но альтернативы оставались на повестке дня на протяжении некоторого времени после вторжения. По мнению отдельных критиков реформистской программы, средством по преодолению ее несостоятельности могло стать введение элементов прямой демократии, а вовсе не неукоснительное соблюдение принципов парламентской демократии. В практическом плане это означало прежде всего требование самоуправления. Некоторую неуверенность в самом начале очень скоро сменила распространившаяся идея о необходимости создания «демократических органов управления»; когда же на арене появились «советы трудового народа» (которые не следует путать с рабочими советами в узком смысле этого слова), то прежде скрытый конфликт между демократическими и технократическими концепциями стал более острым. Попытки выступить в защиту советов стали самым важным актом сопротивления на протяжении семи месяцев, между вторжением и полной нормализацией в апреле 1969 года. В исторической перспективе в этом можно усмотреть первый признак той стратегии, которая впоследствии будет с успехом использована в Польше: основывать борьбу за реформы на принципах социального движения, действующего извне по отношению к партии. Однако в Чехословакии подобное решение стало намечаться лишь тогда, когда движение за реформу уже перешло к обороне и его позиции оказались слишком слабыми для того, чтобы осуществить подобную корректировку линии.

Дискуссия по вопросу о самоуправлении поставила под вопрос также третью опору реформистской идеологии — теорию «социалистического производства предметов потребления» и экономические реформы, которые были основаны на этой теории. Реформы такого рода обсуждались и в известном смысле стали претворяться на практике повсеместно, но только в Чехословакии данная тема была связана с темой общего интеллектуального и политического обновления (в Венгрии, например, экономические реформы зашли дальше, чем в других странах Восточной Европы, однако их социальный контекст был детерминирован поражением революции 1956 года и разрушением реформистского коммунизма; в Польше предложения экономических реформ в 60-е годы носили академический характер и не были согласованы с политикой Гомулки). Хотя конкретная история реформ в настоящем очерке нас и не интересует, попытки выступлений в поддержку роста производства товаров потребления и в оправдание более сбалансированного соотношения между планом

и рынком вызывают серьезные теоретические проблемы. Для чехословацких реформаторов нужда в рыночных механизмах в экономике, мнящей себя социалистической, была подтверждена опытом. Теоретическое объяснение было необходимым во избежание дальнейших ошибок. Ограниченность анализа была вызвана, с одной стороны, убежденностью в том, что центральное ядро экономической структуры построено на социалистической, но неполной и частично искаженной основе, с другой — проектом создания новой системы планирования, которая включала бы в себя рыночные механизмы в качестве средств координации. Иными словами, характер и роль рыночных отношений при «реальном социализме» были отчасти затемнены идеологическими интерпретациями их структурной основы, отчасти же упрощены функционалистскими представлениями об их будущей роли. Дополнительный изъян дискуссии заключался в неспособности ее участников предпринять систематическое обновление Марксовой теории стоимости и капитала³⁶. В этих рамках, однако, чехословацкие экономисты разработали специфическую теорию «социалистического производства предметов народного потребления»³⁷. По их мнению, необходимо всегда учитывать одновременно экономические и социальные факторы; в качестве наиболее важных они проанализировали следующие факторы: неполное обобществление производительных сил (то есть ограниченное как уровнем экономического развития, так и засильем государственной собственности в ущерб более прямым формам коллективного присвоения), характер труда (еще далеко не ставшего основной потребностью или средством самореализации личности) и, наконец, хронические дефициты.

Сосредоточив свое внимание на причинах социальной напряженности и столкновения интересов, реформаторы экономики выступили заодно с представителями других обновительных течений 60-х годов. Однако когда ход развития движения ускорился, а социально-политический масштаб кризиса стал открыто признаваться, предложения по рационализации экономической сферы перестали внушать доверие. Вопрос о новом подходе к экономическим реформам все еще стоял на повестке дня, когда вторжение положило конец новому курсу.

³⁶ Этот факт характеризует всю оппозицию в Восточной Европе, и он не вызван просто официальным табу, наложенным на эту тему. Самое важное исключение — неизданная статья, написанная по-венгерски: *G. Márkus, G. Bence, J. Kis. È possibile un'economia critica? («Возможна ли критическая экономика?»)*

³⁷ Литература по этой теме весьма обширна, однако наиболее авторитетной является работа: *O. Sik. Plan and market under socialism. Praha, 1967* (чехословацкое издание появилось год спустя). После 1968 года чехословацкие эмигранты продолжили дискуссию по этому вопросу. См., в частности: *J. Kosta. Sozialistische planwirtschaft. Opladen, 1975; R. Selucky. Marxism, Socialism, Freedom. New York, 1979.*

«Диалектика конкретного» Карела Косика (вероятно, самое плодотворное философское исследование, которое было написано в Восточной Европе после войны) уже вкратце сопоставлялась с прочими подходами к той же проблематике. Остается добавить несколько слов относительно той роли, которую эта работа сыграла в самой Чехословакии. Вопрос этот сложнее, чем о том свидетельствует мгновенный и массовый успех книги в кругах интеллигенции. Хотя эта книга оставила свой след в атмосфере реформистского движения и на его языке, ее теоретический потенциал был реализован только отчасти. Переосмысление центральных проблем марксистской философии и социальной теории, осуществленное Косиком, было связано также с критикой реального социализма, которая, однако, была затемнена односторонним восприятием книги и последующим изменением позиций самого автора.

Первые оригинальные работы Косика были изданы в период между 1956 и 1958 годами. В различных статьях³⁸ он высказывался в пользу философии, освобожденной от догм, занимающей определенные политические позиции и непосредственно занятой самокритическим исследованием социализма. В то же время он подчеркивал необходимость «политической экономики социализма», которая не носила бы апологетического характера, и заявлял о несовместимости такой политэкономии социализма с традиционным экономическим детерминизмом. В «Диалектике конкретного» Косик занял более трезвую позицию относительно связи между философией и политикой, однако в концептуальном отношении он по-прежнему разрабатывал линию, обозначенную в его предыдущих выступлениях. Позитивное содержание книги неотделимо от полемики, разворачивавшейся по двум направлениям: против советского марксизма и против того типа ревизионизма, который возобладал в Польше. Косик желал привлечь внимание марксистской философии к вопросу о том, «что такое есть человек», однако он отвергал осторожную антропологию Адама Шаффа, равно как и ультра-антропологизм Колаковского. «Онтология человека» должна была, по его мнению, быть связанной с философией труда и через нее с фундаментальными концепциями исторического материализма; если говорить шире, можно сказать, что эта онтология отмежевывалась от антропоцентрического мировоззрения любого типа: «Человек не заточен в клетку своей животности или своей социальной природы, потому что он не только антропологическое существо; он открыт также пониманию бытия на основе практики. Но

³⁸ Наиболее важные: „Preludy a socialismus“. — „Literární Noviny“, № 10—11; „Tridy i reálná struktura soolečnsti“. — „Filosofický časopis“, № 5, 1958.

он также антропокосмическое существо. В практике был открыт фундамент реального центра деятельности, реальной исторической медиации духа и материи, культуры и природы, человека и космоса, теории и действия, существа и существования, эпистемологии и онтологии»³⁹.

Переистолкование концепции труда, направленное против натуралистических уклонов, давало в руки новый ключ для понимания отношений между экономикой и обществом. Следуя за предшественниками (среди которых необходимо упомянуть Лабриолу), Косик проводил различие между экономической структурой («суммой социальных отношений, которые народ в процессе производства поддерживает в связи со средствами производства») и экономическим фактором (овеществленное и систематизированное выражение этих социальных отношений). Однако Косик настаивал на реальном историческом содержании этого различия: концепция экономического фактора отражает «дезинтеграцию социального бытия», вызываемую развитием капитализма. Итак, последующий логический переход должен был бы заключаться в постановке вопроса о плюрализме структур как отличающихся от плюрализма факторов; если экономическая структура «формирует единство и непрерывность всех сфер социальной жизни», то это образование может быть также понято как взаимопроникновение других тотализирующих структур. Анализ производства в сфере культуры в качестве со-структуры, а не как чистого отражения социальной реальности, ясно указывает на это направление. Этот анализ в свою очередь должен был бы привести к более общим выводам насчет особой степени сложности послекapиталистического общества, где традиционная модель взаимозависимых факторов уже более не применима. Однако Косик прерывает эту линию своих размышлений, связывая концепцию экономической структуры с безусловным приматом экономики, который он поддерживает во имя «материалистического монизма». Этот барьер укрепляется его версией отношений между трудом и праксисом. Хотя он и критикует распространенную тенденцию смешивать их друг с другом, в своем собственном переистолковании различия между ними он, судя по всему, колеблется между двумя моделями. Во-первых, труд и праксис отражают просто различные точки зрения (первый — редуцированную, второе — универсальную) на одну и ту же базовую структуру; во-вторых, праксис понимается как многомерный «онто-формативный» процесс, труд — как его частичный аспект. В общем плане превалирует, однако, первая модель — практика как труд в широком смысле этого слова. Однако только вторая модель могла бы послужить основанием для создания плюралистической концепции социальной реальности.

³⁹ *Kosik. Dialettica del concreto...*, p. 247—248.

В своих последних попытках объяснить концепцию праксиса⁴⁰ Косик более энергично, чем в прошлом, подчеркивал несводимость его к труду, к практике, к интенциональной деятельности. Эта антиредукционистская атака не была, однако, подкреплена какой-либо позитивной разработкой. В результате философия праксиса, применяемая в целях анализа социальных структур и общественных сил, утратила многое из своей оригинальной значимости. Это становится очевидным уже в статьях, опубликованных Косиком в 1968 году⁴¹. Хотя их и можно по-прежнему причислить к наиболее интересным работам «пражской весны», связь этих статей с «Диалектикой конкретного» едва уловима. Разложение сталинизма, как его теперь представляет себе Косик, вызывало проблемы «значения существования наций и людей». Питательной средой кризиса была система манипуляций и всеобщей безответственности, логика которой привела к разложению или даже параличу политических субъектов и общественных классов.

После апреля 1969 года реформистский коммунизм в традиционном смысле этого понятия не представлял уже практического выхода из создавшегося положения, однако уроки его поражения все-таки не были очевидными. Более того, в процессе реставрации старой системы после 1969 года был приобретен тот опыт, который лишь подчеркивал некоторые, наиболее проблематичные аспекты реформистского движения. Для того чтобы повернуть вспять это движение, понадобилось военное вмешательство, но, после того как это произошло, регрессивные силы, по-прежнему окопавшиеся в аппарате, оказались удивительно мощными. Катастрофические последствия «нормализации» в сфере культуры и морали стали тем сигналом, который переключил внимание на разрушительную систему, а также на ее способность к самовоспроизводству, повсеместно недооцениваемую реформаторами.

Литература оппозиции по теме 1968 года и последующего периода обширна и разнообразна⁴², однако только изредка в ней предпринимается попытка пойти дальше переоценок ре-

⁴⁰ См. очерк: «Cramsci e filosofia della „praxis“». — In: „AA. VV., Cramsci e la cultura contemporanea“, vol. II. Roma, 1969, p. 45 sgg.

⁴¹ Эти статьи появились в: „Literární Listy“, 1968, № 7, 8, 10, 11, 12.

⁴² См.: A. Ostrý (псевдоним автора, проживающего в Праге). *Cekoslovenský problém*. Köln, 1972; *Systémové Zmeny* (сборник очерков чехословацких эмигрантов). Köln, 1972; Z. Mlynár. *Cekoslovenský pokus o reformu*. Köln, 1972 (итал. перев. — Praga, questione aperta. Bari, 1978); *Id. Night frost in Prague*. London, 1980; J. Sladacek (псевдоним автора, проживающего в Праге). *Osmašedesátý*. Köln, 1980. Милан Шимечка написал интересную работу о процессе нормализации: *M. Simecka. Obnavený pořádek*. Köln, 1979 (франц. перев. — Paris, 1980). Что касается самых недавних сдвигов во внутренней оппозиции, см.: V. Havel e altri. Köln, 1981. „O svobode a moci“.

формистского коммунизма с тем, чтобы заложить основы более общей критики реального социализма. Авторы немногочисленных попыток проанализировать обстановку в этом ключе, склонны использовать концепцию демократии как краеугольный камень, чтобы объяснять функционирование советской модели. С этой точки зрения особенно поучительным представляется сравнение двух недавних работ, по иным параметрам весьма отличающихся друг от друга: одна принадлежит перу эмигранта и написана с открыто социал-демократических позиций, другая составлена в виде манифеста неотроцкистского направления.

Ота Шик, в прошлом один из наиболее известных сторонников экономической реформы, отождествляет ныне «коммунистическую систему власти» с бюрократической формой классового господства⁴³. Его модель описывает общество советского типа как последний этап перехода бюрократии от частичного к тотальному контролю. Фундаментальные характерные черты бюрократии складываются благодаря тому месту, которое она занимает в традиционном разделении труда, то есть связаны со специализацией в сфере организации и координирования; эта особая разновидность деятельности сказывается на ее специфических интересах в сфере распределения как власти, так и богатств. В современном наиболее развитом обществе власть бюрократии ограничивают компенсирующие институты рыночной экономики и политическая демократия. Исчезновение этих двух регуляторов в обстановке общей разрухи, последовавшей за русской революцией, наряду с присущей большевикам авторитарной концепцией социализма привело к захвату бюрократией тотальной монополии на власть. Учитывая при этом, что захват власти сопровождается также неограниченным присвоением средств и результатов производства, бюрократия, вне всякого сомнения, представляет собой господствующий класс в Марксовом понимании этого термина.

Данное рассуждение страдает, однако, явным недостатком: сначала бюрократии дается определение без использования концепции класса, тогда как захват власти описывается затем как простой шаг вперед в рамках всего процесса в целом. Классовый характер бюрократии представляется, таким образом, в качестве второстепенного атрибута, не как его существенный компонент, а власть класса — как свойство, приобретенное некоей группой, а не переплетение основополагающих социальных отношений. Слабость классового анализа подобного типа, по сути дела, домарксистского типа, проявляется в присущей Шикку склонности к морализаторской кри-

⁴³ O. Sik. *Quale comunismo*. Bari, 1977 (нем. перев. — Hamburg, 1978).

тике бюрократии, когда он клеймит ее господство как «извращение» социализма.

«Социализм за решеткой»⁴⁴ Петра Угела выражает мнение так называемого революционного марксистского меньшинства внутри движения «Хартия-77», и это единственная заслуживающая внимания работа среди продукции подобного типа, произведенной поколением диссидентов в Восточной Европе после 1968 года (ниже будет показано, что сопоставление Угела с Рудольфом Баро, предложенное французскими редакторами этого тома, совершенно сбивает с толку). Как подсказывает уже само название, представление о социалистическом потенциале «за решеткой» структур бюрократического господства является центральным в ходе рассуждений автора книги. Однако этот остаточный троцкизм не помешал Угелу подвергнуть ревизии важные аспекты теории переходного общества. Хотя он и утверждает, что бюрократия еще не стала руководящим классом в полном смысле этого термина, все-таки в его работе подчеркивается классовая основа ее власти (монополистический контроль как над рабочей силой, так и над объективизированным трудом) и классовый антагонизм между бюрократией и подавляющим большинством населения. В его проекте антибюрократической революции сочетаются традиционные троцкистские элементы с другими, более оригинальными. Грядущую революцию он понимает главным образом как политическую революцию, направленную против бюрократического центра; в свою очередь она откроет путь экономическим и социальным преобразованиям. Сверхленинистская критика парламентской демократии⁴⁵ сопровождается неленинистской концепцией революционной организации. Угел постулирует «революционное сообщество», внутри которого может появиться плюрализм «неформальных авангардов». Основные черты послереволюционного общественного устройства выглядят, по Угелу, сугубо увриеристскими (или склоняются, по Угелу, в сторону контроля производителей), хотя и содержат также неизбежные ссылки на естественные законы⁴⁶. Предполагается, что принципы самоуправления станут применяться ко всем сферам общественной жизни, что никоим образом не преуменьшает роли профсоюзов (при этом Угел проводит различие между «сферой самоуправления» и «сферой защиты интересов»).

Несмотря на четкое противопоставление Шика и Угела,

⁴⁴ P. Ukl. *Le socialisme emprisonné*. Paris, 1978.

⁴⁵ См. следующее суждение: «Так, экономический и социальный прогресс в некоторых буржуазных странах был достигнут вопреки парламентаризму, а не благодаря ему» (*ibid.*, p. 254).

⁴⁶ «В этой связи вопрос о собственности, подобно, естественно, вопросу о материальных и духовных благах, лишен предметности» (*ibid.*, p. 278).

существенные результаты анализа их работ имеют общий знаменатель — теорию бюрократического господства. Никакое истолкование обществ Восточной Европы не может обойтись без концепции бюрократии, хотя она отражает лишь частичный и вторичный аспект действительности, а не исторически сложившуюся особенность советской системы. Для того чтобы продемонстрировать ограниченность экспликативного значения этой концепции, достаточно напомнить некоторые существенные характерные черты реального социализма. Структурный консерватизм, как правило, выступающий в сочетании с бюрократическим господством, менее всего чужд послереволюционным государствам, однако в длительной перспективе он как бы оказывается в тени благодаря экспансионистской и трансформационной динамике системы. Сталинская модель революции сверху — лишь наиболее яркий тому пример. Ни содержание, ни роль советской идеологии не сводимы к принципам бюрократического рационализма. И последнее — ни одна из теорий господства бюрократии не была в состоянии объяснить ту исключительную позицию, которую занимает партия в советской системе.

6. Неоленинизм и ленинизм наоборот

Как реформистский коммунизм, так и марксистское диссидентство были гораздо слабее в Восточной Германии⁴⁷. Специфические условия разделенной страны и «психология осады», насаждавшаяся в партии, — таковы очевидные причины, которыми можно объяснить подобное положение дел и тот факт, что их влияние сказывается также и на оппозиции. «Альтернатива» Рудольфа Баро⁴⁸ представляется нам, таким образом, наиболее важной работой, несмотря на то что содержащаяся в ней критика реального социализма по целому ряду параметров является самой традиционной из всего того, что было написано в Восточной Европе.

⁴⁷ Труды Э. Блоха, строго говоря, не принадлежат истории марксизма в Восточной Европе. Резко подчеркнутая гетеродоксальная интерпретация Маркса, сформулированная им задолго до возникновения ГДР, в длительной перспективе сделала невозможным его сотрудничество с партией. Разрыв состоялся в 1961 году. События, связанные с именем Блоха, не имеют аналогов в других странах Восточной Европы. С другой стороны, Восточная Германия может также похвастать уникальным случаем, когда бывший диссидент разрабатывает ныне экспортный вариант официальной доктрины. См.: *W. Harich. Kommunismus ohne Wachstum. Hamburg, 1975.*

⁴⁸ Книга эта была написана между 1972—1976 годами и первоначально издана в Западной Германии в 1976 году (англ. перев. — "The Alternative in Eastern Europe", London, 1978). Что касается западных откликов см.: *R. Bahro. Critical Responses. U. Walter (eds.), New York, 1980;* и рецензию на эту книгу А. Апаро ("Telos", № 48); см. также: *A. Wildt. Totalitarian State Capitalism. — "Telos", № 41.*

В намерении Баро можно усмотреть попытку упорядочить марксистско-ленинскую перспективу. Проведенная им ревизия подчинена целям защиты основных принципов марксизма-ленинизма для того, чтобы в конечном итоге выработать программу реформы для стран Восточной Европы на основе универсальной модели революции. Оптимистические по своей сути представления XX столетия резюмируются следующими словами: «Благодаря революциям в России и Китае, благодаря революционному процессу в Латинской Америке, Африке и Индии человечество вступает на самый короткий путь, ведущий к социализму»⁴⁹. Идя по стопам Маркса, Баро относит задачи революционной эмансипации прежде всего и главным образом в сферу общественного труда. Точнее говоря, отчуждающие и антагонистические формы общественной организации труда должны быть преодолены и заменены свободной ассоциацией производителей. Однако Баро не считает более пролетарскую революцию доступным путем для достижения подлинного социализма. По его мнению, внутренние конфликты как в позднем капитализме, так и в послереволюционном обществе Восточной Европы в возрастающей мере обусловлены разделением труда, а не традиционной моделью классовых отношений. Вместо предшествовавшей поляризации по признаку класса или классовых союзов фундаментальные альтернативы сегодня обнаруживают тенденцию принимать форму культурной и антропологической ориентации, которая «разделяет индивидов в меньшей степени, чем это делали старые антитезы и деления на жесткие социальные группировки». Баро сводит их к дихотомии интересов. Компенсационные интересы — это «неизбежная реакция на тот факт, что общество зажимает и блокирует рост, развитие и утверждение неисчислимого количества индивидов уже в самом начальном периоде их существования. Соответствующие потребности возмещаются суррогатами удовлетворения». Интересы, связанные с освобождением человека, «ориентированы в направлении роста, дифференциации и самореализации личности во всех измерениях человеческой деятельности»⁵⁰. «Подчиненность» — вот термин, используемый Баро для обозначения той формы общественной жизни, которая соответствует засилью компенсационных интересов; преодоление подчиненности возможно только путем осуществления культурной революции, которая изменила бы «объективную форму жизни масс» и установила примат интересов освобождения.

Стремление Баро к ленинизму можно квалифицировать в том же самом направлении. В то время как он отстаивает ленинское завоевание власти в качестве правомочной и пози-

⁴⁹ R. Bahro. *The Alternative...*, p. 61.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 272.

тивной инициативы, его интерпретация все более отходит от тезисов классического марксизма, причем гораздо дальше того предела, за который не позволял себе переступить Ленин. Согласно Баро, русская революция стала началом «некапиталистического пути к индустриальному обществу», революционным преобразованием незападного общества, обладающего собственной логикой и динамикой. Только благодаря появлению немислимых обстоятельств подобный процесс можно было бы сократить или нейтрализовать его внутренние трудности путем революции в сердце капитализма. Конвергенция освободительных движений на Востоке и Западе может произойти только в результате длительного и все еще не завершенного исторического цикла (последние работы Ленина обнаруживают зачаточное осознание подобной ситуации, хотя Ленин никогда не отказывался от «социалистической иллюзии» 1917 года). Хотя будущая культурная революция по-прежнему не сможет обойтись без авангарда, все-таки этот авангард должен быть воплощением «прибавочного сознания», то есть умственной способности, еще не до конца абсорбированной воспроизводством социально-экономического режима. Смысл существования подобного авангарда, следовательно, заметно отличается от традиционного ленинского понимания партии как единственного носителя всеобъемлющего научного знания.

В связи с тем что Баро интерпретирует развитие общества советского типа как «некапиталистический путь к индустриальному обществу», считая неопровержимой его историческую необходимость, он вынужден включить и сталинский режим, или по меньшей мере его решающие черты, в свой «сокращенный путь к социализму». Его настойчивое подчеркивание позитивных результатов, достигнутых Сталиным, соответствует чему-то несколько большему, чем простому заявлению о своей вере. Ретроспективная рационализация истории в который уже раз затемняет его оценку нынешних симптомов кризиса. Отношение Баро к возрождающемуся национализму, как и к проявлению требования политического плюрализма и свободы профсоюзных организаций, двусмысленно: иногда он признает «объективную необходимость» требований национализма, иногда же видит в них выражение тенденций к реставрации капиталистического режима.

В данном случае, однако, нас прежде всего интересует «анатомия действительно существующего социализма», показанная нам Баро. Его программа в пользу культурной революции была бы неполной без изучения социальных сил, которые предположительно могут выступить против такой революции. Учитывая, что нарисованная им картина исключает как теорию госкапитализма, так и теорию нового общества классового типа, он вынужден искать иные объяснения после-

революционным формам неравенства и угнетения. С этой целью он прибегает к использованию двух относительно мало развитых аспектов марксистской традиции: к критике разделения труда и к теории азиатского способа производства.

Согласно Баро, разделение труда — это наиболее элементарная структура угнетения, «существенная отправная точка» классового общества. Однако разделение труда на умственный и физический важно не столько само по себе, сколько в качестве первого шага в направлении более глубокого разрыва между двумя разновидностями труда: с одной стороны, синтетическим трудом, то есть координирующей деятельностью, предполагающей прямые отношения с обществом, и, с другой — подчиненным и частным трудом тех, кто исключен из системы подобных отношений⁵¹. Неоспоримое господство этой модели в революционных обществах не следует путать, по мнению Баро, с новой классовой структурой; оно показывает только то, что общая инфраструктура классового господства может пережить упразднение и капитала, и частной собственности.

Однако критика разделения труда — явно недостаточный фундамент для критики реального социализма. Если и можно путем рассуждений утверждать, что ликвидация капитализма оставляет в неприкосновенности значительную часть традиционного разделения труда и позволяет господствующему аппарату маскировать свое стремление к власти и привилегиям, рядясь в тогу защитников общих интересов, то менее очевидным представляется то, каким образом подобная инфраструктура в состоянии породить целую систему политического и идеологического тотального контроля. Баро пытается восполнить этот пробел при помощи теории азиатского способа производства. Точнее — при помощи двух различных вариантов этой теории.

Первый тесно связан с критикой разделения труда. Государственная собственность на средства производства и общее подчинение общества государству — то есть характерные черты «соединительного звена между последней патриархальной фазой первобытного общества и классовым обществом в Азии»⁵²—являются производными первоначального разделения на синтетическую и субординационно подчиненную деятельность. Однако, спрашивается, отчего подобная структура может репродуцироваться в «протосоциалистическом» обществе? Если «этатизация» экономики и общества, находящегося на архаическом этапе, была результатом низкого уровня технического и культурного развития, тогда она не может выполнять ту же функцию в современных услови-

⁵¹ Ibid., p. 150—151.

⁵² Ibid., p. 68.

ях. Нет никакой объяснимой причины, для того чтобы послекапиталистический переход повторял в обратном порядке модель перехода от первобытного коммунизма к классовому обществу, разве что азиатский комплекс вдруг стал обладать автономной способностью воспроизводить и развивать самого себя. Вот почему Баро обращается к другому варианту азиатского способа производства, истолковывая его уже не как «соединительное звено» между первобытным и цивилизованным обществом, но как господствующий тип незападного классового общества. В этой перспективе азиатская формация представляется специфической линией развития, а не абсолютной стагнацией. Как показывает Баро, она олицетворяет специфические формы абстрактного труда и производственных отношений. Следующий логический шаг должен был бы состоять в переходе к анализу общества советского типа как специфическому синтезу традиции и современности. Иными словами, если азиатская почва этого общества оказала влияние на его формирование, тогда это способствует определению модели, появившейся в результате развития современного общества как раз в той мере, в какой особенности европейского прошлого смоделировали первоначальный путь индустриального общества. Баро, однако, пресекает подобные размышления.

Что касается краткосрочных проблем восточноевропейских обществ, предложение Баро не идет дальше идеальной модели реформистского коммунизма. В сравнении с Брусом его рассуждения, с одной стороны, поддерживают более амбициозный теоретический проект, с другой — они в гораздо большей степени опираются на опыт «пражской весны» и на надежду, что она может повториться в широком масштабе, хотя сегодня ничто не вселяет подобных надежд.

Если ретроспективное оправдание Октябрьской революции и вера в возможность того, что новый авангард возглавит культурную революцию, достаточны, чтобы определить Баро как неолениниста, то «ленинизм наоборот», как представляется, есть наиболее подходящее определение позиций, занятых Дьердем Конрадом и Иваном Селеньи. В своей книге «Интеллектуалы на пути к классовой власти»⁵⁸, представляющей собой во многих отношениях четкий антитезис «Альтернативы» Баро, они интерпретируют ленинский авангард как эмбрион нового руководящего класса. Идея послекапиталистического классового общества, в котором господствуют интеллектуалы и которая основывается на идеологии

⁵⁸ Эта книга была написана в 1973—1974 годах (англ. перев. был издан в: Harvester Press, 1979).

«научного социализма», старее советской модели. Конрад и Селеньи указывают на Бакунина как на ее предвестника, хотя, быть может, более важный прецедент представляет Махайский, который свою критику II Интернационала возвел в ранг общего обвинения социализма, понимаемого как «новая религия интеллигенции» и дымовая завеса, скрывающая классовую стратегию «капиталистов знания»⁵⁴.

Конечно, эту аналогию не следует преувеличивать. Что касается Махайского, то экспроприация капиталистического класса отнюдь не означает, считал он, экспроприации буржуазного общества в его совокупности, разве что эта экспроприация создаст новые возможности для прежде находившегося в подчиненном положении слоя буржуазии, то есть для интеллигенции, которая манипулировала рабочим движением с целью сохранения и расширения своих привилегий. Единственной подлинной революцией, по Махайскому, была бы «экспроприация образованного общества». По Конраду и Селеньи, только в Восточной Европе «интеллигенция относительно быстро концептуализирует свое намерение бороться за что-то вроде классовой власти»⁵⁵. Встав на этот путь, интеллектуалы как бы подменяют отсутствующую или парализованную буржуазию, а вовсе не последних защитников буржуазного строя. Результат же — стратегия небуржуазной и некапиталистической модернизации. Если восточноевропейский путь и можно описать как «сокращенный путь», то это возможно только потому, что система «рационального перераспределения», созданная победоносной революционной элитой, действительно является альтернативой капитализму.

В общем, реальный социализм для Конрада и Селеньи — это первое в истории общество, где интеллигенция может «создать классовую коалицию» и стать гегемонистской общественной силой. Это «первая общественная система, где специализированное знание выходит на поверхность общества из сферы подсознательного и становится по исчерпанию первоначального социализма господствующим принципом легитимации»⁵⁶. Эта необычная оценка положения дел в среде восточноевропейских диссидентов предполагает известную интерпретацию прошлого и наряду с этим формулировку определенных надежд на будущее. Длительное историческое разделение восточноевропейской интеллигенции на бюрократов и революционеров⁵⁷, большевистский синтез обеих мо-

⁵⁴ *Y. W. Machajnski. Le socialisme des intellectuels. Paris, 1979* (сборник статей, написанных в 1900 и 1918 годах).

⁵⁵ *G. Konrad, I. Szelenyi. The Intellectuals on the Road to Class Power, p. 85.*

⁵⁶ *Ibid.*, p. 63.

⁵⁷ См. *ibid.*, cap. 9: "The Eastern European Intelligentsia's Road to Power", p. 85—142.

делей и нынешняя борьба между политической элитой и управленческим аппаратом рассматриваются в качестве одного из эпизодов длящейся столетиями скачкообразной трансформации отношений между властью и людьми, владеющими знанием. Конфликт между идеологией и компетентностью становится, таким образом, менее важным, чем тот факт, что и власть и люди, владеющие знанием, опираются на интеллектуальные ресурсы и обращаются в своей деятельности к интеллектуальным критериям. Хотя классовая власть, проявляющая себя в рациональном перераспределении, и ориентирована на развитие, как осуществляемое «не интеллигенцией в целом, а ее весьма узкой фракцией — государственной и партийной бюрократией, которую мы станем именовать руководящей или правительственной элитой»⁵⁸, абсолютизм этого руководящего класса в настоящее время постепенно отступает под напором «неравноправного альянса» и «разумного компромисса» с технократией. Нынешняя борьба за власть — это преимущественно борьба внутри господствующего класса.

Правдоподобность этой интерпретации основывается на трех предпосылках: концепция класса подразумевает такой образ интеллигенции, который дает возможность представлять ее историю как восхождение по «пути к классовой власти» и определенным образом оценить нынешнее и прогнозируемое развитие Восточной Европы. Основополагающим в данном случае является концепция класса. Конрад и Селеньи основывают свое рассуждение на следующем прочтении Маркса: «Маркс понял, что в капиталистическом обществе именно право собственности дает контроль над прибавочной стоимостью. И он был прав, когда утверждал, что обладание капиталом является основополагающим фактором, который определяет структуру данного общества»⁵⁹. Центральное ядро классовой структуры, таким образом, — это общепризнанное право распоряжаться прибавочной стоимостью по своему усмотрению. Так ошибочно сглаживаются два уровня классовой теории Маркса. Для Маркса основа классовых отношений — это вторичное присвоение, выше которого располагается первичное присвоение природы человеком и которое подчиняет это первичное присвоение контролю и интересам привилегированного меньшинства; слабо развитые классовые отношения можно отличать от других, более сложных, тогда как догадка насчет частной собственности отнюдь не представляет собой единственно возможного выражения классового господства. Процедуры легитимации, сфокусированные на идеологическом преобразовании партикулярных

⁵⁸ Ibid., p. 147.

⁵⁹ Ibid., p. 40.

интересов, подвержены историческим изменениям как в плане их внутреннего строения, так и в плане их классовой структуры. Частичное слияние обоих уровней, экономического и идеологического, при установлении частной собственности есть явление исключительное; непосредственное осуществление экономическими учреждениями функции легитимации есть особенность классического капитализма.

Аналогичный подход виден и в той интерпретации, которую Конрад и Селеньи дают работам Макса Вебера. Согласно Веберу, правовое господство в своих различных формах является предварительным условием для создания структуризованных форм общественной жизни, тогда как концепция класса относится к сфере распределения власти внутри таких форм. Конрад и Селеньи производят подмену этого структурного различия историческим — концепция класса используется для описания наиболее близкой к капитализму с рыночной экономикой формы легализованного господства. Постулируя, таким образом, эквивалентность между классовыми отношениями и узаконенной властью, они оказываются в состоянии идентифицировать господствующий при «реальном социализме» класс при помощи особого способа его легитимации. Несмотря на то что претензии официальной идеологии на свою особую значимость и не рассматриваются авторами в том объеме, на который претендует эта идеология, наиболее важная ее установка, согласно которой кажущаяся рациональность власти совпадает с ее реальной сущностью, принимается Конрадом и Селеньи всерьез. Таким же точно образом легитимацию они воспринимают как нечто аналогичное собственности; она, по их мнению, основывается на монопольном владении ресурсами, в данном случае специализированным знанием, как в сфере идеологии, так и в сфере техники.

Дав подобное описание позиции нового господствующего класса, авторам остается всего лишь показать, каким образом она позволяет довести до завершения эволюцию интеллигенции. Весь процесс анализируется на основе явно заимствованной у Вебера проблематики идей и интересов, хотя и в значительно упрощенном виде. Отправная точка при этом — проведение различия между генетическим и общим бытием интеллигенции, то есть между ее исторической определенностью и ее ролью как носителя трансцендентных значений. Когда речь идет об интеллектуалах, «возводящих свои имманентные интересы до статуса трансцендентных ценностей», тогда напряженность между двумя полюсами постепенно снимается; это поглощение идей интересами выражается в идеологии рационального перераспределения во имя интересов, направленных на максимальное укрепление подлежащей перераспределению власти. Изменившееся от-

ношение между идеями и интересами отражается на соответствующей внутренней модификации идей. Различие между двумя фундаментальными задачами интеллигенции (конструированием культурных ориентиров и аккумуляцией специализированного знания) существует в обстановке «антиномии *télos* и *techné*»; первый стабильный синтез двух полюсов — это и есть идеология советского социализма, где культурный и технический элементы объединены идеалом тотального контроля над перераспределением.

Узость этой концепции становится еще более очевидной, если мы сравним ее с классическим прототипом. Согласно Максу Веберу, процесс рационализации включает в себя интересы и идеи; он приводит к более сложным и динамическим отношениям между двумя полюсами, а не к поглощению первого вторым; по мере того как различия между разными «порядками жизни» становятся более выраженными и дают о себе знать более согласованно, возможности синтеза становятся все менее осуществимыми. Учитывая тот факт, что интеллектуалы выполняют ключевую функцию в процессе рационализации, абсолютная многомерность этого процесса исключает их объединение на классовой основе.

Что касается интерпретации постсталинского периода в Восточной Европе, то, пожалуй, нелегко отыскать какое-либо доказательство «совместного» осуществления власти элитой и технократией. Рассуждения Копрادا и Селеньи на эту тему являются своего рода весьма оптимистической экстраполяцией венгерской модели. Не говоря уже о Советском Союзе, недавняя история Польши и Чехословакии опровергает их гипотезы. Да и в самой Венгрии уступки режима Кадара все нельзя возводить в ранг какого-то подлинного перераспределения власти. Само описание недавних событий, данное авторами, содержит информацию, явно противоречащую их оптимистической теории; контрнаступление господствующей элиты радикализирует технократию и делает ее более склонной к установлению союза с движениями рабочего класса; это в свою очередь создает новые возможности для «маргинальной интеллигенции», задача которой заключается в том, чтобы сделать еще более очевидным классовый характер конфликта.

7. Будапештская школа

Как мы уже видели, выводы Колаковского об отношениях между ревизионизмом и реформистским коммунизмом, неприменимы ни к югославской, ни к чехословацкой ситуации. Дополнительным доказательством от противного являются факты, связанные с деятельностью интеллектуальной оппозиции на протяжении 60—70-х годов в Венгрии.

Будапештская школа (в широком смысле речь идет о достаточно разношерстной группе, объединяемой только совместной деятельностью в сфере социалистической критики, хотя и выражающейся иногда в особой философской позиции) не была ни побочным продуктом реформистского коммунизма, ни его придатком. На первых порах Будапештская школа не испытала глубокого влияния революции 1956 года (тогда как польская и чехословацкая оппозиции с первых же дней своего существования непосредственно обращались к событиям 1956, 1968 и 1970 годов). Повторное открытие 1956 года и его значения произошло позже и было связано с другими изменениями⁶⁰.

Советское вмешательство в 1956 году положило конец как реформистскому коммунизму, так и революции. Стратегия уступок, принятая режимом Кадара в начале 60-х годов, не была новым изданием реформистского коммунизма. Правильнее считать политику Кадара особенно стабильным вариантом хрущевизма. Между 1963 и 1968 годами⁶¹ надежда на то, что эта политика может развиваться до подлинного реформистского коммунизма, не могла казаться совершенно неосновательной, однако разрыв между программными новшествами руководящей группы и более радикальными идеями социалистической оппозиции так никогда и не был преодолен. Критические выступления провоцировались частичным и педальновидным характером реформ, равно как и консерватизмом системы. В результате вторжения в Чехословакию последние иллюзии на структурную реформу сверху были развеяны.

Будапештская школа в целом обладала, таким образом, только частичным и временным сходством с реформистским коммунизмом, которое особенно заметно в работах Андраша Хегедюша⁶². Несмотря на то что тон их стал гораздо пессимистичнее после 1968 года, в них разрабатывается идеальная модель реформистского коммунизма, весьма близкая моделям Бруса и Баро. Согласно Хегедюшу, «ликвидация частной собственности на средства производства как господствующей формы присвоения собственности создала в основном возможность объективации общественного интереса»⁶³. Даль-

⁶⁰ См., в частности: *F. Fehér, A. Heller. Hungary, 1956 revisited* (готовится к выпуску).

⁶¹ См.: *F. Fehér. The Model State of Khrushchovism.* — "Telos", № 40.

⁶² *A. Hegedüs. Socialism and Bureaucracy.* London, 1976 (сборник статей, написанный в 1966-1976 годах); *Id. The Structure of Socialist Society.* London, 1977 (два очерка, изданные по-венгерски в 1966 и 1970 годах). См. также различные статьи, написанные совместно Хегедюшем и Марией Маркуш в: "Die Neue Linke in Ungarn", Bde. 1, 2. Berlin, 1974, 1976; "The Humanisation of Socialism". London, 1976. На итал. языке см.: *A. Hegedüs. M. Márkus. Sviluppo sociale e organizzazione del lavoro in Ungheria.* Milano, 1975.

⁶³ *Hegedüs. The Structure of Socialist Society*, p. 73.

нейшим следствием этого решающего шага стала более высокая степень социальной мобильности. Структурное превосходство социализма, однако, не было обретоено раз и навсегда; для того чтобы потенциал нового общества мог быть полностью использован, необходимо достичь определенного уровня зрелости и стабильности. В 1966—1967 годах Хегедюш пришел к выводу, что изменения послесталинской эры подводят социалистические страны еще ближе к этому историческому водоразделу. В частности, институционализация самокритики стала теперь и возможной, и в то же время необходимой: отсюда также новая роль социологии. Самоанализ социализма был вынужден акцентировать внимание на проблеме бюрократии и способов сдерживания ее пипертрофированного развития. По Хегедюшу, бюрократический феномен более сложен и амбивалентен, чем могли предположить первые марксисты. Его более глубокие корни следует искать в отделении общественной администрации от «функций укрепления владения и прав собственности», но его развитие происходит также под влиянием последующего отделения «управления собственностью» от подчиненной ему «существенной социальной роли» собственности. Бюрократия, особенно в современных условиях, воплощает как относительно автономные формы власти, так и формы, являющиеся производными собственности; подобное сочетание стало играть большее значение даже в социалистическом обществе. Иными словами, бюрократические отношения при социализме уходят своими корнями в структурное принуждение, осуществляемое как администрацией, так и менеджментом. Какую бы важную роль в дальнейшем прогрессе ни играла социалистическая критика бюрократии, не следует отрицать объективной необходимости и рационализации бюрократической организации. Полную ликвидацию бюрократии можно предвидеть лишь в длительной исторической перспективе; при нынешнем же уровне социалистического развития наиболее реалистическая стратегия заключается в постепенном введении новых форм общественного контроля, способных ограничить тенденции отчуждения, свойственные бюрократической организации. Согласно Хегедюшу, подобные меры должны быть подкреплены ведущей идеей о том, что необходима «гуманизация администрации и менеджмента»; поэтому Хегедюш настаивает на антиномическом характере проблемы: реальное «противоречие между оптимизацией и гуманизацией» в действительности возможно; императивы эффективности могут вступить в конфликт с императивами демократизации⁶⁴.

В 1976 году Хегедюш написал послесловие к сборнику

⁶⁴ См.: "Socialism and Bureaucracy...", в частности главы I, II, VII.

своих работ, изданных по-английски, где признал, что «самоанализ и самокритика социализма оказались не в состоянии утвердить себя»⁶⁵; однако поражение реформистского коммунизма он приписывал прежде всего неблагоприятным международным условиям, выражая при этом надежду на то, что «будущие движения масс» могут открыть новые перспективы. Таким образом, ему удалось избежать решения вопроса о внутренних структурных препятствиях, которые сделали реформу невозможной.

Некоторые высказывания об этих препятствиях содержатся тем не менее в одном из предыдущих его очерков о «модернизации и альтернативах социального прогресса», который был написан им в соавторстве с Марией Маркуш в 1972 году⁶⁶. Этот его очерк был осужден в резолюции партии, выступившей против «антимарксистских тенденций» в венгерской социологии. В очерке проводилось различие между двумя типами модернизации и была поставлена проблема, которая постепенно приобрела важное значение в последующих работах Будапештской школы. Авторы сравнили статистскую модель модернизации, принятую в Советском Союзе и его сфере влияния, с «базовой моделью» развитого капитализма, описывая взаимодействие между этими двумя моделями как переплетение антагонизма и взаимозависимости. Статистская модель определяла и оправдывала сама себя, по мнению авторов, посредством опровержения «базовой модели», однако ее собственные цели развития и стратегии обнаруживают отношения паразитизма и имитации в отношении передового капитализма. Эта асимметрия еще более усугубляется неспособностью советской системы реализовать переход от экстенсивной к интенсивной форме развития. На официальном уровне это приводит к новым заимствованиям у «базовой модели», которые сводятся к деполитизированной концепции экономических реформ; в самых широких социальных слоях наиболее типичный ответ на кризис выражается во все более явном отказе от статистской модели во имя иных ценностных критериев, являющихся производной передового капиталистического общества. В частности, «потребительская модель» оказывает всевозрастающее влияние и отодвигает совершенно в тень социалистический проект преобразования обыденной жизни. По мнению авторов, «третий путь» выхода из этих тупиков должен сочетать ценность — цель гуманизации (в смысле самореализации потребностей и их автономной интерпретации) — с потребностями более динамичной экономики. Что касается

⁶⁵ Ibid., p. 190.

⁶⁶ "Die Neue Linke in Ungarn...", Bd. 2, S. 120—137; "The Humanization of Socialism..."

вопроса о том, какие социальные силы и какие социально значимые потребности могут придать больший вес этой альтернативе, то на этот счет авторы делают гораздо менее ясные выводы.

Если считать, что Хегедюш более других теоретиков венгерской оппозиции приблизился к идеям реформистского коммунизма, то Д. Бенке и И. Киш представляют полную противоположность⁶⁷. Их анализ обществ Восточной Европы основан на крайне пессимистической оценке этапа, который последовал за 1968 годом. Они усматривают в нем одновременно и послесталинскую и послереформистскую фазу: господствующий класс приобрел теперь внутреннее единство и гибкость, которые исключают как безоговорочный возврат к террору, так и взрыв внутренних конфликтов, способный расчистить путь для осуществления более радикальных планов преобразования общества. Более общая теория, конструируемая ими вокруг этого предположения, сводится к двум основным тезисам: общества стран Восточной Европы представляют собой тип современного некапиталистического общества и все еще могут считаться классовым обществом в Марксовом понимании, хотя классовые отношения внутри них не проявляют себя так, как это характерно для отношений между капиталом и наемным трудом.

По мнению Бенке и Киша, *proton pseudos* классического марксизма — это приравнивание капиталистического развития к модернизации. Они настаивают на нередуцируемом плюрализме путей и типов современности. Специфическая характеристика советского пути — ликвидация формальной автономии организаций и создание «глобальной иерархии власти и администрации». Это приводит к маргинализации рынка (но не к полной его ликвидации, так как пережитки рынка сохраняются) и к отсутствию демократических механизмов, позволяющих институционализировать конфликтующие между собой интересы. Бенке и Киш не объясняют отсутствие демократии как следствие исчезновения рынка; они считают это скорее результатом нового политического принципа организации, которым и может объясняться резкая переоценка роли рынка, равно как и невозможность полностью его уничтожить, а также повторяющиеся, хотя и неизбежно безрезультатные попытки восстановить по меньшей мере некоторые из его механизмов в рамках более рациональной экономической системы.

Несмотря на моноорганизованную иерархию этих обществ, Бенке и Киш все-таки не отказываются от принципов клас-

⁶⁷ "Toward an Eastern European Marxism". London, 1978 (издано под псевдонимом Marc Rakowsky; в одной из статей, появившихся в «Социалист реджистер» за 1980 год, авторы раскрыли свой псевдоним. Вероятно, книга была написана в 1972—1975 годах.

сового анализа. Однако их подход к проблеме отличается от подхода, принятого другими теоретиками нового господствующего класса, которые не пытаются проследить трансформацию определенной социальной группы (бюрократии или интеллигенции) в господствующий класс; напротив (и в этом они, вне сомнения, более близки как к классическому марксизму, так и к современным, наиболее интересным вариантам теории классов), они исходят из определения фундаментальных классовых отношений для того, чтобы перейти затем к рассмотрению роли классов как коллективно действующих лиц. Более того, они проводят различие между двумя уровнями Марксовой концепции класса — социологическим и историческим; первый характерен для всех непервобытных обществ, будучи связан с проблемой различных возможностей доступа к контролю над средствами производства и его результатами; второй же более специфичен для одной из исторических новаций, порожденных в ходе капиталистического развития, то есть связан со способностью классов давать рациональное и организованное выражение интересов в определенной социально-экономической ситуации. В экономических формациях Восточной Европы отсутствие второго элемента столь же очевидно, сколь и крайняя интенсификация первого: почти тотальная монополизация ничтожным меньшинством функции регулирования и управления приводит к периодическим взрывам, но не к открытым и институционализированным конфликтам. Более того, глубина классовой пропасти и блокирование классовых конфликтов — это дополнительное воздействие тех же основных причин: сращивание политической власти с экономической в рамках тотальной иерархии предупреждает как возникновение автономных организаций подчиненных классов, так и открытое выражение отраслевых интересов внутри самого господствующего класса.

Таким образом, согласно Бенке и Кишу, классовый анализ — эта та единственная часть марксистской теории, которая с полным правом может быть применена в Восточной Европе. Другие же ее аспекты они считают устаревшими, сбивающими с толку или имеющими всего лишь побочное значение. Марксова критика политической экономии не имеет никакой связи с советской моделью общественной и экономической организации. Принимая во внимание новую конфигурацию классовых отношений, социальные функции идеологии уже нельзя объяснять посредством традиционной марксистской терминологии. По этому вопросу Бенке и Киш мало что могут сказать, и некоторые их наблюдения представляются нам крайне искажающими реальное положение вещей (например, когда они утверждают, что использование марксистской идеологии новым господствующим классом —

это всего лишь результат «исторического несчастного случая»). Более категорично эти авторы отвергают антропологические взгляды Маркса, которого они обвиняют в «абстрактном радикализме» и неспособности учитывать реальность нового классового общества.

Вообще говоря, темы, которые эти авторы обошли молчанием или которые выпали из их поля зрения, занимают существенную часть в Марксовом наследии. Верно, что Маркс считает капитализм одним из многих способов производства на протяжении истории; однако наряду с этим узким определением капитализма Маркс использовал еще одно — гораздо более радикальное. Согласно ему, капиталистический мир противостоит всем предшествующим формам общественного производства; его приход к власти Маркс рассматривает как беспрецедентный исторический разрыв, подлинный перелом в соотношении сил традиционного мира. Подчеркивание революционного облика капитализма явно основано на антропологических предпосылках: капиталистический этап истории представляется Марксу в виде глобальной трансформации, которая затрагивает весь комплекс отношений человека с природой и другими людьми. Антропологические взгляды Маркса открывают более широкое, чем ортодоксальная теория способов производства, поле деятельности для исследователей роли культурных изменений в истории, включая сюда и идеологию в узком смысле этого слова.

Хотя этот аспект творчества Маркса не так систематически разработан, как анализ капиталистической экономики (причем в силу этого обстоятельства влияние его на последующую марксистскую традицию было весьма ограниченным), его значение для критики реального социализма можно более успешно показать в связи с третьей опорой Будапештской школы. Речь здесь идет о теории «диктатуры над потребностями», которую разработали Ференц Фехер, Агнеш Хеллер и Дьердь Маркуш⁶⁸.

В теории «диктатуры над потребностями» нашли отражение (в гораздо большей степени, чем в какой-либо иной актуальной теории) антропологические дискуссии 60-х годов и структурный анализ 70-х годов; эта теория использует как Марксовы, так и веберовские концепции, однако весьма отличным образом от того, который принят Конрадом и Селеньи, равно как и от того, который принят авторами, разрабатывающими теорию бюрократического господства. Наконец, эта теория перебрасывает мост между неомарксистскими перспективами, основанными на исследовании экономических структур и социального антагонизма, и немарксист-

⁶⁸ F. Fehér, A. Heller, G. Markus. Dictatorship over Needs...

скими теориями тоталитаризма. Первый и второй пункты тесно связаны друг с другом: антропологическая база помогает преодолевать как узость концепций тоталитаризма (отождествляющих его с массовым террором и перманентной политической мобилизацией населения), так и экономическое искажения Марксовых взглядов на производство.

Чтобы дать представление о генезисе данной теории, необходимо напомнить вкратце об исходных позициях Будапештской школы. Если абстрагироваться от индивидуальных различий, то на первый план выступают две ее главные идеи. С одной стороны, модель человека, которая предложена этой школой, явно включает в себя социальные и исторические компоненты. Будапештская школа выступает против таких концепций «человеческой сущности», которые стремятся исключить или размыть эти компоненты. С другой стороны, теория потребностей помогает избежать ловушки чрезмерно социализирующей и историзирующей концепции человека. Потребности рассматриваются не в качестве естественного субстрата человеческой деятельности, а как по меньшей мере пути пересечения природы и культуры. Марксова идея «свободного развития человеческих способностей» должна рассматриваться в совокупности со сферой потребностей; этим путем можно обеспечить автономию отдельных индивидов. Последовавшие модификации этой антропологической схемы имеют общий знаменатель: они предлагают в качестве перспективы плюралистическую концепцию. Она и была с самого начала логическим следствием подчеркнуто критического отношения Будапештской школы к «реальному социализму». Предыдущие толкования Марксовых взглядов на человека неотделимы от планов создания эмансипированного посткапиталистического общества; теперь же лишенный иллюзий взгляд на исторический опыт Восточной Европы приводит к выводу о том, что верх взяла весьма отличающаяся от предполагаемой альтернатива, хотя и некапиталистическая по своему характеру. В некотором отношении это постановка Марксовой идеи с ног на голову, а не просто извращение идеи Маркса и не какой-то совершенно новый проект; однако эта перевернутая с ног на голову Марксова идея прочно уходила своими корнями в социалистическую традицию. Именно эта традиция и стала полем боя для антропологических установок, находящихся в непримиримом конфликте⁶⁹. Однако наряду с таким подходом был

⁶⁹ Концептуальная несовместимость не исключает возможности эффективных сочетаний. Пример тому — «двойная антропология» якобинско-ленинской традиции, то есть «общедоступное учение» о совершенствовании человека, выступающее в сопровождении «тайной доктрины», основанной на гораздо более пессимистической точке зрения на эмпирическое человечество; см.: *F. Fehér. The Frozen Revolution. A Study in Jacobinism* (не издано).

также и иной, относящийся более позитивно к проблематике нового плюрализма. Ценностная идея Маркса о свободном развитии была подвергнута процессу плюрализации. Плюрализм форм жизни изображался, таким образом, составной частью самореализации человеческой сущности. Вновь сформулированные антропологические установки оказались жизненно важными для критики реального социализма. Антиплюралистическая логика системы рассматривалась теперь как одна из наиболее заслуживающих критики ее характерных черт.

Таким образом, концепция потребности приобрела новую функцию; она использовалась теперь для объяснения *modus operandi* прежде неизвестной формы господства. «Диктатура над потребностями» — это «тотальная система социального господства», такая система, где «сам факт владения и присвоения общественного прибавочного продукта аппаратом, представляющим собой корпоративную организацию, является единственным материальным элементом и экономическим компонентом монополистической экспроприации всех средств организации и социальных отношений»⁷⁰. Будучи прямой и насильственной формой детерминирования потребностей, новая форма господства изменяет структуру отношений между человеком и обществом. Это не означает, что социологическая интерпретация может подменить собой структурный анализ: система тотального господства имеет свои структурные принуждения и свои институционные комплексы, и как раз одной из главных задач теории является попытка объяснения того, как функционируют механизмы этой системы. Однако именно в силу своего тотализирующего характера «диктатура над потребностями» требует распространения власти на различные сферы общественной жизни, делая, таким образом, неразличимыми типичные демаркационные линии, проходящие внутри современных неототалитарных обществ (ключевую роль партии в качестве единственного обладателя экономической, политической и идеологической власти можно видеть как раз в этом свете). По той же причине можно вносить и относительно серьезные поправки в деятельность системы, однако при условии, что ее глубинные механизмы будут сохранены в неприкосновенности. Все это явно применимо к анализу изменений в постсталинскую эру.

Наиболее специфические черты и в то же время самые регрессивные по своему характеру особенности «диктатуры над потребностями» касаются отношений между индивидом и обществом. На экономическом уровне советская система изо-

⁷⁰ F. Fehér, A. Heller, G. Márkus. Dictatorship over Needs..., vol. I, p. 167.

брела свое собственное решение общих проблем современного мира, то есть «требование, на первый взгляд антиномичное, соединить глубоко общественное производство с потреблением и выбором трудовой деятельности, которые значительным образом дифференцированы и индивидуализированы»⁷¹. Речь идет о «дуалистическом сочетании административно-централизованного производства, единственным субъектом которого (изначально) является унифицированный аппарат власти, и децентрализованного потребления, понимаемого (наряду с «продажей» рабочей силы) как экономическая деятельность миллионов независимых семей»⁷². В рамках сферы общественного производства автономность индивида, таким образом, частично отменяется, частично нейтрализуется посредством децентрализации. Политическая же система существует за счет соответствующей обработки homo politicus; гражданин тем самым еще раз сводится к объекту, однако в обстоятельствах, которые значительным образом отличаются от традиционного угнетения. Тот процесс, который происходит в идеологической сфере, прекрасно описан как «затемнение» и как «уничтожение потенциально свободного индивида»; логика «диктатуры над потребностями» несовместима с нравственной и интеллектуальной автономией; перед лицом индивида институты действуют, согласно патерналистским шаблонам.

Формы социализации составляют, однако, всего лишь один из аспектов системы. Что касается исторического исследования ее институциональных принципов, то наиболее подходящей отправной точкой является различие между экономическими, политическими и идеологическими структурами. Хотя анализ и показывает, что «диктатура над потребностями» не придерживается модели системной дифференциации, принятой капиталистической формой промышленного общества, данное триединство, имеющее важное значение также и в самых недавних разработках западного марксизма, по-прежнему обладает известной аналитической ценностью.

1. В Марксовой парадигме производства основополагающим элементом является взаимодействие между потребностями и производственной деятельностью. Когда социальный аппарат власти прямо берет на себя задачу посредничества между этими двумя звеньями, тогда этот аппарат соответствующим образом изменяет весь комплекс общественного производства. И что еще более важно — производственные отношения сливаются с более общими механизмами политического и идеологического контроля. Следовательно, организа-

⁷¹ Ibid., p. 113.

⁷² Ibid., p. 121.

ция производства более не включена в относительно автономную экономическую структуру. Производство в Марксовом смысле (то есть присвоение природы в общественном контексте) остается ключом для понимания общественной жизни, однако «примат экономики» в том смысле, в каком он приписывается классическому капитализму, исключается из самой логики системы.

Данная релятивизация экономических детерминант касается как целей, так и институтов реального социализма. Совершенно ошибочно описывать реальный социализм как некое соединение экономических целей, аналогичных целям капитализма или даже более продвинутых по сравнению с ними. Ни «производство ради производства», ни «накопление за счет потребления» не являются адекватными формулировками. Комплексное развитие производства всегда подчинено какой-то цели и выполняет какую-то функцию, которые социально детерминированы, а в обществе стран Восточной Европы (в противоположность тому, что происходит в условиях классического капитализма) их нельзя более определять с помощью чисто экономической терминологии: «максимализация объема материальных ресурсов (используемых ценностей), находящихся в полном подчинении аппарата власти, в своей совокупности является целью-функцией, управляющей экономической деятельностью государства»⁷³.

Попытки свести «диктатуру над потребностями» к новой форме собственности приводят к аналогичным результатам. Отношения собственности отчасти расплывлены, отчасти же переданы в ведение более широкой системы власти, распространяющейся на все сферы общественной жизни. Власть над организацией производства рассредоточена, хотя и неравномерно, по всем звеньям бюрократического аппарата администрации и управления; фундаментальные решения, касающиеся комплексного распределения общественного прибавочного продукта, находятся исключительно в компетенции центрального аппарата, то есть руководящей группы партии; на этом уровне экономические соображения подчинены в конечном итоге «интересам государства» так, как они понимаются центральной политической властью. Так что скорее не новой формой собственности, а функциональным эквивалентом собственности определяются цели производства. Иными словами, если понятие собственности в какой-то мере применимо к этим обществам, то его можно употреблять только в смысле «корпоративной собственности аппарата, находящейся во владении части или всех членов этой корпорации, как противостоящей групповой или коллективной собственности»⁷⁴.

⁷³ Ibid., p. 84.

⁷⁴ Ibid., p. 88.

Наконец, «диктатура над потребностями» — это вовсе не плановая экономика, какое бы значение этого термина мы не применили к странам реального социализма. Бюрократическое регулирование экономики основывается на «интегрированной системе приказов, увязанных друг с другом», что в свою очередь является результатом борьбы и соглашений внутри партийного аппарата. Таким образом, «директивная экономика» имеет свою собственную систему предпочтений, хотя внутренне недостаточную и ущербную. Для того чтобы хоть как-то удовлетворить минимальный спрос экономической рациональности, система вынуждена придумывать суррогаты рынка, которые оказываются более или менее эффективными. Она находится в зависимости от сегментированных рынков, которые «невозможно оценить в количественном выражении при помощи цен», рынков, охватывающих собой сферу потребления благ и рабочей силы. Хронические трудности системы приводят к периодическим экспериментам в виде экономических реформ, призванных придать больший потенциал рыночным механизмам, не ставя, однако, в опасность верховный примат «государственных интересов». В конце концов система не может функционировать без двух «взаимодополняющих друг друга экономик»: сильно разветвленного комплекса частных предприятий и частного предпринимательства наряду с «общим эквивалентным обменом взаимными услугами», основанным на «личных неформальных отношениях в духе круговой поруки внутри партийно-государственного аппарата».

2. «Унифицированная система приказов» предполагает повторную *политизацию общества*. И в этом смысле советская модель является примером отрицания разделения государства и общества, характерного для современной цивилизации. Выводы, с одной стороны, могут быть увязаны с исследованиями предсовременных политических обществ (существует, например, ряд убедительных аналогий между абсолютистским государством и принципами «суверенитета партии», которые ревностно оберегаются советской официальной доктриной); тогда как, с другой стороны, «этатизация» современного развивающегося общества вызывает потребность в новых механизмах власти, которые традиционная политическая теория не в состоянии определить.

Повторная политизация общества отнюдь не означает установления произвольного и неконтролируемого господства политической элиты. Система эта имеет свои собственные институциональные обязательства, наиболее очевидным образом проявляющиеся в экономической сфере. Руководящая политическая группа, несмотря на все усилия, оказалась бессильной изменить ряд наиболее вопиющих «отрицательных структурных явлений» в экономике стран Восточной Европы. Вообще говоря, новый «господствующий класс» явно неспособен под-

чинить всю экономику целям обеспечения себе прибылей и привилегий: «Он консервирует и в то же самое время защищает институционные позиции, создающие менее благоприятные условия для наслаждения „доходами”»⁷⁵. Другими словами, власть осуществляется и цели ее формируются не аппаратом, а группой, причем функционирование аппарата только отчасти детерминировано индивидуальными или привходящими интересами его членов. Теория «диктатуры над потребностями» не придает концепции интереса той экспликативной силы, какой обычно наделяли ее марксистские теоретики (при отсутствии социальных механизмов, способствующих формулированию и реализации интересов, последние не могут выполнять ту же функцию, какой они обладают в плюралистическом обществе). Однако, учитывая динамику интересов, можно утверждать, что исключительная власть аппарата в определении общего интереса абстрагируется от своих собственных специфических интересов. Система действует посредством превентивного присвоения общих интересов, а не посредством преобразования частных интересов.

С другой стороны, политизация общества порождает в нем скованность и новые проблемы. Так, новая система угнетения испытывает необходимость в легитимации не в меньшей степени, чем те системы, которые ей предшествовали. Здесь наблюдается особенно сильное различие между Советским Союзом и его европейскими сателлитами. Что касается последних, то легитимация режима, понимаемая в смысле его полного принятия обществом или по меньшей мере отсутствия явных альтернатив существующему строю, по очевидным причинам достижима с большим трудом, и можно даже говорить о хроническом кризисе легитимации. В Советском Союзе существующий порядок признан обществом в качестве естественного, однако при этом стали явными значительные трудности, связанные с окончательной стабилизацией этого признания. Господствующий аппарат отчасти попытался использовать традиционные типы легитимации (харизматический — в сталинский период, полутрадиционный — после 1964 года), отчасти экспериментировал с новыми, например, утверждая свое право на существование при помощи самостоятельной рациональности.

3. Для «диктатуры над потребностями» идеологический тоталитаризм является не менее существенным, чем политическая монополия на власть. В силу стремления подчинить своему контролю жизнь всего общества власть аппарата не может осуществляться без универсальных интерпретаций его деятельности. Идеология, таким образом, выполняет роль основы общественной жизни, причем в гораздо большей степени,

⁷⁵ Ibid., p. 82.

чем это характерно для современного нетоталитарного общества. Это еще более очевидно, если принять во внимание генезис системы: считая себя «ответом капитализму и его противоречиям»⁷⁶, система существует за счет упорядоченных идеологий и наиболее распространенных культурных ориентаций, сопровождавших рождение и распространение капитализма. Наиболее ясно очерченные идеологические принципы относятся к социалистической традиции. Что же касается логики «диктатуры над потребностями», то она движется в противоположном направлении по сравнению с освободительными намерениями социализма; поэтому нельзя отрицать ее сходство с рядом наиболее двусмысленных моделей социалистической мысли, например с якобинской идеей педагогической диктатуры, сен-симонистским наследием технократического этатизма и бабунистскими планами авторитарной регламентации потребностей⁷⁷. В этом смысле критика нового общества должна содержать в себе также и самокритику социализма. Туманное стремление к модернизации особенно остро проявляется в слаборазвитых районах, где наиболее крупные успехи передовых капиталистических стран воспринимаются как своего рода препятствие на пути к более уравновешенному прогрессу человечества. «Негативные утопии индустриализации», экстраполяция тенденций, свойственных индустриальному обществу, блокируемых, однако, специфической исторической формой капитализма, — все это расчистило путь для «диктатуры над потребностями». Представления о тотально централизованном обществе и полностью контролируемой рабочей силе более близки к осуществлению в новом обществе, чем когда бы то ни было при капитализме.

До сего времени идеологический компонент, судя по всему, играет едва ли не преобладающую роль в генеалогии и структуре «диктатуры над потребностями». Обратная сторона медали — структурная и функциональная трансформация идеологии, причем настолько радикальная, что оказывается поставленным под вопрос само традиционное значение идеологии. При этом следует отметить два аспекта этого процесса. Прежде всего идеологические составляющие режима все чаще функционируют посредством внешнего принуждения и все реже путем мотивировки и убеждения; до тех пор пока идеология остается необходимой для определения принципов и целей общественного развития, ее статус не переживает сколь-нибудь значительного кризиса, вызванного эрозией доверия к ней. Во-вторых, существование идеологической монополии модифицирует характер самой идеологии: «То, что, собственно говоря, именуется идеологиями, находится в состоянии кон-

⁷⁶ Ibid., vol. III, p. 1.

⁷⁷ Ibid., p. 7 sgg.

курентной борьбы друг с другом; идеологии выходят на рынок, они все более множественны»⁷⁸. Советский марксизм является государственной доктриной, всеобъемлющим и исключительным мировоззрением, а не идеологией в традиционном смысле. Его претензии на научный статус служат достижению двоякой цели: принципы научности используются для того, чтобы продемонстрировать рациональность доктрины как таковой и оправдать ревизию некоторых ее привычных догм.

4. В заключение необходимо вкратце рассмотреть общественную структуру «диктатуры над потребностями», конкретную значимость экономических, политических и идеологических ее составляющих. Ключевой вопрос, требующий ответа, следующий: правда ли, что новое классовое общество является системой, или же его скорее всего можно описать как некую новую форму «бесклассового» господства? На первый взгляд очевидным представляется набор аргументов в пользу первой альтернативы: если классовые отношения предполагают не только присвоение прибавочной стоимости господствующим классом, но также и его право проводить различия между прибавочным и необходимым трудом, равно как и детерминировать использование прибавочного продукта, то «диктатура над потребностями» явно относится к этой категории. «Насильственное ограничение потребностей» и тотальный контроль над распределением прибавочной стоимости наводят на мысль об особенно радикальной форме классового разделения общества. Его социальные последствия приводят к тому же выводу; глубокий антагонизм между аппаратом и трудящимся населением является, безусловно, наиболее характерной чертой общества в странах Восточной Европы.

Отвергнуть или по меньшей мере ограничить классовый подход к анализу общества советского типа невозможно, так или иначе приходится иметь дело отчасти с противостоящими социальными группами, отчасти же со скрытой классовой структурой общества, живущего по своим особым принципам.

Марксова концепция класса в том виде, как она используется при анализе капиталистического общества, предполагает не только учет «взаимозависимости противоположных классовых интересов, сталкивающихся в борьбе за присвоение произведенного прибавочного продукта»⁷⁹, но также и способность противостоящих групп формулировать свои интересы и организовываться в партии. Такого рода возможностью производители в странах Восточной Европы не располагают. «Диктатура над потребностями» отчасти разобщает население, отчасти направляет его сопротивление по совершенно иным каналам, чем те, которые существуют в классовом об-

⁷⁸ Ibid., vol. II, p. 88.

⁷⁹ Ibid., vol. I, p. 150.

ществе. В частности, кризисы этой диктатуры приводят к возникновению открытых конфликтов между гражданским обществом и государством. Однако аппарат не ведет себя как класс в подлинном смысле этого слова; хотя его внутренняя однородность теперь несомненно выше, чем во время сталинской эры, он скорее является корпоративной организацией, нежели объединением индивидов, интересы которых совпадают. «Данный тип социальной группировки... основан на примате особым образом организованной группы (корпорации), противостоящей отдельной личности»⁸⁰; эту корпорацию можно рассматривать как «своеобычную господствующую группу», которую не следует путать с господствующим классом.

Антагонизм, существующий между аппаратом и населением, является не единственным конституирующим принципом общества советского типа. С ним взаимодействуют два других принципа, также влияющих на модель социальных конфликтов: «однородность государства», наглядно выражающаяся в народных представлениях об обществе как «пирамиде власти» и являющаяся объективной тенденцией общественной жизни; и общественное разделение труда, приводящее к конфликтам между городскими и сельскими слоями, между трудящимися и интеллектуалами, равно как и между различными категориями работников физического труда. В общем, нет простого ответа на поставленный нами вопрос. «Диктатура над потребностями» приводит к радикализации одних аспектов классовых отношений и ликвидирует другие.

Из всех рассмотренных концепций «диктатура над потребностями» представляется мне наиболее стимулирующей отправной точкой для дальнейших дискуссий о Восточной Европе. Нижеследующие замечания касаются некоторых узловых ее пунктов.

1. Как уже было отмечено, антропологический подход к феномену тоталитаризма открывает новые области для анализа общества в странах Восточной Европы. Адекватность категорий исторического материализма может теперь быть проверена на двух уровнях: как в связи с экономическими структурами и социальными антагонизмами, так и в связи с более общими последствиями реализации на практике марксистского представления о человеке в обществе. В трансформациях этих представлений видна более высокая степень преемственности, чем это можно заметить благодаря новым концептуальным формулировкам, относительно сфер экономической и общественной жизни. Но теория потребностей и объективаций отнюдь не единственная мыслимая рамка для исследователь-

⁸⁰ Ibid., p. 148.

ской работы. «Диалектика конкретного» Косика содержит ряд потенциально крайне важных элементов для критики реального социализма, однако, как мы видели, ее теоретический потенциал так никогда и не был полностью использован. Реляционная концепция праксиса, разработанная Косиком, содержит в зародыше соответствующее тоталитаризму понятие, концептуально воспринимаемое как характеристика общества, раздираемого противоречиями, несмотря на свою кажущуюся однородность.

2. С другой точки зрения теория «диктатуры над потребностями» нуждается в дополнении более общей теорией, соответствующей требованиям современности. Хотя данная тема была изучена венгерской оппозицией более глубоко, чем в какой-либо иной стране Восточной Европы (имеются, правда, отдельные пункты, в которых анализ, проделанный венграми, совпадает с концепцией Хабермаса о современности как эволюционном пороге), теория, соответствующая требованиям современности, составляет долгосрочную программу, а сегодня она представляется нам лишь в самых общих чертах. Один из предварительных необходимых шагов при нынешнем незавершенном состоянии исследовательской работы состоит — как для западных марксистов, так и для восточных — в сведении счетов с Марксовой теорией капиталистического развития. Как отмечалось в связи с работами Бенке и Киша, интерпретация капиталистической эпохи у Маркса и то место, которое она занимает в истории, колеблется между частичной и тотальной концепциями. Двойкий образ капитализма как способа производства и как исторической формации находит отражение в двусмысленностях и диссонансах, которые повсеместно встречаются в работах Маркса — и в теории стоимости, и в теории революции. Даже реконструкция общей концепции капитализма в масштабе один к одному в лучшем случае может считаться лишь первым шагом в направлении создания теории современности.

Однако этот аспект работы Маркса имеет известное значение и для критики реального социализма. Теория государственного капитализма — это как раз одна из концепций западного марксизма, которую Фехер, Хеллер и Маркуш явно отвергают (другие теории — это теория общества переходного типа и теория азиатского способа производства). Как им удалось убедительно показать, теории, сводящие общества советского типа к крайним формам капитализма, не в состоянии объяснить наиболее характерные черты новой системы. Сказав это, следует, однако, повременить с вынесением окончательного суждения. Теория государственного капитализма — всего лишь одна из многих попыток установить связь между структурой послереволюционного общества и теми тенденциями капитализма, которые направлены на преодоление

самих себя. Подобные объяснения имеют более прочный фундамент, когда они основываются не на частичной, а на общей концепции капитализма. Как показывают работы Касториадиса, логика данной позиции может привести к постепенному отходу от концептуального аппарата традиционного марксизма.

3. Теория «диктатуры над потребностями», по существу, посвящена изучению самовоспроизводства советской модели социализма. Одна из основных ее целей состоит в том, чтобы показать, что новое общество — это когерентная и самовоспроизводящаяся система, а не временное явление или ошибка истории. Историческое происхождение системы и необходимая адаптация ее логики к изменяющимся историческим обстоятельствам обсуждаются, однако, менее широко. Правда, в контексте нынешней полемики данное выборочное акцентирование этого аспекта системы представляется оправданным. Тем не менее в более глубоком смысле отделение вопросов генезиса системы от ее структуры не может считаться необходимым с методологической точки зрения. Более того — возникает вопрос, не предполагает ли новое общество также и наличия нового отношения между генезисом и структурой. Некоторым образом «диктатура над потребностями» является результатом разрыва с прошлым, разрыва радикального и беспрецедентного. Обратная сторона медали — включение в систему и активное воспроизводство некоторых фундаментальных аспектов докапиталистического развития. Эта неоспоримая преемственность привела к тому, что некоторые критики стали интерпретировать советскую систему как некий новый вариант азиатского способа производства или восточного деспотизма. Фехер, Хеллер и Маркузи отвергают подобную аргументацию как несовместимую с сущностным уровнем современности нового общества. Учитывая тот известный факт, что признаки докапиталистического развития никоим образом не могут служить основанием для исчерпывающего объяснения феномена, следует также заметить, что недавняя дискуссия об азиатском способе производства в ряде аспектов модифицировала первоначальную тематику, приблизив ее к историческим реальностям. Понятие о специфическом способе производства постепенно уступает место более общим представлениям об обществе, менее зависимом от эволюционных моделей и условий среды. В известном смысле концепция азиатской формации противопоставит общей концепции капитализма; она включает в себя различные направления развития и этапы развития: при всей своей ограниченности теория Виттфогеля о восточном деспотизме с этой точки зрения представляет больший интерес, чем на это указывали его критики. В этих условиях крайние формы деспотического государства, судя по всему, возникали скорее в

маргинальных или промежуточных зонах, чем в центрах азиатской цивилизации; пример тому — история России.

4. Наконец, специфика развития системы советского типа требует дополнительных разъяснений. Безусловно верно, что общества этого типа не являются «смесью докапиталистических, капиталистических и послекapиталистических черт», однако таким путем не может быть оправдан особый синкретизм⁸¹ системы. Этот синкретизм проявляется в сочетании трех вышеуказанных способов производства, а также в дуализме «централизованного производства по административному плану и атомизированного потребления»⁸². В политической сфере суверенитету партии соответствует всеобъемлющий государственный аппарат, а также пусть менее очевидная, но зато в конечном итоге, быть может, более выраженная милитаризация общества. Что касается идеологии, то симбиоз универсалистской доктрины с националистическими течениями указывает на движение в том же направлении. Это явление весьма заметно в Советском Союзе, однако система, стремящаяся к легитимации, даже несмотря на гораздо большую опасность национализма в странах «народной демократии», нигде не может совершенно обойтись без него.

⁸¹ Я заимствовал это выражение из недавней публикации, принадлежащей перу Фелипе Гарсия Казальс (псевдоним одного из восточноевропейских авторов) и озаглавленной «Синкретическое общество» (Felipe Garcia Casals. *The Syncretic Society*. New York 1980). По мнению этого автора, «синкретическое общество» — это не общество переходного типа; скорее всего, это способ перехода, преобразовавшийся в способ производства. «Из этого следует, что в случае преждевременно родившегося социализма курс, принятый в ходе дифференциации, отходит от модели Парсонса. В данном случае дифференциация проявляется не в увеличении количества функционально определенных элементов, а в функциональном синкретизме. Отсюда — некогерентность каждого из отдельно взятых элементов» (p. 55). Однако в данном пункте значение интересных предположений автора ослаблено его крайне ортодоксальной версией диалектики производительных сил и производственных отношений; в итоге сталинизм может быть изображен как длительное насилие над историей.

⁸² P. Fehér, H. Heller, G. Márkus, *Dictatorship over Needs*, vol. I, p. 112.

Влодзимеж Брус

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

После второй мировой войны система функционирования социалистической экономики, возникшая в СССР в начале 30-х годов, была распространена на все страны, во главе которых стояли коммунисты (в том числе на Югославию и Китай), утверждавшие, что они довели до конца свою революцию и что у них есть собственные политические принципы, которые они положат в основу нового социально-экономического порядка. Это распространение означало, что система, о которой идет речь, рассматривалась как универсальная модель, а не как система, пригодная только для специфических условий и экономических проблем Советской России. В некоторых «народных демократиях» (этот термин используется применительно к странам Восточной Европы, входящим в советский блок) вначале имели место попытки разработать модифицированный вариант централизованного планирования (это прежде всего относится к Чехословакии в период 1946—1947 годов), но, по мере того как этим странам навязывался сталинизм, экономическая система всех «народных демократий» становилась одинаковой, построенной по образу и подобию советской, которую подавали как бесспорное воплощение марксистской идеи планирования. Следует отметить тот факт, что максимально централизованная система была составной частью того советского опыта, которую коммунистические вожди стран Восточной Европы приняли действительно без каких-либо оговорок или сопротивления (в отличие от других элементов этого опыта, вызывавших осложнения, по крайней мере в некоторых случаях)¹. Никакого другого практического опыта, кроме централизованного планирования, не было, а все, что было известно тогда о советском экономическом развитии, противопоставлявшемся незабываемому «великому кризису» Запада 1929 года как точке отсчета, казалось, должно было оп-

¹ W. Brus *Stalinism and the "People's Democracies"*. — In: *"Stalinism. Essays in Historical Interpretation"* (ed. by R. C. Tucker). New York, 1977. См. также: P. Spriano. *Il movimento comunista tra guerra e dopoguerra: 1938—1947*. — In: *"Storia del marxismo"*, vol. III, tomo II, p. 718 sgg.

равдать возлагавшиеся на эту систему надежды. Несомненно, самостоятельный выбор, сделанный в этом направлении югославами после войны и китайцами в начале 50-х годов, подкреплял это мнение.

Однако сложившейся ситуации суждено было измениться под действием двух факторов: 1) трудностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе практического освоения системы советского типа; 2) политических условий, которые заставили проанализировать эти трудности и обсудить возможные альтернативные решения. В Югославии сразу же после разрыва с СССР и его сателлитами в 1948 году оба фактора дали о себе знать одновременно. В других странах Восточной Европы и в самом Советском Союзе дискуссия об эффективности системы могла развернуться лишь после смерти Сталина. В Китае первая дискуссия по тем же вопросам, что и в Восточной Европе, имела место лишь в конце первой пятилетки, то есть в 1956—1957 годах².

Вызов, брошенный системе советского типа югославами, был обусловлен практическими причинами совершенно особого характера. Дело в том, что после краткого периода, характеризовавшегося стремлением доказать собственную верность и несправедливость обвинений в ереси, югославская коммунистическая партия столкнулась с проблемами двойного рода — поиска путей для лучшего удовлетворения экономических нужд и чаяний народа и выработки идеологической альтернативы советской модели; в существовавшей тогда обстановке оба эти вопроса приобретали огромное политическое значение. Вот почему введение в Югославии с 1950 года самоуправления, децентрализация экономики, а также принятие рыночного механизма никогда не рассматривались лишь в плане практического их влияния на рост эффективности, а всегда были подчинены более общему вопросу — о самоуправленческом социализме. Не так было в СССР и странах «народной демократии», особенно на начальном этапе послесталинского периода: на первый план тогда были выдвинуты практические соображения, а идеологических сопоставлений избегали всеми возможными способами, причем тем больше, чем упорнее выдвигались обвинения в ревизионизме. Однако вопросы, обсуждавшиеся в «народных демократиях» (и даже в СССР после 1957 года), выходили за рамки механизмов планирования и контроля над национализированной экономикой, включая, например, такие темы, как руководство экономической политикой, отношения между частным и национализированным сектором и т. д. Это касается, в частности, так называемого «нового курса»,

² C. Lin. The Reinstatement of Economics in China Today. — "The China quarterly", March 1981.

принятого в СССР и в странах народной демократии практически сразу же после смерти Сталина и имевшего цель перераспределить средства в пользу сельского хозяйства и легкой промышленности. Изменение политики и сопутствовавшие дискуссии обрели особый размах в Венгрии при первом правительстве Имре Надя (1953—1955). Все эти проблемы, несомненно, имеют прямое отношение к теме настоящего исследования, однако мы не будем их здесь анализировать, поскольку собираемся заняться главным образом системой планирования экономики и вопросами контроля над ней.

1. Югославский самоуправленческий социализм

По понятным причинам все сторонники изменения системы функционирования экономики в Восточной Европе стремились представить собственную линию действий как основанную на марксистской теории. Известно, что в работах Маркса прямых указаний относительно экономического механизма при социализме немного и они отрывочны, не являются чем-то единым и последовательным; это объясняется как целями, так и методологией научной работы Маркса. Однако даже очень вольная трактовка Маркса вряд ли позволит представить экономический механизм социализма как основанный на рыночных отношениях, выступающих в качестве главного регулятора процесса общественного разделения труда. Обобщение разработанных Марксом (и Энгельсом) положений о функционировании будущей социалистической экономики выявит следующие характерные черты: 1) прежде всего прямое регулирование общественного разделения труда; 2) прямое определение того, что теперь определяется как «коэффициенты затрат — выпуска», если не для отдельных продуктов, то по крайней мере для нескольких широких групп продуктов; 3) необходимость четкой сбалансированности предложения и спроса в натуральной форме; 4) распределение общественного продукта в соответствии с критериями совокупной общественной пользы и с принципом «каждому по труду» при распределении индивидуального фонда потребления между семьями; 5) централизация фонда накопления и централизованное принятие решений относительно его использования на уровне общества в целом³.

³ W. Brus. *Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej*. Warszawa, 1961, сар. II. Подробный анализ взглядов Маркса на социалистическую экономику можно найти в двухтомнике: G. Temkin. *Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej*. Warszawa, 1962, а также в работе: "Marks idea pieniądza pracy. Z problemów teorii wartości". Warszawa, 1965.

Естественно, это ни в коей мере не дает исчерпывающей картины тех принципов, которые действуют в экономической системе социализма, особенно если иметь в виду, что большая часть приведенных положений не была сформулирована непосредственно для социализма, а выведена методом *от противного* — из капитализма. Тем не менее в общих чертах они дают представление о социализме: для отцов-основателей социализм в отличие от капитализма должен был характеризоваться именно централизованно планируемой экономикой, в которой главные связи процесса воспроизводства должна была сознательно регулировать «видимая верхушка» общества, а не стихийно действующий механизм закона стоимости. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что и противники Маркса, и его последователи понимали социалистическую экономику в прошлом чаще всего как в значительной степени централизованную систему, в которой натуральное распределение ресурсов производится прямо сверху; уступки же рыночным отношениям расценивались как временные явления, оправдываемые в основном незрелостью тех социально-экономических условий, в которых совершается переход к социализму (например, во время так называемого переходного этапа от капитализма к социализму в наименее развитых странах)⁴.

Как же в таком случае можно было критиковать сталинскую экономическую модель с ее высокой степенью централизации и отстаивать именем марксизма альтернативу, суть которой сводилась к гораздо большей ориентации на рынок? Конечно, можно представить общее положение, по которому выводы следует делать, исходя из постоянно меняющихся реальных условий, а не из формулировок прошлого, как наиболее верное духу марксизма. Однако теоретические поиски новых решений в Восточной Европе не ограничивались только этим. Значит, в целях сохранения логической основы аргументации необходимо отдельно проанализировать теоретические предпосылки югославской концепции, с одной сторо-

⁴ В ленинской интерпретации переходный период от капитализма к социализму понимается как период от завоевания политической власти до выполнения (в теории) задачи преобразования частной собственности на средства производства в государственную и коллективную собственность. Незрелость социально-экономических условий характеризовалась главным образом тем, что имелся широкий (а в некоторых случаях преобладающий) сектор частной некапиталистической собственности («мелкотоварное производство»), который, как предполагалось в теории, мог быть коллективизирован постепенно и на добровольной основе. Особенно необходимо было поддерживать тесные контакты с крестьянами (они представляли собой разновидность «мелкотоварных производителей»), наличие которых изображалось в программе Коммунистического Интернационала как главная причина временного сохранения рыночных отношений и после революции (Programme of the Communist International. London, 1929, Ch. IV).

ны, и идеи, развиваемые экономистами-марксистами в странах советского блока — с другой. Начнем с югославов, как потому, что их эксперимент изначально отличался далеко идущими планами и комплексностью подхода, так и потому, что он был первым по времени (хотя полное изложение этой концепции получило отражение лишь в 1958 году в «Люблянской программе» Союза коммунистов Югославии, тем не менее этот документ до сих пор остается, вероятно, наиболее авторитетным в том, что касается теоретических принципов «самоуправленческой модели социализма»). Другим заслуживающим внимания аспектом югославской концепции является тот факт, что она представляет собой официальную доктрину партии, тогда как идеи, которые высказываются в других странах, носят в основном частный характер; это означает, что, представляя эту концепцию, мы можем говорить о ней обобщенно, не ссылаясь обязательно на различное ее толкование отдельными лицами⁵. И наконец, мы подробно остановимся на общем характере самоуправленческой модели, оставив в стороне особенности, связанные с многонациональным характером югославского государства, что, несомненно, также сыграло важную роль в выборе децентрализованного варианта.

Югославский вызов якобы марксистским основам централизма советского типа начинается не с пересмотра экономических целей (что, как мы видели, было бы довольно трудно), а с нового анализа понятия «обобществление средств производства». Как считают все марксисты, обобществление заключается в радикальном изменении отношений собственности, то есть в переходе ее от частных лиц к обществу. Советская доктрина полагала, что этот переход осуществля-

⁵ Наиболее важными документами, иллюстрирующими основы концепции югославского самоуправленческого социализма, являются упоминавшаяся уже «Люблянская программа» (Program Saveza Komunista Jugoslavije. Beograd, 1958) и Конституция СФРЮ 1974 года. Некоторые основные теоретические вопросы, в числе которых вопрос о связи югославского социализма с марксизмом, обсуждались в 1967 году на Международной научной сессии, посвященной 100-летию со дня выхода в свет первого тома «Капитала» ("Marks i savremenost", vol. 4—5. Beograd, 1968). Материалы другого совещания, проходившего в период обсуждения Конституции СФРЮ 1974 года, были опубликованы на английском и французском языках, см.: International University Centre for Social Sciences of Belgrade University (Socialism in Yugoslav Theory and Practice. Beograd, 1975). См. также: *Branko Horvat. Yugoslav Economic Policy in the Post-War Period: Problems, Ideas, Institutional Developments.* — "The American Economic Review", vol. 61, № 3, Suppl. to Part 2, June 1971). Бранко Хорват дал, между прочим, в общих чертах характеристику теоретических и идеологических проблем, связанных с различными ступенями развития югославской экономической системы. Проблемы связи между планом и рынком в контексте югославского марксизма анализируются в книге: *D. Milenkovich. Plan and Market in Yugoslav Economic Thought.* New Haven, 1971.

ется одновременно с завоеванием средств производства социалистическим государством («социалистической национализацией»); более того, она признавала за этим типом собственности ведущую роль (противопоставляя ее кооперативной собственности как низшей форме) просто потому, что она реализуется в общегосударственном масштабе как «собственность всего народа», а не какой-либо группы.

Доктрина югославской партии не отрицает общественно-го характера национализированной собственности на средства производства, однако считает ее более примитивной, «эмбриональной» формой общественной собственности, возникающей именно в результате победоносной политической революции, которая только опрокидывает капиталистическое государство и создает на его месте социалистическое государство. Тем не менее государственная собственность — даже если средства производства находятся в руках социалистического государства — это пока еще *непрямая* общественная собственность. Средства производства, произведенный национальный доход, полученная «социалистическая прибыль» еще не находятся в непосредственном распоряжении субъекта, производящего это богатство, то есть трудового народа. Этим богатством распоряжается государство, действующее от его имени и как работодатель, нанимающий рабочих, и как орган, распределяющий ресурсы. В этих условиях наемный труд нельзя считать упраздненным, а отсюда появляется необходимость «процесса социализации», суть которого состоит в более или менее постепенном переходе от непрямых форм общественной собственности к *прямым*. Последние же не только упраздняют монополию собственности и вытекающую из нее монополию политической и экономической власти одного лица или узкой группы частных собственников, но и лишают этого атрибута само социалистическое государство.

Югославское определение социализма подчеркнуто строится на основе прямой ссылки на высказывания Маркса о Парижской Коммуне, в которых он энергично настаивает на «свободной ассоциации непосредственных производителей» как сущности коммунизма. «Социализм, — пишут югославы, — это общественная система, основанная на обобществлении средств производства, при котором общественным производством управляют прямые производители, объединенные в ассоциации»⁶.

Отсюда следует, что государственная собственность — это не просто низшая форма общественной собственности; даже этой формой общественной собственности она остается лишь в той мере, в какой она последовательно эволюционирует в

⁶ Program Saveza Komunista Jugoslavije..., p. 123.

прямую общественную собственность. Главной же формой прямой общественной собственности на средства производства является *самоуправление производителей*; вот откуда берет свое начало «модель самоуправленческого социализма» — термин, применяемый обычно в отношении югославского варианта.

Развитие процесса социализации в указанном выше смысле требует выполнения целого ряда условий, среди которых важное место занимает развитие материальных производительных сил. Расширяя анализ процесса обобществления, югославская доктрина (или «титоизм», как ее называют некоторые) внесла значительный вклад в критический марксизм, выделив положение, согласно которому и социализм в процессе своего развития не исключает преодоления социально-экономических, *эндогенных* конфликтов (противоречий). Одно из главных противоречий переходного периода к социализму (понимаемого как этап, в ходе которого «эмбриональный» государственный социализм преобразуется в социализм зрелый, самоуправленческий) касается роли и позиции государства. Оно состоит в том, что, с одной стороны, государство — это необходимое условие развития процесса обобществления, с другой — оно не может руководить без аппарата принуждения, то есть не создавая постоянно господствующей бюрократической системы. Это противоречие давит и на партию, которая вразрез с поставленной ею целью препятствовать тенденции превращения государства в инструмент *господства над трудом* сама принуждается к симбиозу с государственным аппаратом.

Разрешение такого противоречия не может заключаться в простом устранении одной из его сторон, поскольку каждая из них имеет объективную основу. Во-первых, партии необходимо перестать функционировать в качестве высшего органа политического и экономического управления (изменение названия — Коммунистическая партия — на Союз коммунистов Югославии в 1952 году должно было символизировать эту новую ориентацию), и, во-вторых, государству как таковому предстоит «отмереть», постепенно уступая свои функции органам самоуправления. При постепенном устранении государства как связующего звена между обществом трудящихся и средствами производства включается двусторонний механизм сближения рабочей силы со средствами производства (то есть объединение в одном лице нанимателя и наемного работника, работодателя и трудящегося) и наступает конец вековечному распределению социальных ролей в зависимости от отношения к средствам производства. В этом смысле самоуправление — это не только компонент социалистической системы, но ее сущность с экономической, политической и социальной точек зрения.

Экономические основы процесса обобществления являются производными первичной функции, которую выполняет самоуправление внутри системы. Экономическая сущность этого процесса, по югославской доктрине, состоит в ограничении прямой экономической деятельности государства и в расширении возможностей принятия самостоятельных решений на местах благодаря растущей децентрализации контроля над экономикой. Это касается решений, не только связанных с обычным административным руководством предприятием, но и, в частности, касающихся распределения произведенного прибавочного продукта между потреблением (доходы трудящихся) и капиталовложениями, а следовательно, и распределения капиталовложений между различными сферами. До тех пор пока весь прибавочный продукт (или значительная его часть) остается в распоряжении государства, общество будет находиться на начальной стадии социализации (этот этап в югославской литературе именуется «этатизацией»); степень «этатизации» уменьшается, а социализации — растет обратно пропорционально их полезности для «ассоциированного труда» работников.

Прямым следствием децентрализации экономики следует считать доверие к рынку как механизму, регулирующему экономику. Программные документы СКЮ связывают существование рыночного механизма с необходимостью общего определения «истинного уровня развития производительных сил на данный момент», которое никогда еще не было достаточно полно разработано. В то же время в них весьма категорично утверждается, что «нарушение закона стоимости и других законов рынка не усиливает, а, наоборот, ослабляет социалистические элементы экономики»⁷ и что «социалистическое товарное производство» единственно возможная форма рационального развития производительных сил, а также «необходимая объективная предпосылка развития самоуправления и прямой социалистической демократии»⁸.

Так, начав с самоуправления и проведения активной социализации средств производства, югославская доктрина пришла к модели «рыночного социализма». Создается *социалистический* рынок, поскольку субъектами рыночных отношений становятся уже не только частные собственники, но и ассоциированные производители, объединенные в трудовые коллективы. Из этого факта вытекает целый ряд объективных функциональных последствий для всех участников экономического процесса. В отличие от капитализма, который стремится к повышению прибыли на единицу капитала, здесь

⁷ Ibid., p. 149.

⁸ См. Резолюцию IX съезда Союза коммунистов Югославии (1969), опубликованную в журнале «Социалист сат энд практис» (см.: "Socialist Thought and Practice", January—March 1969, № 33, p. 48).

целью теоретически становится повышение чистого дохода каждого члена самоуправляемого коллектива. Степень результативности этой теоретической функции-цели зависит от многих факторов (в том числе от реального направления коллективной предпринимательской деятельности трудящихся), анализировать которые мы здесь просто не можем. Главным моментом в нашем обзоре споров по вопросу о функционировании социалистической экономики в постсталинский период служит четко сформулированный постулат, согласно которому законы поведения экономических единиц полностью определяются логикой рыночного механизма. Коль скоро социалистическая экономика мыслится как система товарных отношений в узком смысле этого слова, это означает, во-первых, что имеется постоянная тенденция передавать средства из менее прибыльных в более прибыльные сферы деятельности (соответственно себестоимости и рыночным ценам на данный момент или с незначительным опережением), а во-вторых, что общее положение национальной экономики (макроэкономическое равновесие) выводится в основном из итогов деятельности отдельных экономических единиц. Система цен в этих условиях определяется соотношением между спросом и предложением, и нет никакого смысла задаваться вопросом, в какой степени рыночные цены отражают целесообразные (с точки зрения национальной экономики в целом) общественные издержки, ибо само понятие целесообразных общественных издержек (как отличающихся от целесообразных издержек, выраженных в реальных рыночных величинах) выходит за узкие рамки товарной экономики.

В итоге встает вопрос о функционировании и месте национального планирования, или, если говорить более обобщенно, о централизации экономических решений в условиях модели, основанной на самоуправлении. Югославские теоретики всегда отрицали, будто эта модель нацелена на полное устранение какой бы то ни было центральной экономической власти и на отказ от какого бы то ни было перераспределения дохода в национальном масштабе. Постоянно подчеркивалось лишь положение о том, что национальное планирование как таковое не должно быть тождественным советскому и что самоуправленческий социализм вырабатывает собственный вариант национального планирования⁹. Эта позиция теснейшим образом связана с категорическим отрицанием точки зрения, согласно которой самоуправляемые предприятия являются групповой собственностью: обобществление средств производства не то же самое, что национализация, но это и не коллективизация (в смысле превращения собст-

⁹ См.: B. Horvat. Jugoslav Economic Policy. См. также: R. Bicanic. Economic Policy in Socialist Yugoslavia. Cambridge, 1973; R. Stojanovic. Planiranje u samoupravnom društvu. Beograd, 1976.

венности в собственность группы). Конфликт, существующий между максимальной автономией для ассоциированных производителей и потребностями общества в целом, полностью признается и рассматривается как диалектическое противоречие, которое может быть разрешено лишь в ходе непрерывного процесса, где принцип самоуправления применяется на всех уровнях социально-политической системы.

Описание сложной структуры представительных политических органов на разных уровнях (община, республика, федерация) и их связей с промышленным самоуправлением выходит за рамки настоящего исследования, однако общую идею можно резюмировать следующим образом. Модель самоуправления может стать фактором интеграции на более высоком уровне, чем «основная организация объединенного труда», то есть на уровне республики и федерации, но при этом должны быть соблюдены два условия, заключающихся в том, что: 1) вопросами интеграции будут заниматься те органы, которые сами порождены самоуправлением, — государственные органы особого типа, сами являющиеся формой добровольных ассоциаций, а не какие-то учреждения, чуждые «свободным ассоциациям производителей», и 2) круг проблем, решаемых на централизованной основе, будет относительно узок, особенно в том, что касается распределения средств. Оба эти условия должны выполняться одновременно; считается, что государственные органы не смогут занять правильной позиции в ситуации, когда, например, большая часть средств, предназначенных для расширенного воспроизводства, окажется вне контроля самоуправляющихся предприятий или, используя терминологию, употребляемую в Югославии, выпадет из сферы экономики и станет объектом политических решений, которые в таком контексте рассматриваются как произвольные. В общем, государственное руководство экономикой должно ограничить свое вмешательство: 1) разработкой предположительно наиболее приемлемых линий развития на запланированный период; 2) борьбой с «несовершенством» рынка и угрозой монополистических тенденций; 3) корректировкой развития рыночных процессов в тех особых случаях, когда рынок либо совсем не функционирует, либо его развитие явно не отвечает социальным задачам, поставленным на длительный период (например, развитию определенных отсталых зон, политике перераспределения в целях решения наиболее острых социальных проблем и т. д.).

По существу, концепция модели, основанной на самоуправлении, может быть реализована на практике лишь поэтапно. Обычно в югославской литературе на эту тему выделяют четыре основные фазы в развитии системы функционирования экономики.

1. Фаза централизации — до начала 50-х годов.

2. Фаза введения самоуправления и первых элементов децентрализации — до 1956 года. Здесь, однако, некоторые особо важные решения принимались центральными государственными органами, особенно в части, касающейся регулирования и распределения доходов и инвестиций.

3. Фаза расширения функций самоуправления и их распространения на сферу распределения накопленных средств на предприятии — до 1965 года. Государство при этом все еще выполняет главенствующую роль в решениях об инвестициях.

4. Фаза делегирования решений о расширенном воспроизводстве непосредственно предприятиям, которые после реформы 1965 года располагают теперь преобладающей частью инвестиционных фондов, тогда как в руках государства (причем не обязательно на уровне федерации) остаются главным образом средства, предназначенные для выполнения тех особых задач общего плана, о которых говорилось выше¹⁰.

Именно в связи с этой последней фазой в Югославии вновь разгорелись весьма серьезные споры об экономической системе. До сих пор югославские экономисты обсуждали множество теоретических проблем, но при этом они в целом были согласны с общим направлением развития (между тем как некоторые теоретики по вопросам общества и политики — вроде Милована Джиласа — дошли до отрицания всей системы в целом как формы самодержавного господства «нового класса» и поэтому принадлежат к другой категории).

Экономическая реформа 1965 года была воспринята многими югославскими экономистами практически как начало конца централизованного планирования. Некоторые из них считают с тех пор, что рынку отводится слишком важное место, и иногда вновь поднимают старые вопросы о марксистской трактовке отношений между планом и рынком¹¹. В то же время довольно большая часть югославской литературы пытается представить это явление не как отказ от планирования, а как изменение его характера. В самом деле, Конституция 1974 года явно выдвигает идею сочетания независимости «основных организаций объединенного труда» с широкой плановой координацией их деятельности с помощью системы соглашений («...социальные планы Югославии будут строиться на основе договоров, заключенных трудящимися, организациями объединенного труда, самоуправляющимися общинами, преследующими определенные цели, другими самоуправляющимися организациями и общинами, а также на основе соглашений, заключенных между

¹⁰ J. Djordjevic. A Contribution to the Theory of Socialist Property. — "Socialist Thought and Practice", 1966, № 24.

¹¹ См.: "Marks i savremenost...", vol. 5.

республиками и автономными районами, по вопросам экономической политики, представляющим общий интерес» — ст. 209). Однако эта идея пока далека от практического воплощения; теоретически она также недостаточно разработана (несмотря на активные усилия, в частности, Э. Карделя в последний период его деятельности)¹². Начиная с 1965 года область осуществления государственного контроля над экономикой значительно сузилась, в той же мере снизилась и его эффективность; время от времени, когда обнаруживается, что государство теряет контроль над ситуацией, ненадолго вновь вводятся чрезвычайные формы контроля, однако в них трудно усмотреть связь с долгосрочными и последовательными планами.

2. Концепция «централизованного планирования при наличии регулируемого рыночного механизма»

До 1955—1956 годов другие коммунистические страны, включая Китай, были в полном неведении относительно теории югославского опыта и ее осуществления на практике, исключая разве что те случаи, когда на нее ссылались в официальных документах как на доказательство измены марксизму со стороны Тито и империалистической, фашистской и т. п. природы югославского режима. Особое недовольство вызывала автономия предприятий, которая подавалась как форма незаметного перевода средств производства в частную собственность.

Однако экономические требования, которыми после смерти Сталина больше нельзя было пренебрегать, оказались стимулом (сначала вне всякой связи с Югославией) для переосмысления методов управления экономикой в СССР и странах «народной демократии». Первоначально советское руководство собиралось ограничиться восстановлением равновесия тем или иным образом, направив средства прежде всего на развитие сельского хозяйства и легкой промышленности. Но очень скоро новая политика открыла путь к изменению (пусть лишь частичному) и самого экономического механизма в сторону его большей гибкости и более активного стимулирования производительности предприятий. Первая практическая мера была осуществлена в СССР, где в 1955 году было принято постановление о расширении полномочий директоров предприятий, а также ряд других мер по укреплению так называемой системы «хозрасчета» и стимулирования. Сами по себе эти меры и аналогичные постановления,

¹² См.: *E. Kardelj, The System of Planning in a Society of Selfmanagement*. — "Socialist Thought and Practice", 1976, № 11.

принятые в некоторых странах народной демократии, не имели большого практического значения, однако они побуждали экономистов присматриваться к существующим структурам и искать объяснения прошлым неудачам той системы централизованного планирования, которая, как предполагалось, не должна иметь недостатков, а также предложить решения на будущее, которые могли бы исправить положение. В СССР именно такое направление анализа было присуще статье Е. Либермана, опубликованной в 1955 году¹³; в Польше и Венгрии дебаты об экономическом механизме начались даже несколько раньше и очень скоро получили большой размах. В этих двух странах практические соображения высказывались одновременно (а иногда и предшествовали им) с предложениями пересмотреть теоретические аспекты соотношения плана и рынка при социализме¹⁴.

Любопытно, что толчком для этих попыток, по крайней мере в Польше, послужило выступление Сталина против отказа от закона стоимости, о чем говорится в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). Хотя суть конкретных предложений Сталина сводилась скорее к постепенному сокращению «товарообмена» и замене его «продуктообменом» (в русском языке «продуктообмен» не вполне определенное понятие, которое, вероятно, отражает прежде всего отношения обмена продуктами между промышленностью и сельским хозяйством), изменения, происшедшие в политической и интеллектуальной жизни советского общества после его смерти, привели к тому, что его замечания были истолкованы совершенно по-иному: они стали как бы платформой для реабилитации экономических законов в противовес жесткому произволу составителей планов и особенно для того, чтобы вновь ввести в экономику механизм ценообразования.

Таким образом, в течение некоторого времени идеи де-

¹³ Е. Либерман. Хозяйственный расчет и материальная заинтересованность работников промышленности. «Вопросы экономики», 1955. № 6. Статья Е. Либермана в «Правде» от 9 сентября 1962 года («План, прибыль, премия») была расценена как важное свидетельство актуальности экономической реформы в СССР. С более подробным изложением им проблемы экономической реформы можно ознакомиться в сборнике «Экономические методы повышения эффективности общественного производства». М., 1970.

¹⁴ Автор настоящего очерка переписывался в ту пору со знаменитым экономистом и государственным деятелем Венгрии Дьёрдем Петером. Тот был пионером реформизма, близкого к польскому. Работы Д. Петера (особенно статья «Роль прибыли в централизованной экономике», опубликованная в журнале «Кошгаздашаг семле» в июле 1956 года), несомненно, явились причиной появления многих критических исследований о централизованной системе; см., например, работу Я. Корнай (J. Kornai. Overcentralization in Economic Administration. London, 1959).

централизации экономики и более широкого использования рыночного механизма представлялись как связанные с действием закона стоимости при социализме, а тех, кто выступал с этими идеями, часто называли «стоимостниками»¹⁵. В течение 1955 года в Польше и Венгрии появилась целая серия статей, авторы которых стремились выдать эти идеи за теоретическое обоснование экономической реформы. На международной встрече по вопросам переходного периода к социализму (это было совещание партийно-экономических делегаций стран народной демократии, проходившее в Восточном Берлине в 1955 году) с большим интересом было заслушано польское сообщение, в котором указывалось на связь между законом стоимости и ожидаемыми переменами в системе функционирования экономики. Одним из косвенных последствий этой встречи и последующей интенсификации контактов между экономистами разных стран Восточной Европы было появление в Германской Демократической Республике экономической школы, защищавшей идею более широкого использования рыночного механизма (Ф. Беренс, А. Бенари)¹⁶.

XX съезд КПСС в феврале 1956 года послужил мощным стимулом для развертывания критики действовавшей тогда системы централизованного планирования. Возможность больше узнать о реальных предпосылках и истинных результатах югославского эксперимента, с которого тогда временно была снята идеологическая анафема, стала тем фактором, который содействовал попытке провести реформу. В некоторых странах волна требований о принятии конкретных мер нарастала самым драматическим образом. Выражением этого стали прежде всего события в Польше после восстания рабочих в Познани в июне 1956 года и возвращение к власти Гомулки в октябре того же года. Развитие в Венгрии пошло по аналогичному пути, но было остановлено последствиями восстания и советским вмешательством. В Китае полное принятие совет-

¹⁵ Сборник статей, написанных мною на эту тему в период между 1953 и 1956 годами, вышел в свет на польском языке в 1956 году под названием «Закон стоимости и вопрос об экономических стимулах» (см.: *W. Brus. Prawo wartości a problematyka bodźców ekonomicznych.* Warszawa, 1956). В заголовке двухтомника, посвященного дебатам по вопросу об экономической реформе в Польше в 1956—1957 годах, фигурировал «закон стоимости». Со ссылкой на закон стоимости в СССР тоже была предпринята попытка дать своеобразный ответ на сугубо реформистскую по характеру польскую дискуссию. В Китае закон стоимости также рассматривался как теоретическая платформа для обсуждения изменений в механизме экономики (см.: *C. Lin. The Reinstatement of Economics in China Today*, p. 11—23).

¹⁶ *F. Behrens. Zum Problem der Ausnützung der ökonomischen Gesetze in der Übergangsperiode.* Berlin, 1956; *A. Benary. Zu Grundproblemen der politischen Ökonomie des Sozialismus in der Übergangsperiode.* — "Wirtschaftswissenschaft", 1957, № 3.

ской модели также сменилось в 1956 году ширившейся неудовлетворенностью и требованиями о децентрализации в направлении более благоприятного отношения к рынку. Внимание экономистов было сосредоточено по вполне понятным причинам на сложных практических последствиях, к которым все это вело; однако не следует упускать из виду и осложнения для марксистской теории, особенно с того момента, когда против взлетов критической мысли и предложений, выдвигаемых сторонниками реформ, выступила бюрократия, обвинившая их в ревизионизме. Волна таких обвинений захлестнула СССР, Чехословакию, ГДР и Венгрию сразу после венгерских событий и с началом нового ухудшения отношений с Югославией в 1958 году, когда была опубликована «Люблянская программа» СКЮ. Ниже мы вернемся к концепциям реформы, однако прежде стоит дать краткое резюме той дискуссии, которая развернулась в сфере марксистской экономической мысли в узком смысле слова.

Сторонники реформы экономической системы не отвергли точку зрения Маркса, согласно которой коммунистическая экономика будет планироваться централизованно и, как следствие этого, приведет в действие экономический механизм, принципиально отличный от капиталистического, регулируемого рынком. Они были готовы также признать, что в течение длительного периода марксистская традиция в подходе к социалистической экономике почти повсеместно ориентировалась на централизм. В то же время они отмечали, что, учитывая сложный характер марксистских взглядов на социалистический экономический механизм, восприятие первоначальных идей лишь как общих принципиальных указаний, но не как жестких предписаний несколько не противоречит духу марксизма. Отсюда полное принятие централизованного планирования как основы для функционирования социалистической экономики не исключает одновременного признания того, что эта система вовсе не обязательно должна развиваться в форме «централистской модели», как некоторые авторы стали называть экономику советского типа, основанную на таком планировании. Социалистическая экономика может существовать и в форме, включающей рыночный механизм особого рода, функционирующий в качестве одного из средств централизованного планирования — средства, которое, как можно предположить, оказывается более удобным с точки зрения целей и затрат, то есть в аспекте экономической эффективности и социальной интеграции. Терминология, используемая для описания этой модели, менялась от автора к автору; так, известнейший советский ученый В. Новожиллов, применявший экономико-математические методы, ввел термин «косвенная централизация» для того, чтобы подчеркнуть, что общегосударственные экономические цели могут быть достигнуты и

косвенным путем и что последний предпочтительнее прямого, в частности потому, что позволяет осуществлять контроль более гибко и, в конце концов, оказывается более эффективным¹⁷. Я со своей стороны предпочитаю называть этот уставочный вариант «моделью экономики с централизованным планированием при наличии регулируемого рыночного механизма». Может быть, это и неудачная формулировка, но она, несомненно, точнее широко распространенной «децентрализованной модели», недостаточно четко отграниченной от административной децентрализации, с одной стороны (имеется в виду хрущевская территориальная децентрализация экономики в 1957 году), и, с другой стороны, от тех крайних вариантов, примером которых может служить югославская модель.

На следующем этапе теоретической дискуссии (после 1956 года) большое внимание было уделено опыту ленинской поры, связанному с нэпом, а также серьезным экономическим дискуссиям, которые велись в Советском Союзе в 20-е годы и которые Сталин вычеркнул из истории марксистской мысли¹⁸. Хотя в ходе дискуссий речь шла в основном об экономике смешанного типа в переходный период (многоукладная экономика), их участники приходили к верному выводу о том, что многие аргументы в пользу регулируемого рыночного механизма как инструмента программирования остаются в силе и в условиях системы развитого социализма. Дискуссии 20-х годов ясно показывали, что проблему взаимодействия плана и рынка нельзя отнести к числу определенно решенных марксистской политэкономией и что поэтому попытки вновь проанализировать ее нельзя представлять как антимарксистские по своей сути. В свое время на Западе возобновилась дискуссия (в период между двумя войнами) о распределении ресурсов при социалистическом режиме, и, в частности, по знаменитой работе Оскара Ланге «Экономическая теория социализма», в которой было изложено так называемое «конкурентное решение». Особую популярность работы Ланге получили в Польше, и не только потому, что он сыграл значительную роль в научной и политической жизни этой страны, но и потому, что его главные идеи по экономике социализма в межвоенный период помогли сформулировать радикальную, демократическую социалистическую программу, которая вызва-

¹⁷ В. Новожилов. Закономерности развития системы управления социалистическим хозяйством. — «Экономика и математические методы», № 5, 1965.

¹⁸ См.: W. Brus. *Ogólne problemy...*, roz. 2. Комплексное исследование теоретических аспектов первого советского опыта знаменательно, между прочим, тем, что вновь вызвало интерес к этой теме в связи с венгерской экономической реформой. См.: L. Szamuelyi. *First Models of Socialist Economic Systems*. Budapest, 1974.

ла к себе интерес в обстановке польского «обновления» 1956 года¹⁹.

Стремление обосновать идею реформы с точки зрения марксизма было вызвано не только (и даже не столько) тактическими соображениями; оно отражало весьма распространенное в то время убеждение в том, что марксизм, очищенный от сталинистских наслоений²⁰, сохраняет свои как принципиальные позиции, так и огромную веру в эффективные возможности централизованного планирования, очищенного от бюрократических злоупотреблений. Таким образом, во многих случаях сторонникам реформы приходилось вести борьбу на два фронта — против защитников старой модели и против тех, кто в действительности хотел подменить планирование рынком, считая последний наилучшим регулятором. Для большей точности отметим, что в число последних входили и югославские фундаменталисты середины 60-х годов, когда начала осуществляться радикальная реформа 1965 года, причем дебаты по вопросу о рынке стали теперь более независимыми и свободными от политических обвинений.

В ходе всех этих дискуссий и на основе практического опыта следовало как-то обобщить и систематизировать различные модели функционирования социалистической экономики. Существуют разные критерии классификации, но поскольку каждому больше нравятся собственные выдумки, то и классификация, приводимая ниже, принадлежит автору этих строк. Она сложилась не сразу и основана на схематическом подразделении всех решений на: а) макроэкономические, охватывающие главные направления развития национальной эко-

¹⁹ Сравнительно с работами 1936 года (*O. Lange. F. Taylor. On the Economic Theory of Socialism. Minneapolis, 1938*) взгляды Ланге на способ функционирования экономической системы при социализме эволюционировали под воздействием тех проблем, с которыми составителям планов пришлось столкнуться на практике. Уже в предисловии к польскому изданию 1947 года (которое вскоре стали игнорировать как противоречащее марксистской ортодоксии) Ланге подчеркивал необходимость учета динамических факторов. В своей последней статье «Компьютер и рынок», опубликованной в сборнике «Капитализм, социализм и экономический рост», он энергично настаивает на этом положении. «Рынок, — пишет он, — не обеспечивает соответствующей базы для решения долговременных экономических проблем... При планировании экономического развития вопрос о долгосрочных капиталовложениях должен решаться вне связи с механизмом рынка, но с учетом задач экономической политики». Оскар Ланге, который был также председателем Экономического совета, активно выступал за проведение в Польше экономической реформы (см.: *The Computer and the Market*). — In: "Capitalism, Socialism, and Economic Growth". Ed. by C. Feinstein. Cambridge, 1967).

²⁰ Одним из главных выразителей этой точки зрения был «великий старец» польской политической экономии Эдвард Липинский. См. его работы: *E. Lipiński. Rewizje. Warszawa, 1957; Id. Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze. Warszawa, 1961; Id. Karol Marks i aktualne zagadnienia wspolczesnosci. Warszawa, 1969.*

номики и крупные социально-политические задачи; б) микроэкономические — на уровне предприятия или группы предприятий; в) индивидуальные, принимаемые семьями в сфере потребления и занятости²¹.

Если обозначить термином «централизация» прямые методы управления экономикой (отсутствие рынка, предоставление ресурсов в натуральной форме и принудительное планирование), а термином «децентрализация» косвенные (непрямые) методы, то можно классифицировать исторически известные системы функционирования социалистической экономики следующим обобщенным (и упрощенным) образом:

«военный коммунизм; централизованные методы и решения а), б) и в);

система советского типа («централизованная модель»); централизованные методы и решения а) и б), но, как правило, децентрализованные решения группы в);

экономика с централизованным планированием и регулируемым рыночным механизмом («децентрализованная модель»): централизованные методы и решения а), но децентрализованные — б) и в);

рыночный социализм (обобщенным примером могут служить направления развития, взятые в Югославии); децентрализованные — а), б) и в).

Нечего и говорить, что этот диапазон степеней централизации (или децентрализации) не включает многих важных аспектов экономической деятельности. Так, полностью остается в стороне частный экономический сектор, который в некоторых случаях может оказывать немаловажное влияние на пути развития социалистической экономики. То же можно сказать и о практике нарушения законов внутри национализированных секторов. Тем не менее эта схематическая классификация может оказаться полезной для понимания некоторых вопросов, затронутых в дискуссии, и, в частности, поможет составить более точное представление о концепциях, разработанных сторонниками экономической реформы в народных демократиях и в СССР. В этих условиях сочетание централизованного планирования с регулируемым механизмом рынка озна-

²¹ Янош Корнай (Anti-equilibrium. On economic system theory and the tasks of research. Amsterdam—London, 1971) применяет в основном аналогичную классификацию, однако делает акцент на *процессе* принятия решений. Он различает процессы *фундаментальные* и *обычные*; первые характеризуются необратимостью, поворотным характером, высокой стоимостью информации и т. д., вторые — обратимостью, чаще всего непрерывностью, допустимостью небольших изменений, лежащими в их основе простыми алгоритмами и т. д. Создается впечатление, что можно говорить о классификации *по содержанию* решений и *по процессу* исполнения решений как об одном и том же; поэтому термины «фундаментальный» и «обычный» можно отнести соответственно к указанным мною уровням решений а) и б).

чает, что теперь принятие всех решений в одном, центральном органе уступило место практике принятия решений на *разных* уровнях. В упрощенной двуступенчатой модели (центр и предприятие) центр принимает решения типа а), а решения типа б) принимаются на самом предприятии; императивное планирование и иерархическая подчиненность оперативных (годовых) планов отменяются, равно как упраздняется и вертикальное распределение ресурсов и услуг между предприятиями. Одним словом, предприятия свободно вступают в договорные (горизонтальные) отношения между собой и ведут себя как покупатели и продавцы, имеющие альтернативный выбор, выраженный в ценах (таким образом, деньги становятся активными в сфере международного обмена). Однако предполагается, что первенствующую роль в целом сохраняет за собой централизованное планирование, что подтверждается: 1) общей картиной, складывающейся в результате принятия центром типовых решений; 2) «правилами поведения» для предприятий (максимизация прибыли и ее нормы, прибавочного продукта или всего, что может быть им присвоено, а также связь между установленным приростом и личной заинтересованностью, заданными нормативами и т. п.), составленными таким образом, что достижение микроэкономических целей ведет к выполнению макроэкономических задач; 3) контролем параметров, которые являются составной частью расчетов на предприятиях (цены, налоги, процент, доступность кредита, таможенные тарифы, валютный курс и т. д.), то есть тех элементов, контролируя которые центр может ориентировать деятельность самоуправляющихся единиц в нужном ему направлении. Для многих в Восточной Европе и Китае притягательность этой модели состояла еще и в том, что она, казалось, способствовала развитию самоуправления трудящихся, не лишая при этом экономику преимуществ централизованного планирования²².

Оставляя в стороне тот прием, который встретили предложения о реформе в разных странах, заметим, что во всем коммунистическом мире они явились поводом для дискуссий по старым и новым проблемам марксистской экономической теории применительно к положению, в котором оказалась социалистическая экономика. Не перечисляя подробно все эти проблемы, ограничимся лишь тем, что назовем три из них. Первая сводится к выяснению причины устойчивости по крайней мере некоторых форм рыночных отношений при социа-

²² Это отношение было наиболее четко выражено в идеях М. Калецкого, который, выступая за экономическую реформу в целом, тем не менее энергично боролся против безграничной веры в мифологию рыночного механизма. Калецкий подчеркивал важность рабочих советов как неперемennого фактора децентрализации планирования и осуществления социалистической демократии вообще.

лизме; вторая — к тому, как эти рыночные отношения взаимодействуют с законом стоимости; третья заключается в интерпретации понятия «распределение общественно необходимого труда» в соответствии с принципами установления цен.

Что касается первого пункта, то это, по-видимому, больше всего относится к области уже упоминавшихся поисков такого объяснения реальности, которое не поколебало бы ритуальной непогрешимости того, что считалось пророчеством Маркса, а именно его тезиса об «исчезновении рынка» при социализме. Наиболее интересным аспектом этих дебатов было то, что они весьма энергично велись почти во всех странах социализма, от СССР до Югославии. Чаще всего в объяснениях (они нередко служили уловками ради спасения престижа) ссылались на относительно низкий уровень развития производительных сил (поскольку-де сам Маркс полагал, что социализм наследует зрелому капитализму) и на принцип распределения «по труду» как на стимул для выполнения трудовых заданий и соответственно для дифференцированного расчета с работником и т. д. (эта точка зрения явно отодвигала «исчезновение рынка» на «более отдаленную фазу коммунизма»). Относительно самостоятельный аспект дискуссии (хотя он и был связан с вопросом о том, считать ли рынок главным или подчиненным регулирующим механизмом) касался споров о формулировках, в которых формула «социалистическая экономика есть товарная (рыночная) экономика» противопоставлялась формуле, согласно которой «в социалистической экономике *существуют* товарные (рыночные) отношения».

Вторая проблема была, пожалуй, более важной, по крайней мере в тот период. Как мы уже упоминали, первоначальные попытки теоретически поддержать требования экономической реформы предпринимались под флагом закона стоимости. Однако вскоре стало ясно, что отождествление механизма рынка с законом стоимости (в том смысле, что отношения, строящиеся на сбалансированных ценах, тяготеют к превращению в стоимостные отношения) может оказаться правомерным лишь в совершенно особых условиях полного *laissez-faire* («идеального рынка») и что при отсутствии таких условий функционирование рыночного механизма вовсе не обеспечивает автоматического распределения ресурсов в соответствии с тем, что диктуется законом стоимости. Таким образом, было найдено разграничение между действием закона стоимости, определяющего *содержание* процесса распределения ресурсов, и механизмом рынка как одной из *форм*, в которых этот процесс может реализоваться. Важность этого разграничения для дискуссии о реформе состояла в том, что появилась возможность теоретически оправдать утверждение, что введение регулируемого рыночного механизма не исключает распределения ресурсов, отличного от диктуемого законом стоимости.

Так что центральный планирующий орган мог продолжать активно моделировать структуру экономики (особенно в том, что касается решения социальных проблем в длительной перспективе), даже если будет включен регулируемый рыночный механизм, и не прибегать к таким средствам, как императивное решение и распределение средств в натуральной форме²³.

Третья проблема касалась основ ценообразования. По экономической теории Маркса, какова бы ни была связь между спросом и предложением, фактор определения цены на длительный отрезок времени следовало в конечном счете искать в сфере производства, в стоимости товара, которая определялась как «общественно необходимое количество овеществленного живого труда» на единицу продукта. Традиционно считалось, что это означает среднюю стоимость материала и труда плюс амортизация недвижимости, но без учета стоимости капитала, используемого в данном секторе производства. Предложения по реформе делали этот принцип и соответствующую ему практику ценообразования несостоятельными. Считалось, что цены, выведенные с помощью этого метода, не отражают истинных, соответствующих моменту общественных издержек производства, а это ведет к неверному выбору, который делают отдельные предприятия. Растущее число экономистов, считавших, что конечные цены, как правило, выполняют функцию компенсации рынка, убеждалось в том, что в основе определения цен должны лежать принципы, подобные Марксовой «цене производства» (рассматриваемой в третьей книге «Капитала»). Эта концепция, которая одним из факторов, определяющих цену, называет нормальное воспроизводство капитала («среднюю норму прибыли»), до того момента расценивалась как специфическая принадлежность капитализма; однако в конце 50-х годов были сделаны попытки представить ее как концепцию, совместимую и с социалистической экономикой, и с марксистской теорией стоимости применительно к национальной экономике в целом. Концепцию «цены производства» некоторые экономисты связывали с особой разновидностью маргиналистского подхода к определению стоимости в государственном масштабе. Известные основатели советской экономико-математической школы В. Немчинов, Л. Канторович и В. Новожилов во многом содействовали распространению этой тенденции, в особенности В. Новожилов, который стремился доказать закономерную преемственность

²³ Это один из главных выводов моего анализа (см.: *W. Brus. Ogólne problemy...*, а также: *W. Brus, K. Laski. The Law of Value and the Problem of Allocation in Socialism.* -- In: "On Political Economy and Econometrics. Essays in Honour of Oskar Lange". Warszawa, 1964). Ч. Линь утверждает, что такую же позицию совершенно независимо занимал известный китайский экономист Сунь Ефан.

и связь этой концепции с экономической теорией Маркса²⁴.

Проблемы, которые мы обобщили выше, особенно по второму и третьему пунктам, характерны для того типа вопросов, которые вставляли перед составителями программ, ориентированных на регулируемый рыночный механизм; эти программы должны были отвечать двойному требованию: руководство экономикой в целом должно оставаться «видимым», а механизм саморегулирования должен проявляться лишь в определенных пределах. С самого начала было ясно, что найти удовлетворительное решение этих проблем будет нелегко, но это был вызов как в плане теории, так и в плане конкретных реформ. Споры о способе функционирования социалистической экономики, будь то по поводу югославской линии развития или же об идее регулируемого рынка, оживили марксистскую экономическую теорию и социальную теорию марксизма в целом, освободив ее от смиренной рубашки выхолащенного догматизма и раболепства. Естественно, что по этой причине некоторые истины марксизма, казавшиеся незыблемыми, как скала, подверглись строгой проверке, о чем раньше не могло быть и речи. К сожалению, этим многообещающим попыткам теоретической разработки марксизма постоянно, хотя и в разной степени, мешали жесткие идеологические ограничения, навязываемые сверху во всех коммунистических странах. В странах советского блока «защитников рынка» обвинили в ревизионизме; в Китае «сторонникам капиталистического пути» был нанесен столь жестокий удар, что практически в течение двух десятилетий там ничего не предпринималось для пересмотра проблемы функционирования экономики. Даже в Югославии, несмотря на относительную свободу дискуссий идеологического плана, обсуждение официальной линии на восстановление рынка потерпело полный провал.

Помощь западного марксизма в этом вопросе была весьма ограниченной. Если не считать Италии, где восточноевропейские дискуссии пробудили в 50-е годы большой интерес и надежду у экономистов, стоявших на коммунистических и социалистических позициях, то можно назвать еще Мориса Добра, который выделялся своим недогматическим подходом к

²⁴ Наиважнейшей с этой точки зрения является работа В. Новожилова «О закономерностях развития исчисления затрат» в сборнике «Проблемы применения математики в социалистической экономике», вышедшем в свет в Ленинграде в 1963 году. Новожилов, Канторович, Немчинов и многие другие математики-экономисты в СССР и других странах Восточной Европы смотрели на развитие экономико-математических методов и компьютерной техники как на реальные средства соединения централизованного планирования с механизмом регулируемого рынка. Некоторые из этих экономистов думали, что такое развитие открывает новые перспективы для более «просвещенной» и эффективной централизации. Попытки проверить эти идеи на практике до сих пор не дали положительных результатов, разве что там, где речь шла об управлении на уровне отраслей или отдельных экономических сфер.

проблемам, поднятым реальным опытом строительства экономики коммунистических стран²⁵. Во всех остальных случаях, особенно среди «троцкистов» и «новых левых», преобладала приверженность марксистской ортодоксальности, кульминацией которой в некотором смысле было предупреждение Пола Суизи: «Осторожно с рынком; это тайное оружие капитализма»²⁶.

3. Социалистическая экономика и политическая система

Первая попытка воплотить на практике в одной из стран советского блока концепцию централизованного планирования с механизмом регулируемого рынка была сделана в 1956 году. Этой страной была Польша, где после восстания рабочих в Познани усилился политический нажим в сочетании с требованием поднять эффективность экономики путем введения новой системы. Когда в июле 1956 года Центральный Комитет ПОРП окончательно одобрил идею общей реформы, в стране начал развиваться стихийный процесс перемен, идущих снизу. Некоторые предприятия начали проводить то, что стало известно под названием «эксперимент». Были созданы выборные рабочие советы. Чтобы избежать дезорганизации и не утратить политического контроля, специально назначенная комиссия спешно приняла три важные меры: была значительно расширена автономия предприятий и резко сокращены объемы обязательных к выполнению централизованных планов; был создан «фонд предприятия», который связал оплату рабочей силы с финансовыми результатами деятельности предприятия, и, наконец, — и это главное — был издан «Закон о рабочих советах», в соответствии с которым последние, будучи свободно избранными органами, не подчиненными никакому иерархическому аппарату, заняли важное место в структуре управления, получив право налагать вето на назначение генерального директора или требовать его отставки. Все три меры были приняты после возвращения Гомулки к власти в октябре 1956 года и хотя связывались с ним, но на самом деле явились результатом непосредственно предшествовавшего этому процесса развития. После возвращения Гомулки к власти какое-то время шло приспособление других секторов к положению, которое сложилось после введения названных вы-

²⁵ Одну из последних статей Добба можно считать чем-то вроде общего отчета о том, как эволюционировали его взгляды на проблемы функционирования социалистической экономики. См.: *M. Dobb. Some Historical Reflections on Planning and the Market*. — In: "Essays in Honour of E. H. Carr". Ed. by C. Abramsky and B. Williams. London and Basingstoke, 1974.

²⁶ *P. Sweezy. The Transition from Socialism to Capitalism?* — "Monthly Review", XVI, 1964.

ше новшества: был создан Экономический совет, который на правах консультативного органа разработал проект комплексной реформы, нацеленный на то, чтобы увязать макропрограммирование с регулируемым рынком²⁷. Однако через какое-то время развитие этого процесса пошло со сбоями, и вскоре наметилось отступление по многим позициям. К концу 1958 года наиболее характерные элементы централизованного планирования были во многом восстановлены, а рабочие советы утратили свое прежнее содержание. И партийный аппарат вновь завоевал прежние позиции высшей прослойки в экономической администрации.

Несмотря на официальное осуждение идеи возможного использования механизма рынка в социалистической экономике, на практике почва для проведения экономической реформы была подготовлена и в других странах советского блока. В 1958 году в Чехословакии был принят проект «новой системы планирования и финансирования промышленности», в котором хотя и ставились более узкие задачи, чем это было в Польше в 1956 году, но указывалось то же направление развития. Однако уже в 1960 году о большей части этих новшеств практически забыли. После драматических событий 1956 года Венгрия воздерживалась от проведения какой-либо широкой программы реформ; тем не менее некоторые шаги для ослабления сверхцентрализованной системы предпринимались начиная с 1958 года и позднее, включая реформу цен 1959 года.

К началу 60-х годов уже казалось, что основа старой системы функционирования экономики останется без изменений. Однако растущие экономические трудности (и среди них — снижение в абсолютных величинах национального дохода ЧССР в 1963 году и заметное отставание в развитии ГДР) вновь заставили искать пути к улучшению ситуации. Это положило начало тому, что я раньше называл «второй волной экономических реформ». Характерной чертой этой «второй волны» было то, что на сей раз во главе ее шли наиболее развитые коммунистические страны и что сам Советский Союз (несмотря на то что он остерегался быть втянутым в широкие теоретические споры) как будто бы встал в ряды реформаторов²⁸. Во всех странах Восточной Европы (за исключением Албании, которая с 1961 года практически вышла из блока, избрав тогдашнюю китайскую линию) бы-

²⁷ Проект «в целом» был одобрен правительством, но так никогда и не был осуществлен. Текст его публиковался в сборнике: "Diskusja o polskim modelu gospodarczym". Warszawa, 1957.

²⁸ В Советском Союзе, помимо работ Либермана, о которых уже говорилось, к середине 60-х годов вышло значительное число публикаций в поддержку экономической реформы. В некоторых из них высказывались весьма радикальные суждения, например в работе: Г. Лисичкин. План и рынок. М., 1966.

ло объявлено о программах проведения реформ, так что кое-какие шаги по их осуществлению все же были сделаны. Восточная Германия была первой в этом плане. В 1963 году были утверждены «Директивы по новой экономической системе планирования и руководства народным хозяйством»; в 1964 году началось их выполнение. Это был умеренный вариант, конечно, не нацеленный на полный отказ от выполнения обязательных заданий и прямого распределения натуральных ресурсов, однако он активно содействовал расширению автономии предприятий (или их объединений) и укреплял финансовую основу системы (рентабельность) как в плане личного стимулирования, так и в смысле перспективного развития предприятий. Советские, польские, болгарские и румынские проекты реформ 60-х годов в целом были сходными, но отличались друг от друга по ряду практических аспектов. Венгрия и Чехословакия пошли дальше. В 1965 году ВСРП одобрила проект, который по основным своим положениям соответствовал модели экономики с централизованным планированием и регулируемым рыночным механизмом. Осуществлению проекта, начатому 1 января 1968 года и ставшему известным под названием «Нового хозяйственного механизма»²⁹, предшествовала сложная подготовительная работа. Что касается Чехословакии, то здесь радикальные идеи реформы, ориентированной на рынок, постепенно слились с мощным движением за демократический социализм, которое получило название «пражская весна» и открыло новую главу и в теоретическом понимании функционирования социалистической экономики.

Как уже было сказано вначале, в задачи этой работы не входит изложение истории экономических реформ в социалистических странах. Достаточно лишь напомнить, что «вторая волна» вскоре полностью спала во всех странах советского блока (за исключением Венгрии); аналогичная судьба постигла и последующие попытки реформ (например, в Польше после восстания рабочих в 1970 году). Причиной вряд ли могло быть новое признание «заслуг» старой системы и, следовательно, вывод о бесполезности реформ, ведь подобный вывод опровергался как все ухудшавшимся экономическим положением названных стран (которое в особом случае с Польшей привело к небывалому по силе кризису), так и тем фактом, что большинство коммунистических стран (включая Китай в послемаоистские годы) время от времени как или иначе возвращается к мысли о реформе. Если все это справедливо, то причину, вероятно, следует искать в чем-

²⁹ См.: «Reform of the Economic Mechanism in Hungary». Ed. by I. Friss. Budapest, 1969; «Reform of the Economic Mechanism in Hungary Development 1968—1971». Ed. by O. Gado. Budapest, 1972.

то еще, а не в одном только этом элементе. Например, венгерский опыт, проводимый с 1968 года, несмотря на относительный его успех, не оставляет сомнения в том, что некоторые важные задачи, поставленные «Новым хозяйственным механизмом», абсолютно не выполнены или выполнены не полностью по сравнению с тем, что было предусмотрено. Здесь, по всей очевидности, нужно было заменить нажим, оказываемый с целью добиться выполнения плановых задач, подлинным духом соревнования, но так, чтобы это не шло в ущерб развитию. Венгерские экономисты выявили множество факторов, оказавшихся причиной того, что главная идея централизованного планирования с регулируемым рыночным механизмом (а именно ее реализация должна была сделать «для предприятий выгодным то, что выгодно для национальной экономики», и дать верные микроответы на макрополитику, передаваемую на языке финансовых установок, а не на языке приказов и физического принуждения) натолкнулась на серьезные преграды³⁰.

Эти и подобные им проблемы относятся к области чистой экономики. Однако венгерский опыт и неудачные попытки проведения экономических реформ в других странах вскрывают другой наиважнейший момент, а именно что решение экономических проблем в коммунистических странах, в особенности проблем хозяйственного механизма, нельзя отделять от политических аспектов. Высыказание Шумпетера о том, что «ни одна социальная система... в которой каждый будет руководствоваться исключительно целями собственной выгоды... не сможет существовать»³¹, имеет для социализма особое значение, поскольку, как предполагается, именно социализм должен положить конец отчуждению труда и создать тип поведения, в центре которого лежит уважение общественных интересов. Самоуправленческий социализм югославского типа пытается добиться этого путем установления полной независимости предприятий и установления отношений рыночного типа между отдельными самоуправляющи-

³⁰ Причина этих трудностей широко обсуждалась венгерскими экономистами, в том числе Т. Бауэром в работе «Противоречивость в положении предприятий в венгерском хозяйственном механизме», опубликованной в "Acta Oeconomica", 1975, № 2—3. См. также: M. Tardos. Enterprise Independence and Central Control.—"Eastern European Economics", XV, 1976, № 1; K. Soos. Some General Problems of the Hungarian Investment System. — "Acta Oeconomica", XXI, 1978, № 3; B. Csikoszagy. The Hungarian Reform after Ten Years. — "Soviet studies", XXX, 1978, № 4. Книга Яноша Корнаи «Экономика дефицита», несмотря на то что она посвящена в основном «анатомии» традиционной (централизованной) экономической системы, являет собою пример очень важного комплексного подхода к анализу систем, подлежащих реформам (см.: J. Kornai. Economics of Shortage. Amsterdam, 1980).

³¹ J. Schumpeter. Capitalismo, socialismo, democrazia. Milano, 1977, p. 387.

мися предприятиями или между ними и обществом в целом. Если же этого оказывается недостаточно по причине необходимости непосредственно формировать интересы общества как единого целого и координировать соответствующие действия (планирование), то на передний план вновь выступает государство, а вместе с ним и политический аспект. В противном случае кто же смог бы по-настоящему контролировать этот мощный механизм распределения ресурсов в масштабе всей страны?

Тесная взаимосвязь между политическими и экономическими переменами была отмечена в Польше уже в 1956 году, однако параллельное развитие обеих сфер слишком быстро прекратилось. Поражение «польского Октября» оказалось серьезным уроком; оно заставило заняться среди прочих вопросов более четкой постановкой проблем в теоретическом плане. В частности, события в Чехословакии в 60-х годах и широкие дискуссии подготовили почву для памятного наступления «социализма с человеческим лицом» (гуманного социализма). Чехословацкие марксисты занимались многими аспектами проблем функционирования социалистической экономики (в частности, влиянием экономического механизма на динамику экономического развития³²), однако главным их вкладом, несомненно, было изучение взаимозависимости экономических и политических факторов. Одним из исходных пунктов их позиций был разрыв с догмой о полной гармонии интересов, которая якобы автоматически воцаряется в обществе, где уничтожена частная собственность на средства производства. Первая работа Ота Шика «Экономика, интересы, политика» (1962), еще не свободная от всех умолчаний и оговорок той поры, призывала рассматривать отношение к тому или иному социальному и политическому выбору сквозь призму интересов и мнений различных социальных групп (а следовательно, различных прослоек в структуре власти)³³. Такой подход, несомненно, помог выявлению причин краха попытки экономической реформы в Чехословакии, относящейся к 1958 году. Основными препятствиями изменениям в механизме функционирования экономики стали не только общие условия в стране, но и те интересы, которые преследовала бюрократия, стремившаяся ослабить угрозу собственным позициям, и главным образом страх правящей элиты перед изменением характера политической системы. Отсюда можно сделать вывод, что экономическую и политическую реформы нужно проводить одновременно (именно это было главной чертой «пражской весны») и что демо-

³² J. Goldmann, K. Kouba, *Hospodarsky rust w CSSR*. Praha, 1967.

³³ O. Sik, *Ekonomika, zajinj, politica*. Praha, 1962. В пересмотренном издании 1968 года основные положения были изложены уже без всяких оговорок.

кратизация центра есть неперенное условие сохранения общего принципа централизованного планирования как такового. Во время драматических событий 1968 года шли бурные споры о своевременности и способах соединения планирования с рынком. После того как попытка чехословаков построить демократический социализм была подавлена советским вторжением, эти споры были частично продолжены в работах, опубликованных на Западе³⁴. Но сколь ни различны были выводы, к которым приходили их авторы, все они настаивали на плюрализме как главном элементе экономической системы при социализме.

Подчеркивание роли политического фактора в экономической системе социализма и особенно утверждение, что различие между чисто *государственной* собственностью и действительно *общественной* собственностью на национализированные средства производства определяется именно демократическим характером государства, возвращали всю проблему в рамки традиционной марксистской концепции о соотношении между «экономическим базисом» и «политической надстройкой». Если природа собственности на средства производства обусловлена характером власти, то социалистические «производственные отношения» (экономический базис) должны выводиться из политических отношений (надстройки); следовательно, это, похоже, отменяет основную гипотезу исторического материализма. Хотя автор настоящей работы и признает, что необходима переоценка ценностей, но в то же время выдвигает предложение, суть которого в том, что основные, наиболее общие положения исторического материализма могут остаться в силе, если доказуемо, что демократическая эволюция политической системы имеет экономический детерминант; это не означает, однако, что автократия, существующая сейчас в коммунистических странах, неизбежно и мирно превратится в демократию под действи-

³⁴ Среди обширной чехословацкой литературы, посвященной системе функционирования экономики до и во время событий 1968 года, особенно следует выделить следующие монографии: *O. Turek*. O plannu trhu a hospodarske politice. Praha, 1967; *O. Sik*. Plan a trh za socialismu. Praha, 1968. O попытках проанализировать постфактум как проекты, так и подлинные результаты экономической реформы теми, кто непосредственно внес свой вклад в развитие этого процесса, см.: *J. Kostla, J. Stama*. Die tschechoslovakische Wirtschaft in den sechziger Jahren. Das Schicksal einer Wirtschaftsreform. "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik". 1971, № 6; *O. Kyn*. Czechoslovakia. In: "The new Economic Systems of Eastern Europe". Ed. by Hohmann, Kaser, Thalheim. London, 1975. Из большого числа теоретических исследований, опубликованных на Западе чехословацкими сторонниками реформы и основанных в большинстве на фактах периода «пражской весны», рекомендуем работы: *R. Selucky*. Marxism, Socialism, Freedom. Toward a General Democratic Theory of Labour-Managed Systems. London, 1979; *O. Sik*. Humane Wirtschaftsdemokratie. Ein dritter Weg. Hamburg, 1979.

ем экономических факторов (любое изменение такого типа может быть только результатом активного взаимодействия социальных сил). Вместе с тем это говорит о том, что демократизация — это также своеобразный «производственный фактор», при отсутствии которого экономическое развитие сталкивается с растущими трудностями³⁵. Иначе говоря, классический с точки зрения марксизма конфликт («противоречие») между производительными силами и производственными отношениями предстал бы в коммунистических странах как конфликт между требованиями экономического прогресса и отсталой политической системой.

Экономическая роль политической демократии становится, может быть, более наглядной на фоне отрицательных явлений — отсутствие демократии ведет к пагубным последствиям в области информации, в подборе кадров, в отношениях работников к своему делу и т. п., — чем положительных (введение демократических институтов как эффективное средство против экономических трудностей). Тем не менее эта концепция пользуется немалой поддержкой независимой интеллигенции Восточной Европы и в благоприятных условиях может стать мощной идеологической силой для массового народного движения, как это убедительно показали польские события 1980—1981 годов.

Восточноевропейские дискуссии по проблемам функционирования социалистической экономики явились источником множества выводов для марксистской теории. Отметим следующие из них:

1) Переход средств производства из частной собственности в государственную не является сам по себе (в себе и для себя) магическим и окончательным решением экономических проблем даже в том случае, если это достигается в результате действительно автономной революции. Кроме того, как показали дискуссии, время не сужает круга проблем; напротив, их число даже растет, о чем свидетельствует, между прочим, значительное замедление развития, которое в течение длительного периода считалось главным показателем превосходства социализма над капитализмом и основанием для оптимистического мнения о возможности «догнать и перегнать» развитый Запад.

2) Общественная собственность на средства производства сама по себе не предопределяет системы («модели») функционирования экономики, и даже в рамках эффективного централизованного планирования могут иметь место разные варианты в зависимости от степени децентрализации экономических решений, от принятых критериев успеха, от стимулов и прочего.

³⁵ W. Brus. *Socialist Ownership and Political Systems*. London, 1975.

3) В частности, государственное планирование не может просто противопоставляться механизму рынка, и никакое нынешнее или будущее развитие компьютерной техники не в состоянии поколебать утверждение, что какое-то сочетание планирования и рынка в перспективе окажется наиболее вероятным.

4) Никакой подходящий вариант системы, рассчитанный на длительный срок, не может быть выведен лишь из экономики, без учета соотношения экономических и политических факторов, что свойственно коммунистическим странам. Подлинное обобществление средств производства требует непрерывного прогресса в процессе превращения народа из объекта в субъект принятия решений, путем развития самоуправления и политической демократии на всех уровнях организации общества. В связи с этим социализму совершенно необходим политический, культурный и экономический плюрализм.

Что можно сказать о влиянии экономических споров на позиции марксизма в коммунистической Европе? Бесспорно, было бы слишком самонадеянно связывать эти позиции только с результатами указанных споров; следовало бы рассмотреть гораздо более широкий круг проблем. Однако я убежден, что дискуссия по вопросам экономики имела в этом плане очень важное значение. Проблемы, возникшие в ходе дискуссии, заставили экономистов-марксистов живо, открыто и критически подойти как к традиционной теоретической ортодоксии, так и к проблемам текущей практики марксизма. Этот подход при разной степени интенсивности в разных странах вел в известной степени к большей откровенности в высказываниях. Но большая часть попыток критического и независимого пересмотра традиционных положений была заклеена официальными защитниками веры как антимарксистская, что, естественно, не помогло восстановить доверия к марксизму как теоретической концепции. Затем был сорван и ряд попыток реформы, включая «пражскую весну», подавление которой нанесло жестокий удар всей идее реформируемости системы. Поскольку марксизм сам всегда подчеркивал собственную, очень прочную связь с практикой («философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»), постольку инертность системы в соединении со все более очевидными проявлениями ее несостоятельности (полный провал в случае с Польшей) не могла не нанести серьезного ущерба его позициям. Наконец, тот же критический марксизм, хотя он и пытался противостоять вызову, брошенному действительностью, и разработать новые варианты анализа, часто волевым образом обнаруживал доктринальную непоследовательность. Примером может служить уже не раз упоминавшийся воп-

рос об обобществлении: если отмена частной собственности сама по себе не означает обобществления, то, по-видимому, следовало бы пересмотреть концепцию собственности как главного элемента производственных отношений. Политический контроль и монополия на средства коммуникации в широком смысле этого слова могут тогда стать независимыми факторами отношений власти в обществе. Кроме того, если принять такой подход, то не стоит заранее отвергать тот довод, что причину несостоятельности коммунистической экономики нужно искать именно в господстве государственной собственности, а не в ее специфических чертах в существующих сейчас условиях.

Одним из ярких свидетельств упадка марксистской экономической теории является то, что она оказывает все меньшее влияние на независимую (то есть диссидентскую) литературу Востока Европы. В то же время все, что остается от марксизма в этой области, к счастью, свободно от спеси «установочного варианта» с его претензиями на роль оракула. Это, во всяком случае, может быть добрым предзнаменованием для перспективной проверки действительности марксизма в качестве подлинно научной социальной теории будущего.

Франсуа Годман

КИТАЙ ПОСЛЕ МАО

В связи с расплывчатостью границ определяемого предмета анализ нынешнего развития марксизма в Китае — довольно сложная задача. Ведь первая стадия марксизма была там связана с политическими перипетиями фактически гораздо теснее, чем в Западной Европе или в России. Этот марксизм, сформированный требованиями борьбы, возник в конце 30-х годов. Хотя он и являлся результатом коллективного творчества, он получил распространение и известность как «идеи Мао Цзэдуна» (а во время культурной революции стал даже именоваться маоизмом). На самом же деле здесь речь идет о процессе синтеза, включившего в себя крупные темы ленинского учения, которое вновь обрело актуальность ввиду обстановки в Китае и темпов его развития, основные элементы эмпирического прагматизма, в котором легко можно проследить влияние американской демократической мысли (Дж. Дьюи, У. Джеймс), господствовавшей на начальном этапе революционного движения, и, наконец, обобщение опыта китайского коммунистического движения, противостоявшего двум кризисам беспрецедентных масштабов (разгром городских советов в 1927—1928 годах и Великий поход 1934—1935 годов)¹. В период культурной революции постепенно начался глубокий кризис этого первого типа марксизма. Этап, последовавший за смертью Мао в конце 1976 года и утратой былой популярности, судя по всему, не предоставляет благоприятных возможностей для развития данной формы политической мысли.

Вторая стадия китайского марксизма медленно складывалась после провозглашения народной республики. В первые годы существования нового режима появился тип высшего образования, казавшийся совершенно новым в сравнении с традиционной системой: на основе интеллектуальных моделей, заимствованных из Советского Союза и коммунистичес-

¹ Окончательное оформление произошло в Яньани. См.: R. F. Wylie, *The Emergence of Maoism: Mao Tse-tung, Ch'en Po-ta and the Search for Chinese Theory 1933—1945*. Stanford U. P., 1980.

кого и прогрессивного движения Запада, были введены такие научные дисциплины, как новейшая история, философия, социология и политическая экономия. Однако этот феномен оказался непродолжительным. Его поставили под вопрос всего несколько лет спустя, как только начался «большой скачок» (1958 год), хотя, особенно в последние годы, в этой сфере и наблюдается какое-то движение; нередко его инициаторами становятся те лица, которые играли главную роль в 50-е годы и теперь, спустя 20 лет, выходят из тяжелой изоляции, часто сопровождавшейся преследованиями (явное сходство с преступлениями сталинизма в СССР). Этот «катедер-марксизм», являющийся также марксизмом общественного развития, по причинам, о которых будет сказано ниже, вполне может получить широкое распространение в ближайшие годы. Однако в настоящий момент он вынужден ограничиваться постепенным усилением своего присутствия. В сущности, для его возобновления в Китае вновь возникли предпосылки всего лет пять назад: появились высшие школы, способные обучать студентов, исследовательские коллективы, активно действующие в области общественных наук, значительное количество переводов марксистских работ, изданных за рубежом, — иными словами, все то, что полностью исчезло во время культурной революции. И можно лишь попытаться определить перспективы этого марксизма, конкретные достижения которого не так уж велики.

В то же время изменения последних лет вызвали беспрецедентное по сравнению с периодом после 1949 года усиление политической дискуссии во всех ее формах. С наступлением этой «оттепели», во многих отношениях превосходящей «оттепель» в Советском Союзе после 1953 года, вошли в оборот элементы открыто не декларируемого марксизма, способные послужить основой для критического анализа китайского социалистического общества. Внутри этого критического течения надо еще делать различие между тем, что исходит из партийной реформистской среды и защищается и поощряется главным образом Дэн Сяопином, и тем, что является результатом стихийной (начатой еще в последний период жизни Мао) разработки проблем силами прогрессивной интеллигенции и представителями некоторых городских слоев народа. Точки соприкосновения этих двух течений становятся явными со времени пекинских демонстраций в апреле 1976 года, когда Чжоу Эньляя и Дэн Сяопина впервые начинают противопоставлять последователям Мао. Однако даже в периоды согласия между партийным реформизмом и реформизмом интеллигенции (например, в период длительной борьбы против догматизма, приведшей в конце концов к устранению с поста председателя партии Хуа Гофэна, которого назначил своим преемником сам Мао) эти два кри-

тических течения сохраняют свои различия как в отношении объектов антагонизма и персональных амбиций различных деятелей, так и в отношении конкретных целей каждого течения. Вот почему кажется необходимым более глубоко изучить особенности анализа общества сторонниками этих течений, чтобы лучше определить те элементы, которые могут оказаться точкой отсчета марксизма, переживающего этап становления.

1. Новый курс

После культурной революции, а еще более после смерти Мао и падения «банды четырех» Китай все дальше отходил от идей Мао как в области конкретной политики, так и в области идеологии и теории социализма. Этот постепенный отход не всегда декларировался открыто, поскольку руководящая группа компартии в ряде случаев, особенно после 1981 года, предпочитала по-прежнему опираться в своей деятельности на отдельные относительно безобидные аспекты идей Мао и путем утилизации фразеологии, освященной преданием, обеспечивать себе некий революционный мандат. И все же отказ от существенных аспектов маоистского учения неоспорим: с исчезновением статуй, портретов и прочих неперенных аксессуаров культа личности изменились экономика, политика да и сам анализ общественных преобразований, общепринятый в революционный период. Об этом свидетельствует то, что в области истории партии было много сделано для обнародования всех форм политической мысли, считавшихся еретическими в период культурной революции: были снова с определенной торжественностью изданы речи и статьи Лю Шаоци и сборник речей маршала Пэн Дэхуая, устранение которого в 1959 году открыло путь атаке, направленной против всей партии; в области экономики были собраны и широко распространены — прежде всего среди высших партийных кадров — сочинения Чэнь Юня, главного творца китайской экономической политики до 1957 года, сторонника большей гибкости в промышленном планировании и яростного защитника крестьянства; ныне он играет стратегически важную роль в поддержании коллективного равновесия. Таким образом, Китай возвращается к практике, типичной для досталинской России. Так, до 1927 года советское государство выступило инициатором издания «трудов» всех наиболее важных руководителей Октябрьской революции, что в известной мере способствовало рассмотрению в более правильной перспективе сочинений самого Ленина. В ходе «демаоизации» речь как раз шла о том, чтобы восстановить должную связь между сочинениями Мао и вкладом других крупных деятелей, которые впоследст-

вии подвергались преследованиям, например представителей освободительной армии (Пэн Дэхуай), партии (Чжоу Эньлай) и аппарата планирования (Чэнь Юнь); все эти лица как бы символизируют наличие многочисленных мыслительных уровней в противовес представлениям о якобы единственном «штабе», откуда исходила воля одного непогрешимого человека.

Однако есть двойное парадоксальное отличие всего этого процесса от советской «оттепели» 1953—1956 годов. С одной стороны, преступления Мао так и не были открыто осуждены, как это было сделано в отношении преступлений, совершенных Сталиным, по меньшей мере в короткий период между XXI съездом КПСС (1961)* и падением Хрущева. Давая в 1980 году, после устранения Хуа Гофэна, повторную оценку китайского руководства, Дэн Сяопин относит 70% из маоистского опыта к позитивному, а 30% — к негативному². С другой стороны, в отличие от СССР, где хрущевцы проявляли относительную осторожность в подаче фактов, в Китае все чаще появляются документы, четко свидетельствующие об ужасах культурной революции, указывающие число погибших в результате таких ошибок в экономической политике, как «большой скачок», или описывающие условия тюремного заключения и принудительного труда. Явное стремление искупить вину за совершенную несправедливость и пристрастие к фактам, позволяющее не отводить глаза от иллюзий прошлого, способствовали тому, что Китай во многом преодолел уровень простых антимаоистских лозунгов. Ограничимся одним примером: в отличие от того, что произошло в Советском Союзе по отношению к [жертвам] сталинского периода, в Китае были реабилитированы все члены коммунистической партии, которым были предъявлены обвинения в ходе культурной революции. Но самое важное отличие — не в персональной реабилитации, а в том, что в Китае внимание критики переносится на фундаментальные общественные процессы; к тому же «демаонизация» происходит в гораздо более открытой политической и идеологической атмосфере, с обращением вовне. Интерес к Западу и попытки соревноваться с промышленно развитыми странами, поддерживаемые порой и в несколько волюнтаристской форме такими людьми, как Дэн, и ближайшей к нему реформистской группой, не могли не столкнуться с архаичными формами политизации общества, обычно называемыми «феодальными пережитками». Широкомасштабное проникновение идеологической модернизации по меньшей мере на отдельные острова огромного архипелага китайского мира городов

* XXI съезд КПСС состоялся в 1959 году. — *Прим. ред.*

² Обладая большим чувством юмора, Дэн Сяопин самому себе приписывает несколько более высокий процент негативного.

повлекло за собой нынешний подъем западничества в самых разнообразных формах.

В Китае весьма много, и отчасти справедливо, говорили о значении переоценки западной потребленческой ориентации, хотя и отмечали трудности на этом пути. Одновременно, как и в России 20-х годов, начал расти интерес к американскому фордизму³. Можно отметить также большое внимание к японской модели индустриализации, особенно в связи со значительным ростом производительности труда в промышленности Японии⁴. Наряду с этим прямым интересом к Западу можно заметить и возобновление интереса к опыту «реального социализма» в странах Восточной Европы, объясняющееся аналогиями по некоторым проблемам общественного развития, а также характером подготовки многочисленных кадровых работников, для которых изучение русского языка стало первым прямым контактом с европейской мыслью (например, новый генеральный секретарь партии Ху Яобан в свое время был представителем китайской молодежи во Всемирной федерации демократической молодежи в Праге). К тому же с возвращением на политическую сцену Дэна в 1974-1975 годах призыв к изучению иностранных языков расширили, включив французский и английский. Все-го через год после смерти Мао стали делаться первые намеки относительно русского влияния на идеи и стиль Лу Синя. В связи с первой поездкой Хуа в Западную Европу китайская печать начала писать о преимуществах югославского самоуправления, а сегодня, стремясь скорректировать эксцессы децентрализации, в благоприятном свете описывается система управления народным хозяйством Венгрии. Наконец, можно напомнить, что поездка Берлингуэра в 1979 году в Китай послужила предлогом для отказа от самого термина «ревизионизм»; термин же «социал-империализм» был

³ Вообще интерес кадровых работников и жителей городов ко всему связанному с промышленным рационализмом Запада и порождающими его общественными системами практически безграничен. Он проявляется не только исподволь — его и намеренно развивают официальные журналы и газеты. Так, самое распространенное в Китае издание вовсе не «Жэньминь жибао», а «Цанькао сяоси», по замыслу предназначенное лишь для кадровых работников: тираж его благодаря решительной поддержке, оказанной Чжоу Эньлаем в 1971 году, ныне превышает 10 миллионов экземпляров. Этот журнал состоит из статей и корреспонденций исключительно западного происхождения и является основным посредником для передачи информации о Западе. Число читателей одного экземпляра журнала весьма велико: можно предположить, что журнал прочитывается всем городским населением и всеми политическими и техническими кадровыми работниками деревни.

⁴ В сельском хозяйстве очень высоко оценивается американский метод механизации. Например, друга Китая Уильяма Хинтона специально приглашают выступать на страницах «Жэньминь жибао» с дифирамбами Среднему Западу.

изъят из употребления еще за два года до этого. Весьма примечателен следующий эпизод. Весной 1980 года в ходе одного заседания, посвященного проблемам литературы, в повестке дня оказался вопрос о Солженицыне. Партия отложила его рассмотрение на неопределенный срок. Какого-либо однозначного объяснения такого решения до сих пор нет. Однако следует учитывать, что в тот момент в самом Китае обсуждался вопрос о разоблачении китайской тюремной системы, действовавшей во время культурной революции. Как бы то ни было, стремление китайских властей сделать менее жестким отношение к Советскому Союзу кажется очевидным.

Но еще больше, чем Запад и Восточная Европа, всеобщее внимание привлекает японское общество, что объясняется как исконной близостью культур Японии и Китая, так и нынешней огромной разницей между ними. В отношениях между этими двумя крупнейшими азиатскими государствами в период после 1976 года наблюдается постоянное сближение. Здесь и поездки в Китай тысяч японских специалистов, и неизменно растущий культурный обмен, и не в последнюю очередь жажда китайских средних слоев приобщиться к тем товарам широкого потребления, которые японская промышленность выбросила на внутренний рынок Юго-Восточной Азии. В своих отношениях с Китаем японцы, даже в большей мере, чем европейцы, демонстрируют явно прагматический подход, лишенный каких бы то ни было оговорок политического свойства. Напрашивается вопрос: последует ли за экономическим развитием аналогичное развитие в области культуры? Речь идет о том же самом движении (уже отмечавшемся в начале столетия), когда в крупных японских университетах (Васэда, Сэндай) формировались первые левые китайские течения, анархические или марксистские. Японские марксистские школы сегодня весьма активны, особенно в области истории и политэкономии, но их вклад в изучение китайской действительности все еще незначителен из-за политических разногласий с КПК (вопросы пацифизма, отношения к японскому капитализму и др.).

Складывается впечатление, что беспрецедентная открытость внешнему миру стала первым массовым последствием происходящей ныне «демаоизации». Однако вряд ли можно утверждать, что этой открытости соответствует адекватное развитие теории на почве специфически китайской культуры. Причины этого несовпадения достаточно просты. Из-за абсолютного господства маоистского догматизма развитие исследований в области общественных наук долгие годы было попросту невозможным: с 1957 года, после периода «ста цветов», были запрещены исследования в области права (если, конечно, не считать короткого периода начала 60-х го-

дов, когда они были возобновлены); незадолго до культурной революции ЦК запретил публиковать какие-либо исследования по истории партии, причем этот запрет был более жестким, чем в Советском Союзе; чинились всяческие препятствия проведению социологических исследований, которые с 1949 года были передовым участком прозападной модернизации в китайских университетах.

Нищете научных исследований на уровне институтов соответствовала тяжесть испытаний, выпавших на долю людей. Об этом свидетельствует, например, опубликованное 18 декабря 1980 года в «Жэньминь жибао» письмо, в котором один из социологов-коммунистов воспроизводит этапы своей профессиональной карьеры. Получив образование в Пекинском университете (Бэйда), с 1949 по 1952 год он работал в Академии наук. Хотя диплом он получил уже при социалистическом строе, в 1954 году, его понизили до уровня школьного преподавателя, а когда окончился период «ста цветов», он потерял и это место и был вынужден устроиться на работу пастухом в одной из народных коммун провинции Ганьсу. В 1978 году его знание английского языка позволило ему стать преподавателем иностранного языка. Целое поколение было попросту выброшено за борт.

Исследования в области политэкономии достигли максимального расцвета в 1956—1957 годах, когда журнал «Цзинцзи яньцзю», скалькированный с советского журнала «Вопросы экономики», открыл критическую дискуссию по вопросу о законе стоимости. Однако все начинания в этой сфере были заблокированы начавшимся в 1958 году «большим скачком». Когда же в 1962—1964 годах дискуссия возобновилась, она лишь косвенно затронула вопросы экономики. Некоторые экономисты, связанные с антимаоистскими политическими фракциями (например, Сюэ Муцяо и Сунь Ефан), стали публиковать статьи, доступные только посвященным, тактически и практически отнюдь не способствовавшие углублению проблем, тогда как официальные публикации, то есть в конечном счете элементарные условия для развития независимой мысли, весь этот период почти отсутствовали. Сейчас было бы бесполезно вдаваться в подробные описания того, каким крайним опасностям подвергали себя те, кто занимался теоретической деятельностью. Мало кому, подобно президенту Академии наук Го Можо, удалось избежать разных волн преследований⁵.

⁵ Например, грубые нападки Мао на старого реформиста-аграрника Лян Шумина на совещании в ЦК в 1953 году, когда было принято решение о переходе к коллективизации («кости его побелеют»), показывают прямую связь между теоретическими утверждениями и личной судьбой человека. Это научило осторожности тех, кто пришел на смену репрессированным.

И все же, несмотря на такие значительные потери среди интеллигенции, в сегодняшнем Китае существует эмбрион марксистской мысли, хотя и в весьма рудиментарной форме. Не подлежит сомнению, что политические руководители пытались превратить марксизм-сталинизм-маоизм в орудие морального и политического усыпления масс, в своего рода средство соединения разных видов социальной практики, заменяющее конфуцианство, без отказа от отправных условий культуры. Во имя достижения этой цели сегодня в Китае склонны ориентироваться на вьетнамский марксизм, дидактически более гибкий, после того как завершились годы пи Линь пи Кун (то есть критики Линь Бяо и критики Конфуция, фактически направленной против Чжоу Эньлая и его политики реформистской реставрации). Как это ни парадоксально, теория, в своей оригинальной версии отстаивающая отмирание государства, приняв форму политического марксизма, используемого китайским руководством, по всем признакам стремится скорее укреплять все то, что в Китае именуется «политической властью». Во все еще преимущественно аграрной стране, где по-прежнему очень сильны центробежные тенденции, спонтанно проявляется тенденция рядовых коммунистов «жить без государства». Эта ситуация, весьма характерная для начала 30-х годов, в момент наиболее интенсивного распада традиционного общества вновь возникла после провала «большого скачка» в ряде периферийных районов. Следовательно, в анализе азиатского марксизма Виттфогеля, говорившего о фундаментальном этатизме, связывающем этот марксизм с предшествующими деспотиями, есть что-то похожее на правду. Однако Виттфогель из-за своей идеологической предубежденности упускает из виду именно тот существенный элемент, который отличает азиатский марксизм от идеологии мандаринов: если мандаринизм, даже самый передовой, конца XIX столетия, и торговлю и промышленность подчинял поиску статичного равновесия общественного организма, то коммунистический этатизм изначально ставит перед собой динамическую цель, лежащую вне государства. Вот отчего нынешний «этатистский марксизм», несмотря на его довольно противоречивый характер, представляется нам некоей переходной формой.

Не менее явным было противоречие, характерное для маоцзедуновского антиэтатизма, которому вполне соответствует нынешний неэтатизм. Можно даже говорить о негласной взаимозамене функций двух эквивалентных вариантов одной и той же теории: кажущаяся политическая инертность, отстаиваемая нынешними официальными лицами, трансформируется в открыто декларируемую защиту социального развития, тогда как чрезвычайная изменчивость [политики] Мао, подчас анархическая, на практике служила, по мень-

шей мере отчасти, идеологической ширмой весьма медленного (если не сказать — нулевого) развития китайской экономики и общества. Так, в сфере политики Мао выступает поборником теории универсальной мобильности: гераклитовый динамизм должен якобы открыть неограниченные возможности для вмешательства воли, которая перестала определяться материальными условиями существования. На деле же, как можно заметить, грандиозные преобразования в идеологической области служат всего-навсего маской общества, которому присущи постоянное падение эффективности и сильная зависимость положения каждого от ухудшающихся материальных условий существования, что видно хотя бы на примере аграрной модели Дачжая, ныне открыто осужденной как система каторжного труда, лишенного какой бы то ни было перспективы.

Четыре модернизации, начатые еще до смерти Мао Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином, представляют собой, напротив, решение идти в направлении, противоположном стабилизации надстройки, чтобы достичь большей гибкости функционирования всех действующих лиц китайского общества. Маоизм сумел соблазнить Запад, выдвинув такие темы, как продолжение революции при социализме, критика властей, в том числе и партии-авангарда, потребность прямого перехода к производственным отношениям коммунистического типа. Кроме того, в последний период были разрешены конституцией такие права, как право подавать петиции, вывешивать «дацзыбао» (стенные газеты) и, самое главное, бастовать. Все эти права, весьма важные в формальном отношении, были поставлены под вопрос в проекте конституции, представленном в 1982 году. В отличие от советской конституции, навязанной Сталину его противниками в Политбюро и ее подлинными авторами Бухариным и Радеком, в китайскую конституцию эти права, очевидно, были внесены по настоянию самого Мао с явной целью использовать их как оружие в борьбе против «старой партии». Однако понять весь масштаб этой идеологии бунта можно, только постоянно помня о ее материальной подоплеке, а также о симптоме истерии в этиологии различных форм психоза.

2. Противоречивость идей Мао

Теперь необходимо проанализировать противоречивость идей Мао как в диалектическом смысле, так и в смысле двойственности [его высказываний]. Известно, что при сопоставлении всех его официальных сочинений, появившихся до 1949 года, со статьями, речами и беседами периода основания народной республики можно приписать ему все, что

угодно. В частности, в 1956 году Мао был напуган поднятой XX съездом КПСС волной выступлений против культа личности и сталинизма. Несмотря на свою враждебность к Сталину, который, впрочем, отвечал ему тем же, Мао в тот момент в идеологическом плане отмежевался от советского пути и от ошибок КПК, используя собственный престиж, для того чтобы представить себя как человека, исправляющего допущенные ошибки и стоящего гораздо выше партийной «бюрократии». Таким образом, ему в известной мере удалось противопоставить сталинскому авторитаризму, по сути дела, троцкистскую критику и какое-то время в 1956—1957 годах выступать в качестве сторонника реформистских решений, не отличающихся от реформизма Хрущева, хотя он в то же время формировал процесс коллективизации сельского хозяйства и поощрял стахановские методы повышения производительности труда.

Подобную двойственность отчасти можно объяснить склонностью к хитростям и уловкам в политике, фактически основанной на полном контроле над органами безопасности. Те на Западе, кто симпатизировал маоизму, по правде говоря, давно могли бы понять подобный подход, внимательно прочитав ряд текстов Мао, где откровенно воспевались культ силы и антиинтеллектуализм (последнее свидетельство о теоретическом убожестве Мао)⁶. Однако они не пережили того, что испытали на собственном опыте, например, хунвейбины, когда их вождь обрушился с репрессиями на них, хотя сам же породил их. Так что и до сегодняшнего дня некоторые маоистские идеи, такие, как уравниловка, упразднение разделения труда, борьба против «командных» тенденций и против бюрократии, опора на собственные силы, право бунтовать при социализме, соблазнительные перечни четырех модернизаций. Было бы ошибочно пытаться приписывать Мао пророческое видение проблем социализма (все очевиднее становится то, что он мало сделал для разрешения этих проблем): делать так было бы все равно что смешивать в теоретическом плане некоторые прозрения Фейербаха с гегелевской диалектикой, забывая, что, согласно марксизму, любые утверждения ценны только в том случае, если они пустили корни в практику. Китайское же общество фактически вновь стало развиваться лишь после отказа от маоизма. Хотя в настоящем очерке невозможно дать исчерпывающую картину паралича, вызванного маоизмом, мы все же попытаемся привести здесь некоторые характерные примеры.

1. Механизм накопления и распределения капиталовложе-

⁶ См., в частности: *Mao Tse-Tung. Per la rivoluzione culturale. Scritti e discorsi inediti 1917—1969* (a cura di Jerome Ch'en). Torino, 1975.

ний. Уровень накопления ни разу не уменьшился после декларированного отхода от планирования советского типа. Он достиг 43% в 1959 году (в кульминационный момент «большого скачка») ⁷ и оставался на уровне около 30% на протяжении 70-х годов. Примат тяжелой промышленности был неизменно стабильным, достигая 76—77% всех капиталовложений с 1954 по 1977 год. Еще более показательный факт: в те же годы из-за искусственного понижения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию промышленное и городское развитие в самом широком масштабе финансировалось деревней ⁸. Только теперь посредством субсидий из бюджета начинается перераспределение капиталовложений в деревню.

2. Географическое равновесие развития. Несмотря на перекачку финансовых средств из прибрежных районов в глубь страны, географическое перераспределение промышленного производства и сейчас в процентном выражении то же, что и в начале периода планирования ⁹. Многочисленные проекты, предусматривавшиеся для труднодоступных районов, из-за плохой координации и скверного планирования были окончательно заброшены.

3. Эгалитаризм в доходах и средствах. Годы правления Мао характеризовались глобальной стагнацией заработной платы, которая не увеличивалась ни в соотношении с ценами, ни в реальном выражении с 1957 по 1978 год. На Западе очень внимательно наблюдали, как постепенно отменялись привилегии в заработной плате для специалистов или представителей национальной буржуазии и как блокировалось обогащение наиболее зажиточных сельскохозяйственных районов посредством развертывания борьбы против частного предпринимательства и свободного рынка. Сельское хозяйство не «окулачивалось», поскольку оно уже было коллективизировано, тогда как частное потребление в городах по-прежнему оставалось политической привилегией, а не каким-то экономическим феноменом. Отправка нищенствующих на поселение, высылка более 20 миллионов молодых людей в деревню, ограничения на перемену места жительства (которым противоречило наличие значительного нелегального населения в крупных городах) — все это производило впечатление, что в Китае принимают меры к предотвращению бегства людей из сельской местности и что у этой страны те же проблемы, что и у других крупных слаборазвитых держав. Однако при этом упускалось из виду, что подобная политика стабилизации в Китае проводилась це-

⁷ Так утверждается на с. 52 «Цзинцзяньцзю» за ноябрь 1980 года.

⁸ "Tiers Monde", № 86, avril-juin 1981, p. 307.

⁹ United States Congress. Chinese Economy post-Mao. November 1978, p. 246.

ной сохранения в огромных районах нищенского существования крестьянства. Отмечая ярко выраженное неравенство отдельных местностей, участником проведенного в 1979 году обследования около 10% китайских регионов, где проживает 11% всего сельского населения (88 миллионов человек), утверждают, что в этих областях годовой доход на душу населения ниже 50 юаней¹⁰. Согласно китайским официальным источникам, в 1977 году в подобной ситуации находилось около четверти сельских областей. Условия жизни там отягощались еще и принципиальным отказом (действовавшим с 1957 до начала 70-х годов) от какой бы то ни было политики контроля над рождаемостью. Хотя наследники Мао не стали ограничивать неравенство сверху, вряд ли можно сказать, что маоистская экономическая политика смогла сгладить его снизу.

4. Социальная мобильность. Трудно рассматривать проблему, о которой мы можем судить лишь по личным свидетельствам или отдельным примерам. Тем не менее отметим, что инспирированные властями крупные движения — например, направление кадровых работников на производство, точнее, на руководящие посты в производстве, высылка молодежи в деревню, обмен опытом, операция «открытых дверей» — нередко были скорее средством политической борьбы, чем подлинными социальными преобразованиями, заслуживающими такого названия. Так называемая «литература пострадавших» периода 1979—1981 годов изобилует горькими свидетельствами людей, ставших жертвами подобных мероприятий, не говоря уже о показаниях тех, кто подвергся высылке: число их до сих пор не известно, известно лишь то, что они были. В общем, застой в области занятости (преимущественно и к чиновникам, и к наемным рабочим на государственных предприятиях), отсутствие изменений среди персонала университетов и научно-исследовательских институтов, распространенная в рабочем классе практика преимущественного приема на работу ближайших родственников — все это показывает, что корпоративизм и его неизбежные спутники (двойной сектор занятости, коррупция, параллельные рынки) в течение ряда лет были существенной характеристикой системы, скрывавшейся за ширмой маоистских деклараций.

Узаконение права на забастовку не должно затмевать тот факт, что практическое использование этого права ограничивается определенными политическими условиями. Вот почему нам представляется, что забастовки, сопровождавшие как в начале, так и в конце культурную революцию, проис-

¹⁰ E. B. Vermeer. Income differentials in rural China. — "China Quarterly", march 1982, p. 25.

ходили вовсе не под давлением — пусть и манипулируемым — наступающего пролетариата, а в результате практического использования организационного потенциала крупных промышленных городов соперничающими политическими группировками¹¹.

Маоистская теория была прежде всего своего рода «потемкинской деревней», подходящей к условиям «третьего мира». Ныне, опровергая эту теорию, забывают и достигнутые народным Китаем важные количественные показатели (правда, не имеющие ничего общего с теоретическими нововведениями), забывают, что валовой национальный продукт увеличился в шесть раз. Ведь фактически именно обстановка стагнации общества, и в частности наиболее современных его слоев, явилась предпосылкой народничества Мао.

3. Модернизация и ее отражение в сфере культуры

Критика подобного положения вещей и стала основой прогрессивного этатизма, господствующего ныне в Китае (и во Вьетнаме — в ином политическом контексте, но близком по типу подхода к проблемам). Исходя из этого, можно охарактеризовать прагматическую позицию такого руководителя, как Дэн Сяопин, попросту вывернув наизнанку терминологию Альтюссера, определявшего марксизм как теоретический антигуманизм. Группа, стоящая у власти в Пекине, судя по всему, намерена развивать некий гуманистический антитеоретизм, истоки которого по-прежнему сложны. Дэн Сяопин по своим идеологическим корням отнюдь не антимаоист: участие в крестьянской партизанской войне в начале 30-х годов, роль генерального секретаря ЦК партии (пост, специально восстановленный для него в 1957 году) делают его политическим наследником всего наиболее типичного из опыта Мао. В то же время Дэн с 1961 года становится союзником и самым близким соратником Чжоу Эньлая. Таким образом, он воплощает и преемственность в коммунистической партии, и неоспоримое стремление возвратиться к демократическим и рационалистическим корням коммунизма. Выдвижение на первый план наследия Сунь Ятсена — не просто дипломатический сигнал Тайваню, а прежде всего ясное указание на то, как предполагается расширить идеологический генезис китайской революции. Выражением синтеза, все еще находящегося в стадии разработки, является культ

¹¹ Забастовки в Ханчжоу в 1975 году, исследованные Марианной Сольер в: "Cahiers d'Études Chinoises", 1981, № 1 (Presses Internationales de France), показывают, как эти движения были использованы Чжао Чуньляо и другими членами «банды четырех» для ослабления нажима реформаторов.

Чжоу Эньлая, стихийно возникший ныне среди многочисленной интеллигенции.

На гораздо бoльшие трудности наталкиваются попытки понять, привела ли уже происходящая параллельно эволюция в китайских массах к синтезу «снизу», аналогичному тому, который выражается в стремлении ускоренно модернизировать страну «сверху». Несомненно, самое значительное идеологическое наследие культурной революции в массах — решительное требование демократизации — это результат и открыто декларированной идеологии отдельных групп хунвейбинов, и массовой оппозиции авторитаризму Мао, выразившейся, в частности, в манифестации 1976 года на площади Тяньаньмэнь и в «пекинской весне», начавшейся после ликвидации «банды четырех». Идея равенства, широко распространявшаяся в 60-е годы, до сих пор может служить целям борьбы против произвола, пока еще сохраняющегося на всех уровнях общества. А требование уважать личность ставит концепцию демократического равенства в более традиционные либеральные универсальные рамки. Этот аспект прекрасно иллюстрируется опубликованным в журнале «Дяньни гуаньцю» сепарисем, многозначительно озаглавленным «Генерал, вы не имеете права так вести себя»: там осуждается захват Пекинского университета Народно-освободительной армией. Ввиду отсутствия правовых [категорий] идеологии при критике подобных форм произвола, существование которого власти признают лишь отчасти в качестве «феодалных пережитков», апеллируют к обычаю уважать человеческое достоинство. Нередко за минимой банальностью требований можно увидеть поиск новых взаимоотношений государства и общества.

Во всем этом, однако, еще не видно ничего специфически марксистского. Глубину же укоренения послереволюционной культуры в массах показывает почти полное отсутствие тоски по прошлому. Если во времена восстаний периода новой истории Китая (XVIII—XIX века) призывали к реставрации династии Мин во имя возврата к утраченному «золотому веку», то сегодняшняя политическая и общественная критика не обнаруживает никакой склонности идеализировать прошлое (в отличие от того, как, например, поступает Солженицын в отношении Советского Союза). Пресса и литература Гонконга достаточно свободны, чтобы стать выразителями подобной идеологии; однако повсюду мы обнаруживаем сильное устремление вперед, к Западу, или, если оставаться на политической почве, к обновлению марксизма, к своеобразной азиатской социал-демократии. Коммунистические газеты Гонконга, например «Дагун бао», редакция которой состоит из лучших имеющих в распоряжении партии пропагандистов, предпринимают усилия, чтобы направ-

вить эти тенденции в нужное русло. Их намерения осуществляются в той мере, в какой между интеллигенцией Гонконга и реформистским крылом китайского руководства, олицетворяемым Дэном и его протеже Чжао Цзыяном и генеральным секретарем Ху Яобаном, сохраняются точки соприкосновения. Двойственность взглядов молодого поколения интеллигенции можно хорошо проиллюстрировать на примере тысяч активистов «пекинской весны», таких, например, как художники группы «Синсин»¹², которые поддерживают определенного типа марксизм и в то же время требуют свободы творчества. К тому же их ярко выраженный антиконформизм свидетельствует о том, что такого рода позиции не являются сугубо тактическими. Высказывания в пользу некоторых произведений абстрактного искусства чреватые более серьезными административными последствиями, чем, скажем, политический скептицизм, столь широко сегодня распространенный.

На страницах ряда антиконформистских журналов, в частности «Трибуна 5 апреля», где большую роль играет личность Сюй Вэньли, и «Поиск», руководимого Вэй Цзинчэном, в свое время была начата дискуссия между критически настроенными марксистами, стремившимися снизить симпатии партийных реформаторов, и немарксистами, борющимися установления либеральной демократии. Начало и апогей деятельности этих журналов (декабрь 1978 года — 1980 год) совпали с антиконсервативным наступлением, предпринятым внутри руководящих кругов. Разоблачение того или иного преступления в ходе культурной революции, осуждение произвола, творимого органами безопасности (которыми долгое время руководили ультрамаонисты, а затем Хуа Гофэн), лишь ненамного опережали аналогичные официальные позиции. Подобно тому как в 1966—1968 годах Мао Цзэдун пользовался насилием, чинимым хунвейбинами, для свержения своих коллег, Дэн Сяопин и его друзья пользовались в своих целях услугами критиков режима, игравших роль своего рода рыбок-лоцманов. Однако подобная скрытая конвергенция так и не стала союзом. Весной 1979 года, после китайско-вьетнамской войны, позиция Дэн Сяопина была поставлена под вопрос его консервативными коллегами и армией. Дэн Сяопину пришлось отделаться от этих критиков режима, возглавив движение по блокировке любых форм протеста¹³.

¹² Коллективное интервью группы «Синсин» в № 10 журнала «Чжэнмин», издающегося в Гонконге.

¹³ Вэй Цзинчэнь стал первым приговоренным к 15 годам тюремного заключения в результате первого состоявшегося в Китае публичного процесса, свидетельствующего о попытке властей соблюсти законность. Впоследствии, в августе 1982 года, к 15 годам тюремного заклю-

В сущности, в китайском обществе сегодня глубоко укоренился современный социалистический режим. Судя по всему, подавляющее большинство населения не выработало норм поведения, сильно отличающихся от насаждаемых господствующей системой, — это очко в ее пользу. Парадоксальное свидетельство этого, например, форма сознания заключенных, описанная Жаном Паскуалини в книге «Заключенный Мао Цзэдуном» (Париж, 1971). Автора книги в период «большого скачка» выслали в трудовой лагерь, обвинив в шпионаже в пользу Англии. Как это ни удивительно, заключенные, даже протестуя или требуя более справедливого обращения с собой, пользовались нормами языка, ничем не отличающимися от норм Мао. Ничего общего, например, с позицией полного антагонизма, избранной советскими «зеками» (о чем мы можем судить по песням Окуджавы и Высоцкого).

Аналогичный вывод можно сделать и из работ гонконгского кинорежиссера Шэ Шу, автора значительных фильмов вроде «До свиданья, Китай», где рассказывается о бегстве эмигрантов-подпольщиков в Гонконг. Любопытно отметить, что даже в этом фильме, снятом при полном отсутствии идеологического давления, главные действующие лица — беженцы, ищущие новой жизни, — сохраняют в своем миропредставлении мораль народных коммун, из которых они бежали. Обстановка бунта и обезличивания может, конечно, иногда приобретать аспект возврата к старым формам религии и народных предрассудков; однако, когда речь идет о поиске образа современности, китайские крестьяне оказываются не в состоянии найти какой-то иной образ, отличающийся от предлагаемого существующим режимом. Даже в городской среде трудно отыскать оппозиционеров, способных выработать представление об обществе, действительно отличающееся от того, которое навязывает им партия. Выражение «потрясать красным знаменем против красного знамени», появившееся в ходе культурной революции, в значительной мере все еще сохраняет свое значение и в нынешних идеологических конфликтах. Отступление от подобного подхода олицетворяют, быть может, только небольшие диссидентские группы, требующие проведения политики, соответствующей западной трактовке прав человека; однако их социальное происхождение (их главный рупор, Вэй Чжинчжэнь — близ-

чения приговорили и Сюй Вэнли, но уже без всякого публичного процесса и без обнародования предъявленного обвинения. Изоляции этих критиков режима, вероятно, способствовало то, что оба они находились на социальной обочине интеллектуальной жизни столицы, а также распространенное в Китае мнение, что широкая либерализация, пусть и не объявленная, — гораздо более важное завоевание, чем политическая свобода, провоцирующая власти.

кий родственник старого коммуниста Бо Ибо, жестоко преследовавшегося Мао Цзэдуном) и упорство, с каким они защищают опальных коммунистов вроде Лю Шаоци, свидетельствуют об их устойчивых связях с определенной частью партийного аппарата.

Впрочем, относительная «центральность» идеологии коммунистической партии на всех уровнях общества не противоречит неутолимому стихийному интересу к сложности мира — интересу, в той или иной степени заразившему уже всех. Предназначаемый для кадровых работников обзор печати, распространяющийся в миллионах экземпляров, состоит в основном из статей, заимствованных из зарубежных изданий; широкие зрительские массы выстаивают в очередях, чтобы посмотреть какой-нибудь второсортный американский кинофильм, причем правительство разрешает показ зарубежных кинолент только в городах, считая все еще слишком опасным для крестьян знакомство с западным образом жизни.

Несмотря на отсутствие организованной марксистской мысли, китайские интеллигенты после 1976 года стали проводить многочисленные важные исследования. Сочинения теоретического толка — пока еще редкое явление; исключения составляют разве что возобновление старой дискуссии о законе стоимости, переоценка маоизма как прогрессивного явления или исследование течения западничества в работах некоторых ученых XIX века. В то же время заметное развитие получила литература — классическая форма участия китайской интеллигенции в жизни общества; в литературе разрабатывается немало интересных предположений, выходящих за рамки декларированного мировоззрения. Актуальные тенденции общественной мысли в Китае можно увидеть также и в развитии живописи, где, хотя и делаются попытки в направлении кубизма и абстрактной живописи, подавляющее большинство художников стремится к возобновлению традиционных форм, к совершенствованию мастерства, а не к тем или иным новациям. Складывается даже впечатление, что интеллигенция стремится отыскать некую надежную точку отсчета, отталкиваясь от которой она могла бы продолжить свое движение вперед. В самых недавних популярных произведениях китайской литературы, например «Дом Гуй» Бай Хуа или «Бабочка» Ван Маня¹⁴ (выдержанных в стиле монолога Джойса и экзистенциализма 50-х годов), описывается драма высокопоставленных ответственных работников, долго стоявших в стороне от конкретных проблем страны и в силу личных обстоятельств вынужденных вновь столкнуться с суровой действительностью. Тема необходимости вернуться

¹⁴ Издано на английском языке в "Chinese Literature", 1981, № 1.

к более достоверному описанию действительности, отдавать себе отчет в том, что существует в действительности, фигурирует не только в форме художественного вымысла. Она отражена и в опубликованном в ноябре 1980 года в «Жэньминь жибао» очерке, написанном незадолго до своей смерти крупным коммунистическим писателем Чжао Данем, который решил через самый контролируемый орган официальной печати обратиться с горячим призывом отстаивать свободу творчества и художественного выражения, отказаться от какой бы то ни было опеки со стороны партии.

Итак, каковы же предпосылки возрождения марксизма в Китае на ближайшее будущее? Высказывая какое-либо предположение, нужно обязательно учитывать характерные черты специфики китайского марксизма.

В отличие от таких стран, как Германия, Россия или даже Япония, в Китае зарождение и развитие марксизма обуславливалось неотложными политическими потребностями сначала революционного движения, а затем построения нового государства. Поэтому в нем почти полностью отсутствует открытый подход ко всей культурной сфере¹⁵, присущий марксизму даже в таких странах, как Индия и Япония, где марксизм сыграл роль, несколько не сходную с той, которую он играл в Китае. Верно и то, что, хотя Мао попытался было направить в антидогматическое русло импортированный из Советского Союза марксизм, несущий на себе неустраненные родимые пятна сталинизма, эта попытка скорректировать марксизм оказалась задавленной тяжелым бременем политических событий текущего момента. А ведь одно из главных условий плодотворного развития марксизма — отказ партии от роли единственного выразителя теории общества и политики.

Массовые репрессии в Китае, несмотря на их кровопролитность, не имели характера катастрофического разрыва, который они приобрели в Советском Союзе. Конечно, на протяжении долгих лет из политической и интеллектуальной жизни были устранены главные деятели; однако многие, даже большинство, пережили все мучения и сегодня снова занимают командные посты. Такие люди, как Дэн и Чэнь Юнь, вошли в ряды коммунистического движения еще прежде, чем Сталин захватил абсолютную власть в СССР, и пережили все перипетии революционного процесса, начиная с первых лет союза

¹⁵ Исключение составляют только некоторые значительные труды в области истории, нередко издававшиеся за рубежом: в СССР — работы Чэнь Бода по аграрному вопросу, в США — работы Цзи Чаодин о роли великих рек в китайской истории.

с гоминьданом. Многосложные истоки делают их в политическом отношении гораздо более открытыми к изменениям по сравнению, например, с людьми, занимающими аналогичные посты в Восточной Европе. В Китае дело обстоит так, словно старой большевистской гвардии удалось созвать свой XX съезд. Вот почему возможность идеологической передачи революционного опыта в Китае кажется гораздо более реальной, чем где бы то ни было.

Китай наконец впервые оказался перед лицом широко-масштабной промышленной и урбанистической реальности. Можно предположить, что, возникнув в Европе XIX столетия для того, чтобы критически-революционно претворить в сознание такие явления, как индустриализация и разрушение старого общества, марксизм только сегодня в Китае находит объект, соразмерный с его возможностями толковать явления. В Китае ныне рабочих больше, чем во всех других странах «третьего мира»; демографический взрыв затронул не только города-метрополии вроде Пекина, Шанхая и Гаунчжоу, но и Гонконг, значение которого в политическом и культурном плане гораздо более документировано благодаря живости и высокому качеству местной коммунистической прессы. Именно с этой современностью революционной общественной мысли придется иметь дело в Китае завтрашнего дня.

Несомненно, корректировка, уже начатая официальным аппаратом и интеллигенцией, которой не без труда удастся вновь обрести свою политическую независимость, приведет к сглаживанию народнического аспекта в маоистском наследии и к углублению разработок темы автономии социальной практики и политической свободы.

Накануне XII съезда КПК можно высказать мнение, что Китай решительно вступил в новый «малый ледниковый период», следуя известной логике «контрастного душа», с которым уже познакомился СССР при Хрущеве. Большая часть нынешних публикаций, как нам кажется, дада с отсталых позиций по сравнению с описанной нами эволюцией китайского общества, но следует учесть, что материальные и социальные завоевания сохраняются там в неприкосновенности. Приблизится ли практическая и теоретическая проблематика марксизма в Китае в предстоящие годы к проблематике рабочего движения в Западной Европе или увянет в рамках обузданного реформизма, самого автономного из всех видов реформизма в странах Востока, зависит, следовательно, прежде всего от способностей руководителей-реформаторов и от их политического мужества.

Самир Амин

ОРИЕНТАЦИЯ МАРКСИЗМА НА «ТРЕТИЙ МИР»

Говорить о марксизме в различных регионах современного мира, основываясь на каком-то неизменном его подходе к реальности, невозможно. Марксистская реальность варьируется от региона к региону. Так, анализируя эту реальность в развитых капиталистических странах, можно думать, что она складывается из идеологии и практических действий различных рабочих и левых партий марксистского толка, из истории формирования подобных идеологий в связи с политическим развитием с тем влиянием, которое эти организации оказывают на рабочий класс через профсоюзы и на всю страну путем выборов. Что касается социалистических стран, руководствующихся марксизмом, то здесь следует оценивать природу реально существующих социальных отношений и характер их развития, проследившая при этом фактическую реакцию общества, реальные социальные выступления в нем — как народные, так и иного порядка — по отношению и существующему строю, к его идеологии и политической практике. В Азии и Африке дело обстоит еще сложнее: партии и движения марксистского толка там зачастую весьма слабы, нередко подвергаются сильным репрессиям; их часто «не признает» тот или иной «официальный» коммунизм. Влияние идей и организаций на общественную жизнь нельзя тут мерить западной меркой (даже выборы, когда они происходят, не имеют здесь того же значения). А уж если речь идет о преимущественно аграрном или слаборазвитом в промышленном отношении обществе, то степень влияния марксизма на рабочий класс вообще не может быть определяющим критерием.

Хотя внешне это и не заметно, однако представляется, что марксизм в этих странах — действующая реальность. основополагающую роль здесь играет его связь с движением национального освобождения — явлением огромного значения для Азии и Африки нынешнего века. Именно эта связь помогает нам понять не только его прошлое (в том, что касается его исторических корней) и настоящее, но и будущее. А это будущее при всей его неясности обладает массой объективных потенциальных возможностей.

Несомненно, при подобной оценке марксизма возникает опасность впасть в «фундаментализм». Мы попытаемся обойти этот подводный камень и подойти к марксизму как к социальному явлению в его постоянном развитии и разнообразии проявлений. Поэтому мы не будем заниматься поисками «истинного» марксизма, а лишь проследим, как идеи, которыми обычно руководствуется марксизм, проникли в африканские и азиатские страны, какие силы они могут там вдохновить и в какой степени и куда они способны направить развитие общества.

1. Революция и рабочий класс

Несомненно, что отправной точкой марксизма является революционность рабочего класса. Сам Маркс говорил, что его вклад в марксизм состоит вовсе не в том, что он открыл общественные классы, а в показе того, что в эпоху капитализма классовая борьба должна привести к исчезновению классов, к коммунизму. Это предполагает обязательность признания: а) решающего значения отношения между трудом и капиталом как фактора, определяющего характер современного общества; б) экспансионистской сущности этого отношения, неизбежно распространяющегося на весь мир; в) невозможности примирения между двумя полярно противоположными классами — буржуазией и пролетариатом, а также иллюзорность и временный характер любого компромисса между ними; г) необходимости растущего сознательного стремления пролетариата к коммунизму; д) всемирного роста этого сознания, лежащего в основе Марксова призыва: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Оптимистическая уверенность Маркса заключается отнюдь не в «религиозной» вере в неизбежность коммунизма, так как, если бы не было перечисленных выше условий, капитализм привел бы человечество к самоуничтожению. Выбирать можно, по Марксу, лишь между коммунизмом и варварством.

Исторический материализм нельзя редуцировать к более или менее вульгарному, прямолинейному и механистическому «экономизму» или же сводить к анализу единственной социальной реальности классовых отношений с вытекающим отсюда отрицанием всякой другой реальности. Первая подобная попытка имеет большую давность — она была предпринята чуть ли не во времена Маркса. В основе ее лежала просветительская традиция, уподобляющая общество природе, а объективный характер законов социального развития — характеру законов природы. Таким образом, экономическая обусловленность приобретает видимость естественной закономерности: от «Диалектики природы» Энгельса через эконо-

мизм Каутского, вплоть до советского «диамата»; эта линия — как понимал это Бернштейн — ведет к реформизму, поскольку социализм представляется здесь в качестве неизбежного результата развития, к которому якобы можно прийти даже бессознательно. По этой логике сознание теряет свое специфическое предназначение: оно либо по необходимости исчезает, либо — и это ничего в данном случае не меняет — неизбежно продолжает развиваться. В такой перспективе приход социализма также невозможен, пока капитализм окончательно не исчерпал своих возможностей, то есть пока он полностью не развил свои производительные силы и не пролетаризировал общество.

Не менее стара и вторая попытка редуцировать марксизм; более того, она представляет собой глубинную тенденцию марксистской системы. Развитие капиталистических отношений в мировом масштабе должно было бы постепенно исключить всякую прочую социальную реальность: нации, религиозные и культурные общины, племена, этнические группы и касты постепенно потеряли бы собственное лицо, чтобы уступить место единственному противоречию — противоречию между буржуазией и пролетариатом. Однако именно история мировой экспансии капитализма показывает, как эта социально-экономическая формация не только не превращает все общества в однородные и не сводит мир к двум основным противостоящим классам — буржуазии и пролетариату, но, развиваясь на основе неравного международного разделения труда, возрождает и акцентирует как раз иерархический характер наций и их разнородность. Уже Ленин отдавал себе отчет в соучастии социалистических партий в грабеже колониального мира, подчеркивая в своем «Империализме, как высшей стадии капитализма» политические результаты подобной экспансии. Естественно, возникал вопрос: а не был ли капитализм с самого начала своего формирования и экспансии такой мировой системой, которая основывалась на асимметрии в положении между центральными и интегрированными регионами, превращенными впоследствии в периферию всей этой системы? Короткий период британского гегемонизма — начиная с 20-х и кончая 70-ми годами XIX века — вместе с эпохой индустриализации и свободного обмена, во время которой образовались новые национальные европейские центры по образу и подобию Англии, позволяли предположить, что в расширении капиталистических социальных отношений заложена потенциальная возможность гомогенизации человеческого общества. Нельзя также забывать, что Маркс жил и творил именно в это время¹. Во всяком случае, ленинский анализ капитализма

¹ Новой здесь является та точка зрения, согласно которой капитализм с самого начала организовался как мировая система (World Eco-

не мог повлиять на политические результаты: реформизм и проимпериалистические отношения уже нелегко было вытравить из сознания пролетариата и рабочего класса в метрополиях. Более того, даже сами партии III Интернационала кончали тем, что постепенно оказывались под влиянием господствующей социальной реальности.

Тем не менее Ленин показал, что переход к социализму представляется не рядом социалистических революций в крупных центрах метрополий, а как ряд разрывов в «самых слабых звеньях цепи». Это вызывало целый ряд вопросов: а) о роли крестьянства, составляющего большинство населения периферийных областей; б) о способности малочисленного в этих странах «рабочего класса» возглавить революцию; в) о том, как подавить устремления новой формирующейся буржуазии на периферии; г) о возможности интеграции национальных реальностей и чаяний в одном общереволюционном проекте². Конечно, вопросы эти были не новыми; крестьянство поставило немало проблем перед Европой еще в XIX веке — от Франции, Германии и Италии до таких угнетательских государств («тюрем народов»), как Австрия, Россия и Османская империя. Но в целом значение этой проблемы преуменьшалось, поскольку считали, что крестьянство как резерв антирабочей буржуазной гегемонии обречено на исчезновение именно в силу развития капиталистических отношений в деревне.

Затем понятия изменились: проблема уже вышла за европейские рамки. Крестьянский вопрос и проблема угнетенных наций стали основными для всего колониального и по-

поту, то есть мировая экономика), а не как сумма национальных капиталистических экономик, вынужденных включаться в мировую экспансию уже после того, как они уверенно утвердились на собственных «национальных рынках» (см. об этом в: *S. Amin, G. Arrighi, A. G. Frank, I. Wallerstein. La crise. Quelle crise? Dynamique de la crise mondiale.* Paris, 1982, и отдельные труды различных авторов). По нашему мнению, процессы формирования капиталистических национальных (центральных) образований и «мировой экономической системы» совпадали вплоть до конца XIX века. Затем возникло противоречие между участием стран в этой «мировой экономике» и формированием новых законченных образований; с этого времени уже становится невозможным преодолеть экономическую отсталость, не нарушая интеграции в мировой системе.

² Следует иметь в виду по крайней мере две давнишние, но все еще актуальные для истории марксизма дискуссии — по национальному вопросу, которая велась во II и III Интернационале (см. библиографию в моей книге: *S. Amin. Classe et nation.* Paris, 1981, p. 252, а также работы: *M. Molnar. Marx, Engels et la politique internationale.* Paris, 1975; *G. Haupt, M. Lowy, C. Weill. Les marxistes et la question nationale 1848—1914.* Paris, 1974; *G. Haupt, M. Reberlioux. La II-e Internationale et l'Orient.* Paris, 1967), и по крестьянскому вопросу, который поначалу сводился к вопросу об «азиатском способе производства» — этот тезис К. Витфогеля был частично развит Ференцем Токаи (см.: *S. Amin. Classe et nation...*, p. 249, 255).

дуколониального мира, и уже не было речи об их исчезновении в ходе развития капитализма: марксизм превращался в преобразующую силу колониальных обществ. Эти проблемы пока далеки от разрешения как теоретически, так и в плане политической практики. В какой степени революционность рабочего класса сохраняется в качестве ядра этой системы? Каков ее характер на периферии? Как она сочетается с чаяниями крестьянства и запросами буржуазии этих стран? Конечно, продолжается и разговор об экспансии капитализма: какого рода капитализм развивается в странах, которые после второй мировой войны стали называться странами «третьего мира»? В то же время с момента, когда марксизм теряет свой чисто европейский характер и становится явлением мирового масштаба, возникает и ряд других проблем, поскольку сам-то он еще не вполне определен в рамках общества, в котором возник. Поэтому дискуссия, если она сосредоточена на формах экономической организации капиталистической эксплуатации в мировом масштабе, должна затрагивать и неевропейские способы капиталистической эксплуатации, неевропейские культуры, великие неевропейские религии и т. д. Эта дискуссия, возникшая на культурной основе и прошедшая от Маркса периода «Экономических рукописей 1857—1859 годов» до дебатов по «азиатскому способу производства», сейчас представляется по существу новой именно из-за непосредственного столкновения марксизма с новой реальностью.

Развитие капитализма в Азии и Африке в начале века характеризовалось особыми чертами, которые не делали его запаздывающим повторением развития на Западе. Промышленность, появившаяся там в эпоху господства монополий, — это современная промышленность, опирающаяся на технологию с применением относительно небольшой рабочей силы, и потому последнюю нельзя соотносить с рабочей силой индустриальной Европы прошлого века. Рабочий класс в этих странах — это неквалифицированные рабочие, связанные с особо продуктивным поточным производством. Стало быть, он малочислен, рекрутируется из огромной массы беднейшего крестьянства, лишенного земли и в основном ютящегося на жалких окраинах городов. Однако высокая продуктивность труда здесь часто позволяет гарантировать здешним рабочим такой жизненный уровень, который, хотя и низок по сравнению с жизненным уровнем рабочих развитых стран, дает первым вместе с тем довольно существенные преимущества (и прежде всего относительную уверенность в занятости). Формирование рабочего класса в этих странах всегда запаздывает по сравнению с другими классами, которые в свою очередь также порождаются развитием современного капитализма: с одной стороны, перед на-

ми мелкая служилая буржуазия — ИТР и служащие, средние и мелкие собственники — представители сельской буржуазии, а с другой — неимущие, но непролетаризированные массы безземельных крестьян и безработных. При всем этом и местная буржуазия не менее рабочего класса страдает от отрицательных последствий мирового господства монополий.

Это особое положение в афро-азиатских странах является, несомненно, взрывоопасным. Очевидно и характерное для него противоречие: с одной стороны, рабочий класс может развивать собственное социалистическое сознание лишь при условии создания своей автономной классовой организации для ведения антикапиталистической борьбы до победного конца, а с другой — революция не может быть делом лишь одного рабочего класса. Но способен ли рабочий класс в рамках широкого союза с крестьянством и даже непосредственно с буржуазией возглавить подобный «фронт» и выработать собственный коммунистический проект? Ленинизм, а также маоизм, стремящийся стать его продолжением, утверждают, что это возможно и, более того, характерно для перехода к социализму в наше время. Таким образом, вместо старого лозунга, провозглашенного в «Манифесте Коммунистической партии», возникает новый: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!» За этой теорией ориентации рабочего класса в наше время на социализм во всем мире явно просматриваются широчайшее распространение марксизма и убежденность в том, что центр его притяжения переместился в революционный мир слаборазвитых стран. Остается выяснить, как теоретически и практически маоизм отвечает на вопросы, поставленные ленинизмом.

2. Специфика маоизма

Маоизм возник в голове у Мао далеко не вдруг: его практика, как и вся практика Коммунистической партии Китая, с самого начала 20-х годов шла ленинским курсом, имевшим целью прежде всего свержение власти капитализма в отсталой стране, а затем (с 1950 года) построение социализма в этих условиях³.

Свержение капитализма ставило перед коммунистической партией задачу стать авангардом антикапиталистических сил

³ Об этом см.: S. Amin. *L'avenir du maoïsme*. Paris, 1981; Han Su Yin. *Le déluge du matin*. Paris, 1972; H. Carrère D'Encausse, S. Schramm. *Le marxisme et l'Asie 1853—1914*. Paris, 1965; S. Schramm. *Il pensiero politico di Mao Tse-Tung*. Milano, 1974; E. Collotti Pischel. *La rivoluzione ininterrotta*. Torino, 1962; J. Chesneaux. *Le mouvement paysan chinois 1840—1949*. Paris, 1973. *ID. Débat sur la ligne générale du mouvement communiste international*. Peking, 1965.

и основой формирования широкой национальной, антифеодалной и антиимпериалистической коалиций. Для этого КПК необходимо было маневрировать между двумя рифами — чисто рабочим сектантством (на что ее постоянно толкал троцкизм) и единым фронтом во главе с гоминьданом, к чему ее призывала дипломатия Москвы. Мао и КПК практически миновали эти подводные камни без особых «теоретических» заявлений. Апостериори можно отметить, что этот успех был достигнут благодаря соблюдению следующих принципов: а) созданию автономной организации, руководствующейся марксизмом и опирающейся на рабочих и радикальную интеллигенцию, связавших свою судьбу с марксизмом; б) уходу в деревню из городов, находящихся под властью буржуазии и империализма; в) решительной борьбе в деревне на стороне бедного безземельного крестьянства при одновременной изоляции крупных землевладельцев; г) формированию партизанской армии для поддержки этой борьбы и д) ведению исключительно гибкой дипломатии с целью объединения основных национальных сил (интеллигенции, мелкой и средней буржуазии) против основного противника — японского империализма и его союзников.

Длительная борьба в этих условиях заложила основу для действий после захвата власти и создала для коммунистической партии широкую социальную базу, представленную в основном крестьянством и рабочими. Что отличало эту партию? Дискуссии по этому вопросу были бесконечны: Мао и руководящее китайское звено никогда не отказывались называть ее рабочей, несмотря на численное преобладание в ней крестьянских элементов. Кое-кто считал ее нерабочей партией и этим объяснял последующие «отклонения» в Китае. Другие хотели бы развить дальше официальный маоизм, поскольку видели в его опыте доказательство революционности крестьянства, которая несправедливо отвергается марксизмом. Среди последних был Фанон и в какой-то мере Маркузе. Маоизм постоянно отвергал эту точку зрения.

После завоевания власти КПК поставила перед собой задачу построения социализма в отсталой стране, то есть задачу развития производительных сил без восстановления капиталистических общественных отношений, а прямо путем создания новых — социалистических. Нельзя сказать, что маоизму удалось решить эту задачу, но стоит посмотреть, каким образом — теоретически и практически — был поставлен этот вопрос; как маоизм пошел дальше ленинизма, чем отличается такая попытка от советского опыта и с какими практическими и теоретическими ограничениями здесь пришлось столкнуться. Приглядимся к развитию Китая за последние 30 лет и попробуем увидеть разницу между его опытом и опытом Советов. Китайская модель, в основе ко-

торой лежат «Десять великих противоречий» 1956 года, характеризуется в основном следующими чертами: а) тенденцией к уравниванию средней реальной оплаты труда на селе и рабочих и служащих в городах (это равенство не вытекает из экономических законов, а является результатом общеполитического решения, придающего особое значение союзу рабочих и крестьян); б) тем, что в городских и сельских группах заработная плата распределяется относительно одинаково по отношению к средней. Эти два момента, естественно, не создают условий для внезапного или быстрого исчезновения противоречий. Наоборот, наблюдается тенденция к усилению неравенства в разных регионах (следовательно, возникает и разница в продаваемом прибавочном продукте), а также в тех сферах, где не одинакова производительность (как и прибыль, определяемая национальным уровнем заработной платы и цен). Все эти противоречия сами по себе имеют тенденцию к обострению. И тут встает вопрос об увязке плана с рынком и о перераспределении неравнозначных накопленных средств.

Каковы бы ни были противоречия, эти соотношения оставались главной целью китайской стратегии последнего тридцатилетия, а главным орудием проведения этой политики было централизованное бюрократическое планирование. Однако эта модель существенно отличается от советской, и разница здесь не столько в средствах (централизованный план и административное руководство или гибкий план и использование рынка), сколько в содержании (союз рабочих и крестьян и государственная власть, которая его олицетворяет, или же отсутствие такой власти, то есть отсутствие законности, окаменелости, свойственных государственной буржуазии). Если дискуссия о «ревизионизме» продолжает оставаться запутанной, то лишь потому, что об этой разнице всегда говорилось нечетко, а анализ ее причин был неглубоким.

Необходимо иметь в виду, что советская модель, формировавшаяся начиная с 30-х годов, возникла как результат массового изъятия государством сельхозпродуктов у деревни⁴. Если коллективизация в Китае (после аграрной реформы) шла быстрыми темпами и переход к более высоким формам кооперации получил поддержку крестьянства, то в Советском Союзе коллективизация (навязанная в 1930—1935 годах) носила совершенно противоположный характер. Именно из-за своего принудительного характера она фактически положила конец союзу рабочего класса и крестьян-

⁴ См.: *C. Bettelheim. Les luttes de classes en URSS 1917—1939. Paris, 1978—1980. О дискуссиях на эту тему в 20-е годы в Советском Союзе см.: S. Amin. Classe et nation..., p. 259.*

ства — союзу, на котором должно было основываться социалистическое государство. Такая операция в большой степени способствовала развитию полицейского аппарата, который вскоре стал автономным по отношению к обществу и даже к самой партии. Государство, утвердившись в роли угнетателя крестьянства, постепенно стало ориентироваться на политику дифференциации оплаты труда и доходов городского населения, навязывая ее также и промышленности в масштабах, отражающих устремления господствующего класса (за неимением лучшего определения его можно назвать государственной буржуазией), который пытался утвердить себя в этом качестве. Китайская же партия под влиянием опыта работы 30—40-х годов среди крестьянства относилась к ним совершенно по-другому.

Почему эта «модель» не была полностью отражена в теоретических спорах, можно объяснить лишь тем, что она в какой-то мере явилась «спонтанным» результатом проявления классовой сущности самой системы, и поэтому КПК пришлось разворачивать полемику в отношении советской модели без такой подготовки. Предпосылками этого были двойственное отношение к III Интернационалу и сталинизму, фактическая автономия КПК и ее кажущийся прагматизм. Однако недостаточно отработанная критика сталинизма (фактически ее поддерживала вся оппозиция, и прежде всего троцкисты, а единственное исключение составляли бухаринцы) с ее тезисом о том, что индустриализацию можно было бы ускорить за счет тяжелых поборов с крестьянства, вполне объясняет, почему попытка нарушить принцип равного обмена (этот принцип был основополагающим в стратегии КПК в последние 30 лет) вновь и вновь появлялась в лексиконе как правых (они защищали идею оплаты труда по производительности), так и левых (они стояли за эгалитаризм с помощью административного нажима).

Различие между этими двумя моделями позволяет уточнить природу «экономических законов», которые вовсе не являются непреложными, а действуют скорее как естественные препятствия. Они, конечно, присущи любой системе как выражение классовых союзов и столкновений. В общем закон стоимости присущ каждой из двух социалистических систем, так же как и капиталистической. Очевидно, он предполагает какое-то разделение труда; ведь результатами труда нужно обмениваться, учитывать их. Но как? В социалистической модели закон стоимости действует в рамках национального государства, в то время как при капиталистической системе — во всемирном масштабе, ибо разделение труда, которым определяется капиталистическое накопление, носит всемирный характер, а социализм (в условиях невозможности и мифичности «мировой революции») начинает с того,

что обязательно становится общенациональным делом, руководимым политической волей, которая отдает приоритет общественно-национальному разделению труда и строит свои отношения с зарубежными странами в соответствии с нуждами этого дела.

В свою очередь национальной оказывается и государственная модель, как это ясно видно на примере Советского Союза. Почти то же самое, но скорее только внешне, характерно в целом и для восточных стран. Но ведь закон стоимости основывается на классовых отношениях и выражается в изъятии излишков в пользу «новых средних классов» — этой истинной опоры государства, в силу чего он и здесь является аналогией капиталистического закона стоимости, по которому стоимость в условиях классовых отношений выступает в своей превращенной форме доходов и ренты.

Закон стоимости, действующий на периферии капиталистического общества, остается таким же, как и во всей мировой капиталистической системе. А это означает, что количество необходимого общественного труда определяется производительностью труда в более развитых регионах системы. В странах же, находящихся на стадии перехода к социализму, прибавочный продукт используется централизованно, независимо от того, в каком секторе экономики он образуется, и отношения обмена между различными секторами зависят от соотношения в количестве необходимого общественного труда, определяемого в масштабах всего государства. Из этого следует, что среднечасовой абстрактный общественный труд в сельском хозяйстве оценивается наравне с трудом в промышленности, какие бы ни были относительные цены на продукцию, произведенную за это же время в центрах развитого капитализма. Нарушение связи между системой, находящейся на стадии перехода к социализму, и мировой капиталистической системой выражается не в физическом отсутствии материальной связи и не в абсолютной автаркии переходной системы, а в том, что результаты внешнего обмена нейтрализуются на внутригосударственном уровне. Обмен с зарубежными странами, естественно, ограниченный в подобной ситуации, подчиняется здесь логике внутреннего развития, носящего национальный и социалистический характер.

И все же следует признать, а не отрицать, что именно закон стоимости при социализме определяет как примерное равенство реального годового вознаграждения труда крестьянина и рабочего, так и сколь развитую иерархию в зарплате. Вопрос, следовательно, не в признании закона стоимости (его существование, по-видимому, подтверждается государственным общественными отношениями) или в его отрицании (что означало бы правильный путь к социализму), а в том,

чтобы определить, при каких общественных отношениях он действует. Развитие производительных сил в перспективе перехода к социализму определяется двойным принципом упразднения эксплуататорских классов внутри страны и отрыва от мировой системы вовне. Этот двойной принцип не исключает стоимости, а предполагает ее, хотя и действует на собственной базе.

Необходимость развития производительных сил и существование наряду с этим такой политической воли, которая стремится к тому, чтобы переход к социализму ориентировался в сторону бесклассового общества, ставит различные проблемы, связанные с управлением экономикой. В целом есть два способа их решения — предпочтительно централизованное, административное управление производственными единицами и преимущественно децентрализованное управление. Противопоставляя эти два способа управления, мы, однако, не противопоставляем «отрицание» закона стоимости и его «использование». В то же время ясно, что если административное руководство экономикой само по себе не является гарантией социалистического пути развития, то и отрицание такого управления не дает действительной гарантии против огосударствления. Все зависит от уровня политического руководства, и в этом смысле действительно «политика оказывается командной силой».

Если социализм — понимаемый как переходная фаза к коммунизму — требует введения в действие закона стоимости, то необходимо признать и существование экономических законов социализма, политической экономии социализма. Однако эти законы, эта политическая экономия имеют совсем иной статус, нежели при капитализме, поскольку природа и характер действия экономических законов капитализма неотделимы от особых отношений между базисом и надстройкой именно данного способа производства.

При капитализме маскировка отношений эксплуатации, вытекающая из обобщенного восприятия товара — включая и рабочую силу, — это последний довод в поддержку того, что экономические законы якобы действуют извне как естественные законы природы и в то же время будто бы экономически оправдывают социальное отчуждение и видимое разделение между сферами политики и экономики. Социализм же в этом отношении прозрачен или должен быть таковым. Значит, общество должно господствовать над теми товарными отношениями, которые им управляют. План основывается на соотношении, скажем, цены на рис и зарплаты, из чего с очевидностью вытекает равенство стоимости годового труда крестьянина и рабочего. И это равенство должно с политической точки зрения ясно осознаваться всеми трудящимися. Иерархия же в зарплате должна устанавливаться демократическим

путем и приниматься только в силу известных политических соображений, без идеологической маскировки (ссылками на разную производительность труда).

В общем, дискуссии об экономических законах социализма не прояснили сути дела именно потому, что не выявили тех количественных пропорций, на которых должны основываться товарные отношения при социализме, и не показали их отличия от капиталистических. Слишком часто товарные отношения отождествлялись с капиталистическим способом производства и утверждалось, что при социализме товарные отношения должны исчезнуть. Такова была, в частности, точка зрения Розы Люксембург и Ленина (по ней «возврат» к товарным отношениям был: «уступкой» определенным требованиям времени), а затем к этому пришел и Сталин. Отсюда всякий раз, когда речь шла об экономических законах, о законе стоимости, подчеркивалось, что товарные отношения — это «уступка», вызванная переходным периодом. В действительности же «возвращение к закону стоимости» всегда сопровождалось если не возвратом к капитализму, то укоренением государственной системы эксплуатации. «Уступки» в пользу «свободного рынка», «мелких наделов», «учета экономических издержек» и «прибылей» постоянно и повсюду — от Советского Союза и Восточной Европы до Вьетнама, Кубы и самого Китая — усугубляли неравенство, и именно их следует рассматривать как негативный «возврат» к полукапиталистическому, полугосударственному закону стоимости.

Следовательно, вопрос надо ставить так: каким образом сделать прозрачными (и равноправными) товарные отношения при социализме? В ответ на этот вопрос были выдвинуты два тезиса: «самоуправление» и «политике — командное положение». Самоуправление — это сложный социальный и, несомненно, демократический проект. Ведь в конце концов и само революционное рабочее движение спонтанно пришло к нему через рабочие советы, советы депутатов трудящихся. С другой стороны, оно разделяет рабочий класс на конкурирующие коллективы, и, таким образом, его фактические действия кончаются тем, что развитие самоуправления затемняет политический выбор сразу после революционной фазы, то есть после того, как рабочий класс взял в свои руки орудия производства. Таким образом, самоуправление может быть лишь частичным и должно не исключать, а придерживаться плановости, иначе возникает опасность появления новой формы экономического отчуждения, которая снова приведет к дроблению рабочего класса, как это показал югославский опыт⁵. Что

⁵ О критике самоуправления см. мою книгу: S. Amin. *L'avenir du maïsisme...* и в библиографии в работе: "Classe et nation...", p. 261.

же касается «политики как командной силы», то она не должна означать идеологического произвола, а, напротив, предполагать четкое управление товарными отношениями между самоуправляющимися коллективами, структурно входящими в общую социальную систему. Это подразумевает постоянное развитие политической и социальной демократии. Как постоянное демократическое развитие, так и застой или регресс в реальном политическом властвовании трудящихся неизбежно выводят нас на вопрос о демократии на уровне государства, поскольку государство — это абсолютная необходимость, причем не столько даже по соображениям внешней политики или по какой-то временной нужде, сколько потому, что оно является единственным средством связать реальную власть низовых коллективов с общим социальным проектом. Естественно, вопрос о государственной демократии не может быть решен путем произвольного объявления государством себя «демократическим представителем» народных «масс»; в равной мере его нельзя свести и к проблеме «уважения законности», ибо это есть патерналистское узаконение государственной эксплуатации. Стало быть, в этом состоит основной вопрос социализма.

Все вышесказанное приводит нас к следующему определению характера той ставки, которая делается в борьбе, ведущейся в течение долгого переходного периода, вплоть до исчезновения классов. Эта борьба связана с отношением к закону стоимости (какому: капиталистическому, государственному или социалистическому?), с выбором типа управления экономикой (бюрократического или действительно контролируемого трудящимися?) и с организацией политической жизни (в духе социалистической демократии или государственно-полицейского деспотизма?). От исхода этой борьбы зависит и будущее социализма.

Можно сказать, что с этой точки зрения подход к решению проблем переходного периода оказался довольно точным в ходе развития Китая. Конечно, не в том смысле, что любой выбор и любая политическая инициатива всегда оказывались правильными, а в том смысле, что совершавшиеся ошибки никогда не приводили к необратимым ситуациям. В этом смысле маоизм представляет собой прогресс по сравнению с ленинизмом. Остается лишь посмотреть, впишется ли «новый курс» в логику преемственности или приведет к разрыву с ней: намеченные реформы могут вызвать более глубокое развитие социализма и именно поэтому объективно развить новые негативные стороны, чего можно было бы в основном избежать. Очевидно, Китай сегодня находится на перекрестке, и от выбора пути, по которому он пойдет, будет зависеть, останется ли он социалистической страной. Недостатки маоистской критики в адрес ревизионизма выразились в противоре-

чий между призывом к массам и децентрализацией, с одной стороны, и сохранением административного руководства экономикой — с другой. В основе всего этого лежит абстрактное отрицание закона стоимости, которое может привести к тулупу и, несмотря ни на что, к сохранению административного руководства, которое неизбежно будет бюрократическим.

Вполне допустимо, что маоизм основывается на следующих четырех принципах: а) равенство между городом и деревней как основное условие союза рабочих и крестьян, исключающее какие бы то ни было принудительные изъятия и предписывающее рассматривать сельское хозяйство в качестве основного сектора экономики; б) иерархия в зарплате, отражающая качественную разницу различных видов труда (она определяется социальной стоимостью профессиональной подготовки), но исключающая дифференциацию иного характера; в) самостоятельность национального пути развития, не обязательно автаркического, но и без непосредственной связи с мировой системой в том смысле, что характер связей с зарубежными странами неизбежно определяется требованиями логики внутреннего развития; г) управление экономикой (технология, организация и дисциплина труда и т. п.) и обществом с помощью трудящихся, а не путем давления сверху во имя «повышения эффективности» или «научного подхода».

Это принципы, определяющие характер общества переходного периода, но не общества, уже подошедшего к преодолению классов прежде всего потому, что основным и законным требованием здесь остается развитие производительных сил (изобилие — это условие распределения по принципу «каждому по потребностям»), а также потому, что развитие производительных сил в обществе, идущем к коммунизму, происходит в национальных рамках и не связано непосредственно с мировой системой. Таким образом, переходный период характеризуется сохранением двух народных классов-гегемонов, не лишенных противоречий «внутри народа»; наличием разных групп трудящихся, квалификация которых, а следовательно, и степень ответственности перед обществом не одинаковы; необходимостью сохранения государства не только по причине существования всемирной системы государств, но именно в силу необходимости укреплять единство всего народа как гегемона и организовать производительные силы. Но именно потому, что государство является необходимым элементом перехода к социализму и ареной общественной борьбы, метод управления обществом с помощью самих народных масс (в противоположность управлению, идущему только сверху) остается несовершенным, противоречивым и чреватым опасностями.

3. Переход к социализму или капиталистическая экспансия?

Таким образом, мировая экспансия капитализма вместо того, чтобы все более однообразить общества всей планеты, с первого для своего существования основывалась на противопоставлении центра периферии. К тому же империалистические формы этой экспансии еще более усилили это противопоставление и сделали невозможным возвышение других стран до уровня «центра». Этим объясняется и тот факт, что переход к социализму начался не с социальных революций в странах развитого капитала и не с «мировой революции», а с целого ряда «разрывов» на периферии всей системы в «слабейших звеньях цепи». Вопрос о противоречивом характере движений периферийных народов за национальное освобождение и одновременно о противоречивом характере перехода к социализму, который в лучшем случае только начинается в этой борьбе, является, таким образом, основным в дискуссиях современного марксизма, понимаемого как сила, преобразующая мир⁶.

Следует иметь в виду, что кое для кого русская и китайская революции — не что иное, как искаженная форма буржуазной революции, причем имеющая тенденцию не к отмиранию классов, а к капиталистическому развитию. Согласно такому пониманию, капитализм будет якобы развиваться в Азии и Африке без революций, эволюционно, и это приведет к образованию там национальной буржуазии, способной постепенно уничтожить разрыв между центром и периферией. В таком представлении буржуазия останется — в мировом масштабе — восходящим классом, и ни социалистическая революция, ни марксизм как идеология преодоления классовой структуры общества не станут в повестку дня. В подобных условиях марксизм будет извращаться и превратится в идеологию оправдания власти нового класса буржуазного типа.

Несомненно, в годы после второй мировой войны мы стали свидетелями колоссального развития капитализма во всем мире. В рамках международного разделения труда, обновившегося благодаря завоеванию независимости афро-азиатскими странами в ходе борьбы за национальное освобождение, открылся новый этап индустриализации «Юга», закрепившей становление (или восстановление) государств-наций, но

⁶ См.: "Classe et nation...", сар. VIII и библиографию, р. 254; о противоположной точке зрения см.: *B. Warren. Imperialism, Pioneer of Capitalism.* London, 1980; о характере перехода см.: "Classe et nation...", сар VI—VII; о противоположном мнении см.: *G. Chaliand. Les mythes révolutionnaires du Tiers monde.* Paris, 1975. В отличие от этого подход к нынешнему кризису как к кризису отношений между капиталом и трудом в центре системы отвергается в работах: *S. Amin, A. Faure, M. Hussein, G. Massiah. La crise de l'imperialisme.* Paris, 1981; *S. Amin, G. Arrighi, A. G. Frank, J. Wallerstein. La crise...*

вых членов мировой системы. Но можно ли появление «третьего мира» в самом деле рассматривать в единой связи с развитием капитализма на мировой арене, с развитием, способным постепенно сгнать проблемы, возникшие из-за разрыва между центром и периферией? Глубокий кризис мировой системы капитализма, начавшийся в 70-х годах, в этом отношении вызывает резонные сомнения. В подобной обстановке основная преобразующая сила на пути к социализму, возможно, будет проявляться через борьбу за национальное освобождение периферийных стран капитализма. И действительно, общественные классы сами по себе не бывают революционными или нереволюционными: класс становится объективно революционным, когда на каком-то определенном историческом этапе он убеждается, что ему больше нечего ждать от преобразований и реформ, обусловленных внутренней логикой модели накопления капитала. В настоящий момент империалистическая система (она заслуживает именно этого названия) такова, что классы, которые могли бы объективно быть революционными, находятся в меньшинстве в центре и в большинстве на периферии всей системы, поскольку неравноправное международное разделение труда позволяет увеличивать рост всех доходов параллельно с ростом продуктивности главным образом в центре системы, тогда как для периферии наиболее характерны застой в росте доходов населения (бедного крестьянства и рабочих), а иногда и их снижение. Отсюда и специфический характер перехода к социализму в мировом масштабе, который никак нельзя было предвидеть во времена Маркса. В центре системы идеологическая зрелость буржуазных и рабочих движений, обусловленная их долгой историей, может в каких-то аспектах оказаться прогрессивной по отношению к периферии, где задачи национального освобождения и национальной революции зачастую искажают социалистические устремления. Таким образом, возникает парадокс, когда те, кто знает, что делать, не могут действовать, а те, кто действует, не представляют себе последствий собственных дел. Мы со своей стороны определяем эту переходную модель от одного общества к другому как «модель декаданса»⁷.

Впрочем, это спорный тезис. Против него возражают в том смысле, что этап национального освобождения уже закончился, другими словами, что система уже перестала быть империалистической в ленинском смысле этого слова. Буржуазия, пришедшая к власти в «третьем мире», уже привела свои страны на путь капиталистического развития. Конечно, в этом глобальном процессе остаются как развитые, так и отсталые страны, но вместе с тем сохраняется и относительное постоянство в положении самых богатых и самых бедных из

⁷ См. заключительную часть работы: "Classe et nation...".

них, хотя, в общем-то, качественные различия между центром и периферией определенно уменьшились, а то и исчезли совсем. Таким образом, с появлением полуиндустриальных стран центр развитого капитализма мог бы переместиться к югу и к востоку. Это развитие, естественно, носит всемирный характер и не ограничивается национальными, автаркическими рамками, а обнаруживается как в самых развитых странах, где ни одна отрасль промышленности уже не считается чисто национальной, но взаимосвязана с внешними отраслями промышленности за границей, так и в менее развитых странах. Сейчас все эти страны и отрасли взаимосвязаны даже тогда, когда в рамках этой общей взаимосвязанности некоторые из них и остаются более слабыми. «Теория зависимости», если можно так ее назвать, — это пройденный этап, как ни малоприятно об этом говорить. Но эта взаимосвязанность ставит вопрос о социализме по-новому, связывая его уже не с национальными, а с мировыми преобразованиями. Характерно при этом, что любая попытка стран «выйти» из системы взаимосвязанности неизбежно кончается таким регрессом их производительных сил, который влечет за собой самые драматические последствия.

Эти критические замечания, похоже, убедительно иллюстрируют многочисленные явления, возникающие внутри современной системы. В то же время они справедливо призывают ставить государство и его классовое содержание в центр анализа. В результате мы имеем следующий тезис: государства «третьего мира» — это государства национальной, а не компрадорской буржуазии, как это было во времена триумфального шествия империализма. Национальная буржуазия здесь реализует собственный план построения национальной капиталистической экономики, естественно вписывающийся в мировую систему. Поэтому она имеет тенденцию на различных, но существенных уровнях брать в свои руки национальную основу развития, то есть: а) создание рынка труда и условий для пролетаризации населения, что достигается путем раздробления старых аграрных общин и оттока непроизводительного крестьянства в город, при контроле над пролетаризированной рабочей силой (подавление выступлений городского населения, запрет на деятельность профсоюзов, однопартийная система и т. п.); б) установление контроля над природными богатствами и их использование с помощью национализации; в) овладение рынком путем контроля над внутренним рынком и проникновения на внешний рынок; г) получение доступа к финансам и контроль над ними посредством введения национальных валютно-финансовых систем; д) постепенное освоение техники, по крайней мере в наиболее развитых отраслях. Если дело обстоит таким образом, то, само собой разумеется, новая буржуазия «Юга» одновременно и коопе-

рируется и конфликтует с буржуазией развитых капиталистических стран. Ведь поскольку существуют внутримпериалистические конфликты, то почему бы и буржуазии «Юга» в свою очередь не конфликтовать с империализмом?

Этот тезис отнюдь не отвергает того, что в «третьем мире» имеются государства с компрадорской буржуазией, то есть государства, просто-напросто соглашающиеся с транснационализацией своей экономики и стремящиеся войти в эту сферу за счет каких-то своих «сравнительных преимуществ» или же специализирующиеся на экспорте сельхозпродукции и минерального сырья, а также на экспортных отраслях промышленности с дешевой рабочей силой. Компрадорское государство подчиняет свою экономическую политику — если таковая существует — удовлетворению условий транснационализации. Практически оно руководит рынком труда в интересах транснациональных монополий, которые, следуя логике всей системы, контролируют экономику, а взамен идут на определенные уступки государству, иногда чисто формальные (например, такие, как владение шахтами без технологического и рыночного контроля над ними). Иногда эти уступки со стороны ТНК реальны, но второстепенны, хотя, во всяком случае, позволяют государству развивать свою аграрную капиталистическую экономику или мелкую промышленность, заменяющую импорт. Этот же тезис в равной степени не исключает того, что в некоторых странах внутренние социальные отношения могут приводить либо к свержению власти буржуазии в пользу таких группировок, которые способны осуществить построение социалистического общества (Корея, Вьетнам и Куба), либо (при неустойчивом равновесии между народом и буржуазией в ходе классового конфликта) к созданию государств, которые иногда называют государствами «национальной демократии», идущими по «некапиталистическому пути развития», и выбор которых — национальный капитализм или социализм — еще не ясен.

В целом этот тезис имеет смысл лишь в том случае, когда национальный проект буржуазии оказывается исторически осуществимым, то есть когда он положительно отвечает на вопрос о дальнейшем развитии и уточняет условия, благоприятствующие реализации этого проекта. К таким моментам можно отнести: а) борьбу за национальное освобождение, которая возвестила о конце колониализма еще до 1939 года; военное поражение Соединенных Штатов (война в Корее и Вьетнаме, крах вторжения на Кубу, признание Китая), что свидетельствует о силе государств «третьего мира»; действия ОПЕК в 1973 году, которые были бы немыслимы 20 лет назад (об этом наглядно свидетельствует, например, неудачная попытка Мосаддыка в Иране); б) существование социалистических стран, и прежде всего СССР, что усиливает позиции го-

сударств «третьего мира»; наличие советской военной помощи (Анголе, Эфиопии в настоящее время, в прошлом Египту и др.), являющейся весьма весомым средством отрезвления империалистов; помощь со стороны восточноевропейских стран также могла бы способствовать созданию национальных экономик и условий для перехода к социализму (но это еще под вопросом).

Однако на самом деле этот тезис ведет к переоценке возможностей национальной буржуазии «третьего мира» и к серьезному извращению целей, средств и возможностей советской политики. Конечно, борьба за национальное освобождение при поддержке с советской стороны (когда она имела место), а также противоречия внутри капиталистического лагеря изменили положение. Проект буржуазии «третьего мира» с очевидностью преследует цель построения национальной экономики и ее интеграции в мировую капиталистическую систему. Но проект этот двойствен: его можно понимать и как простое «рассредоточение» транснациональных корпораций или же как проект государств, которые действительно взяли инициативу в свои руки, чтобы избежать транснационализации. Конечно, они бы этого хотели, но могут ли они сделать это? Следует заметить, что даже тогда, когда внешне им сопутствовал успех, они на самом деле двигались к краху. Ведь их контроль над природными ресурсами ограничен запросами «Севера» (ОПЕК не может полностью блокировать нефтяные поставки) и необходимостью сохранять эксплуатацию компраторского типа, особенно в Африке; промышленный экспорт «третьего мира» проник на рынки «Севера» лишь в той степени, в какой транснациональные компании считают это выгодным для себя; выход к морю для «третьего мира» закрыт, а проекты «развязки» посредством «коллективной автономии», то есть за счет интенсификации взаимоотношений в рамках «Юга», остались мертвой буквой, в то время как избыточный капитал вновь зациклен на мировую систему капитализма и т. д. Подобные исключительно отрицательные последствия не кажутся ни временными, ни конъюнктурными; они указывают на невозможность полной реализации национально-буржуазного проекта в наше время⁸.

Если набросать примерную типологию современных государств «третьего мира», рассматривая реальные перспективы для каждой их группы, то как будет выглядеть общая картина? Первая группа стран — это страны с компраторской буржуазией, то есть страны, где буржуазия исторически еще слаба, а развитие производительных сил задерживается. Не имеет большого значения, если в некоторых из них существу-

⁸ См.: S. Amin, G. Arrighi, A. G. Frank, I. Wallerstein. La crise... (особенно — библиографию, p. 169).

ют «государственные» формы и если они объявляют себя социалистическими и поддерживаются СССР. Эта форма — определенно капиталистическая или государственно-капиталистическая — определяется местными историческими условиями, которые, правда, не играют решающей роли в ее становлении. К компрадорской буржуазии классического типа — аграрной, торговой и промышленной, живущей на умеренных субподрядках — можно отнести и компрадорскую бюрократию, которая так же, как и буржуазия, проникает в мировую систему с теми же функциями грабежа крестьянства в пользу монополий и т. п. Союз этих стран с СССР весьма непрочен, носит конъюнктурный характер, как это не раз подтверждалось опытом, и отвечает скорее стратегическим планам СССР, который не ставит себе целью каким-то образом выправлять ошибки местного господствующего класса. Некоторые из этих стран откровенно предпочитают капитализм; другие объявляют себя в большей или меньшей мере социалистическими, третьи действительно осуществляют глубокие социальные преобразования, оставляя в то же время вопрос о своем «национально-буржуазном» или «социалистическом» характере открытым.

Некоторые страны первой группы, похоже, достигли определенных результатов: много говорилось об успехах Бразилии, Мексики, Южной Кореи и других стран, тем не менее опыт отдельных стран, например Ирана при шахском режиме, должен был бы насторожить идущих этим путем, поскольку противоречия между буржуазным проектом и народными требованиями могут оказаться неразрешимыми, если в их основе лежит постоянное давление на условия жизни народа, а оставленные империализмом возможности для маневра незначительны. Финансово-экономическое положение именно таких стран, как Бразилия и Мексика, показывает уязвимость национального проекта в определенных социально-политических условиях. Что же касается стран, пытавшихся следовать по пути «умеренного социализма», то нельзя сказать, что этот опыт порождает оптимистические надежды: за пасеризмом последовал «infatuh», то есть неизбежная в таком случае компрадоризация страны, и союз с Советами не предотвратил негативных результатов.

В общем, этот тезис следует отбросить, поскольку противопоставление национальной буржуазии буржуазии компрадорской носит слишком статичный характер. Эта концепция была выдвинута китайскими марксистами в 30-е годы, когда в Китае, как и в других странах колониального и полуколониального мира, наблюдался рост компрадорской буржуазии в лице «торговых посредников»; в то время как национальная буржуазия стремилась развивать промышленность, система международного разделения труда полностью блокировала ее.

В дальнейшем эта тенденция утвердилась, поскольку считалось, что основой деятельности национальной буржуазии должна быть любая промышленная активность. При этом упустили из виду тот факт, что сама система международного разделения труда (хотя и со своими крупными недостатками) достаточно динамична. В современной системе подсобная индустриализация «третьего мира» в любом случае превращает местную буржуазию в компрадорскую: сегодня она берет на себя те же самые функции, какие еще вчера осуществляла старая компрадорская буржуазия. Новая промышленная буржуазия, как и старая торговая, отдает монополиям солидную часть избыточного капитала, возникающего в результате эксплуатации местной рабочей силы.

Но если глобальная перспектива сводится к компрадоризации национальной буржуазии «третьего мира» и к ее зависимости от транснациональных корпораций, то можно думать, что этот процесс приведет к революционному подъему в тех странах, где условия существования эксплуатируемых масс становятся невыносимыми и где буржуазия слаба и неспособна контролировать капиталистические преобразования. Не следует также забывать, что в этой перспективе масса препятствий проектам национальной буржуазии может появиться и в области культуры. В афро-азиатском обществе, где еще сохраняются устойчивые неевропейские культуры, сопротивление капиталистической «декультуризации», нацеленной на то, чтобы навязать местным культурам европейскую модель развития, может стать исключительно мощным фактором идеологических завихрений. На примере Ирана мы видим, что народное возмущение может вылиться и в хаос, в котором на первый план выходят элементы, несущие с собой разложение и регресс, способствующие возникновению новых формности. И все же новый революционный подъем может пойти дальше, чем это было в прошлом. Кризис советской системы создает возможности для социалистического обновления развитого Запада и может изменить положение. Не исключено, что удастся разрешить фатальную дилемму, в которой выбор ограничен либо либеральной политикой с элементами социально-демократических реформ, либо системой наподобие господствующей в Восточной Европе, от Москвы до Варшавы и Праги. Если пока и нельзя определить, когда закончится возможный подъем обновленного западного социализма в сочетании с силами антиимпериалистического освобождения, то все же необходимо принять во внимание, что этот кризис развивается в такой международной обстановке, когда трудно сказать, во что все это выльется⁹. Следует от-

⁹ По этой теме я также отсылаю читателя к коллективным трудам: "La crise..." и "La crise de l'impérialisme..."

бросить тезис, согласно которому противоречия нашего времени являются борьбой между «„социалистическим” и „капиталистическим” лагерем», но не следует принимать и тезиса, прямо противопоставляющего «силы социализма» общим «силам капитализма», поскольку левые в мировом масштабе еще не поставили в порядок дня отмену классово-структуры общества и пока что борются за ближайшие цели, то есть за улучшение условий труда в империалистическом обществе и жизненных условий населения периферии в рамках обновленной мировой системы. Таким образом, на авансцену сейчас выходят нации и государства, тогда как гегемонические союзы выработывают собственную стратегию, воплощая их в действиях государств, которыми они руководят, а блок угнетенных классов ведет свою борьбу с перспективой достижения вышеуказанных непосредственных целей.

Возникает вопрос, не являются ли слабости «третьего мира» ставкой в игре сверхдержав в вопросе выбора — капиталистическая компрадоризация или советизация. «Агрессивность» Советов, похоже, придает этой альтернативе определенную реальность, но тут следует учесть некоторые детали. Советская система обнаруживает свою слабость и неспособность преодолеть состояние перманентного кризиса, переходя от экстенсивного накопления, уже исчерпавшего свои возможности, к интенсивному, которое потребовало бы серьезной и очень трудно контролируемой политической реформы. В то же время эта система не может доминировать в международных классовых союзах экономически, а прибегает к формам империалистического господства. Она потеряла свой идеологический престиж и способна управлять только мелкими вассалами, да и то лишь в сфере своего военного влияния. В то же время, будучи слабой в экономическом, социальном и идеологическом плане, СССР остается в военном отношении единственной сверхдержавой, способной соперничать с Соединенными Штатами на глобальном уровне. Это пока что помогает ему преодолевать кризис именно потому, что слабости, характерные для освободительного движения в «третьем мире», не позволяют последнему освободиться от власти империализма без советской поддержки. Но глубокий кризис советской системы показывает, что она не является образцом для решения вопросов нашего времени; более того, она заводит других в тупик и, конечно, не может служить моделью для решения проблем «третьего мира».

4. «Белая опасность»

Капитализм как общественная формация тесно связан с «европеизмом», то есть той исторической базой, на которой он возник. Неевропейским народам капитализм представляется

прежде всего проявлением европейского экспансионизма, и эта реальность является основным элементом в народном сознании; стало быть, нельзя сбрасывать со счетов и политические последствия этого. Капиталистическая экспансия в полной мере продемонстрировала свой разрушительный характер, и она в ответе за тот геноцид, который принял некогда столь серьезные масштабы; именно европейцы в глазах народов колониальных стран несут ответственность за преступления капитализма. Европейская же историография систематически преуменьшала разрушительные последствия этой экспансии, превознося результаты «цивилизации», и нельзя пренебрегать тем, что сам Маркс, подчеркивая значение освобождения новых производительных сил, оставался в плену этой перспективы, хотя в последние годы жизни и начал спешно пересматривать свои взгляды на еврокапиталистическую экспансию.

Излишне напоминать о примерах настоящего этноцида в процессе белой колонизации, от уничтожения доколумбовой цивилизации в Америке до геноцида индейцев Северной Америки и работорговли, которая превратилась в колоссальное кровопускание, невиданное в истории Африки. Не менее крупный ущерб нанесла и расистская в своей основе колонизация населения многих стран — от Южной Африки до Палестины, от Северной Африки до Зимбабве и Кении. Кстати, и в Сибири, Туркестане и на Кавказе русская экспансия развивалась таким же образом до Октябрьской революции, а после нее фактически усилилась действиями новой, Советской власти. В плотно населенной Азии колониальное проникновение вело к деградации вплоть до навязывания опиумения (как, например, в Китае) и других методов стимулирования культурного распада.

Следует подчеркнуть, что этот экспансионизм, вытекающий из основных законов капиталистического способа производства, получил серьезную видимость развития под знаменем прогресса и даже самого «социализма»¹⁰. Этот факт показывает, что социальная реальность (основа нации и культурных ареалов) может переходить через классовые границы и становиться самостоятельной. В Южной Африке конфликты между колонистами-бурами и британским империализмом в конце прошлого века и между «белыми» рабочими и капита-

¹⁰ Об этом см.: *U. Melotti. Marx e il Terzo mondo. Milano, 1971; G. Haupt, M. Reberlioux. La II-e Internationale et l'Orient; о бакинском съезде и о дискуссиях в рамках III Интернационала по этим вопросам см.: R. Gallissot. L'imperialisme e la questione coloniale e nazionale. — In: "Storia del marxismo", vol. III, tomo 2, p. 855 sgg. О критике политики французских коммунистов см.: G. Madjarian. La question coloniale et la politique du PCF 1944—1947. Paris, 1977. О российской части Азии см.: A. Benningsen, C. Lemerrier-Quelquejay. Les Musulmans oubliés. Paris, 1981; H. Carrère D'Encausse. L'empire éclaté. Paris, 1978.*

лом в период 20—30-х годов нашего века внедрились в сознание рабочего класса Запада гораздо раньше возникновения у них чувства солидарности с африканскими крестьянами, согнанными с собственных земель. В Палестине сионизм по большей части явился продуктом развития рабочего движения Восточной Европы, а в Туркестане Советская власть уничтожила «тюркский коммунизм» (который пытался основать Султан-Галиев) еще до начала 30-х годов, то есть до того момента, который обычно считается началом периода «сталинского вырождения». Репрессии соединялись с культурной политикой, которая привела к отмене в сущности единого тюркского языка, объединявшего народы Туркестана, к превращению диалектов в национальные языки и административному разделению народов. Между тем колониальная политика здесь всегда проповедовала «уважение к национальным особенностям». Трудно сказать, способствовали ли все эти меры тому, чтобы был снят с повестки дня коренной вопрос, который постоянно возникает во все более сложной форме, причем до такой степени, что интервенция в Афганистане представляется для Москвы — по крайней мере в каких-то отдельных аспектах — неким «бегством вперед».

В общем, европейскую экспансию нельзя считать явлением исключительно капиталистического плана: очень прочное слияние капиталистического развития и европейской культуры как раз и показывает, что эта экспансия переросла сами капиталистические отношения, которые ее породили. Реакция со стороны народов, испытывавших ее на себе, была различной. Мы можем разделить эту реакцию на три типа. Для реакции первого типа, которую можно определить как «традиционно националистическую», характерны попытки отказаться от модернизации и изолироваться. Она была обречена на провал и показала недостаточное понимание реального соотношения сил. Однако она все еще имеет место, развиваясь также и в «теоретическом» плане; как свидетельствуют некоторые работы, авторы которых вдохновляются «идеями Каддафи»¹¹, эта экспансия не является капиталистической, а носит только «европейский» характер. В то же время указанной реакции свойственно обращение к различным современным формам интегрализма, прежде всего — к исламизму, а также к буддизму, индуизму и т. д.

Второй тип реакции на экспансию — это «принятие модернизации». Она проявляется не только в отходе от традиционных способов организации в пользу капиталистических, но также и в ассимиляции местной культурой мировой культуры европейского типа. Это желание возникает в основном в кру-

¹¹ По этому вопросу см.: Х. Аль Дига. Самир Амн и марксистское прочтение истории. Бейрут, 1981 (на арабском языке).

гах местной буржуазии, претендующей на роль глашатая «национального возрождения» и пытающейся спасти самые косные остатки своих культурных традиций, поставив их на службу капиталистической эксплуатации. Похоже, что это удалось только Японии. Аналогичные попытки Атаюрка и Резашаха окончились провалом. Если эта все еще действенная тенденция и не кажется в настоящее время слишком сильной в Азии и Африке, то она весьма распространена в Латинской Америке, в частности из-за того, что этот континент носит «европейский» характер — по крайней мере в том, что касается местного руководства.

Третий, самый развитый, тип реакции — это маоизм, революционная национальная реакция, апеллирующая к освобождению народных и национальных сил путем модернизации страны без капиталистического развития. Если он связан с марксизмом и социалистической революцией, то предпочтительной перспективой модернизации для него оказывается «неевропейская». Марксизм часто проникал и проникает в Азию и Африку именно этим путем, действуя где-то на водоразделе социальной и национально-освободительной революции (которая идет гораздо дальше завоевания независимости и образования государства). И поэтому ясно, что он может стать великой силой, трансформирующей общественные уклады.

5. Марксизм, национальное освобождение и революционность

В настоящее время в Азии и Африке марксизм действительно тесно связан с глубокими преобразованиями, хотя вопрос об их характере (свидетельствуют ли они о переходе к социализму или же являются собой примеры капиталистической экспансии) остается открытым.

Если в Восточной Азии — Китай, Корея, Индокитайский полуостров — марксизм получил признание в качестве официальной доктрины¹², а по отношению к общей численности населения на земле именно в Азии проживает основная масса людей, исповедующих марксизм, то никак нельзя думать, что в большей части остальных афро-азиатских стран марксизм не существует или же он является там чем-то второстепенным, поскольку в данном случае его исповедует в основном дале-

¹² См.: *E. Brun, J. Hersch. Socialist Korea. New York, 1976; P. Rousset. Communisme et nationalisme vietnamien. Paris, 1976; D. Hémerly. Révolutionnaires et pouvoir colonial en Indochine. Paris, 1975; M. M. Loché. Il vulcano Indocina. Milano, 1979; J. C. Ponionti, S. Thion. La crise cambodgienne. Paris, 1976; S. Thion et Benkiernan. Khmers rouges. Paris, 1981; C. Quiminal. Kampuchea—Vietnam. Guerres et indépendance. Paris, 1982.*

кое от власти интеллектуальное меньшинство. Существует огромное количество видов движения за национальное освобождение. И они не раз становились неотъемлемой частью истории последнего полувека, изменяя политическую карту мира и международного разделения труда, распределения промышленного производства, серьезно влияя на отношения между сверхдержавами, то есть, несомненно, проявляли себя как реально действующие субъекты истории нашего времени¹³. В большинстве случаев эти движения, способные мобилизовать сотни тысяч, а иногда и миллионы людей, опирались на различные формы «социализма» (реже на марксизм), и, несмотря на их сложную и противоречивую судьбу, эту связь с массами нельзя не принимать во внимание. Не углубляясь в неизбежно общее описание перипетий, через которые прошли многие из этих стран — от Юго-Восточной Азии до Индии и от Ближнего Востока до Магриба и Южной Африки¹⁴, мы можем заключить наше изложение следующими выводами.

¹³ От съезда народов Востока, состоявшегося в Баку в 1920 году, до конференции стран Азии и Африки в Бандунге в 1955 году прослеживается немало случаев, когда движение за национальное освобождение приводило к власти стоявшие за ним силы. Об этом см.: "Per il diritto e la liberazione dei popoli: le lotte in Asia, Africa e America Latina" (a cura di P. Camacchio). Milano, 1981. О том, как связаны отношения между «Севером» и «Югом» с настоящим кризисом см. коллективные труды, приведенные выше.

¹⁴ Из богатейшей литературы по этой теме укажем лишь на некоторые издания. Хорошая библиография приведена в работах: *Duvilliers, Fistie, Le Thanh Khoi, L'Asie du Sud-Est*, Paris, 1971; *K. Gough, II. Sharma, Imperialism and Revolution in South Asia*, New York, 1972; *Sathy Prasartset e. a. The Political Economy of Siam 1910-1932*, Bangkok, 1981; *Husin Ali, The Malays*, Singapore, 1981. Об Индии и странах этого субконтинента см.: *D. Thorner, The Shaping of Modern India*, Bombay, 1980; *Bipland das Gupta, The Naxalite Movement*, Bombay, 1979; *B. H. Lévy, Bangla Desh: Nationalisme dans la Révolution*, Paris, 1976; *Tarig Ali, Pakistan: dictature militaire ou pouvoir populaire*, Paris, 1971; *Visakha Kumari Jayawardene, The Rise of the Labour Movement in Ceylon*, Durham (N. C.), 1972. Об арабском мире см.: *F. J. Tomiche, Le syndicalisme en Egypte*, Paris, 1974; *R. Gallissot e. a. Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe*, Paris, 1978; *S. Amin, La nation arabe*, Paris, 1977; *II. Riad, L'Égypte nassérienne*, Paris, 1963; *S. Amin, Syrie et Irak 1960-1980*, Paris, 1982; *B. Chalioun, État et Lutte des classes en Syrie 1945-1970*, Paris, 1974; *A. G. Samarbaksch, Socialisme en Syrie et en Irak*, Paris, 1980. По исламскому миру и Ближнему Востоку см.: *D. Fawzy-Rossano, Le Soudan*, Lille, 1981; *F. Halliday, Arabia without Sultans*, London, 1974; *G. Chaliand, Rapport sur la résistance afghane*, Paris, 1981; *Behrang, Iran, maillon faible*, Paris, 1979; *Kamuran Bekir Hurpulu, La Turquie dans l'impasse*, Paris, 1974; *Ahmet Ali, Développement économique en Turquie*, Paris, 1981; *Le mouvement de libération du peuple palestinien*, Paris, s. d.; *F. Raouf, Introduction a une étude de la révolution palestenienne*, Paris, 1973; см. также многочисленные издания на арабском языке (Rifaat el Saïd, Abdel Azim Ramadan, Tareq el Bachir etc.); см. журнал "Études Palestiniennes" (Beirut—Paris). О Северной Африке см.: *M. Harbi, Le FLN, mirage et réalité*, Paris, 1980; *Abdelkrim et la République du Rif*, Paris, 1976; *M. Lacheraf, L'Algérie: Nation et société*, Paris,

1. Мировая экспансия капитализма — фактически с самого его рождения, — вместо того чтобы постепенно однообразить мир, наоборот, усилила его дифференциацию, подчеркив различия между капиталистическим центром и его периферией. Эта особая форма экспансии, обусловленная капиталистическим способом производства, и придала основному противоречию между господствующими державами, с одной стороны, и народами периферии — с другой, тот активный характер, который сейчас во многом определяет историю. В то же время традиционно основное противоречие капитализма — между трудом и капиталом, — похоже, теряет этот характер.

2. Империализм в ленинском понимании этого слова как раз и отличался тем, что вплоть до конца прошлого века давал возможность формирования новой национальной буржуазии, которая сразу включалась в процесс мировой экспансии капитализма. В настоящее время это стало невозможно, все попытки подъема новой национальной буржуазии в Азии и Африке при одновременном развитии «компрадоризации» и «транснационализации» теперь обрекаются на провал.

3. Рабочий класс капиталистических центров утратил свою революционность и не выработал собственного проекта создания нового общества, который позволил бы прийти к бесклассовому обществу. Доминирующее положение, которое страны центра занимают в международном разделении труда, укрепляют демократические традиции и стимулируют обращение к выборам как форме политического руководства обществом, не оставляя других альтернатив, кроме правоплебуральных или умеренно-социалистических режимов.

1965. О «социалистическом» опыте в Африке см.: *B. Ancillon*. La Guinée: bilan d'une indépendance. Paris, 1964; *Alpha Condé*. Guinée: Albanie ou néo-colonie? Paris, 1972; *B. Fitch, M. Oppenheimer*. Ghana: The End of an Illusion. New York, 1966; *W. Massaga*. La révolution au Congo. Paris, 1974; *I. Shivji*. Class Struggles in Tanzania. Dar-es-Salam, 1975; *A. Cabral*. Unité et lutte. Paris, 1975; *M. de Andrade*. Amílcar Cabral. Paris, 1980; *L. Rudebeck*. Guinée—Rissao. Stockholm, 1974; *C. Gabriel*. Angola, le tournant africain. Paris, 1978; *Cedetim*. Angola: la lutte continue. Paris, 1977; *R. Lefort*. Éthiopie, une révolution hérétique. Paris, 1981; Cameroun l'UPC parle. Paris, 1971; *R. Archer*. Madagascar depuis, 1972. Paris, 1976; *D. Desjeux*. La question agraire à Madagascar. Paris, 1979; *B. Verhaegen*. Rébellions au Congo. Louvain, 1965. Работы по общим вопросам национального освобождения и неокolonизма: *Y. Bénot*. Idéologies des indépendances africaines. Paris, 1972; *J. Meynaud, A. Salah Bey*. Le syndicalisme africain. Paris, 1963; *I. Davies*. African TUC. London, 1966; *T. Hodgkin*. African Political Parties. London, 1961; *T. Hodgkin*. African Profiles. London, 1962; *R. Gibson*. African Liberation Movements. Oxford, 1972; *H. Friedland, C. G. Rosberg*. African Socialism. Stanförd (Ca.), 1964; *M. Palmberg*. Problems of Socialist Orientation in Africa. Uppsala, 1978. О Южной Африке см.: *S. Thion*. Le pouvoir pâle. Paris, 1968; *R. Lefort*. L'Afrique du Sud. Histoire d'une crise. Paris, 1977; *B. Davidson, Slovo, Wilkinson*. Southern Africa. The New Politics of Revolution. London, 1978; *H. Jaffee*. The Pyramid of Nations. London, 1980.

Существуют два препятствия, сдерживающих рост социалистического сознания в современном обществе в целом; это — грабеж «третьего мира», ведущий к внутренней солидарности развитых стран (оправдываемой «национальными интересами») и превращающий эту солидарность в самую настоящую политическую реальность, а также убеждения левых сил и рабочего движения на Западе в том, что советское общество все же является социалистическим. Однако даже на Западе любой курс, нацеленный на преодоление классовой структуры общества и торговых категорий стоимости, несомненно потребует и здесь длительного переходного периода. Конечно, в развитых странах проблемы перехода к социализму отличаются от тех, с которыми имеют дело слаборазвитые страны, но они не менее сложны. Гигантские структурные преобразования, необходимые в основополагающей сфере организации труда, углубление международной специализации, как и необходимые изменения, нужные в идеологических структурах, несомненно, осложняют переходный период.

И все же неравномерное развитие капитализма ставит перед народами Азии и Африки высочайшую задачу свержения капиталистического порядка на местах. Именно здесь классовая борьба и империалистическое господство, взятые вместе, дают возможность свершить национально-демократические революции, руководимые народными и национальными союзами освобождения.

4. Марксизм, социалистическое и рабочее движение развивались поэтапно, и на каждом этапе марксизм обновлялся, изменялся и обогащался, приспосабливаясь к новым обстоятельствам. Законы, сформулированные марксизмом в отношении развития общества, применимы и к самому марксизму.

Марксизм времен Маркса разъяснял проблемы социалистической революции в условиях капиталистической Европы XIX века, до образования мировой империалистической системы. Тогда рабочий класс уже был потенциально революционен в силу немолчаливых требований капиталистического накопления, происходившего в развитых европейских странах; в менее же развитых странах Европы это накопление шло параллельно с первоначальным. Индустриализация сельских масс, как и пролетариата, создавала благоприятные условия для непрерывной революции, для перехода от демократической фазы развития к социалистической. Теория «слабого звена в цепи» была предложена еще Марксом в связи с Германией и Испанией. Однако марксизм начал проникать в сознание рабочего класса Запада только к 70-80-м годам XIX века, когда уже шел процесс становления империалистической системы. Закон накопления действовал теперь не только в рамках каждой европейской нации, но и в мировом масштабе, и эта экспансия, обусловленная глобализацией процесса накоп-

ления, делала обстановку на периферии империалистической системы взрывоопасной. С помощью ленинизма рабочее движение преодолело застой, вызванный тем, что II Интернационал не осознал нового положения вещей, и придало сознательный характер этому качественному изменению, а первая социалистическая революция в России, хотя и с опозданием, подтвердила ожидания Маркса. Ленин понял, что именно в самой отсталой европейской стране, в самом слабом звене цепи можно было нанизать друг на друга буржуазную, крестьянскую и социалистическую революции. Но большевики не были готовы к тому, чтобы считать рабоче-крестьянский союз надежным условием стратегии перехода к социализму, поскольку они были связаны с рабочими традициями передовой Европы, где буржуазная революция уже разрешила сложный аграрный вопрос. К тому же Россия не была страной новой периферии, подпавшей под власть мирового империализма; это была хотя и отсталая, но все же зарождающаяся империалистическая держава, не завершившая буржуазно-демократической революции.

Процесс формирования и усиления империалистической системы, выявленный Лениным у самых истоков его зарождения, продолжал развиваться. И вторая социалистическая революция совершилась опять-таки в периферийной стране — в Китае, где, как звенья одной цепи, панцизались друг на друга не только буржуазная, крестьянская и социалистическая революции, но и совершилась антиимпериалистическая революция, то есть была достигнута такая победа над капитализмом, которая сузила сферу действий империализма. Вклад маоизма в марксизм состоял именно в понимании того, что союз рабочих и крестьян и отход от капиталистической системы разделения труда, взятые вместе, — это стратегически достаточно надежные условия для перехода к социализму в эпоху империализма.

Но и после победы китайской революции капиталистическая система продолжала развиваться и трансформироваться. Согласно некоторым теоретикам, она уже не является империалистической в ленинском смысле слова: буржуазные революции произошли во многих странах «третьего мира», и капитализм развивается в них на основе господства национальной буржуазии, входящей в мировую капиталистическую систему. В этом случае следовало бы считать более действительными схемы Маркса, но с той разницей, что Европа стала олицетворять весь мир. Другие, наоборот, считают, что и после второй мировой войны развитие продолжается на основе разделения между империалистическим центром и периферией, находящейся под властью империализма, где местная власть может быть только господством комирадурской буржуазии. Если эта гипотеза справедлива, то маоистская

стратегия остается единственно верным ответом на основные проблемы перехода к социализму.

5. Этот анализ выдвигает новые проблемы перед марксизмом. Принимая во внимание факт всемирной экспансии капитализма, следует анализировать стоимость уже не как национальную, а как мировую категорию¹⁵. Союз революционных народных классов, которые приходят к власти в странах, совершающих переход к социализму, не оказывает преобразующего классового влияния на социальную реальность непосредственно, а осуществляет свою стратегию через государственную власть, сохраняющую по отношению к общественным классам некоторую автономию. Поэтому такой союз оказывается не только орудием возможной диктатуры рабочих и крестьян, но и средой, в которой может образоваться совершенно новый класс. Необходимость для этих стран выхода из капиталистической системы международного разделения труда придает формирующимся здесь государствам национальные функции: государство не может исчезнуть, но включиться в систему государств-наций оно способно лишь гораздо позже. В то же время совпадение капиталистической и европейской экспансий придает проблемам национального освобождения и возможного перехода к социализму такой серьезный культурный аспект, который нельзя заслонить никакой политикой. Исторический материализм еще далеко не окончательно разработан и пока что не позволяет правильно выявлять взаимосвязи между различными социальными реальностями, как классовой (основной), так и относящейся к государству, нации и культуре¹⁶.

6. Марксизм приобрел азиатскую и африканскую ориентацию. На развитом Западе он имеет тенденцию превращения в чисто культурное течение, не способное преобразовать общественные реальности¹⁷, на Востоке же для него характерны иные свойства. Основной вопрос в повестке дня на нашем сегодняшнем историческом горизонте — это не дилемма между капитализмом и социализмом на Западе, а задача освобождения и развития Азии и Африки. И это основная ставка в происходящей борьбе. Однако и это последнее преобразова-

¹⁵ По вопросу о стоимости как мировой категории см. две мои работы: *S. Amin. L'échange inégal et la loi de la valeur. Paris, 1982; ID. Le matérialisme historique et la loi de la valeur. Paris, 1979.*

¹⁶ Кроме моей работы "Classe et nation...", см. также: *S. Brucan. The Dialectics of World Politics. New York, 1978.* Дискуссия по вопросам отношений между культурой, ее специфическими формами и глобальным характером капитализма находится в центре внимания обширной литературы, связанной с проблемами «культурного наследия». (На арабском языке, например, написаны солидные исследования Хуссейна Меру (Hussein Merouci) и Таэба эль-Тизини (Taieb el Tizini)).

¹⁷ В этом отношении показательна книга: "Il marxismo occidentale". Bari, 1977.

ние противоречиво и двойственно: если его нельзя свести к фазе капиталистической экспансии, пусть даже в извращенном виде, то равным образом нельзя его рассматривать и как уверенный переход к бесклассовому обществу. Стало быть, марксизм потенциально является идеологией власти нового господствующего класса и (или) идеологией, направленной к освобождению от эксплуатации.

Хуан Карлос Портантьеро

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ МАРКСИЗМ

1. Теории социализма и Латинская Америка

Нет сомнения в том, что с 60-х годов начинается новый этап в истории латиноамериканского марксизма. Главным переломным моментом, несомненно, была победа кубинской революции и провозглашение Фиделем Кастро в апреле 1961 года «социалистического характера» нового режима. Это событие открывало новые пути, являясь в то же время кульминацией того длительного исторического процесса, который начал развиваться (правда, неравномерно) в ряде стран континента с конца XIX века: речь идет о проникновении социалистических идей и распространении марксизма.

Уже тогда — сначала II Интернационал, а главным образом Социалистическая партия Аргентины, а затем, с 1921 года, III Интернационал — ставят вопрос о выборе между «применением» марксистского учения в условиях латиноамериканской действительности (как если бы марксизм представлял собой универсальную «модель») и его непосредственным «созданием» на местной почве.

Эта спорная альтернатива (а самый напряженный момент полемики — это, пожалуй, спор между Айя де ла Торре, Мариатеги и Коминтерном в конце 20-х годов) станет узловой проблемой латиноамериканского марксизма начиная с 60-х годов и позднее. Тема «национализации» теории и изучение социалистической практики как продолжения преодоления народной истории скрыто или явно будут присутствовать в идеологической продукции континента в этот период; впрочем, они получат свое развитие внутри бурно парастающего движения масс.

Самым большим балластом для латиноамериканского марксизма (или, точнее, марксизма Латинской Америки) было возвращение к мысли об исключительности Маркса, который полагал, что открыл «общие законы исторического развития». Исходя из знания этих законов, казалось, можно было создать теорию социальных изменений, по которой более развитые страны должны были служить зеркалом для более отсталых стран. Если верно, что *такой* Маркс — это еще не весь Маркс (вспомним, например, письма о России, написанные

им в последние годы жизни), то верно и то, что «марксизм», а вернее, доктринерская и пропагандистская операция, проведенная в конце века немецкой социал-демократией, ставила целью выделение универсальной эволюционистской концепции исторического процесса.

Первое, что можно констатировать, говоря о латиноамериканской ситуации, — это систематические провалы любых сколько-нибудь серьезных попыток проникновения марксизма в политическую культуру континента, даже тогда, когда о нем велись дискуссии и его именем создавались первые организации (по крайней мере в некоторых странах начиная с прошлого века). Несомненно, препятствием для его распространения было отсутствие непрерывности процесса вследствие принимаемых государством репрессивных мер. Но, учитывая эту действительно серьезную помеху на пути распространения любой политической идеи, заметим, что имеется еще и проблема, получившая название «несостоявшейся встречи Латинской Америки с марксизмом». Перед исследователем встает целый ряд разнообразных проблем. Прежде всего это традиционный вопрос о том, как соотносятся учение самого Маркса и Латинская Америка. Трудностям, с которыми столкнулся Маркс, изучая Латинскую Америку XIX века, их наиболее ярким примером является статья о Боливаре, написанная Марксом в 1858 году для «Новой Американской Энциклопедии», — посвящена недавно вышедшая книга Хосе Арико; Карлос Франко в предисловии к ней назвал ее «фундаментальным трудом», поэтому я отсылаю читателя к убедительным гипотезам, которые в ней высказаны¹.

Однако идти следует дальше и глубже. Уже известно, что причина «несостоявшейся встречи» кроется вовсе не в «неудачном приложении» учения Маркса и не во мнении (а оно могло стать основанием для предположений о существовании замкнутого учения, стоящего вне связи с историей) о том, что стремление «приспособить» систему к латиноамериканским условиям потерпело крах. Наиболее удачная постановка проблемы: она сводится (независимо от успехов или ошибок Маркса) к вопросу о том, почему в Латинской Америке десятилетиями оказывалось невозможным проникновение социализма в массы, а в тех случаях, когда оно происходило, — что было тому причиной и какие формы оно принимало.

Наиболее простой ответ (хотя это всего лишь общий ответ) заключается в том, что подобному проникновению мешали условия, которые не позволяли буквально воспроизвести европейскую модель и в то же время препятствовали появлению собственного учения, применительно к местным условиям,

¹ J. Aricó. Marx y América Latina. Lima, 1981. (См. также его исследование "Il marxismo latinoamericano negli anni della III Internazionale" in questa „Storia del marxismo”, vol. III, tomo II, pp. 1015 sgg.)

в отличие от того, как это произошло в России и в Китае. В этом смысле Латинская Америка всегда, казалось, фатально зависела от своего прошлого: не будучи в состоянии уподобиться Европе, она не сумела стать и анти-Европой.

Если большой удачей большевиков стало то, что они сумели «русифицировать» марксизм, с тем чтобы использовать его как мощное теоретическое и организационное средство, способное дать ответ на спорные вопросы общественной и культурной жизни, возникшие еще до капитализма, то в Латинской Америке подобные попытки носили спорадический характер и были связаны главным образом с именем Мариатеги. И если, наконец, русская *интеллигенция* сознавала, что она владеет всевропейскими культурными ценностями, более древними и превосходящими европейские, а значит, насажденные всего западного при самодержавии должно было стать болезненным и мучительным, то в Латинской Америке модернизация политической культуры начинается лишь в эпоху Бурбонов, а испанский либерализм конца XVIII века становится основой (можно сказать, даже сутью) идеологии сторонников независимости.

Эта основа (при отклонениях на деле в сторону просвещенного деспотизма) обозначит главные направления «прогрессивной» латиноамериканской мысли; но она будет и постоянно мешать ее обращению к проблематике, объединяющей либерализм с демократией. Применение последней категории в основном останется прерогативой традиционализма, исповедующего народный «здоровый смысл» в противовес рационализму элиты.

Когда затем на возникшем идеологическом рынке появился целый мир социалистических ценностей, их проникновение вглубь столкнулось с пренебрежением в виде той политической культуры, в которой «народ» и «интеллигенция» были разобщены и где не было даже возможности (как в тех странах, которые возникли буквально на пустом месте) узнать друг друга благодаря какому-либо опыту «дозападного» периода, который позволил бы обратиться к миру символов, способных пробудить в социализме национально-народный элемент.

Таким образом, с трудностями, которые испытал Маркс в своем стремлении понять Латинскую Америку, столкнулся и социализм как политическое движение. Стремясь найти объяснение, которое обобщало бы исторически сложившуюся специфику континента, пренебрежавшую распространению здесь социалистических идей (начиная с марксистских), исследователь выделил² форму, которую обрели здесь отношения между государством и обществом, или, иными словами, чуждый

² Ibid., soprattutto cap. VI.

европейцам способ строительства государства и нации. В отличие от того, как это представляли себе европейцы с их исключительно «социоцентрическим» взглядом на вещи, развитие национальных государств в Латинской Америке шло (и это совершенно очевидно) в обратном направлении: преобразования «сверху», государственный характер (он мог бы показаться в некотором смысле даже *произвольным* истинному «социоцентристу») процесса «nation-building» (национального строительства). Те государства Латинской Америки, которые в процессе своего строительства моделировали и общество, были «полугосударствами». Строго говоря, на этом фактически пустом социальном пространстве именно армии построили государства, занимавшие определенную территорию, и заложили основы для экономического рынка, с помощью которого Латинская Америка смогла присоединиться к капиталистическому миру. Именно такое препятствие в виде отклонений от европейской модели (а также от ее прямой противоположности — азиатской модели) обнаружил Маркс в своем анализе Латинской Америки, и он предпочел столкнуть ее в гегелевскую братскую могилу «неисторических наций».

II и III Интернационалы станут впоследствии еще одним примером подтверждения этого непонимания. Если социал-демократия мало что могла сказать о Латинской Америке, то и III Интернационал окажется в аналогичной ситуации. Как указывал Режи Дебре³, коммунистам в силу традиции всегда было трудно понять условия, которые нельзя было ни заключить в рамки вопроса, традиционно именуемого «колониальным», ни отождествить с антикапиталистическим движением в развитых странах.

Вот в такой двойственной обстановке (к тому же характеризующейся значительной межрегиональной разнородностью) ставится политический вопрос об осуществлении руководящей роли; это испытание способности социалистов сформировать коллективную «национально-народную» волю, начав с процесса приведения множества различных требований в соответствие с социальными, классовыми и отраслевыми задачами, включая задачи этнические и региональные. Именно в этом смысле латиноамериканский социализм заключается не в применении или приспособлении ранее существовавшей идеологии, а в способности порождать и создавать сложные политические темы и в области теории, способной учесть национальную специфику каждой отдельной страны, и в практической сфере — в вопросах организации масс.

По этому пути с его препятствиями, например, в виде политической культуры, которая в гораздо большей степени тяготеет к политике, чем к социологии, латиноамериканскому

³ R. Debray. La crítica de las armas. México, 1979, p. 46—47.

социализму пришлось пройти между Сциллой «классового корпоративизма» и Харибдой «социалистического фшализма», разобщенных, точнее, существующих параллельно друг другу. Если не считать редких исключений, то в совершенно определенные моменты теоретических поисков и организационной практики теории классического социализма, связанные с традициями II или III Интернационалов, оказывались неспособными успешно вести диалог о гегемонии или по крайней мере разработать проблематику, которая могла бы направить их по этому пути⁴.

В обществах, подобных латиноамериканским — даже избранных и более высоко развитых, — где государство воспринимается сквозь призму личности (патерналистский «каудилизм»), главным в политических действиях становится форма отношений между властью, возникшей в обществе (и порождаемой обществом), и властью, возникшей в государстве (и порождаемой государством). Классические разработки латиноамериканского социализма всегда сосредоточивались вокруг «социального»; его врагом всегда было «олигархическое» государство, не допускающее участия в своей деятельности масс, присутствие которых могло гарантироваться лишь «реформистским» или «революционным» — мирным или основанном на насилии — вмешательством общества.

Когда в результате урбанизации и индустриализации, последовавших за кризисом 1929 года, произошел раскол господствующих классов, а широкие массы оказались в тяжелом положении, что породило разложение и нарушение равновесия в государстве, эта концепция социализма оказалась серьезным препятствием для начавших появляться народнических течений. Латиноамериканские народнические течения возникли на совершенно противоположных социалистическим течениям началах, причем в основе их отношений с последними — и с идеологической и с политической точек зрения — лежал разрыв, а не преемственность. Народничество как форма организации и нового государственного порядка (в тех случаях, когда течению удавалось учредить таковой) вопрос разработки политики масс перевело в эндогенную плоскость, возродив, таким образом, коллективную историческую память, способную (это может показаться невероятным) соединить классовые, национальные и гражданские требования в едином движении, которое несло черты патернализма и «каудилизма», традиционно свойственные представлению о политике. Успех народнических течений (а значит, провал социалисти-

⁴ К числу таких моментов следует отнести: деятельность Хуана Б. Хусто и Социалистической партии Аргентины до конца 30-х годов; деятельность Луиса Эмилио Рекабаррена и рабочие традиции чилийского марксизма; теоретическую деятельность Мариатеги и, наконец, Луиса Карлоса Престеса в Бразилии в конце 20-х — начале 30-х годов.

ческих) зиждется на обнаруженной ими способности разрабатывать «сверху» национально-народнический элемент, соединяя культуру масс с современной политикой.

В середине 30-х годов партии III Интернационала попытались уничтожить препятствия, мешавшие их росту и гегемонистской экспансии, а именно классовый корпоративизм и социалистический финализм. Они отказались тогда от сектантской позиции «класс против класса», которая могла привести к катастрофическим последствиям, и попытались встать на путь народных фронтов в соответствии со стратегией, намеченной VII конгрессом Коминтерна. В результате они оказались в плену тактической, временной концепции политиче-ского союзом: вопросы о национальном, народном и демократическом элементах оказались частью этой концепции, правда, уже ослабленной риторикой и раздвоенностью, особенно в тот период, когда марксистская идеология была ограничена рамками сталинизма и его политической практики и всецело зависела от изменчивых государственных соображений СССР.

Гегемония тогда расценивалась как результат «классового союза», и в рамках этой формальной схемы «классы—партии», которые вступали в политико-социальный компромисс, отдавали предпочтение (в той мере, в какой связующим звеном служил антифашизм вообще) средним либеральным классам и той части крупной буржуазии, связанной с западным империализмом, которая противостояла «держavam оси». История известна: ее кульминацией в 40-е годы стал так называемый «браудеризм»⁵ с его коалициями и политическими союзами, что почти повсеместно увеличило и прежде существовавший разрыв между социализмом и массами.

В таких условиях в начале 60-х годов появляется возможность положить конец этой истории: на базе одного из ответвлений социализма возникает «кастроизм». Преодолевая народничество, «кастроизм» тем не менее оказывается на сходных с ним позициях и отсылает нас вновь к тем же положениям, которые лежали в основе традиционной латиноамериканской политики в отношении масс, то есть к демократическому национализму, который, стремясь быть преемником прошлых традиций (Масео, Марти, антииспанская борьба конца прошлого века, прямое сопротивление североамериканцам, университетская реформа и крах диктатуры Мачадо в 1953 году, предопределенный студенческими выступлениями),

⁵ Самым известным случаем «браудеризма» был «браудеризм» Коммунистической партии Аргентины и сотрудничество в 40-е годы с Батистой Коммунистической партии Кубы, когда Карлос Рафаэль Родригес и Хуан Маринельо, два ее главных руководителя, вошли в правительство Батисты. (О «браудеризме» см.: «Storia del marxismo», vol. III, tomo II, pp. 708 sgg.)

увенчал национально-народную историю почти безрассудными подвигами партизан Сьерра-Маэстры.

Это вначале очень запутанное соединение национализма, гуманизма и социализма находит свое выражение в методологии (кстати, тоже не чуждой латиноамериканской истории), которая приводит «кастроизм» к завоеванию власти: разгрому и роспуску регулярной армии. Когда в апреле 1961 года, в то время как Соединенные Штаты и внутренняя контрреволюция осуществляли свою самую мощную вылазку в целях дестабилизации режима, Кастро заявил, что его революция носит социалистический характер, возможности для реставрации прежнего порядка уже ликвидированы.

Начиная с 60-х годов латиноамериканский социализм вступает в новый исторический этап, отмеченный влиянием «кастроизма» как идеологического сочетания национализма и социализма, обобщающего десятилетия параллельного исторического развития разных стран, и того, что можно определить как «геваризм» в качестве вдохновителя политических действий. Речь идет о двадцатилетии напряженной драматической борьбы и активных теоретических споров, когда социализм, несмотря на трагические поражения, которые он терпит в некоторых странах, как будто достигает высшей точки своего развития.

Ясно, что этот период характеризуют не только импульсы, идущие от кубинской революции; дает о себе знать все более острый кризис международного коммунистического движения, особенно с началом китайского раскола и маоистского выража в виде «культурной революции», а в некоторых странах, в частности в Аргентине, в результате распространения учения Грамши.

С другой стороны, в начале 70-х годов на гребне второй волны «партизанского» движения в Чили достигнет апогея еще один вариант социализма: победа на выборах Сальвадора Альенде явится как бы запоздалым продолжением линии VII конгресса III Интернационала, которую ортодоксальные коммунистические партии никогда не оставляли.

Наконец, несмотря на весь этот громадный, трудно поддающийся обобщению опыт двадцатилетия, когда в борьбу были вовлечены значительные силы и именно поэтому резко проявились серьезные внутренние противоречия в регионе, нельзя пройти мимо авторитаристских варварских процессов на юге континента (то есть там, где появился социализм в Латинской Америке), успешного развития в Центральной Америке движений, близких к кубинскому, окрепших благодаря победе «сандинизма» в начале 80-х годов, и, что немало важно, возрождения Социалистического Интернационала в Латинской Америке буквально из небытия, который накопился здесь начиная с 30-х годов.

2. Политические течения

Мы можем согласиться с теми, кто утверждает, что «со времени борьбы за независимость против Испании история народных масс Латинской Америки не знала столь бурного развития и такого богатства событий, как начиная с 1959 года»⁶. Все периодизации развития социализма в Латинской Америке сходятся в одном: после периода между концом XIX и началом XX века, характеризующегося ростом II Интернационала, анархизма и синдикализма сорелианского толка (главным образом в южных странах континента), начинаются три новых этапа⁷.

Первый из них — с начала 20-х до середины 30-х годов — в теоретическом плане представлен работами Хосе Карлоса Мариатеги, а в политическом — потопленным в крови восстанием, организованным под руководством Фарабундо Марти Коммунистической партией Сальвадора в 1932 году⁸.

После этого краткого подъема массового движения наступает длительный период застоя (нарушаемого лишь отголосками таких событий, происходящих вне континента, как вторая мировая война), который закончится в 60-е годы победой кубинской революции и появлением «кастроизма» и «геваризма».

Для исследователей вроде Лови, которые целят историю на периоды по весьма формальному принципу, основанному на том, каким образом в каждый данный момент определяется «е позиция прототипа» «природа революции», этап, начавшийся в 60-е годы, должен был привести к возрождению «некоторых идей изепия, присущих раннему коммунизму 20-х годов». В этом смысле Эрнесто Че Гевара мог действительно оказаться «революционным руководителем и мыслителем, который лучше других синтезирует и символизирует этот новый период развития марксизма в Латинской Америке»⁹.

На самом же деле в центре теоретических и политических исследований, которые были начаты в 60-е годы и полу-

⁶ P. G. Casanova. Imperialismo y liberación. Una introducción a la historia contemporánea de América Latina. México, 1978, p. 256.

⁷ См. там же и: M. Lowy. Le marxisme en Amérique Latine de 1909 à nos jours. Paris, 1980.

⁸ Естественно, сюда следовало бы добавить вышеупомянутую деятельность Рекабаррена в Чили, публицистическую и организационную деятельность Мелья на Кубе, а также восстание Сандино в Никарагуа, хотя оно стоит вне рамок марксизма в узком смысле этого термина. Движение за университетскую реформу, зародившееся в Аргентине в 1918 году и распространившееся на весь континент, включает такие моменты, как политическая мобилизация и идеологическая агитация. См.: J. C. Portantiero. Studenti e Rivoluzione nell'America Latina. Milano, 1971.

⁹ Lowy. Le marxisme en Amérique Latine..., p. 54—55.

чили отражение в стремлении «латиноамериканизировать» социализм, лежит — ставшая теперь спорной — идея «континентальной революции», самым горячим выразителем которой был Че Гевара, пожертвовавший ради нее своей жизнью. Такой подход к борьбе за социализм, провалившийся постольку, поскольку оказалось невозможным представить Латинскую Америку как единое целое, после 1959 года создал в регионе ситуацию, аналогичную сложившейся в Европе после 1917 года. Этим сравнением мы хотим не только напомнить о начальном этапе процесса распространения социализма, но и о том, что очень скоро он завершился поражением.

Если исключить победу «сандинистов» над Сомосой (и еще пока не раскрытые загадки партизанских войн в Сальвадоре и в Гватемале), то все остальные попытки вооруженных выступлений (городские, сельские или смешанные выступления-«вспышки» или с самого начала связанные с относительно сильными коммунистическими партиями, как, например, венесуэльская) потерпели поражение. Подобных экспериментов с 60-х до середины 70-х годов было немало. Как утверждает Режи Дебре, «революционная волна, поднятая кубинской победой, не обошла на Латиноамериканском континенте почти ни одну страну»¹⁰.

Хотя история этих двух десятилетий очень сложна, все же можно попытаться (весьма приблизительно) разделить ее на периоды. Можно сказать, что в самом начале влияние кубинской революции выражалось больше в симпатиях к ней и не было результатом сознательного решения, разработанного новым центром социалистической власти. Ясно, что импульс, который шел от революции, еще не был четко выражен; он получил отражение в основном в работах Гевары — особенно в его чрезвычайно распространенном руководстве «Партизанская война» — и в двух гаванских декларациях (1960 и 1962 годов), где содержался призыв к революции на континенте и отдавалось предпочтение «вооруженной борьбе» как методу политических действий.

Со временем этот импульс получил активную поддержку Кубы; это привело к возникновению сначала скрытой, а затем и явной оппозиции в отношении латиноамериканских компартий, которые в 1964 году организовали в Гаване общее совещание, хотя всегда с недоверием относились к появлению «кастроизма».

¹⁰ Debray. La crítica de las armas..., p. 11. Гонсалес Касанова комментирует: «С 1959 по 1973 год появилось такое количество движений и выступлений масс и организаций освобождения, что только конкретный, очень тщательный и строго учитывающий все основные данные исторический анализ мог бы все это охватить» («Imperialismo y liberación...», p. 257).

Куба же обращалась к молодым лидерам, которые стали таковыми в результате кризиса национально-демократических движений или расколов коммунистических партий. Эти первые попытки, целью которых было точное повторение кубинской модели и которые носили характер «выпышек» в сельской местности, охватили почти всю центральную и северную часть континента, то есть районы, где казалось возможным повторение опыта военно-политического взаимодействия партизанского «авангарда» городского происхождения с бедными крестьянскими массами. Итак, несмотря на очевидные различия вследствие их разной национальной принадлежности, их объединяет общая линия: партизанские войны в Парагвас в 1960—1962 годах; Сандинистский фронт, основанный Карлосом Фонсека Амадором в 1961 году в Никарагуа; движение Уго Бланко (1961—1964), к которому присоединится Левореволюционное движение (отколовшееся от Американского народно-революционного союза во главе с Луисом де ла Пуэнте Уседа) и национально-освободительная армия, действовавшие в Перу до 1965 года; Революционные вооруженные силы Турсиоса Лимы, бывшего офицера регулярной армии, а также Революционное движение, руководимое другим молодым военным, Ионом Соуса (испытанным влиянием троцкизма), действовавшее в Гватемале в 1961—1963 годах; Революционное движение 14 июня в Доминиканской Республике; менее известные движения начала 60-х годов в Эквадоре и Гондурасе¹¹.

Ясно, что этим списком не исчерпывается вся совокупность мелких национальных течений, которые пытались добиться успеха, подобного кубинскому, и превратить — как говорили в те дни — «Андские Кордильеры в Сьерра-Маэстру Латинской Америки». К числу значительных выступлений следует отнести также две партизанские войны в сельской местности в Аргентине (одна из них, 1961 года, перонистская в своей основе, другая — 1963 и 1964 годов — была уже частью стратегического плана Гевары), совершенно особую по характеру и ставшую «хронической» партизанскую войну в Колумбии, а также (что особенно важно) самое знаменательное выступление той поры при прямом участии коммунистической партии, имевшее место в Венесуэле между 1962 и 1965 годами и достигшее апогея в 1963 году¹².

К середине 60-х годов с этой первой волной либо было покончено, либо, как в Колумбии, ее развитие остановлено.

¹¹ См. анализ этих процессов в: V. Bambera. Ascenso y descenso del movimiento popular e insurreccional en Latinoamérica. — In: «Diez años de insurrección en América Latina». Santiago de Chile, 1970.

¹² Режи Дебре подробно рассказывает о венесуэльском «случае» в: «Les pruebas de fuego». Madrid, 1976, p. 17—114.

Спустя годы, оправившись от нанесенного удара, возродится «сандинизм» в Никарагуа, а в Венесуэле лучшие участники партизанской войны используют военное поражение в качестве импульса для политических выступлений организации «Движение к социализму» (МАС), сейчас, может быть, самого зрелого социалистического отряда Латинской Америки¹³.

Характерным для этого этапа была скрытая оппозиция коммунистических партий «кастроизму», несмотря на попытки отдельных руководителей, в частности Роднея Арисменди, руководителя Коммунистической партии Уругвая, найти «дипломатический» выход. Арисменди прибег также к самым серьезным теоретическим аргументам, лишь бы не допустить разрыва между коммунистической стратегией (выработанной еще VII конгрессом Коммунистического Интернационала) и новыми импульсами, исходившими от Кубы¹⁴. Когда в апреле 1967 года после серьезных военно-политических поражений Коммунистическая партия Венесуэлы решила отказать от ведения партизанской войны и отношения с кубинским руководством были резко порваны, оппозиция коммунистических партий Гаване достигла своего апогея.

Во время этого кризиса (а в действительности как ответ на него) в кубинской столице собирается конгресс Организации латиноамериканской солидарности (ОЛАС), ставшей наиболее открытым и влиятельным орудием «кастроистской» стратегии на континенте. В тот же самый момент Гевара, находясь в Боливии, уже осознал крушение своего плана «латиноамериканской революции». Восьмого октября, когда Гевара был взят боливийскими военными в плен и убит, первый этап экспансии социализма, последовавший за победой на Кубе в 1959 году, был завершен. Теперь ОЛАС уже не могла стать (после того как она почти разорвала связи с коммунистическими партиями, подобно тому как это было с Геварой в Боливии) политической опорой проекта, основные положения которого, вызвавшие резкую критику наиболее «ортодоксальных» партий, были изложены Режи Дебре в его брошюре под заголовком «Революция в революции?», которая была задумана, написана и опубликована в январе 1967 года в Гаване.

Работа Дебре — главное теоретическое исследование этого этапа — означала разрыв с доктринерством партий, выросших под крылышком III Интернационала, хотя, как указывал сам автор несколько лет спустя, в положении, которое больше всего подвергалось нападкам сторонников «ортодок-

¹³ О МАС см.: *T. Petkoff. Socialismo para Venezuela. Caracas, 1972.*

¹⁴ См.: *Arismenđi. La Revolución Continental. Montevideo, 1962; Lenin. La revolución y América Latina. México, 1974.*

сальности», а именно об авангардизме партизанских выступлений, речь шла лишь о милитаризованной разновидности «партии» в классическом ленинском понимании¹⁵. На самом деле коммунистические партии раздражали не столько «теоретические отклонения» в том, что касалось отношений между массами и авангардом, сколько восхвалявшийся тогда метод действий, который отвергал обычные формы политической борьбы в пользу «революционной войны», а больше всего прямо высказывавшееся предложение создать новые марксистско-ленинские организации, открыто противостоящие коммунистическим партиям, не приписывавшим вооруженной борьбы.

В этом свете задача ОЛАС состояла в координировании в масштабах континента всего связанного с этой альтернативой. Однако организация эта возникла в тот момент, когда политические предпосылки, приведшие к ее основанию, начали рушиться: в период 1966—1967 годов создание «геваристами» «одного, двух, трех Вьетнамов» в Латинской Америке не могло завершиться ничем, кроме катастрофы. Это был период не только поражений и физического уничтожения главных участников революционного движения, но и спада массового движения, роста милитаризма, направленного против реформистских гражданских правительств (в 1964 году в Бразилии произошел успешно завершившийся военный переворот, который действительно открыл новый этап в жизни южной части континента), и отчаянного наступления империализма не только в странах Латинской Америки, но и во всем мире: сюда следует отнести и вторжение морских пехотинцев США в Доминиканскую Республику в 1965 году, и эскалацию войны во Вьетнаме, а если обратиться к Африке, то события в бывшем Бельгийском Конго и в Гане.

Одной из форм стратегического ответа на распространение идей кубинской революции была осуществленная Соединенными Штатами при Кеннеди инициатива «Союза ради прогресса» для проведения в жизнь программы крупных инвестиций на социальные нужды и развитие вспомогательных экономических структур с целью улучшения положения в регионе. С политической точки зрения этот проект должен был укрепить здесь позиции гражданских правительств — сторонников развития и политики реформ. Этот план в некоторой степени опирался на доктрину экономического и

¹⁵ Дебре пишет: «Характерным для 60-х годов было ускоренное применение ленинской теории организации периода начала XX века. Это был форсированный ленинизм» (*“La crítica de las armas...”*, p. 158). В другом месте этой же книги, говоря о том, что его теория — вовсе не еретическая, он пишет: «Отца-основоположника этого направления зовут Карл Каутский» (*ibid*, p. 147).

социального развития Латинской Америки, которую с начала 50-х годов разрабатывала Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки (ЭКЛА), и в основном касался того, что в ученых кругах получило название «социологии модернизации». Комиссия адресовалась главным образом к старым национал-реформистским партиям Латинской Америки, партиям, связанным с социал-демократией (например, венесуэльской партии Демократическое действие), и христианско-демократическим партиям, политический вес которых в ту пору возрастал, как показывает пример чилийской Христианско-демократической партии, пришедшей к власти в 1964 году. Убийство Кеннеди ускорило крах проекта, хотя его практическое осуществление было маловероятным, в частности, и потому, что он не нашел отклика в правящих кругах США, которые не хотели жертвовать своими старыми союзниками ради предполагаемой новой элиты.

Постепенно почти все гражданские правительства, которые должны были служить основой нового альянса между Соединенными Штатами и Латинской Америкой, пали в результате военных переворотов: в 1962 году в Аргентине был смещен Фрондиси (равно как и другой гражданский президент, Илья, в 1966 году); в 1964 году — Гуларт в Бразилии; в том же году был смещен Пас Эстеусоро в Боливии. А кульминацией стало решение, принятое в 1965 году президентом Джонсоном (что было в лучших традициях политики «большой дубинки»), направить морскую пехоту в Доминиканскую Республику «для защиты порядка».

К концу 60-х годов, таким образом, континент находился в ситуации, весьма отличной от той, которая ожидалась в начале десятилетия: появление милитаризма нового типа (институционального и без каудильо) и провал всех попыток ведения партизанской войны по примеру кубинской. В то же время режим Гаваны после гибели Гевары занялся своими внутренними проблемами (а их было немало), отправив в архив план прямого вмешательства, создававший ему столько трудностей в отношениях с партнерами, которых он предпочитал СССР, и принесший так мало конкретных результатов.

Любопытно, что, несмотря на перечисленные поражения, в 70-е годы будет наблюдаться значительное «оживление» вооруженной борьбы, и, таким образом, в предложенной периодизации обозначится второй этап. Естественно, его характеристики будут отличными от черт предыдущего этапа. Географически его ось сместится с севера на юг континента, то есть в относительно более высокоразвитые страны (Бразилию, Аргентину, Уругвай и Чили), а в силу характера этих обществ методологически изменится и тип организации: новые повстанческие группы (Революционная партия трудя-

щихся Революционная народная армия и «Монтонерос» в Аргентине, Армия национального освобождения в Бразилии, «Тупамарос» в Уругвае, «Левое революционное движение» — МДР в Чили) будут развивать свою стратегию главным образом применительно к городским условиям. Все они сходятся в том, что налицо подъем массового движения в этих странах — рабочего, студенческого и городской бедноты. Строго говоря, в этот второй период партизанская борьба достигает своей наивысшей точки и характеризуется различными формами проявления народной активности, поскольку социальная мобилизация и апогей этой борьбы (у «Тупамарос» и «Монтонерос», например, она ведется на высоком техническом уровне) совпали с подъемом военных в наиболее отсталых странах, таких, как Боливия, Перу, Панама и Эквадор.

В некоторых странах, главным образом в Аргентине (впрочем, и в Бразилии, Мексике, Чили и Уругвае), промышленный рабочий класс — в значительной степени продукт «транснациональной» индустриализации послевоенного периода — по-разному относится к этапу требований, характеризующемуся как «классовый», как этап оппозиции противной стороне — хозяевам, государству и бюрократическому руководству своих собственных организаций. Однако этим подъемом не сумели воспользоваться коммунистические партии, которые именно здесь потерпели наибольшее поражение: они не смогли придать рабочим конфликтам 70-х годов преобладающий, а не чисто корпоративный характер.

Теперь в отличие от предыдущего периода основу борьбы в значительной степени составляли не столько классические проблемы заработной платы и занятости, сколько «качественные» требования, которые были более глубоко связаны с «положением рабочих» вообще и с контролем над процессом производства на крупных предприятиях. Это была борьба против авторитаризма в обществе, однако в ту пору ей не придали политического направления ни партизанский «авангард», ни марксистские партии, и она вылилась (за исключением, может быть — и то в последний момент, — Бразилии) в классовый корпоративизм, обреченный на изоляцию и поражение. И если партии потерпели поражение, потому что не захотели расстаться со старыми схемами, то новые военно-политические организации разделили аналогичную судьбу, поскольку ориентировались на «катастрофу» — взгляд, который заставлял их видеть «окончательный кризис» системы в том, что на деле было кризисом лишь одной из фаз зависимого капитализма. Начиная с конца 60-х годов в тех странах, где раньше, чем в других частях этого региона, развился капитализм (Аргентина, Уругвай, Чили), открыто начали проявляться симптомы кризиса

существующей системы регулирования; он проявился на социальном, культурном и политическом уровнях и поставил в центр спора вопрос о направлении изменений, которые этим обществам неизбежно предстояло претерпеть.

Появление новых форм борьбы рабочих, кульминацией которой были так называемые «кордовские» выступления в Аргентине в 1969 году, совпало с бурно развивавшимся процессом радикализации некоторой части средних слоев, в основном молодежи и студентов. Отзвуки европейских выступлений 1968 года, равно как и проблематика маонистской «культурной революции», оказали прямое воздействие на политические позиции этих поколений молодежи.

Однако не только существованием полемического неомарксизма объясняется подъем движения; другое, абсолютно новое на континенте явление способствовало возникновению той толики «мессианства» и стихийного горения, которые окрасили главным образом партизанские формы борьбы; глубокий идеологический кризис католической церкви, начиная со II Ватиканского собора, через так называемую «теологию освобождения», обратил огромные массы молодежи к идеям революции и социализма. Решающая роль молодежи, требование «качественных» советов на новом этапе борьбы городских масс вкупе с господствовавшими тогда в этой обстановке идеологиями (критический марксизм и революционное христианство) и расплывчатыми идеями «третьего мира» (точкой отсчета здесь может служить обращение Франца Фанона к «проклятым заклейменным») наделяли это движение «основательным» моральным содержанием, а следовательно, склонностью к широкому обобщению «этики убеждения».

Наибольшей силой эта вторая волна, перенесшая борьбу из сельской местности в городские условия и явившаяся производным «геваризма» 60-х годов, достигла на юге континента, особенно в Аргентине и Уругвае. Своего апогея она достигла в Бразилии. Особенно следует отметить движение, руководимое Карлосом Маригелья — бывшим руководящим деятелем коммунистической партии, автором руководства по ведению партизанской борьбы в городских условиях, ставшего «главным пособием» для тысяч борцов; однако очень скоро движение было подавлено. В то же время тот факт, что в Чили укрепление позиций «Левого революционного движения» практически совпало с победой на выборах Сальвадора Альенде, создал впечатление, что в дальнейшем развитии борьбы нет необходимости. Однако это явление распространилось на другие страны: даже там, где политическая структура была традиционно прочной, как, например, в Мексике, ощущались импульсы, порождаемые молодежным бунтом. В 1968 году армия жестоко подавила манифестацию

протеста, оставив на площади Тлателолко множество убитых, число которых до сих пор неизвестно. Таким образом, вероятно, нет такой латиноамериканской страны, где на первой или второй фазе революционного движения, вызванного к жизни кубинской революцией, не дали бы о себе знать новые формы борьбы.

Ясно, что названными формами не исчерпывается все многообразие их в те годы. Первая половина 70-х годов характеризуется специфическими политическими действиями, имевшими огромное значение. Их характер (речь идет о странах Юга, где кризис гегемонизма оказался наиболее острым) был двоякого типа: радикализация старых народнических движений; удачное применение некоторыми коммунистическими партиями стратегии оппозиции, провозглашенной VII конгрессом Интернационала. К первому отнесем Аргентину периода возвращения Хуана Перона в 1973 году и Боливию (1970—1971), в которой было налицо сочетание выступления рабочих, руководимого синдикалистами, прогрессивного движения военных и народнической традиции революционного национализма. Ко второму — так называемый Широкий фронт в Уругвае — предвыборную коалицию во главе с коммунистами, получившую около 20 процентов голосов на выборах в 1971 году, и, естественно, Народное единство в Чили, которое приходит к власти в 1970 году, победив консерваторов и демохристиан.

Чили начала 70-х годов являет собой кульминацию процесса, с помощью которого «рабочая» партия с успехом осуществляет стратегию фронтов, разработанную VII конгрессом. В этом смысле опыт Народного единства — его победа и последующее поражение — выходит за политические и идеологические границы Латинской Америки. В самом деле, чилийские левые еще со времен своего родоначальника, Луиса Эмилио Рекабаррена, тяготеют к классовому корпоративизму как главной составляющей независимо существующего социализма. Это приращение исключительной роли тому, что связано с понятием «рабочий» (структурное происхождение этого явления можно было бы объяснить особенностями формирования рабочего класса в Чили как «изолированной массы»), приведет в результате к установлению самых прочных связей между трудящимися и социалистической культурой, которых континент до той поры не знал.

Открывшаяся таким образом перспектива для автономного с политической точки зрения формирования чилийского рабочего класса станет препятствием на пути проникновения народничества и будет способствовать независимому участию трудящихся во множестве различных фронтов, которые начиная с 1938 года и до выборов Альенде стремились создать в стране новое по характеру политическое равновесие.

Однако во всех этих случаях — и наиболее драматическим образом в период между 1970 и 1973 годами — трудность коренилась в ошибочном понимании гегемонии на практике. Партиям чилийских левых никогда не удавалось создать структуры по типу «народных» партий: для них понятие «народный» было обобщением всего связанного с фронтом, понимаемого как дополнение, как «союз классов», в котором последние воспринимались как субъекты, а политические партии как их отражение.

Любопытно, что в обществе, подобном чилийскому, отмеченном очень ранним и глубоким проникновением государства в структуру общества, левые партии отступили, в конце концов, перед узко «социологической» концепцией политики, по которой государство считалось лишь пассивной средой, отражающей интересы групп и социальных категорий. Примером этого служит категорический отказ от возможности преобразования Альенде коалиции партий в режим «прогрессивного цезаризма»: исполнительная власть оказалась во власти хаоса, в плену логики партий и социальных движений; не было возможности заставить считаться с теми ограничениями политических выступлений, которые самостоятельно устанавливает всякая власть.

3. Теоретические течения

По мере все более углубленного изучения латиноамериканских обществ удалось установить, что процесс развития прошел путь, который можно схематически представить в виде этапов, которые сохраняют между собой гораздо более смысловую связь, чем могла, казалось бы, создать полемика между этими обществами.

Точка зрения III Интернационала, различные аспекты позиции Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, так называемая теория зависимости, посягающие политическую окраску предложения, которые приспособливают консервативные модели вроде модели Хантингтона к категориям марксизма ради объяснения появившихся современных течений авторитаризма — все это относится к одному аналитическому ряду, где преемственность (следование марксизму) уравнивает разрыв. Несмотря на острые полемические столкновения, изучение литературы по этим вопросам наводит на мысль скорее о кумулятивном процессе развития познания, чем об отсутствии связи и противодействиях, которые можно уподобить скрытой борьбе между примерами того и другого. В той же мере, в какой ни в одной из названных аналитических схем нельзя обнаружить точной концепции «теории», различия между точками зрения про-

являются скорее в скрытых политических целях, которыми руководствуются исследования, чем в сущности теоретической конструкции. Любое объяснение, любое течение, кроме того, связано с совершенно определенным социально-политическим контекстом: опыты «идеологии развития», кубинская революция, новые военные авторитарные режимы. Любая из этих позиций обуславливает тон исследования, направляет анализ в определенное русло, в зависимости от ожидаемого эффекта отдает предпочтение то одной, то другой переменной — экономике, классам, государству — и влияет на то, какое значение будет придаваться внутренним или внешним факторам, воздействующим на общества, о которых идет речь.

Классическое представление о латиноамериканской «отсталости», возникшее в связи с тем, что были налицо «экзогенные» факторы, отражавшие «раздвоение» общества в соответствии с теми толкованиями империализма и «буржуазно-демократической революции», которые предложил III Интернационал, равно как и возникшая впоследствии точка зрения на эту проблему, выработанная на первом этапе Экономической комиссией ООН для Латинской Америки, не способствовали пониманию социальных черт процессов капиталистического развития, которые имели место в главных странах региона с того момента, как промышленная экономика заняла господствующие позиции и стала развиваться, внося значительные изменения в отношения между классами и государством. Впоследствии, в конце 60-х годов, концепция зависимости — весьма банально использованная как североамериканскими, так и латиноамериканскими интеллектуалами — способствовала умощнению числа течений, стремившихся создать некоего *deus ex machina* для объяснения специфики Латинской Америки. Как ортодоксальную версию империализма, распространенную III Интернационалом, так и шаблонно используемую с позиций «третьего мира» теорию зависимости сближало сходство оценки положения в регионе, а это позволяло рассматривать в совокупности (по крайней мере в отрицательном плане, то есть начав с установления «общего врага») ситуации, которые, если не считать этой общей черты, очень отличались друг от друга.

Это имело место именно тогда, когда на первый план выступали черты, различительные для разных ситуаций. Говоря о наиболее развитых странах региона, все ученые сходятся во мнении, что где-то примерно в 50-е годы так называемая «легкая» индустриализация столкнулась в процессе экспансии с серьезными ограничениями. Именно тогда начался процесс, в ходе которого буржуазия этих стран с переменным успехом принялась искать возможность вклю-

читься в систему мировой экономики, что приведет общества этих стран к затяжному кризису, который сможет сравниться лишь с кризисом 1929 года.

Попытки изменить положение, предпринятые в ту пору и позднее, полагат начало кризису и породят стремления реорганизовать государство; они будут меняться в свою очередь в зависимости от социально-политических условий, свойственных каждой системе. К началу 70-х годов развитие этого процесса пойдет бурными темпами; это объясняется осознанием господствующими классами настоятельной необходимости срочно перестроить структуру капитализма, переживающего кризис. Нельзя не признать, что многие из этих новых проблем появились в латиноамериканской экономике начиная с середины 60-х годов. Так называемая «теория зависимости» избрала своей мишенью два положения, на основе критики которых она возникла: это «идеология развития» и «буржуазно-демократическая революция», или, точнее, общие для этих двух концепций предпосылки: чисто внешние отношения между центром и периферией, индустриализация с учетом народных интересов, превозношение планирования, «антифеодалная» аграрная реформа, призыв к расширению производства и модернизации. Главными объектами критики были: концептуальная несостоятельность противоположности «внешнее — внутреннее» и развенчание «прогрессивной», «антифеодалной» роли национальной буржуазии. Итоги критики резюмировались в общем положении, по которому новой формой зависимости была как раз индустриализация; в связи с этим было очень важно, по какому направлению пойдут исследования.

Однако все это имело скорее теоретическое, чем политическое значение. А может быть, трудности следует приписать недостаточной разработанности связей между экономическим (или, если хотите, «классовым») анализом и анализом политическим. Например, в правильной оценке ранее существовавшими течениями «прогрессивности» национальной буржуазии имелась тенденция к преувеличению (будто речь шла о распаде этого класса) и не учитывалось, что исчезал не класс, а идеологическое понимание его роли. Другим примером может служить точка зрения, согласно которой народничество было «при последнем издыхании», поскольку социальная неприемлемость проекта о длительном государственном компромиссе (сам по себе тезис верен) приравнивалась к воздействию этого проекта на ожидания и поведение широких масс. В равной степени ошибочными оказались и некоторые утверждения, касавшиеся экономики, например о «развитии слабразвитости». Строго говоря, кризис способа капиталистического накопления (и воздействие, которое оно оказывало на общество и государство) считался

кануном краха капитализма в Латинской Америке. Дело в том, что в топе опубликованных работ — а они, бесспорно, в долгу перед эпохой, в которую написаны (кризис реформистской идеологии развития, кубинская революция, расцвет неомарксизма в Европе и Северной Америке) — звучала безнадежность, идущая, может быть, вразрез с настроением всей совокупности специфических тезисов, где можно было обнаружить иные оттенки. Условия производства и потребления в зависимой системе тяжело сказывались на политическом анализе в Латинской Америке 60-х годов. Политический выход авторы работ, проникнутых предчувствием катастрофы, видели в противопоставлении «класс против класса» (а также социализма — фашизму, революции — реформам, вооруженного пути — мирному), вновь обращаясь к призрачным «левым» подходам III Интернационала. Одновременно с этим была выдвинута в качестве постулата самоубийственная взаимосвязь «катастрофа — волюнтаризм», которая в Германии 20-х годов вылилась в нацизм, а в недавней истории стран южной части Латинской Америки — в режимы, получившие затем название «бюрократически-авторитарных».

Несмотря на это, теория зависимости была на деле важным этапом в разработке латиноамериканской концепции кризиса. При всей своей ограниченности она способствовала активизации роли марксизма в области исторических, социологических и экономических исследований, где он стал обобщенным методом анализа и после многолетнего перерыва установил новую связь между культурой и политикой¹⁶.

Идеологическая сложность периода возросла после слияния элементов разных направлений. Кризис сталинизма открыл путь для проникновения на континент, с одной стороны, внешне наиболее противоречивых направлений европейского марксизма (от Маркузе до Альтюссера), а с другой — импульсов, которые исходили от католицизма после II Ватиканского собора. К концу этого периода следует отнести также влияние идей Грамши, работы которого были опубликованы в начале 60-х годов в Буэнос-Айресе. «Грамшианство» оказалось как бы мостом, соединяющим две эпохи, и его влияние в наши дни выражается в стимуле (главным образом в странах Юга) для размышлений после того, как «теория катастрофы» привела к поражению¹⁷.

¹⁶ Самой значительной была книга: *F. H. Cardoso e Euzo Faletto. Dependência y desarrollo en América Latina*, впервые изданная в 1969 году; к длинному списку авторов, которые вне Латинской Америки принесли известность этому направлению, следует отнести Аннибала Кихана, Руи Мауро Марини, Теотонио Дос Сантоса и Андре Гундера Франка, чьи труды послужили как бы связующим звеном между двумя культурами.

¹⁷ Троцкизм и особенно маонизм тоже были частью этой пестрой

В рамках сложных связей между европейской и латиноамериканской теоретической мыслью наибольшим влиянием пользуются Альтюссер и его ученики. Не будет преувеличением сказать (как это ни парадоксально), что французский марксистский структурализм оказался преобладающей идеологией для целого поколения, которое искало возможности для политической реализации на путях самого крайнего волюнтаризма¹⁸.

Родственные связи, установленные между «объективизмом» Альтюссера и политическим «субъективизмом» новых «авангардистских» течений, не кажутся, в общем, чем-то странным. Их главным истоком является как раз тот самый «авангардизм», которому в ту пору пришлось искать политические связи с массами. Претензии на «научность», которые якобы позволяли руководящим органам «познать законы истории» (порожденные грубым детерминизмом), лишь усиливали (как бы вызывая противоположный эффект) волюнтаризм их политических действий. Владельцы «знания», обладатели «научной правды» перед лицом «ошибок идеологии», они делали вид, будто в их схемах присутствует гарантия «Истории», которая чаще всего давала о себе знать в виде простейших догм. В итоге, хотя после 1968 года мятежная европейская молодежь отвергла Альтюссера, заменив его Маркузе, влияние Альтюссера в Латинской Америке не ослабело. Лишь крупные поражения середины 70-х годов отодвинули структуралистские теории на второй план, а появление новых проблем, поставленных реальной жизнью, заставило обратиться к иным средствам для получения ответов

4. В поисках обновления

Если марксизм 60-х годов пытался установить отношения «согласия диалога» с народничеством и национализмом по вопросу о связи (которую не сумели установить социалисты и коммунисты) между национальной и социальной борьбой, то нынешние исследования ориентируются все больше на изучение иной связи — между демократией и социализмом.

Совершенно очевидно, что эта проблематика имеет отношение к левым силам Юга континента, где как неизбежное следствие выдвинутого приверженцами ориентированной на

картины идеологических течений. Сейчас следует также считаться скорее с политическим, чем с идеологическим влиянием европейской социал-демократии.

¹⁸ Широкое распространение среди политических деятелей «альтюссеризм» получил благодаря ученице французского философа (чилийке по происхождению) Марте Харнекер, которая опубликовала многократно переиздававшееся впоследствии руководство под названием „Los conceptos fundamentales del materialismo histórico“.

катастрофу теории «социализм или фашизм» пророчество «сбылось само собой»: как только был установлен характер конфликта, ситуация предстала в виде катастрофического равновесия, а это привело к бурным взрывам авторитарного типа.

Естественно, что в этих новых условиях зашла речь о возобновлении дискуссии о ценности и значении демократии, которую и марксизм коммунистов, и различные народнические течения рассматривали как временное средство для ведения непосредственной политической борьбы. Если в период расцвета теорий зависимости главное внимание уделялось экономическим отношениям, то возникновение новых авторитарных режимов привело к тому, что внимание исследователей сосредоточилось на проблемах государства и политического господства, хотя в первых работах еще ощущались предубеждения экономизма.

Если на предыдущем этапе развития теории главная проблема заключалась в трудности установления четкой взаимосвязи между экономикой, обществом и государством, между моделями накопления и моделями гегемонии (единственным исключением, заслуживающим внимания, является упоминавшаяся выше книга Кардосо и Фалетто, которая продолжает оставаться наиболее серьезной попыткой создать картину взаимосвязи экономических, социологических и политических переменных), то и теперь исследование «нового авторитаризма» этой проблемы не решило¹⁹.

Подобная литература могла бы развить наиболее удачные положения предыдущего этапа, открыв в каком-то смысле путь для дополнения уже нарисованной картины с тем, чтобы можно было попытаться отыскать причины, по которым в абстрактном полярном противопоставлении «социализм или фашизм» последний одержал победу над первым. Почему возникли «бюрократически-авторитарные» режимы? Что для них было характерно? Каковы были их связи с экономикой? Была сделана попытка дать более или менее автоматическое объяснение изменениям в государстве тем, что капитализм испытывал необходимость «углубить» процессы индустриализации в тех странах, где он развился раньше, чем в других, и достиг более высокого уровня. В этом свете важным может считаться пример Бразилии и период 1967—1970 годов в Аргентине, когда там существовал военный режим Онгани. Однако последующие примеры Чили, Уругвая и Аргентины начиная с 1976 года показали, что капиталистическая реорганизация может принимать формы, далекие от тех, которые были связаны с углублением ин-

¹⁹ На эту тему см. сборник: *D. Collier. The new authoritarianism in Latin America.* Princeton (N. J.), 1975.

дустриализации. В свою очередь, не согласившись с упрощенными связями между экономикой и политикой, такие государства, как Мексика и Венесуэла (и в несколько менее ясной форме страны Андского пакта), отдали предпочтение промышленному развитию, не прибегая к авторитарным режимам и не разрушая в угоду рынку «государство благоденствия».

Современные направления исследований (а в некоторых случаях известная озабоченность в связи с проектами новых социалистических предложений) обнаруживают стремление противопоставить анализу, в котором отдается предпочтение внешним отношениям зависимости, изучение внутренней динамики развития любого общества. В этом смысле понятие политические процессы может помочь не «экономический» взгляд на зависимость или на «углубление» индустриализации, а историко-социальная форма — в которой идет процесс индустриализации, — динамически связывая производство, классы и политическую культуру, и одновременно национальное пространство с мировым.

То, что сейчас кажется достижением, на самом деле — лишь все более широко распространяющийся отказ от объяснений слишком общего характера. Связям отдается предпочтение перед структурами, общественные науки оцениваются с точки зрения исторической перспективы. Так, категории рассматриваются как ступени, ведущие к созданию «конкретного», выступающего как совокупность множества определений, а не как некое концептуальное «тайное божество».

Это обращение к «историческим» вопросам в ущерб «структурным» сочетается с обращением дискуссии к теме демократии не только в целях критики капиталистического авторитаризма, но и в связи с обсуждением возможности социалистических преобразований. В связи с тем что марксистская дискуссия в Латинской Америке ведется в новом ключе, озабоченность ее участников простирается дальше: речь идет о выявлении прочных концептуальных связей между политикой и повседневной жизнью. Новым связующим моментом является отказ от узкого взгляда на вещи, при котором социальные классы рассматривались как предопределенные исторические субъекты, вместо стремления изучить процесс формирования субъектов (как ключ к политическому действию), который нельзя было бы представить иначе, как через признание людьми осмысленности их повседневного существования.

Естественно, не все внутренние перспективы современного латиноамериканского социализма ограничены рамками перечисленных вопросов: здесь вполне точно обрисована ситуация, сложившаяся в странах Юра. Вследствие много-

образия складывающихся ситуаций в Латинской Америке (находящейся в движении, подобно маятнику) происходит изменение взглядов на проблемы и смещение центров политической активности. Если в первое десятилетие после кубинской революции во главе повстанческого движения был Север континента, а затем в 70-е годы этот центр сместился к Югу, то сейчас «стрелка» вновь сместилась к Северу, в частности в Центральную Америку, где обстановка, сложившаяся в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале, свидетельствует о том, что это самые горячие точки конфликта.

В этих странах элементы традиционной политической культуры испано-кресольского происхождения в сочетании с чертами демократизма плебейского толка и якобинской методологией временно соединились с ленинизмом в его наиболее классической форме, образовав «смесь», которая как будто подошла для небольших по территории стран с несложным социальным составом и развращенной авторитарной политической системой, находящейся в зависимости от североамериканского капитализма.

В текущем десятилетии, таким образом, мы еще раз сталкиваемся с трудностью установления общих канонических экзистенциальных социализма наряду, впрочем, с ширящимся процессом «депровинциализации» латиноамериканской политики, в котором международные средоточия силы — СССР и его союзники, социал-демократия и христианская демократия — выступают в качестве главных действующих лиц, являясь противовесом традиционному североамериканскому присутствию, и создают возможность для новых форм политического равновесия.

Морис Годелье

МАРКСИЗМ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Я не намерен, разумеется, приводить перечень негативных или позитивных воздействий марксизма на развитие гуманитарных наук: социологии, антропологии, истории, географии и т. д. Эта задача была бы чрезвычайно трудоемкой и свелась бы, скорее всего, к изложению истории гуманитарных наук начиная с XIX века. Я ограничусь вещами более доступными и покажу, какое значение для меня, как ученого, имеет марксизм в качестве источника гипотез, которые сами имеют свои собственные границы и в любой момент должны рассматриваться вместе с их истоками и основами. Поскольку за последние 25 лет мне довелось участвовать в дискуссиях и спорах, ведущихся во Франции различными научными школами — функционализмом англосаксонского толка, структурализмом Леви-Строса, многочисленными марксистскими течениями и всевозможными школами психоанализа, среди которых и школа Лакана, — данная моя работа может быть расценена как своего рода отчет об эпистемологическом аспекте значения Марксовой мысли в Западной Европе в настоящее время.

Должен добавить, что я намеренно свел анализ марксизма к анализу мысли Маркса, не останавливаясь на вкладах Ленина и Мао Цзэдуна. Уже до Октябрьской революции, как указал Перри Андерсон в своей статье о западном марксизме, марксизм имел множество течений и оказывал различное влияние на культуру и интеллектуальную жизнь Европы. Несмотря на эти различия, мне кажется, существует некое жесткое ядро марксизма, являющееся в конечном итоге единым истоком всех его разновидностей. Суть эту я и попытаюсь раскрыть в настоящем очерке.

1. Деятельностная суть Марксовой мысли в области гуманитарных наук

Эта суть заключается в некоторых основополагающих идеях, разработанных Марксом в 1844—1845 годах и впервые изложенных в «Немецкой идеологии».

Во-первых, люди не только живут в обществе как общественные животные, но и сами создают его. Они не «эволюционируют», как другие виды, — у них есть история, и эту историю они творят в определенных условиях.

Во-вторых, у людей есть своя история потому, что они способны преобразовать окружающую их природу и тем самым преобразовать свою собственную социальную природу. Здесь следует рассеять одно укоренившееся заблуждение: Маркс не есть прежде всего экономист. Его первостепенная задача состоит не в объяснении логики капиталистической системы. Маркс—это мыслитель, открывший в определенных исторических условиях—как социальных, так и научных—значение одного фактора в развитии человечества, понимавшегося до того времени не слишком отчетливо: значение труда, преобразование природы, воздействие существующих между людьми социальных и материальных отношений на окружающую их природу. Маркс, в общем, лучше других понял механизм действия экономического момента в становлении и трансформации общественных отношений в ходе исторического развития. Он напишет об этом позже в одном из методологических текстов, содержащихся в «Экономических рукописях 1857—1859 годов», напоминая, что до него очень часто историю сводили к описанию политических событий, а также религиозных и философских идей. Маркс же сводит политическую историю и историю идей к вещам более глубоким, на них влияющим, к другим факторам, к истории отношений человечества с природой и к большому числу действующих лиц, объединенных в касты, группы и классы.

Далее: история — это движение, но движение противоречивое именно потому, что оно берет свое начало в противоречиях социальной действительности. Последние, по мнению Маркса, делятся на два типа: противоречия между социальными группами — категориями, кастами, классами, — занимающими в обществе различное положение и не контролирующими в одинаковой степени материальные и социальные условия своего существования; и противоречия, которые могут возникнуть между развитием материальных отношений людей с природой и формами общественной организации этих материальных отношений, а также формами общественного разделения труда и процесса производства. В 1848 году в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс выступает со знаменитым утверждением: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». Начиная с 1855 года, когда из работ историков древности, этнографов, археологов он узнает о существовании первобытных общин, он преобразует свою схему. История началась, по его мнению, с развития многочис-

ленных общинных социальных форм, постепенно исчезнувших под воздействием развития новых отношений с природой и общественной борьбы и сменившихся различными формами иерархических обществ, подразделяющихся на категории и классы. Человечество развивалось в системе этих противостоящих друг другу общественных форм, и капитализм возникает как последняя антагонистическая общественная форма человеческого развития.

И наконец, развитие капитализма создает материальную базу, общественные формы, а также интеллектуальные и политические представления нового общества, где средства производства станут коллективной собственностью и труд примет форму коллективного управления объединившихся работников. В «Капитале», так же как и в «Критике Готской программы», Маркс видит отдаленное будущее как мир, в котором каждый будет получать по своим потребностям, где развитие производительных сил будет таким, что каждый индивид сможет развивать свои творческие способности, где общественное разделение труда, обрекающее людей на выполнение одной и той же работы в течение всей жизни, будет упразднено. Это общество, избавленное от нужды, которое разовьется в общество свободы, когда исчезнут классы, а вместе с ними и государство. Каким бы ни было это видение будущего, пророческим или утопическим, идея царства свободы с самого начала присуща Марксу. Ей постоянно сопутствует призыв к созданию материальной базы будущего и к уничтожению противоречивых общественных отношений господства и эксплуатации человека человеком, препятствующих рождению этого нового общества.

Обладающее далеко не созерцательным характером видение будущего является основой революционного действия. Я приведу лишь одну фразу Маркса из его переписки об эксплуатации человека человеком, господствующей при капитализме: эксплуатация рабочего класса, колониальных народов, эксплуатация женского и детского труда и т. д. — только классовая борьба сможет положить конец всей этой мерзости.

Эти четыре основополагающих идеи представляют собой, по-моему, деятельность суть Марксовой мысли: идеи, которые продолжают оказывать свое воздействие на наши общества и внутри них на всех уровнях — политическом, культурном, научном. Прежде чем рассмотреть их более детально, я хотел бы напомнить, что в основном они были разработаны Марксом до того, как он до конца проанализировал логику действия капиталистического способа производства. И они идут вразрез с идеалистической философией Гегеля.

С самого первого знакомства с трудами экономистов —

между 1843 и 1844 годами, а также под влиянием Энгельса и его знания промышленной Англии паряду с наблюдениями за земельными конфликтами в Германии Маркс, имевший философское, юридическое и историческое образование, раскрывает механизм материальных отношений и конфликтов между классами в истории. В противовес абсолютному идеализму Гегеля, полагавшего, что история — это движение «мирового духа», который противопоставлен (в качестве Логоса и Природы) самому себе и преодолевает данное противоречие в своем саморазвитии, Маркс тоже понимает историю как движение, и движение противоречивое, диалектическое. Однако диалектика, считает он, не основывается на тождестве противоположностей, из чего исходил Гегель в своей «Феноменологии духа», утверждая, что хозяин — это он сам и вместе с тем его противоположность, раб; по этой причине он является рабом своего раба. Свою диалектику Маркс основывал на единстве противоположностей, и в этом смысле он предвидел современную теорию саморегулирующихся систем и процессов. Данный аспект не является единственным «современным» аспектом воззрений Маркса. Я со своей стороны постараюсь сделать гносеологический обзор его подходов и концепций, в наибольшей степени повлиявших на развитие знания в наше время.

2. Некоторые гносеологические концепции и подходы Маркса

Чтение основных произведений Маркса открывает нам, что первоочередным намерением его был анализ «структуры» общественных отношений, например анализ экономических и политических структур общества.

Что значит для Маркса термин «структура»? Мы можем заметить, что он эквивалентен двум другим немецким словам: *Form* и *Gestalt*; но если мы продолжим анализ, то увидим, что *Struktur*, *Form* и *Gestalt* обозначают отношения связи, взаимозависимости, обратной связи и отношения сочленения, существующие между элементами, составляющими одно целое. Действительно, у Маркса *Struktur* является эквивалентом терминов *Gliederung*, то есть сочленение, и *Zusammenhang*, то есть взаимосвязь, соединение. По его мнению, изучение общественных структур — это изучение отдельных элементов и отношений, составляющих одно целое и находящихся в отношениях взаимной зависимости друг с другом. Однако речь идет о временной связи, проявляющейся лишь при определенных условиях и в заданных рамках. Маркс полагает — и подчеркивает это в предисловии ко второму изданию «Капитала», — что структуры представляют собой реалии, находящиеся в движении, во временной связи,

существующие в определенную историческую эпоху, которые, исчезая, уступают место другим реалиям.

Но следует посмотреть шире и понять, почему Маркс различает связи видимые и «действительные», так как задача науки заключается как раз в том, чтобы от видимого, поверхностного перейти к скрытой структуре действительного. Таким образом, он различает видимую форму отношений и структур, Erscheinungsform, их кажущуюся видимость, и wirkliche Form, иногда называемую им Kern Gestalt, стержневую форму, либо Kern—Struktur, стержневую структуру, то есть отношение, взятое в его внутренней, не сразу видимой структуре, которая должна быть вскрыта научным знанием. «Задача науки заключается в том, чтобы видимое, лишь выступающее в явлении движение свести к действительному внутреннему движению»¹. Исходная гносеологическая концепция Маркса заключается в следующих положениях: каждая форма есть отношение, возникающее вновь и вновь в определенных границах, то есть существующее в движении и являющееся, таким образом, формой движения; каждое отношение может быть взято в его видимой или в его внутренней структуре; видимое движение явлений может не иметь ничего общего с их действительным движением, с внутренней структурой, с внутренними отношениями, с их стержнем; видимая, поверхностная форма отношения может не обозначать внутренней связи и действительного движения данного отношения. В этом смысле всякая стихийная форма скрывает внутреннюю, частично или полностью отличающуюся от той, что скрыта в глубине. Данное различие может доходить до полного изменения характера отношений, как в случае с меновой стоимостью товаров, представляющейся как свойство меняемых вещей, а не как отношение между людьми, которые этими товарами обмениваются.

«...Основывается характер представлений филлстера и вульгарного экономиста... на том, что в их мозгу всегда отражается лишь непосредственная форма проявления отношений, а не их внутренняя связь. Если бы, впрочем, имело место последнее, то зачем вообще пужна была бы тогда наука?»²

Третий гносеологический подход Маркса заключается в следующем: необходимо — в плане методологии — вначале познать структуру, а затем уже пытаться описать ее историю, то есть познать природу и способы преобразования структур, их эволюцию. Этот принцип прекрасно выражен в первом томе «Капитала»: показав, что, несмотря на кажущуюся видимость, капитал является не вещью, а обществен

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. 1, с. 343.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, с. 266.

ным отношением, отношением между двумя классами, один из которых владеет собственностью на средства производства и деньги, другой — рабочей силой — единственным товаром, который он может продать, чтобы жить, Маркс поднимает проблему происхождения данного отношения в главах, посвященных первоначальному накоплению, то есть природе процессов, мало-помалу отделявших в ходе эволюции феодального способа производства крестьян от земли и сконцентрировавших денежные средства и средства производства в руках развивающегося класса буржуазии.

В этой связи стоит отметить, что Маркс в своей работе неоднократно возвращался к вопросу о природе капиталистического способа производства, применяя два различных подхода, «регрессивный» и «прогрессивный». Первый подход призван выявить в историческом разрезе, в прошлом, генеалогию, происхождение каждого из элементов капиталистического способа производства: происхождение промышленного капитализма начиная с XV века, природу капиталистического аграрного предприятия, происхождение наемного труда, развитие денежно-финансовой экономики, мирового рынка и т. д. Речь идет о регрессивном подходе в том смысле, что, отталкиваясь от настоящего, обращаются к прошлому, чтобы вскрыть процесс, позволивший настоящему стать тем, что оно есть. Однако ясно, что этого метода недостаточно, поскольку, возвращаясь в прошлое, мы анализируем в нем лишь то, что имеет место в природе настоящего. Поэтому необходим еще один дополнительный метод: обращаясь к прошлому, возвращаться в настоящее. При таком анализе рассматривается не только капиталистический способ производства, но и становление перцеллярного способа производства, крестьян и ремесленников, имеющих свои средства производства и личную свободу. Он развивается параллельно с капиталистическим способом производства и сосуществует с ним в истории. Этот прогрессивный подход был указан Марксом, но мало им использовался, поскольку это могло привести к созданию теории феодального способа производства, а не теории капитала. Тем не менее с точки зрения гносеологии оба подхода четко указаны Марксом как необходимые и взаимодополняющие части научного истолкования исторического движения.

Четвертый подход: Маркс выдвигает гипотезу о существовании связующих отношений между экономической структурой общества и другими его структурами. Он допускает также, что данная экономическая структура — называемая им «общественной формой производства» или «общественными производственными отношениями» — соответствует определенной стадии развития производительных сил, то есть материальной и интеллектуальной способности человека воз-

действовать на окружающую его природу для получения материальных средств к существованию и своему общественному развитию. В общем, Маркс допускает существование связующих законов, *Entsprechungsgesetze*, между тем что он называет основанием, фундаментом (*Grundlage*) общества и надстройкой (*Überbau*), возведенной на этой базе. Он, таким образом, прибег к архитектурной метафоре, чтобы облегчить понимание отношений, существующих между способом производства какого-либо общества и структурой других видов общественной деятельности. Французы, англичане, испанцы и т. д. перевели данную метафору терминами *базис* (*инфраструктура*) и *надстройка* (*суперструктура*), а такой перевод может привести к мысли, что надстройка менее реальна, чем базис, и что она может являться даже реальностью иллюзорной, почти эфемерной. Если говорить о религиозных учениях и обрядах. Здесь кроется опасность превратить мысль Маркса в вульгарный, ограниченный материализм; с другой стороны, не будем скрывать, что в некоторых своих утверждениях к этому склонен и сам Маркс.

В наше время наиболее отчетливо подобная ограниченность проявляется в статье Альтюссера об «идеологическом аппарате государства». Действительно, данная метафора может означать лишь следующее: коль скоро невозможно построить крышу дома и возвести его стены, не построив фундамента, то существует некий хронологический и исторический приоритет преобразования способа производства по отношению к трансформации других структур общественной жизни, им порожденных. Кроме того, поскольку дом тем прочнее, чем крепче его фундамент, то и определенная общественная формация имеет тем больше шансов к продолжению своего существования и к своему повторению в ходе истории, чем больше она основана на способе производства, способном укрепляться и развиваться. Но похоже, что в этих двух сравнениях метафора исчерпала себя, либо в крайнем случае может повлечь за собой такие выводы, которые были бы отвергнуты многими марксистами, ибо в конце концов живут не в фундаменте, а в самом доме, а это также может означать, что надстройка важнее базиса в объяснении образа общественного существования людей.

Мысль о существовании связующих законов между базисом и надстройкой привела Маркса к формулировке концепции «общественно-экономической формации» для определения первоначальной общественной логики, меняющейся в процессе истории. Каждый ее вид соответствует определенному господствующему способу производства. Следует, несомненно, отметить трудности, возникшие в связи с применением концепции «общественно-экономической формации». Для многих марксистов после Ленина эта концепция опре-

деляет конкретные общества в той степени, в какой их экономика основана на чередовании различных способов производства: другими словами, речь идет о переходном периоде того или иного общества, когда господствующий способ производства еще не уничтожил остатки других предшествовавших ему способов производства, продолжающих существование и претпевающих перерождение. В этом смысле Ленин употребил понятие «общественно-экономическая формация» в работе «Развитие капитализма в России» как раз для того, чтобы обозначить различные формы производства, существовавшие в России в те годы. После него большая часть западных марксистов — включая меня — последовала его примеру, не задумываясь о том, чтобы тщательно проверить, обращаясь к работам Маркса, действительно ли данная мысль принадлежит ему.

Исследовав произведения Маркса, где употребляется выражение «*ökonomische Gesellschaftsformation*», мне кажется, можно утверждать, что начиная с Ленина данное понятие стали употреблять в ином смысле. Действительно, выражение может быть переведено двумя способами, что одинаково правомерно с лингвистической точки зрения: «экономическая формация общества» (в этом случае выражение определяет историческую последовательность экономических форм, то есть способов производства), либо «общественно-экономическая формация» (выражение определяет последовательную совокупность, сумму общественных структур, которые соответствуют также определенному способу производства). Таким образом, Маркс определяет то, что в те же годы Тейлор назовет «культурой» или «культурным целым». Марксова идея состоит в том, что определенному способу производства, например капиталистическому, соответствует определенный способ организации общества. Развивается буржуазия, но одновременно растет и численность рабочих, пришедших на смену крестьянам и ремесленникам. Появляются новые, конституционные формы правления, не так уж важно, является ли данная форма правления монархической или республиканской (даже если они и не лишены исторической значимости), утверждается новый буржуазный образ мыслей, чувств, наслаждений, возникают особые формы искусств. В целом общественная жизнь некоторой части человечества приобретает новую логику, отличную от того, что ей предшествовало и что сосуществует рядом с ней.

Понятие общественно-экономическая формация, таким образом, вытекает из тезиса о приоритете базиса в организации общественной жизни, из гипотезы о законах соответствия всех аспектов общества, начиная со становления и преобладания отдельного способа производства. Если это верно, то конкретные общества не являются общественно-по-

литическими формациями, либо по крайней мере определенное конкретное общество может одновременно принадлежать двум или более общественно-экономическим формациям в той мере, в какой его материальная база основана на комбинации нескольких способов производства, один из которых, старый или новый, превалирует над другими. Но если было конкретное общество — такое, как во Франции XIX века, где налицо развивающийся капиталистический способ производства, а также парцеллярный способ производства, сельскохозяйственный и ремесленный, получивший новый импульс вследствие раздела феодально-сословной собственности в период Французской революции, — которое может принадлежать различным общественно-экономическим формациям, то в этот же период и различные конкретные общества в той или иной степени могут принадлежать одной и той же общественно-экономической формации. Маркс был свидетелем того, что несколько стран в XIX веке в разной степени принадлежали к капиталистической общественно-экономической формации. Англия, где почти полностью завершилась ликвидация феодальной собственности, а также парцеллярной сельскохозяйственной собственности, казалась ему наиболее передовой капиталистической страной, в которой возникали типичные формы нового буржуазного образа жизни. Поэтому в «Капитале» и других своих произведениях Маркс рассматривает Англию как классическую страну капиталистического развития промышленности и сельского хозяйства, ставшую таковой гораздо раньше, чем Франция, Голландия, Америка, не говоря уже об Испании, Португалии или России. Они в свою очередь тоже могли принадлежать к капиталистической формации в той мере, в какой в них постепенно утверждался капиталистический способ производства.

Общественно-экономическая формация — это не такая реальность, которая может существовать непосредственно сама по себе и схожа с конкретными существующими обществами. Это есть действительность, которую можно воспроизвести лишь посредством аналитической мысли, и она будет воспроизведена, когда мысль эта вскрыет подлинную социальную логику, лежащую в основе отношений между развитием нового способа производства и новых общественных институтов. Это не означает, что проблема чередования различных способов производства в одном конкретном обществе и в определенный период времени не является проблемой реальной и трудно поддающейся анализу. Но речь не об этом, а о том, что не следует понимать проблему чередования способов производства исходя из концепции общественно-экономической формации, которая была разработана не для этой цели. Вслед за Лениным ушли в сторону в ходе применения концепции Маркса те — во Франции это Балибар, Беттель-

хейм и многие другие, включая меня, — кто не слишком задумывался над этой проблемой.

И наконец, пятый гносеологический подход Маркса — мысль о том, что социально-экономические системы подчиняются законам развития, *Entwicklungsgesetze*, основанным на противоречиях, заложенных в их внутренней структуре. Данные противоречия являются их неотъемлемой составной частью. Примером тому при капиталистическом способе производства служит существование двух противостоящих друг другу классов: класса капиталистов, владеющего монополией на средства производства и деньги, и рабочего класса, не имеющего такой собственности, к которому примыкают служащие, занятые в сфере обслуживания. Подобное разделение является составной частью системы. При воспроизведении первого воспроизводится и второе.

Важная особенность идеи Маркса заключается в том, что не может быть производства, не являющегося в то же время воспроизводством условий производства, воспроизводством материальных элементов и общественных отношений, составляющих производство. К этому мы вернемся в дальнейшем. Между тем следует уточнить, что Маркс видит эволюцию общественных систем в развитии общественных организмов, органических совокупностей, растущих более или менее быстро и вступающих затем в фазу распада, чтобы освободить место одной или нескольким различным общественно-экономическим системам, одна из которых в итоге станет доминирующей.

Маркс подхватил идею Кенэ — названную им гениальной — о необходимости анализа внутренних условий воспроизводства экономических систем, взятых во всем их объеме (национальном или интернациональном), рассматриваемых макроэкономически. Позже он посвятит последнюю часть первого тома и весь второй том «Капитала» анализу структурных условий воспроизводства капиталистического способа производства в их целостном движении. Они представляются ему как комбинация многочисленных процессов производства, обращения товаров и денег между отраслями производства и классами. Намеренно сведя внутреннюю структуру капиталистического способа производства к двум дополняющим друг друга отраслям производства, которые обмениваются товарами между собой — производство средств производства и производство средств потребления, — Маркс попытался определить условия динамического равновесия системы, взятой в целом. Из данного анализа вытекает вывод о возможности и неизбежности кризисных явлений в ходе развития этой системы, а также о возможности и неизбежности того, что эта система уступит место более высокому способу производства, способу производства объединенных

трудящихся, материальную базу, общественные и интеллектуальные формы которого подготовит капитализм. Стоит подчеркнуть, что после Маркса и Кенэ политическая экономия, так же как и социология, или антропология неуклонно развивались всегда, когда исходили из гипотезы о том, что общественные реалии образуют систему, и пытались вскрыть внутреннюю логику данной системы.

3. Функционализм, структурализм и марксизм: гносеологическое сравнение

В заключение перечня различных гносеологических принципов, применяемых Марксом при анализе, можно сравнить марксизм с другими утвердившимися течениями в области гуманитарных и общественных наук — функционализмом, структурализмом и т. д. Эти течения сходны с марксизмом тем, что в основе их лежит анализ общественных отношений, составляющих систему, в их совокупности, а не взятых изолированно друг от друга. Общим для них является принцип, согласно которому необходимо анализировать систему в ее внутренней логике и структуре, прежде чем изучать ее происхождение и развитие.

Но помимо этих общих черт, марксизм и структурализм схожи в своей оппозиции функционализму, поскольку, по мнению Редклифа-Брауна и Нейдела, социальная структура является не чем иным, как категорией видимых отношений между людьми. Они считали чистым мистицизмом предположение о существовании за видимыми отношениями какой-либо внутренней структуры. У Леви-Строса, так же как и у Маркса, выявление структур происходит посредством движения, обнажающего в итоге данные отношения, логику, освещающую смысл поведения людей таким образом, что сами действующие лица не догадываются о толковании, безыскусном или научном, своего существования. С другой стороны, Леви-Строс, как и Маркс, признает, что структуры различного вида образуют систему в том смысле, что между ними существуют связующие законы, формирующиеся в своего рода скрытую категорию, ядро социальной логики. На некоторых страницах «Антропологии культуры» и «Дикарского мышления» Леви-Строс обращается к Марксу, говоря о том, что эта скрытая категория согласуется с принципом примата инфраструктуры в происхождении и развитии общественных институтов.

С другой стороны, структурализм и марксизм противостоят друг другу по двум основным вопросам. Леви-Строс, исходя из своего метода, правомерного в определенный момент анализа, отделяет изучение формы общественных отношений

от анализа их функций. Эти функции он не игнорирует полностью, но рассматривает лишь частично. Таким образом, изучаются элементарные родственные формы и остаются в стороне функции родственных отношений в организации материальной жизни, в воздействии на природу, в производстве и передаче богатств, наследства. Леви-Строс выбирает объектом своего анализа совокупность, имеющую аналитическую ценность, совокупность элементарных форм родства, основанных на различных принципах ограниченного или полного обмена женами и отделяет, таким образом, родственные отношения от всех прочих аспектов жизни общества, в котором они существуют. В этом смысле в отличие от функционалистов Леви-Строс не изучает конкретные общества, специфические органические совокупности, а выделяет в этнографических материалах, касающихся этих обществ, данные, относящиеся к формальным принципам функционирования родственных отношений, существующих в них; затем он сравнивает эти реалии, сведенные к их формам, с другими подобными или противоположными формами, выясняя, принадлежат ли они, исходя из степени их различий, к одной и той же эволюционной группе. Такой подход правомерен. С его помощью можно сделать очень важные научные заключения. Но поскольку общественные отношения рассматриваются в их формальном построении, в отрыве от конкретных функций, нельзя ставить вопрос о действительном сочленении различных структурных уровней в конкретном обществе. Поэтому реальная история конкретных обществ отсутствует.

Однако я хотел бы уточнить — вопреки часто высказываемым критическим замечаниям по поводу границ структурализма, примеры которых мы находим в работах Анри Лefевра, — что не структурный метод помешал Леви-Стросу проанализировать функции структур, отталкиваясь от общественной логики и исторического движения, а сам Леви-Строс отказывается от использования своего метода в анализе подструктур. Или лучше сказать, чтобы быть точным, Леви-Строс в своем исследовании всегда отдавал предпочтение различным аспектам отношений людей с природой: биологическим, технологическим, астрономическим знаниям, разделению труда по признакам пола и по другим признакам. Отсутствует же анализ отношений между людьми в ходе освоения природы: то, что Маркс называл областью общественных производственных отношений в овладении условиями и результатами труда. Перед этими вопросами Леви-Строс останавливается и переходит к их рассмотрению, исходя из концепции функционалистов; однако он их критикует за эмпиризм каждый раз, когда они подходят к вопросам, в которых он особенно силен: изучению родственных отноше-

ний и изучению систем мифических и символических представлений.

Мне кажется, такое значение на определенном эпистемологическом уровне имеет учение Маркса в области гуманитарных наук в XX веке. Но теперь уже марксизм и Маркс — это не одно и то же, и зачастую он действует вопреки намерениям самого основателя: эти противоречия частично рождаются в рамках самого учения Маркса, и связаны они с незавершенностью его труда; а частично они возникают в ходе развития стран, называющих себя социалистическими, и ставят под сомнение саму достоверность Марксовых идей.

4. Марксизм и другие теоретические течения в сравнении с современным развитием гуманитарных наук

Многие аспекты учения Маркса наталкиваются на трудности, возникшие в ходе современного развития гуманитарных наук. Прежде всего *Produktionweise*, термин, который может быть переведен как «способ производить», или «способ производства», употребляется Марксом по крайней мере в трех различных значениях. Он появляется в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» в чисто описательном значении и означает не что иное, как «способ производства вещей». Данное эмпирическое описательное употребление наблюдается и в последующих работах Маркса: мы находим его в «Экономических рукописях 1857—1859 годов» и в «Капитале», где он обозначает как раз материальный и социальный способ производства чего-нибудь. Но уже в «Немецкой идеологии» наряду с первым значением встречается и другое, находящееся, как мы уже видели, на философском уровне общей исторической теории и охватывающее совокупность способов производства материальных условий общественного существования.

Это философское допущение становится, по словам самого Маркса, «путеводной нитью» всех последующих исследований. И все же этого недостаточно для преобразования концепции способа производства в орудие анализа экономических отношений. В 1845 году Марксу недостает еще понятия «производственных отношений». Заметим, что термин встречается в рукописи, но потом зачеркивается и заменяется словами *Verkehrsform* и *verkehrsverhältnisse*, форма обмена или отношение обмена, торговли между людьми с тем, чтобы под торговлей понимался не только экономический обмен, но и все общественные отношения, определявшие у авторов XVIII века, а также у Гегеля понятие гражданского общества, то есть комплекс общественных институтов, за исключе-

нием государства. Понятие «производственные отношения» будет выработано позже, между 1846 и 1859 годами, вследствие критического изучения политической экономии.

Однако в употреблении этого понятия существует одна трудность, которую Маркс попытался устранить, проведя различие между отношениями «формальной общности» и отношениями «действительной общности», различие большой теоретической важности, поскольку оно определяет его понимание переходных процессов между общественно-экономическими системами и между различными способами производства. Следует иметь в виду, что способ производства есть совокупность общественных производственных отношений и производительных сил, участвующих в различных производственных процессах, которые имеют исторически определенную техническую базу. В некоторых работах Маркс называет производственные отношения «общественной формой производства» и выделяет два типа соотношения между производственными отношениями и производительными силами, занятыми в трудовом процессе, то есть отношениями формальной и действительной общности. Подобное подразделение позволяет дать хронологию различных этапов зарождения и развития капиталистического способа производства в Европе между XV и XIX веками. В XV веке капиталистический способ производства только появляется: он встречается лишь кое-где в сельском хозяйстве и промышленной деятельности и играет второстепенную роль. Между XVI и XVIII веками он развивается в связи с расширением колоний и ростом мирового рынка: это период мануфактурного капитализма. В конце XVIII века, в период промышленной революции в Англии, мануфактура постепенно заменяется промышленностью, где используются различные машины и механизмы.

По мнению Маркса, новая, капиталистическая общественная форма производства в период своего рождения, а также в первое время своего развития подчиняет себе различные трудовые процессы в том виде, в каком они есть, наследуя их от феодального способа производства. Общественная форма трудового процесса изменилась, но вначале это совсем не влечет за собой изменения материальной и технической базы различных трудовых процессов, которыми завладел капитал.

Вначале капитал подчиняет себе труд в его исторически сложившихся к тому моменту технических условиях. Поэтому он не сразу меняет способ производства, писал Маркс.

Хотя вначале капиталистический способ производства почти не изменяет материальной базы трудового процесса, ему подчиненного, он все же оказывает на него влияние, делая его более продолжительным и интенсивным. Но эти изменения постепенно перестают удовлетворять потребностям раз-

вития товарного производства; тогда капиталистический способ производства начинает переделывать в соответствии со своими потребностями материально-техническую базу, послужившую ему отправной точкой. В рамках мануфактурного производства индивидуальный рабочий постепенно уступает место коллективному рабочему; но в основе мануфактурного производства всегда остается ручной, ремесленный труд до тех пор, пока оно не потребует появления целой серии простейшего оборудования, не приведет к изобретению первых станков — комплексов простейших приспособлений, которые в последней трети XVIII века будут стоять у истоков промышленной революции в Англии. Благодаря механизации образуется крупная индустрия. Она в конечном итоге разрушит мануфактуры и придет им на смену. В связи с механизацией и ростом крупной индустрии у капиталистической формы производства появляется, наконец, соответствующий ей материальный способ производства. Крупная индустрия построила свою техническую базу и «встала на ноги», создавая теперь уже свои собственные материальные условия существования и развития. Она сама производит и воспроизводит их, а не пользуется уже готовыми. Впервые законы капиталистического товарного производства могут полностью утвердиться. Процесс производства основывается теперь на действительно «общественных» производительных силах, а на смену старой формальной общности трудового процесса при капитализме придет действительная общность этого процесса, теперь уже полностью определяемого капиталистическими условиями производства и воспроизводства капитала.

Повышение производительности труда, вызванное развитием производительных сил, снижает стоимость рабочей силы, а также сокращает время, необходимое на ее воспроизводство. Эксплуатация рабочей силы все больше основывается на производстве и накоплении относительной прибавочной стоимости. Завершился переход от формальной общности труда при капитализме к его действительной общности. Но, согласно Марксу, движение на этом не останавливается; такое состояние соответствия между общественными производственными отношениями и их материальной базой не является последним, окончательным состоянием системы; это лишь короткий промежуток развития, ведущий дальше, к гигантскому обобществлению процессов производства и обмена, ко все большему развитию тенденции, к конфликту с капиталистической формой производства.

По мнению Маркса, в 1865--1883 годах, когда он продолжал работу над «Капиталом», происходило становление новой фазы развития капиталистического способа производства — переход к новому, находящемуся на более высокой ступени способу производства, к ассоциациям трудящихся, что

гармонировало с новой материальной базой, реальными общественными производительными силами, созданными капиталистическим способом производства.

Теория двух форм обобщения производственных отношений и материальной базы трудового процесса является, таким образом, теорией долговременного динамического развития способов производства от их зарождения до полного расцвета и затем до их распада и замены другим способом производства. Эта теория заманчива, но если мы рассмотрим исторические условия становления социалистических производственных систем в России или Китае, во Вьетнаме или Анголе и т. д., то она порождает некоторые проблемы. Эти формы производства появились не вследствие развития внутренних производительных сил в данных обществах, а были заимствованы у стран Запада и внедрены при помощи политических и военных революций, обращенных против колониальных держав Запада. Таким образом, теорию реального перехода к социализму предстоит еще выработать, и работа Ленина о России, самом слабом звене капиталистической системы, конечно же, не в состоянии объяснить рождение социализма и его формы в различных странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

С другой стороны, если вместо того, чтобы обращаться к современной истории, мы постараемся бы восстановить различия в способах производства, существовавших в первобытных обществах до образования классов и появления государства, а также понять ход развития производительных сил, приведших к распаду этих форм производства и общественно-го существования, вряд ли мы сможем бы восстановить данный процесс и показать связь между этими формами и различными родственными системами, отражавшими в тот период социальную картину производства. Ниже мы вернемся к данной проблеме, заставляющей нас поднять сложный вопрос о природе различия между базисом и надстройкой.

5. Различие функций, но не институтов

Профессиональные экономисты, а вместе с ними и широкая публика представляют себе экономическую структуру какого-либо общества через призму того, что происходит в нашем обществе, то есть как совокупность институтов, отличающихся от прочих политических, общественных, семейных, религиозных отношений и т. д. При капиталистическом способе производства производственный процесс происходит внутри предприятий, являющихся общественными единицами, отличными от семьи, церкви, политических партий, расовых сообществ и т. д. По-другому обстоит дело в докапиталистических

или некапиталистических обществах прошлого и настоящего: Маркс — если не марксисты — первым осудил любую попытку применять к совокупности обществ наше особое видение экономики. Веком позже с этой же позицией, если не считать Макса Вебера, мы встречаемся у Карла Полани и в «субстантивистском» течении экономической антропологии. Историкам и антропологам, когда они пытаются вычленить экономическую структуру докапиталистического общества, приходится искать ее в общественных отношениях, классифицируемых марксистами как надстройка: родственных, политических, религиозных отношениях и т. д. Для иллюстрации этого мы выберем три примера из бесконечного ряда, предлагаемого нам историей и антропологией.

Общины австралийских аборигенов, живущих охотой, собирательством и рыбной ловлей, были разделены на родовые группы, вступали друг с другом в родственные отношения, переходящие из поколения в поколение по одним и тем же направлениям. Но родовые отношения и порождаемое ими социальное разделение регулировали не только бракосочетание и родство, согласно определенной и универсальной функции родственных отношений; на их основе подходили и к освоению природы, определяя вместе с тем и контроль со стороны различных групп за той или иной территорией племени и ее ресурсами, и формы объединения индивидов и их групп для совместной охоты, сбора плодов и рыбной ловли, посредством которых они осваивали эти ресурсы. Таким образом, общественные отношения родства действовали как базис и как надстройка.

Если же мы возьмем, к примеру, древнюю Месопотамию, то заметим, что в таком городе, как Ашшур, большинство земель считалось собственностью бога Ашшура, жившего в окружении жрецов в храме, расположенном в центре города. Экономика функционировала в своего рода централизованной системе, где господствующее место занимали храм и жрецы, присваивавшие часть труда и продуктов местных сообществ и отдельных лиц. В этом примере религиозные отношения служат ключом к освоению природы и действуют как общественные производственные отношения.

И наконец, последний пример. В городе-государстве Афинах V века до н. э. мы замечаем, что лишь горожане по происхождению имеют исключительное право пользоваться земельными участками города, обрабатывать их или заставлять работать на них своих рабов. Принадлежность городу-государству по рождению давала определенные права на пользование ресурсами, на доступ к политической деятельности, на занятие общественных должностей, обязывало защищать родину и даже давала преимущество в покровительстве со стороны богов города. Как видим, факт принадлежности к

«полису», вступления в «политические» отношения с другими гражданами города далеко выходит за рамки того, что сейчас мы называем политическими правами или правом заниматься политической деятельностью.

На этих трех примерах мы можем также убедиться, что различие между производственными отношениями и надстройками есть различие не между общественными институтами, а прежде всего между их функциями. Именно в этом состоит своеобразие Марксовой мысли: достаточно обратиться к его знаменитым «Формам, предшествующим капиталистическому производству» из «Экономических рукописей 1857—1859 годов»³, чтобы найти эквиваленты трем приведенным здесь примерам, сделанным на основе последних работ ученых-историков и антропологов. Так, мы видим, что Маркс останавливается на том, что он называет «племенным способом производства», говоря, что в каком-либо племени индивид имеет доступ к земле и ее ресурсам только по праву рождения, то есть в силу отношений с этими ресурсами, предшествующих любому труду, любому акту конкретного их присвоения. Он также выработал и понятие азиатского способа производства для определения общества, где ресурсы принадлежат более высокому сообществу, государству, во главе которого находится реальный монарх или бог, воображаемый владыка. Здесь же он определяет азиатский способ производства как способ производства индивида, по происхождению являющегося членом города-государства, и где личная собственность существует лишь как противопоставление и дополнение собственности государственной. Другими словами, историческое и антропологическое исследование движется в том же направлении и ставит перед нами теоретическую проблему выявления причин и условий, приведших в ходе истории к изменению производственных отношений, изменению их расположения, форм и результатов воздействия. Именно на эти вопросы должны отвечать сегодня общественные науки.

Уже существуют некоторые ответы на них, но, нам кажется, все они заводят в тупик. Некоторые ученые полагают, что если родственные отношения действуют в определенных обществах как производственные отношения, то это происходит потому, что родственные чувства определяют мышление и регулируют поведение членов данного общества. Такую позицию занимает Редклиф-Браун в отношении австралийских аборигенов. Другие, такие, как Луи Дюмон в своей работе «Номо hierarchicalis», полагают, что в Индии экономика не надлена определяющей функцией, поскольку в ее основе лежит религия и кастовый строй. Третьи, такие, как Эрик Вилл, утверждают, что в Древней Греции экономика была под-

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 461—508.

чинена политике. Нельзя не отметить, что подобные заявления больше походят на тавтологические обороты, чем на объяснения, поскольку в них лишь повторяется в другой форме то, что уже известно: определяющая роль родственных отношений среди австралийских аборигенов, религии в Индии, политики в Греции, но они не дают объяснения этой определяющей роли.

Чтобы найти этому какому-либо объяснение, может быть, следует сравнить эти три примера. Само собой разумеется, что в данных трех обществах существуют родственные отношения, но только в одном случае они являются господствующими; что существует религия, но только в Индии она превалирует в общем функционировании общества. Выдвинем гипотезу о перерастании данных отношений в доминирующие лишь тогда, когда в это же самое время они действуют как производственные отношения, как социальный инструмент материального освоения природы. Если это верно, то можно предположить, что между функциями, которые должны выполнять общественные отношения для того, чтобы общество могло существовать как таковое, как самовоспроизводящееся органическое целое, должна существовать некая иерархия. Когда общественные отношения, какими бы они ни были, действуют как производственные отношения, они доминируют над воспроизводством общества, и в то же время представления, создаваемые и выражаемые данными доминирующими отношениями, доминируют над мыслью. Это еще раз частично подтверждает мысль Маркса об определяющей роли производственного процесса материальных благ в рамках производственного процесса общества.

Другим следствием данного анализа является вывод о невозможности для какой-либо одной общественной науки — будь то экономика, антропология или социология — проконтролировать данную мысль и понять всю сложность и многообразие исторического развития. Остаются неразрешенными и другие проблемы, одна из которых, отмеченная еще Марксом, ждет своего разрешения по сей день. Это — проблема функции идей в создании и преобразовании общественных отношений, то, что я назвал бы анализом идеального как части социальной действительности.

6. Идеальное как часть действительности и различие между идеологическим и неидеологическим в теоретической мысли

Достаточно проанализировать какой-нибудь один трудовой процесс для того, чтобы заметить, что он содержит в себе две реалии, тесно переплетенные между собой: материаль-

ную часть (само человеческое тело, орудия, им используемые) и идеальную часть (правила изготовления и использования этих орудий, представления о природе, над которой эта работа совершается и т. д.). Эти представления необходимы для правильного применения и осуществления рабочего процесса. Таким образом, мы обнаруживаем в каждой материальной деятельности человека сложную совокупность идеальных реалий, присутствие которых необходимо, чтобы данная деятельность имела место. Продолжать перечень этих реалий, имеющихся в различных материальных процессах, различных в зависимости от существующей в этот период культуры и самой эпохи, — задача достаточно трудная. Этим занимались некоторые крупные историки, такие, как Нидхем, изучавший Китай, или антропологи, такие, как Конклин, специалисты в области изучения различных народов, называющие себя «этноучеными».

Эта идеальная часть трудового процесса составляет в определенной степени его каркас, организующую схему его действий. Эти представления существуют не только в теории, они выражены в языке и используются в нем из поколения в поколение в ходе познания. Естественно, это познание не сводится лишь к передаче знаний посредством слов, но проходит и через физическое познание. Во всяком случае, логическим выводом из всего этого является то, что теория и язык действуют частично, как элементы производительных сил. Отметим еще раз, что различие между базисом и надстройкой не есть существенное различие между материальным и нематериальным, это — различие функций. Конечно, в трудовом процессе мы найдем и другие представления, «объясняющие», почему та или иная обязанность должна доставаться женщинам, а не мужчинам, детям, рабам, аристократам и т. д. В общем, перед нами находятся представления, узаконивающие место индивидов и их групп в различных трудовых процессах, или если эти процессы им запрещены, то они узаконивают данный запрет.

Подобное доказательство можно было бы провести для любого типа общественных отношений и, например, показать, что родовая система, какой бы она ни была, не может существовать без идеальных реалий, хорошо известных антропологам — правил родства, бракосочетания, проживания, терминологии родства и еще целой группы принципов, определяющих и узаконивающих личные обязанности, связанные с данными отношениями, — и разграничивающих отношения, которые в обществе называются родственными, и те, которые определяются как отношения между друзьями, врагами, чужими, не родственниками. Родственные отношения вместо того, чтобы существовать вне этих идеальных реалий или без них, постоянно предполагают их в своем существовании. Разумеется,

родственные отношения не сводятся лишь к идеальному, будучи в то же самое время совокупностью отношений общественной зависимости и материальных обязанностей. Таким образом, суть их не только в том, чем они являются в теории, но и в том, что они *заставляют делать* конкретно в обществе. Такое же доказательство можно представить и по поводу религиозной деятельности. И каждый раз мы стоим перед представлениями, организующими общественную деятельность и вместе с тем ее узаконивающими.

Но если суть идей состоит не просто в том, что они есть, а в том, что они обязывают делать, то как отличить идеи идеологические от тех, которые таковыми не являются? В самом деле, эту проблему философия пытается решить с момента своего рождения. Еще Платон пытался понять различие между знанием и воззрением. Этим же занимаются и гуманитарные науки, когда хотя и разобравшись в представлениях, создаваемых членами общества *на основе своих собственных* общественных отношений, и одновременно предлагают другое их толкование, строящиеся на наблюдаемых стороннего наблюдателя.

Таким образом, идеальное — это теория во всех своих функциях, проявляющихся во всех сферах человеческой деятельности, существующей лишь в обществе. Для рассмотрения идеального необходимо рассмотреть теорию и выделить различные функции наших понятий. Какие же это функции?

- а. Представления превносят в теорию реалии, существующие вне или внутри человека, в том числе и саму теорию. Эти реалии могут быть материальными и/или интеллектуальными, видимыми и/или невидимыми, конкретными и/или воображаемыми и т. д.
- б. Однако ввести в теорию некую реальную означает в теоретическом плане дать толкование этой реальности. Истолковать — это значит объяснить, определить природу, происхождение и функции данной реальности. Не может существовать представление, не являющееся в то же время толкованием и не предполагающее существование системы представлений, основанных на специфической логике и последовательности. Данное толкование существует только в теории: когда речь идет о каком-либо невидимом мире или законе, этот невидимый мир начинает существовать в общественном плане, даже если он не соответствует ничему, существующему в действительности.
- в. Начиная с этих представлений-толкований теория организует отношения человека с человеком и человека с природой. Она одновременно является внутренним каркасом и абстрактной конечной целью. В данном случае она существует в виде правил пове-

дения, принципов действия, разрешений и запретов и т. д.

- г. Наконец, эти представления являются толкованиями, узаконивающими или не узаконивающими отношения людей друг с другом и с природой.

Такими, на мой взгляд, являются четыре функции теории: они вбирают в себя отдельные или переплетенные между собой идеальные реалии, указанные в приведенных примерах. Можно ли с помощью данных различий определить идеологические формы теории по отношению к формам, не являющимся таковыми? Обычно марксисты, начиная с Маркса, отвечают, что идеологические представления должны пониматься как иллюзорные, тяготеющие к апостериорному узакониванию общественных отношений, сложившихся независимо от них, и смысл которых данные представления затушевывают. При таком определении, хотя оно и не полностью неверное, не учитывается сложность явлений преобладания и господства. Как раз тогда, когда идеи не воспринимаются эксплуатируемыми как иллюзия или как орудие их эксплуатации, они способствуют этой эксплуатации. Это значит, что данные иллюзорные идеи не являются таковыми для тех, кто в них верит, и если они не являются таковыми, то потому, что и угнетающие, и угнетенные считают их «истинными». Объяснение того, каким образом данные представления воспринимаются группами, представляющими противоположные интересы, различными кастами, классами и полами, есть одна из ключевых задач теоретической мысли.

Эта проблема существует во всех гуманитарных науках, так же как и в философии, и требует — для того чтобы можно было дать на нее ответ — серьезного анализа элементов, составляющих костяк системы угнетения и подавления. За пределами данной проблемы, но в тесной связи с ней встает необходимость объяснения формирования господствующих классов и государства. На этих двух моментах стоит остановиться подробнее.

Всякая власть состоит из двух неразрывных элементов, определяющих ее силу: насилия и согласия. Если не принимать во внимание случаи, когда господство есть прямой результат насилия — реального (война) или возможного (угроза применения силы), — можно сказать, что преобладающим значением обладает не насилие со стороны господствующих, а согласие угнетенных со своим положением. С другой стороны, насилие и согласие не являются двумя взаимоисключающими реалиями: согласие — это социальная сила, которая может дополнять насилие либо противостоять ему и способствовать сохранению контраста, если он имеет место, между угнетателями и угнетенными, существуя в формах и масштабах, совместимых с длительным воспроизводством господства

одних над другими. Для того чтобы отдельные индивиды или группы угнетенных могли соглашаться со своим угнетением, осознанно или неосознанно, необходимо, чтобы они воспринимали его как должное; но повторяю, тогда необходимо, чтобы одни и те же представления разделялись как угнетаемыми, так и угнетающими, чтобы разделение обязанностей и прав, взаимных обязательств воспринималось ими как необходимый обмен.

Возьмем, к примеру, инков, общество, где главу государства отождествляли с богом Инкой, сыном Солнца. В саду храма Солнца в Куско хранились, как приношения богам, различные золотые предметы, представлявшие собой изображения всех видов растений и животных Тауантинсуйу, Империи четырех четвертей. Среди них находились изображения початков кукурузы, лам и пастухов. Каждый год Инка и члены его племени в другом саду сажали кукурузу, а затем тщательно ухаживали за ней и убирали ее, а урожай предназначался для больших праздников, посвященных культуре Солнца. То, что служение Инке кажется нам теперь «нереальным», а работы на полях Инки или Солнца, его отца, либо на строительстве дорог, храмов, городов, зернохранилищ мы воспринимаем как формы угнетения и эксплуатации, свидетельствует о двух вещах: что нереальное воспринималось как действительное, не противоречащее ему; что монополия Инки и его родни на «нереальные» формы производства являлась одним из основных условий их права владеть частью земель и труда сообщества. Если эти положения верны, то, значит, религия является не только отражением общественных отношений, но и условием их формирования, что она является частью внутреннего каркаса производственных отношений и эксплуатации.

Однако необходимо также, чтобы работа на угнетателей не была исключительно «иллюзорной» или «невидимой», чтобы не прекращалось разделение на новые категории, касты, классы. На примере древнеегипетского фараона, считавшегося живым богом, сыном Нила, хозяином земель и вод, единственным источником жизни своих подданных и всех живых существ, мы можем отметить, что не все было символическим в этой власти и в этом представлении о благодетельном боге, хозяине жизни. Разве не нужна была монархия, способная осуществить объединение двух египетских царств — Верхнего и Нижнего Египта, чтобы люди смогли обуздать течение Нила и регулировать его, чтобы каждый год река разливалась, принося «черную», плодородную землю, которую со всех сторон окружала «красная», бесплодная, пустынная земля?

Итак, необходимо нечто большее, чем религия, для того чтобы она могла господствовать в душах людей и в общественной жизни; необходимы особые исторические условия для

того, чтобы она стала центром образования иерархических отношений, чтобы привела к господству меньшинства над обществом. Поэтому следует изучать — в сотрудничестве с археологами и учеными, занимающимися древнейшей историей, — процессы, породившие новые формы иерархии статуты и власти в общественных группах, всегда сохранявших родственные отношения в рамках этого общества (называемого нами обычно «племенем»). Археология учит нас, что эти процессы начались с того времени, когда некоторые группы охотников-собирателей перешли к оседлому образу жизни и располагали большим количеством природных ресурсов. Но широкий размах и многообразие данные процессы приобрели лишь с развитием земледелия и животноводства. Можно предположить, что именно развитие этих новых отношений между людьми и между человеком и природой расширили возможность разграничения интересов различных групп и даже их противопоставления. В то же время это вызвало необходимость контролировать посредством обрядов и непосредственно природу все менее дикую, более одомашненную, без которой человек не мог осуществлять процесс воспроизводства и в которой не мог осуществляться этот процесс без человека (прежде всего домашние животные и сельскохозяйственные культуры). Возможно, что эти новые материальные условия и новые разграничения интересов вызвали появление различий, казавшихся вначале выгодными для всех, поставленных на службу интересам каждого, и поэтому оправданных.

Этим парадоксом — необходимостью считать, что процесс образования господствующих каст и классов, а также зарождения государства был в какой-то мере оправдан — мы хотели бы закончить краткий обзор этой проблемы. В этом смысле можно предположить, что прибавочный труд, существовавший во всех бесклассовых обществах, постепенно превратился в сверхтруд, форму эксплуатации человека человеком. Под прибавочным трудом следует понимать все формы материальной деятельности, направленной на воспроизводство сообщества как такового, а не отдельных людей или семей, его составляющих. В многочисленных обществах, называемых первобытными, труд, направленный на воспроизводство отдельных людей или семей, был личным делом каждого, в то время как существовали и формы коллективного труда, собиравшие все семьи или их большую часть для воспроизводства сообщества в целом (ритуальные праздники, жертвоприношения, подготовка к войне и т. д.). Возможно, произошло изменение в функции и значении прибавочного труда, обычно представляемого для воспроизводства условий существования сообщества со стороны составляющих его семей, когда этот труд предназначался для тех, кто уже сам по себе являлся сообществом и выражал его общественные интересы. Таким

образом, прибавочный труд мог постепенно преобразоваться в сверхтруд, то есть в форму эксплуатации.

Данный анализ можно было бы продолжить на основе этнографических, археологических и исторических данных, с тем чтобы рассмотреть процессы, повлиявшие на возникновение в ходе истории человечества социальных иерархических форм, обычно называемых сегодня «сословиями» античного и феодального обществ, «кастами» в Индии, «классами» в современном индустриальном обществе. Стоит также отметить, что во всех этих обществах существуют формы государства и что государство само по себе тем не менее не составляет единой реалии. Если сословия и не являются классами, они тоже представляют собой формы угнетения и эксплуатации человека человеком, способны поднять на определенный уровень развития возможности воздействия на природу и эксплуатации человеческого труда. Нам кажется, что было бы ошибочно в сословиях античности и средневековья, так же как и в кастах в Индии, пытаться усмотреть классы, «невидимые» членам этих обществ, но видимые современным историкам и антропологам, вдохновленным учением Маркса. С помощью марксизма нельзя увидеть нечто другое, с его помощью можно видеть по-другому.

Мы ограничились рассмотрением небольшого круга проблем, возникших при изучении отношений между марксизмом и гуманитарными науками. Следовало бы вспомнить о последних достижениях экологии и культурной антропологии, показывающих, как общества приспосабливаются к различным экосистемам и многопланово развиваются. Односторонний эволюционизм XIX века теперь уже окончательно покидает сцену и заменяется более широким видением многообразных способов, которыми располагает человек в использовании возможностей окружающей его среды. Однако эта тенденция не лишена некоторой ограниченности: другими словами, довольно отчетливо проявляется тенденция к сведению всех форм производства новых общественных отношений к культурной адаптации, биологическому принуждению.

Тем не менее марксизм, выделяющий функции определенных материальных условий, способных оказывать влияние на развитие общества, может извлечь много полезного из анализа культурной экологии. Стоит также добавить, что постепенно вновь завязывается диалог между марксизмом и психоанализом. То, что отношения полов являются объектом цензуры и репрессий, то, что существование отдельного индивида основано на межличностных отношениях, которые с самого раннего его детства влекут за собой отношения отождествления и противодействия между ребенком и теми, кто

его окружает, вне зависимости от того, к какому полу они принадлежат, является идеей, представляющей собой достижение в области познания, и марксизм с момента, когда он пытается объяснить многочисленность форм, через которые проходит историческое развитие личности, не может не брать в расчет его результатов.

В целом в марксизме (и не только в марксизме), можно сказать, существуют три больших пробела. Нет пока удовлетворительной теории кровосмешения, которое, впрочем, запрещено во всех типах обществ. Каким образом этот запрет связан с материальной базой и можно ли предположить, что он исчезнет с развитием этой базы? В марксистском учении не существует ни одной удовлетворительной теории религии и религиозного культа. Кроме того, существует острая необходимость в теории производства, освещающей развитие общественных отношений и имеющей большое значение для самих участников данных отношений. Ложным является противопоставление материализма и идеализма. Как мы уже убедились, идеальное — это не есть реалья, возникающая апостериорно: общественные отношения возникают как в области науки, так и вне ее. Поэтому между учением и социальной действительностью всегда существует тесная связь. Также нельзя сказать, что сегодня существует марксистская теория языка: существует лишь анализ, тяготеющий к марксизму, выявляющий социальные аспекты языка; но не ясно, кто с кем говорит, каким образом, в какой связи. Все еще нет объяснения различия между разными языками, между языками, основанными на тональностях, акцентах и т. д.

И наконец — и это возвращает нас к животрепещущей действительности наших дней, — стоит отметить, что не существует марксистской теории процессов, которые привели к появлению социализма в таких странах, как Китай, Вьетнам, Ангола, Куба. В 1881 году Маркс полагал, что Россия могла бы избежать капитализма при непосредственном переходе к социализму, органически вобрав в себя достижения в развитии производительных сил, рожденных капитализмом. В 1893 году, за два года до смерти, Энгельс думал, что социализм в России невозможен, поскольку она стала страной капиталистической, пусть молодой, но динамичной. В 1905 году революция в России потерпела поражение. В 1917 удалась. Ленин объяснил это теорией слабого звена цепи, и впоследствии в этой цепи разорвались и другие звенья, чего не предвидели западные марксисты. Исключение стало правилом, и необходимо понять и теоретически объяснить это.

Есть еще и другая, последняя, колоссальная трудность. В социалистических странах марксизм стал государственной

философией, обязательным образом мышления, и не только для анализа действительности, но и для того, чтобы занимать определенное положение в обществе, продвигаться по службе. Марксизм на этом этапе вырождается, и из орудия критического анализа, способного служить делу революции, он превратился в приспособленческий способ рассуждений, преследующих цель старательно скрыть свое бессилие в оценке действительности. Между Марксовой мыслью и нами появилась преграда, созданная целым веком непредвиденных событий, среди которых мы можем упомянуть и возникновение различных марксизмов, как, например, марксизм Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена или Брежнева. Они все больше отдаляются от Маркса, толкуя его на свой лад в зависимости от проблем, стоящих перед ними. В области гуманитарных наук не существует больше ничего, от чего можно было бы отталкиваться при глобальном анализе различных аспектов действительности.

Гёран Терборн

КЛАССОВЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАРКСИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА

1. От критики политической экономии к критике социологии

60-е годы являются переломным моментом в истории марксистской мысли. Новые веяния оформились и утвердились к середине 70-х годов. Первой фазой классического марксизма явилась фаза критики политической экономии в соответствии с подзаголовками «Капитала» Маркса. Конечно, не все наиболее авторитетные авторы строго придерживались этой традиции, но в целом обращение к этой традиции преобладало. Каутский занимался социально-политическими последствиями экономического развития капитализма, а Ленин построил свой политический выбор в соответствии с выводами работы «Развитие капитализма в России», а также книги «Империализм, как высшая стадия капитализма», где исследовал политическую экономию эпохи империализма.

Вскоре после этого мы наблюдаем развитие «западного марксизма» с его теоретиками «революции против „Капитала”» (Грамши) и особенно — поражение революции на Западе. Марксизм вернулся, так сказать, к своим истокам, то есть к философии, в работах Лукача, Корша, представителей Франкфуртской школы, а затем Лефевра, Делла Вольпе, Сартра, Альтюссера. Естественно, Грамши занимает в этом плане (как и во многих других) особое место. Однако и для его критических разработок главной отправной точкой в гораздо большей степени стала философия (Кроче), чем политическая экономия. Это блестяще изложил и проанализировал Перри Андерсон¹, хотя, вероятно, уместным будет заметить, что «западный марксизм» не сводился лишь к простому изучению проблем, которые приковали внимание молодого Маркса — критике гегелевской философии права. «Западный марксизм» явился также отражением кризиса, который испытывала буржуазная философия Центральной и «романской» Европы, ставшего очевидным благодаря появлению крупных представителей «мятежного» марксизма.

¹ P. Anderson. Considerations on Western Marxism. London, 1976 (trad. it. "Il dibattito nel marxismo occidentale". Bari, 1977).

Однако марксизм не остался только «западным» и не вернулся к своим классическим достижениям прошлого. Правда, в плане идеологии и политической деятельности небольших группок имел место целый ряд очевидных попыток вернуться к классической эпохе большевизма, как о том свидетельствует появление в конце 60-х — середине 70-х годов множества «коммунистических (марксистско-ленинских)» или «коммунистических (реорганизованных) партий» — однополов, а также «революционных марксистских» организаций. В целом в теоретическом плане эти попытки оказались бесплодными, а в политическом — неосуществимыми. Вызывает удивление, что ни одно из выступлений левых коммунистов не приняло сколько-нибудь значительных масштабов, несмотря на накал этих выступлений как внутри стран, так и на международной арене в годы «французского мая», итальянской «жаркой осени», «культурной революции» в Китае и войны во Вьетнаме. Лишь возникшей в 1959 году Социалистической народной партии Дании удалось прочно закрепиться на политической сцене собственной страны.

Выступления 1956 и 1968 годов породили новые термины в политическом языке марксизма, новые сочетания теоретических положений, указаний и аспектов, характерных для его политических разработок, но не вызвали к жизни нового *способа* рассуждений. Крах сталинизма открыл путь для прогресса мысли и идеологических обобщений, а массовые студенческие движения, начавшиеся во всех университетах капиталистического мира, дали доступ марксизму нового типа в академические центры, ставшие его институционализированной инфраструктурой. Однако главной причиной такого явления был «геологический сдвиг» в позиции и языке западноевропейской интеллигенции послевоенной поры, произошедший под американским влиянием вследствие ускоренного развития университетского образования и, в частности, при использовании накопившегося опыта в области общественных наук, социологии и политической «бихевиористской» науки.

После философских метаний западного марксизма марксистская теория вновь стала социальной теорией, теорией о современном обществе и политике нашего времени. Социология — общая социологическая теория, политическая социология и историческая социология — заменила философию и политическую экономию, став главной (хотя и не единственной) отправной точкой критики и сутью ее языка. Марксистский анализ стал прежде всего социально-политическим анализом. Начался новый этап развития марксистской мысли, анализа и разработки, который можно назвать этапом марксизма как социальной науки.

Рассматривая эти вопросы в плане ретроспективы, мы можем довольно точно выделить два главных переходных момента. Следует, однако, заметить, что с самого начала они вовсе не казались таковыми. Более того, создается впечатление, что сами основные действующие лица не осознавали полностью, что они явились причиной раскола. В самом деле, в работах, которые, как нам кажется, являются отражением эпистемологического разрыва, Перри Андерсон и Никос Пуланцас безоговорочно подтверждали свою приверженность традиции западного марксизма, с которым они себя непосредственно связывали: Андерсон — с Грамши, Лукачем и Сартром, Пуланцас — с Альтюссером².

Первый из двух моментов нашел отражение в выпуске «Нью лефт ревью» за январь-февраль 1964 года. Совместно с Томом Нэйрном Перри Андерсон опубликовал серию историко-политических «итоговых» исследований об обществе и рабочем движении в Англии³. Новизна заключалась не столько в смелых попытках осмыслить с исторической точки зрения развитие общества⁴ в целом и не в том, что работы были написаны в динамичном эссеистском стиле, который позволял опускать конкретные моменты. С этой точки зрения статьям Андерсона и Нэйрна было множество аналогов в истории западного марксизма. Дело заключалось в том, что статьи Нэйрна, и особенно Андерсона, который явился душой этого начинания, знаменовали новую фазу в развитии марксистской мысли по трем причинам. Во-первых, они заменили философию и политическую экономию социологией, выступившей в качестве основы философской теории, с которой марксизму предстояло померяться силами. Отсутствие серьезных немарксистских социологических теорий открыто считали значительным пробелом в английской культуре⁵, который не компенсировался наличием (по традиции)

² См.: *Anderson. Socialism and pseudo-empiricism*. — "New Left Review" (который далее будет называться «NLR»), № 35, January-February 1966, p. 31. Что касается ссылок Пуланцаса на работу Альтюссера, см. его: "Potere politico e classi sociali". Roma, 1971.

³ *Anderson. Origins of the present crisis*. — "NLR", № 23, January-February 1964; *T. Nairn. The British political elite*. — "NLR", № 23; *ID. The English working class*. — "NLR", № 24, March—April 1964; *ID. The nature of the Labour Party*. — "NLR", № 27—28, September—October and November—December 1964; *ID. Labour Imperialism*. — "NLR" № 32, November—December 1964; *Anderson. Socialism and pseudo-empiricism*, в которой автор энергично защищает эти статьи от нападок Эдварда Томпсона, *ID. Components of a national culture*. — In: "Student power" (eds R. Blackburn and A. Cockburn). Harmondsworth, 1969.

⁴ По этому вопросу см. острую полемическую работу историка Эдварда Томпсона, который предшествовал Андерсону в роли идеолога "NLR", "The peculiarities of the English". — In: "The Socialist Register 1965" (eds J. Saville and R. Miliband). London, 1965.

⁵ *Anderson. Origins*, p. 27; "Socialism and pseudo-empiricism", p. 22; см. также: "Components".

авторитетных экономических исследований (от Смита и Рикардо до Дживонса и Кейнса) или значительных работ по философии, которую обогатили также иммигранты вроде Витгенштейна или Поппера. Во-вторых, благодаря этим работам Андерсона и Нэйрна, написанным в историко-социологическом плане, выросла международная известность журнала «Нью лефт ревью», возникшего в результате слияния журналов «Юниверситиз энд Лефт ревью» и «Нью ризонер», инициатором этого был Эдвард Томпсон. Таким образом, журнал стал серьезным источником распространения взглядов на марксизм как на науку эмпирического общественно-политического анализа, хотя поле деятельности этого журнала было гораздо шире и охватывало проблемы философии и эстетики, а также политические выступления на темы дня. И наконец, исследователь работ Лукача, Грамши, Сартра опубликовал десять лет спустя после своих первых работ две наиболее блестящие работы по социологическому марксизму, а именно «От античности к феодализму» и «Абсолютное государство».

Второй переходный момент имел место в Париже в мае 1968 года. Он совпал с драматическими событиями, происходившими там в те дни на улицах, предприятиях и в учебных заведениях. Речь идет о выходе из печати работы Никоса Пуланцаса «Политическая власть и общественные классы», книге, которая, хотя и была в философском плане во многом обязана Альтюссеру, все же открывала новый путь для развития теории марксизма. Несмотря на то что первоначально Пуланцас был связан с направлением Лукача и Грамши, позднее он примкнул к узкому и неофициальному парижскому «кружку Альтюссера», который в 1965 году опубликовал сборник исследований, названный «Читать „Капитал“»⁶. Переходным моментом, предшествующим новой фазе развития марксистской мысли, можно считать период между опубликованием этих двух произведений: первое представляет собой целую серию философских толкований классического текста, оно никак не связано с современными попыткой создать новую теорию общественных науками и историографией; второе является попыткой создать новую теорию общественных классов и политики, основанную на истолковании классических текстов, но при этом открыто полемизирующую с немарксистскими социологией и политической наукой. Вначале Пуланцас как будто считал свое исследование частью будущего сборника «Читать „Капитал“», однако впослед-

⁶ L. Althusser e altri, "Lire le Capital", Paris, 1965. Карманные издания 1968 года и последующих лет содержат только работы Альтюссера и Балибара.

вии оно выделилось в самостоятельную работу⁷. Возможно, что Альтюссер был тогда одним из немногих, кто понял, что опубликование этого произведения приведет к разрыву. Однако книга Пуланцаса не была напечатана в серии, которую французский философ готовил в издательстве «Масперо» под общим названием «Теории» и которая имела целью знакомить читателей с «текстами и исследованиями, ставящими своей задачей характеризовать и изучать область философии, понимаемую как теория производства знаний»⁸. Пуланцас больше не писал работ на эту тему. Но его книга явилась первым исследованием двух проблем, которые с тех пор стали основными в марксистской социологической мысли, а именно теории и анализа капиталистического государства и классов в условиях современного капитализма. Именно эти главные проблемы его труда получили впоследствии разработку в целой серии фундаментальных исследований, таких, как «Общественные классы и капитализм сегодня» (1974), коллективный труд о кризисе государства (1976), «Государство, власть и социализм» (1978). И если работы Андерсона и Пуланцаса интересны новизной подхода, то следует вспомнить и еще об одном отказе от философии в пользу эмпирических социальных наук. Мы имеем в виду работу Мориса Годелье «Рациональное и иррациональное в экономике» («Rationalité et irrationalité en économie») (1966). Это философское произведение, но чуждое традиции западного марксизма, поскольку в нем ведутся постоянные сопоставления с современной социальной (экономической) немарксистской теорией. Показательным для новой фазы является то, что сопоставление с экономикой не привело к возобновлению критики политической экономики. Что касается Годелье, то он после опубликования упомянутой работы отправился в Новую Гвинею, чтобы провести исследования на месте и упрочить свои познания в антропологии⁹.

Знаменателен также путь, избранный Юргеном Хабермасом, последователем Франкфуртской школы, какими бы двусмысленными ни казались его связи с марксизмом¹⁰. Деятельность его как философа и одновременно как теоретика-социолога увенчалась в 1962 году публикацией историко-социологической работы по вопросу о трансформациях «общественного»: «структурная трансформация обществен-

⁷ Неопубликованное сообщение Пуланцаса.

⁸ См. оборот обложки первого издания работы Альтюссера «Pour Marx», Paris, 1965.

⁹ За маршрутом Годелье можно проследить по его сборнику «Horizon trajets marxistes en anthropologie». Paris, 1973.

¹⁰ См. G. Therborn. Habermas: a new eclecticism. — «NLR», № 67 May—June 1971. Итальянский перевод опубликован в: ID: Critica e rivoluzione, Bari, 1973.

ности» («Strukturwandel der Öffentlichkeit»). Работа легла в основу социологической теории о «коммуникативном действии» как альтернативе ставшей «ныне негодной философии истории», «в плену» у которой оказалась классическая критическая теория¹¹.

Хотя марксизм третьей фазы не явился результатом студенческого движения 60-х годов, он все же нашел в себе в этом движении опору, тем более что критическая точка отсчета в значительной степени была у них одна и та же. В самом деле, если то, что стали впоследствии называть западным марксизмом, возникло как оппозиция господствовавшей идеалистической философии и именно на нее были направлены стрелы его критики, то студенческое движение конца 60-х годов имело своим центром переполненные аудитории, где читались лекции по социологии и общественным наукам и подвергалась самой острой критике социология¹².

Если говоря о критических марксистских исследованиях по социологии дозволено будет вспомнить о некоторых работах этого нового направления¹³, то следует подчеркнуть, что указания Перри Андерсона (в его книге о западном марксизме) относительно географических перемещений, которыми сопровождалось развитие марксистской теории (из Западной Европы вначале в Восточную — в период II Интернационала, затем вновь в Западную, а потом — в Южную Европу), получают подтверждение с возникновением марксизма как общественной науки, что впоследствии вновь привело к его возвращению на Запад. Сейчас было бы преждевременным перечислять имена главных представителей марксизма, чтобы затем сравнить их с теми, которые приводит Андерсон. Однако уже сейчас очевидно различие между этими списками: у Андерсона не назван ни один марксист, родившийся западнее Парижа или получивший образование в каком-либо англоязычном университете. Тем не менее, когда будет создаваться история нового поколения марксистской интеллигенции, в ней будет названо немало имен ученых, вышедших из английских и американских университетов. Некоторые имена и англоязычные учреждения уже заняли свое место в этой истории. Это сам Андерсон, журнал «Нью лефт ревью» и его лондонское издательство; Эмануэл Уоллерстайн и его серьезное исследование «Мировая

¹¹ J. Habermas. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main, 1981 vol. 11, p. 583.

¹² См.: D. Cohn-Bendit а. о. *Why Sociologists?* — In: "Student Power", p. 373—378; M. Nicolaus. *The professional organization of sociology: a view from below*. — In: "The Antioch Review", XXIX, № 3, 1970.

¹³ См.: I. Zeitlin. *Ideology and the development of sociology*. Prentice Hall, 1968; H. and H. Schwendinger. *The sociologists of the chair*. New York, 1974, а также мою работу: "Science, class and society". London, 1976 (trad. it. Torino, 1982).

система экономики» («Il sistema mondiale dell'economia», 1974), несмотря на то что оно вызвало бурные споры; Нью-Йоркский университет в Бингемптоне, где Уоллерстейн объединил группу блестящих ученых-марксистов; университет в Мэдисоне, штат Висконсин, факультет социологии которого выпустил в 70-е годы серию марксистских или близких к ним исследований, которыми руководил Морис Цейтлин¹⁴ и где в настоящий момент Эрик Олин Райт возглавляет крупный проект в области марксистских исследований, о котором мы скажем ниже. Кроме того, вполне вероятно, что и Чикагский университет, в котором Адам Пжеворский руководит другим значительным марксистским исследованием¹⁵, тоже займет свое место в истории марксизма конца нашего века.

С другой стороны, речь не идет о некоей англосаксонской исключительности, даже если по сравнению с другими крупными странами развитого капитализма результаты, достигнутые американским и английским марксизмом в начале 80-х годов, и заявки, сделанные им на ближайшее будущее, приобретают особое значение. Здесь следует учесть и ситуацию, сложившуюся около 1970 года, и предыдущие фазы развития марксистской теории. В начале 70-х годов расцвет марксистской культуры и самые бурные теоретические споры имели место во Франции, Италии и Западной Германии. Даже беглое и общее знакомство с этими явлениями поможет нам понять, что предопределило ту историческую реальность, которую мы сейчас наблюдаем.

В конце 60-х годов во Франции, а точнее в Париже, жили и творили четверо из девяти наиболее крупных теоретиков марксизма: Гольдман, Альтюссер, Лефевр и Сартр, и именно в ту пору утверждала себя последняя школа западного марксизма, школа Альтюссера, из которой, как мы уже говорили, вышло немало сторонников нового марксизма¹⁶. Не-

¹⁴ См.: M. Zeitlin (ed.). *Classes, class conflict and the State*. Cambridge (Mass.), 1980. Чем-то вроде продолжения этого крупного исследования, координирующего социальные марксистские или близкие к марксистским исследования, является выходящий в Америке и редактируемый Цейтлиным и др. начиная с 1980 года ежегодник "Political power and social theory".

¹⁵ Ниже мы будем говорить о серьезном труде: *Michael Burawoy*. *Manufacturing consent*. Chicago, 1979, являющемся частью этого исследования. Другой, достойной упоминания работой, входящей в серию, которая пока только начинает публиковаться, является: *A. Abraham*. *The collapse of the Weimar Republic*. Princeton, 1981.

¹⁶ Кроме Пуланаса, следует назвать Мануэля Кастаньеса, испанского эмигранта времен франкизма, и его работы на «городские темы» и по вопросам городской борьбы, в частности "La question urbaine". Paris, 1972. Представление о его деятельности можно составить по обзорному сборнику работ, под названием "City, class and power", London, 1978. Другими значительными вкладами представителей школы Альтюссера в эмпириче-

сомненно, события мая 1968 года, сила коммунистической партии и союз левых сил в середине 70-х годов придали выступлениям теоретиков марксизма исключительно острый политический характер. Однако собственно «альтюссеризм», в котором, помимо главы школы, были также блестящие ученые младшего поколения, и среди них достойный упоминания Этьен Балибар и значительная часть новых представителей, хотя настойчиво и подчеркивало научность характера марксизма, все же выдвинуло на первый план политическую практику философии, исходящей из того, что классические тексты, будучи правильно истолкованы, содержат и полную теорию общества и руководство к политическому действию, представляющие собой оселок для выявления отклонений и ошибок. Подобных идей можно было придерживаться до тех пор, пока интеллектуальные центры парижских левых не сделали предметом спора марксизм в целом и пока существовала (хотя и очень отдаленно) некая материальная первооснова, в соответствии с нормой которой измерялись повседневные отклонения в деятельности Французской коммунистической партии. Кризис маоизма в Китае, реакция на него в Париже и возникновение «новой философии» перечеркнули оба эти условия. В 1977 году Альтюссер, который несколькими годами раньше занимался в спокойном тоне противопоставлением «правильных» марксистско-ленинских текстов ревизионистским текстам английского философа-коммуниста Джона Льюиса, приветствовал начало «кризиса марксизма» как событие, которое несет освобождение¹⁷.

С другой стороны, возникшие в 60-е годы под влиянием деятельности Альтюссера тенденции в общественных науках не получили закрепления ни в журнальных статьях, ни в научных разработках, ни в виде прочных академических структур. Развитие этих тенденций зависело главным образом от их политической значимости, а с распадом и поражением союза левых сил в 1977—1978 гг. политическая конъюнктура оказалась вдруг чрезвычайно неблагоприятной. Со смертью Пулансаса нарушилась преемственность. От творческого марксизма сохранилась лишь та его часть, которая

ский классовый анализ являются: *C. Baudelot, R. Estabiet. L'école capitaliste en France. Paris, 1971*, а также: *C. Baudelot, J. Malemort. La petite bourgeoisie en France. Paris, 1974*. эссе о всевозможных типах «белых воротничков». Эстабле был в числе авторов первого издания «Читать „Капитал“». К другому направлению, хотя и тесно связанному с деятельностью Пулансаса, принадлежит автор серьезной работы по проблеме классов, который критикует и дает свою концепцию социальной мобильности (*D. Bertaux. Deslins personnels et structure de classe. Paris, 1977*).

¹⁷ *Althusser. Réponse a John Lewis. Paris, 1972; ID. Finalmente qualcosa di vitale si libera dalla crisi e nella crisi del marxismo. — In: "Potere e opposizione nelle società post-rivoluzionarie". Roma, 1978.*

создала собственную специальную инфраструктуру и занималась главным образом исследованиями в области социологии города и антропологии¹⁸.

Среди теоретиков-марксистов капиталистического мира 60 — 70-х годов политической борьбой больше других были захвачены итальянцы. Не случайно, очень сильная и влиятельная в области культуры Итальянская коммунистическая партия всегда ставила во главу угла собственной политической деятельности теоретическую дискуссию в соответствии с традицией, восходящей еще ко временам Грамши, которую в послевоенные годы активно поддерживал и Тольятти. Следует также иметь в виду, что Италия была той страной развитого капитализма, где выступления масс продолжались дольше, чем в других странах; период приспособления к новым условиям и широты взглядов, всегда присущие ИКП, сделали возможным, следуя по пути, намеченному Грамши, закрепление его исключительного теоретического наследия, что плодотворно отразилось в различных областях знаний. Ограничимся областью философии. Не говоря о трудах таких ученых, как Лупорини, Бадалони или по ряду аспектов Гарен, напомним о деятельности, развернутой при Институте Грамши Б. Де Джованни, Л. Паджи, Дж. Вакка и другими неограмшианцами. Словом, в Италии преемственность не нарушалась. Несомненно, здесь традиция западного марксизма отличалась своей спецификой, поскольку была связана (правда, не без противоречий) с большой политической силой. Другое течение итальянского марксизма в этот период было связано с протестом молодых рабочих, студенчества и безработных. Если в других странах путь крайним левым указывают маоизм и троцкизм в их различных вариантах, то в Италии движение крайних левых в значительной степени связано с местной традицией «операнзма»*, которая в свою очередь имеет отношение к

¹⁸ В Париже имеется центр социологии города, который ведет серьезную исследовательскую работу. Помимо работ Кастелья, к числу серьезных следует отнести исследования Жана Ложкина (Jean Lojkine), философа-марксиста, не имеющего отношения к кружку Альтюссера и занимающегося урбанистической социологией и политикой. Среди его работ можно назвать следующие: "La politique urbaine dans la région parisienne". Paris, 1972; "Le marxisme, l'Etat et la question urbaine". Paris, 1977, а также написанную совместно с Danielle Bleitrach а. о. "Classe ouvrière et socialdémocratie: Lille et Marseille". Paris, 1981, являющуюся крупным вкладом в историю современного рабочего класса Франции. Кроме того, следует отметить, что один из наиболее видных представителей философской традиции западного марксизма Анри Лефевр опубликовал несколько актуальных в то время работ по проблемам города, а именно: "La pensée marxiste et la ville". Paris, 1972 и "La production de l'espace. Paris", 1974.

* «Операнзм» (равнозначно французскому «увриеризм») — от итальянского «operaio» (рабочий), линия на неизменное следование интересам и формам деятельности рабочего класса и рабочего движения, которой вме-

максималистскому социализму и непосредственно журналу Раньеро Панцери «Квадэрни россии» («Красные тетради»), выходящему в конце 50-х — начале 60-х годов, а также к философско-политической публицистике в лице ее главных представителей Марио Тронти и Тони Негри¹⁹. Ограниченность этих печатных выступлений состояла в их зависимости от конъюнктуры. Но значение их выступлений возрастало по мере роста успехов ИКП и крайних левых. Когда же эти политические силы терпели неудачи или поражения (в разной степени и по разным причинам), то и значение предложений и исследований сразу падало. Следствием этого явился «кризис марксизма» и возросший интерес к англо-американской общественной науке²⁰.

Поскольку вклад всех этих конъюнктурных явлений в марксизм, понимаемый как социальная наука, был незначительным, следует отметить другой аспект сложившейся в Италии ситуации, который может оказаться важным для будущего развития этой науки. В самом деле, в стране существуют учреждения, которые занимаются организацией встреч по вопросам научных и политических рекомендаций, такие, как фонды Бассо и Фельтринелли, Институт Грамши и другие организации, связанные с ИКП, но не зависящие от нее. Следует напомнить, что итальянские исследователи внесли значительный вклад в разработку такой проблемы, как классовый анализ. В качестве примера можно назвать работу Паоло Силос-Лабини «Исследование общественных классов» (1974).

В Западной Германии начиная с середины 60-х годов марксизм получил неожиданное и оригинальное развитие на волне студенческого движения. Прекрасно зная труды Маркса и будучи наиболее верными его букве, западногерманские марксисты в гораздо большей степени, чем другие представители неомарксистских направлений, сосредоточили внимание на возвращении к критике политической экономии, или, вернее, на ее «восстановлении». Новое направление марксизма в ФРГ представлено таким крупным экономистом, как Эльмар Альтфатер. Тем не менее изложенный выше общий тезис о важности социологической основы в из-

сте с тем свойственна их апологетика. Представлена как внутри, так и вне компартий левых капиталистических стран. — *Прим. ред.*

¹⁹ Первый этап этой публицистики получил отражение в сборниках: *M. Tronti. Operai e capitale. Torino, 1966; T. Negri. Operai e stato. Milano, 1972.*

²⁰ Подробная оценка этого «кризиса» приводится в специально посвященном этому вопросу номере журнала «Проблемы социализма», № 21, 1981. Особое внимание общественным наукам и социологическим исследованиям уделяют такие ученые, как Карло Диноло и Микеле Сальвати, а также журнал «Лабораторно политико», основанный в 1981 году Марио Тронти, А. Азором Роза и др.

вестной степени распространяется и на Западную Германию. Так, он послужил отправной точкой для самой, может быть, «продуктивной» группы западногерманских марксистов под названием «Проект классового анализа» («ПКА»); в то же время социологический факультет Свободного университета Западного Берлина в конце 60-х — начале 70-х годов строго придерживался «экономического» направления²¹.

Оказавшись на обочине по сравнению с преобладающей консервативной линией западногерманской политики, левая интеллигенция все же сумела создать в Западной Германии собственную прочную культуру, имеющую широкие академические связи (число марксистов — профессоров университетских кафедр здесь, вероятно, больше, чем в какой-либо другой капиталистической стране) с исследовательскими группами, научными проектами и журналами, не зависящими от университетов. Наиболее важный из них «философский и общественно-научный» журнал «Аргумент» («Das Argument»), издаваемый в Западном Берлине под редакцией философа Вольфганга Фрица Хауга. Внутренняя организация и продуктивность западногерманского марксизма находятся на самом высоком уровне. Поэтому не стоит удивляться, что именно в Западной Германии (и в Западном Берлине) появились две крупнейшие, и на данный момент самые основательные, работы, посвященные классовому анализу современного капиталистического общества. Первая из них написана под руководством Хайнца Юнга, а вторая — группой авторов из Западного Берлина («проект классового анализа»), во главе которой стоял Иоахим Бишофф²². Каким образом все же будет оценена эта обширная продукция, когда станет возможно рассматривать новый марксизм в более реальной исторической перспективе? Из названных работ это гораздо менее ясно, чем из упомянутых выше работ англо-американского марксизма. Нам кажется, что западногерманскому марксизму куда больше свойственна *Gründlichkeit* (основательность) экзегетического или эмпири-

²¹ Отличительной чертой новых западногерманских марксистов было то, что они в своей концепции марксизма первостепенное внимание уделяли критике политической экономии, а не просто факту использования экономической точки зрения как отправной. С подобным взглядом можно встретиться в англо-американском марксизме, в таких организациях, как Союз в защиту радикальной политической экономии и Конференция экономистов-социалистов, ставших ареной дискуссий, соответственно, в Соединенных Штатах и Англии. Вновь обращаясь к традиции «политической экономии» или, точнее, радикальной экономической истории, самый крупный англо-канадский марксистский журнал даже получил название «Стадия и политика экономики».

²² *Aulorenkollektiv des Institut für Marxistische Studien und Forschungen. Klassen und Sozialstruktur der BRD 1950—1970. in 4 Bänden. Frankfurt am Main, 1973—1975; Project Klassenanalyse, Materialien zur Klassenstruktur der BRD, in 2 Bänden. Westberlin, 1973—1974.*

чески описательного характера, чем творческая оригинальность. В этом смысле не только наличие у западногерманского марксизма коллективной организации и институциональной закреплённости, как нам кажется, противопоставило его марксизму латинских стран, и особенно альтюссеррианству, более склонному к теоретическим новациям, чем к эмпирической точности. Кроме того, создается впечатление, что западногерманский марксизм в целом замкнулся в себе и не проявляет достаточного интереса к немарксистским теоретическим разработкам и исследованиям. Более того, он почти не имеет связей и с марксистскими школами, зачастую ведущими острую полемику друг с другом. Наиболее оригинальные представители марксистской или марксистствующей мысли Западной Германии, такие, как Юрген Хабермас и Клаус Оффе, оказались либо вне, либо с краю институционализированной контркультуры²³.

Следует отметить, что новый западногерманский марксизм сумел добиться удачного сочетания, совместимого при этом с угнетающей политической атмосферой в Федеративной Республике, политической ангажированности с социальным анализом, которое нашло отражение в таких журналах, как «Прокла», то есть «Проблемы классово-борьбы», и «Социализмус», а также в отдельных работах Иохима Хирша и других²⁴. Эта культура имеет под собой более прочную эмпирическую базу, чем соответствующие культуры латинских стран. Кроме того, в целом ей присуще более последовательное и постоянное чувство ответственности, чем англо-американскому марксизму. Одна из причин серьезности и творческого характера англо-американского марксизма заключается, вероятно, в изначальном отсутствии и основы и прочных традиций в стране. Он был меньше подвержен политическим кризисам, поскольку не возлагал больших политических надежд на ближайшее будущее. Именно в силу ограниченности местной марксистской традиции он прошел закалку в борьбе с немарксистской мыслью на своей собственной территории. Если, с одной стороны, это предопределяло некоторую ограниченность, то, с другой — явилось, безусловно, прекрасной подготовкой к

²³ Отмежевание от местной марксистской культуры носит подчас почти нигилистический характер. Так, например, при подборе текстов для антологии по вопросу о государстве всеобщего благосостояния и лояльности масс, которая, что совершенно очевидно, должна была стать вкладом в «политическую социологию позднего капитализма» (Кёльн, 1975 г.), Вольф-Дитер Нарр и Клаус Оффе сочли заслуживающей публикации только одну марксистскую работу немецкого автора на восемнадцать статей, вошедших в эту антологию. Шестнадцать из этих статей — статьи англо-американских авторов, в их числе — Энтони Кросленд и Натан Глезер.

²⁴ См., в частности: *E. Altvater, J. Hoffman, W. Semmler, Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise*. Berlin, 1979.

предстоящим более решительным выступлениям. К тому же пути эмиграции и общения интеллигенции после побед фашизма в Европе, а также большие интеллектуальные ресурсы и инфраструктуры для ведения исследовательских работ, которыми располагали лучшие американские и английские университеты, сделали англо-американский марксизм центром, вокруг которого сосредоточилась международная теоретическая мысль²⁵.

Смещение центра теоретического марксизма в англо-американские страны является в некотором смысле следствием его силы и потенциальных возможностей, поскольку (не сбрасывая со счетов Францию как крупный центр историко-графических и антропологических исследований) он, в общем, стал жизнеспособной основой современного интеллектуального мира. В то же время тут нельзя не усматривать и внутренней слабости нового марксизма, поскольку он оторван от политической реальности. Сегодня марксизм как социальная наука обращается к гораздо более конкретным вопросам современной политики, чем вчерашняя западная марксистская философия. Поэтому до некоторой степени третья фаза марксистской теории порождает дальнейшее расхождение между политической деятельностью и теоретической работой. Основоположники того, чему предстояло стать традицией западного марксизма — Грамши, Лукач, Корш, — сыграли, все без исключения, важную политическую роль. Что до теоретического авангарда марксизма как социальной науки, то, хотя его представители всегда проявляли интерес к политике, никто из них никогда не занимал ответственного политического поста в обычных политичес-

²⁵ Однако, с другой стороны — а именно, с точки зрения отношений с Восточной Европой, — международное положение западногерманского марксизма было «более центральным». Контакты и полемика с восточногерманским марксизмом имели большое значение для развития нового поколения марксистов в Федеративной Республике. Различие точек отсчета подчеркивается в рецензии на работу: *Anderson, Considerations; W. F. Haug, Westlicher Marxismus?* — In: "Das Argument", vol. 20, 1978. Тем не менее, если западная неосведомленность и отголоски «холодной войны» и не должны заставить нас попросту зачеркнуть тот вклад, который внесли марксистские исследования Восточной Европы, то все же удельный вес контактов начал снижаться по мере усугубления замкнутости Восточной Германии и Чехословакии в 70-е годы. Марксизм Восточной Европы не имеет ничего общего с темой данной статьи, однако здесь все же следует выделить серьезную школу классового анализа, которую прошел польский марксизм, что нашло отражение в начале 60-х годов в произведениях Юлиана Хохфельда. Речь идет о самостоятельном, творческом и оригинальном исследовании, ставшем возможным благодаря событиям в Польше в октябре 1956 г. Исследования Хохфельда по теории классов и теории общества в работах Маркса довольно мало известны на Западе. К числу наиболее крупных польских социологов следует отнести Станислава Оссовского и Владзимежа Веселовского, а также Ежи Вятра — ученого, занимавшегося политическими науками.

ких сферах. Словом, имеется несомненный риск увязнуть в мелочных специальных сведениях, абстрактных политических рассуждениях или же в аполитичной академичности, на практике весьма далекой от целей освобождения, к которым, собственно говоря, марксизм стремился. Если проявления первого обстоятельства имели место в прошлом, то второе— это та опасность, которой следует остерегаться в ближайшем будущем.

2. Зарождение неомарксистского классового анализа

Приступив к анализу общества, Маркс, как известно, отказался признать собственные заслуги в открытии существования классов в современном обществе и их противоборства. Как он сам писал, «то, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что *существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства*, 2) что классовая борьба необходимо ведет к *диктатуре пролетариата*, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к *уничтожению всяких классов* и к *обществу без классов*»²⁶.

Это утверждение относится к 1852 году, но и в посмертном издании «Капитала» Маркса Энгельс завершит главу о классах в томе третьем книги третьей предупреждением: «Здесь рукопись обрывается»*, то есть Маркс не дает здесь изложения своей концепции классов. Несомненно, Маркс написал много других страниц о классах и классовой борьбе, однако необходимо помнить, что до появления марксизма как общественной науки в 60-е годы нашего века классовый анализ, его теория, метод и практика исследований были представлены более или менее фрагментарно лишь в том виде, как это делал **сам Маркс**²⁷.

Если марксистский классовый анализ не достиг особых успехов, то в социальном и историческом немарксистском анализе после Рикардо и Гизо классовая концепция практически вообще исчезла, либо была отодвинута на второй план или же формулировалась в прямо противоположном смысле. Маржиналистское направление в экономической теории упразднило прежде всего всякое упоминание о классах в ана-

²⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 28, с. 426—427.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 458.

²⁷ Я имею в виду классовый анализ как форму комплексного анализа структур и социальных процессов. Со времен Маркса анализ классовых отношений, основанных на силе в определенные моменты политической конъюнктуры, сделал значительный шаг вперед благодаря деятельности выдающихся политических руководителей от Ленина до Троцкого и Грамши, от Бауэра до Мао Цзэдуна.

лизе экономики, и лишь в самом крайнем случае в наиболее значительных историографических исследованиях изредка отмечалось, что история — это история борьбы классов. Интерес к классовому анализу сосредоточился в значительной степени в рамках новой дисциплины — социологии. Однако у социологов классы и классовую борьбу постигла любопытная судьба.

В конце 60-х годов в социологии в вопросе классового анализа наметились две основные альтернативы. Первая — это теория и исследование «стратификации» в рамках концепции социальной мобильности, что явствует из общего смысла самого термина, заимствованного из геологической науки²⁸. Ее теоретическое направление разработали функционалисты Толкотт Парсонс и Кингсли Дэвис, а менее абстрактный, более эмпирический, вариант основывался на исследовании Сесила Норта и Пола Хэтта (1947) о профессиональном престиже в Америке²⁹. Это второе направление, наиболее крупным представителем которого был Сеймур Мартин Липсет, считало концепции классов и классовой борьбы основополагающими, однако рассматривало их по-новому и весьма своеобразно³⁰. Обратившись к периоду, когда марксизм еще утверждался как социальная наука, а студенческие волнения только начинались, мы можем с известной объективностью установить, в какой стадии разработки находилась концепция «классов» в социологических исследованиях, сославшись на два наиболее широко известных официальных источника: сборник исследований «Классовый статус и власть. Социальная стратификация в сравнительной перспективе» («Class struggle and power. Social stratification in a comparative perspective», edited by S. M. Lipset and R. Bendix)³¹, а также «Международная энциклопедия социальных наук» («International Encyclopedia

²⁸ B. Barber. Introduction, а также статья "Stratification Social". — In: "International Encyclopedia of the Social Sciences", New York, 1968, vol. XV, p. 289.

²⁹ О первом направлении в социологии см.: T. Parsons. An analytical approach to the theory of stratification. — "American Journal of Sociology", vol. 45, 1940, p. 841—862; K. Davis. A conceptual analysis of stratification. — "American Sociological Review", vol. 7, 1942, p. 309—321; K. Davis, W. Moore. Some principles of stratification. — "American Sociological Review", vol. 10, 1945, p. 242—249. О втором направлении см. работы: C. C. North, P. K. Hatt. Jobs and occupations: a popular evaluation. — In: "Sociological analysis: an introductory text and case book". L. Wilson, W. L. Kolb (eds.), New York, 1949, p. 464—473. Характеристике этого типа исследований, а также его рассмотрению посвящена работа: A. Reiss а. о. Occupations and social status. New York, 1960.

³⁰ См., в частности, сборник исследований S. M. Lipset. Political Man. London, 1960.

³¹ Сборник исследований Липсета и Бендикса (Нью-Йорк, 1966) имел большой коммерческий успех (первое издание переиздавалось девять раз) и оказал немалое влияние на специалистов.

of Social Sciences», 1968). Достаточно беглого сравнения этой энциклопедии и той, что ей предшествовала в 1930 году, Энциклопедии социальных наук (Encyclopedia of the Social Sciences), чтобы составить себе представление об эволюции, которую претерпела за эти годы социологическая доктрина. В 1930 году сочли необходимым в энциклопедию общественных наук включить статьи, называющиеся «класс», «классовое сознание» и «классовая борьба», а в энциклопедию 1968 года последователей традиционной общественной науки отсылали к статье «социальная стратификация»³².

Таким образом, преваляровавшая в социологии тенденция переключилась с проблем классов, классового сознания, а в отдельных случаях и классовой борьбы, на проблемы социальной стратификации, то есть на внутриклассовую дифференциацию на основании того или иного приемлемого критерия, а еще лучше нескольких сразу (концепция «многомерной» стратификации)³³. Для функционалистов Парсонса и Дэвиса стратификация, или, оперируя более грубым термином, неравенство, представляла собой необходимый, позитивный, интегрирующий фактор³⁴.

В функционалистской концепции стратификации, равно как и у сторонников эмпиризма, отношения эксплуатации и классового господства подменены концепцией разделения на страты, слои. Вместо проблемы, каким образом классовое положение определяет классовое сознание, рассматривается вопрос о том, что сознание принадлежности к обществу определяет класс или слой с его иерархией социальных функций и занятий. Вместо того чтобы считать подтверждением существования классов классовую борьбу с ее последствиями (речь идет о том, сохранятся или будут трансформированы эксплуатация и отношения господства), стратификация рассматривается как аспект интеграции общества, как выражение социального согласия.

³² Введение, в котором говорилось об исключении статьи из энциклопедии, было поручено написать Бернарду Барберу, ученику Т. Парсонса. С. М. Липсет отредактировал параграф «Общественный класс» и прочие пояснения, которые затрагивали иные вопросы, связанные с общественными классами.

³³ Даже Липсет (правда, весьма осторожно) в своей статье для «Энциклопедии» придерживается «стратификаторской» позиции: «Гораздо более вероятно, что высокоразвитые общества окажутся системами с социальной стратификацией, где будут существовать дифференцированные слои, а не общественные классы» (vol. XV, p. 314).

³⁴ Конечно, не все ученые приняли эту точку зрения. Более того, статья Дэвиса и Мура «Некоторые принципы стратификации» ("Some principles of stratification") вызвала продолжительные споры по поводу функционалистской теории стратификации. С наиболее резкой критикой выступил Мелвин Тьюмин, придерживавшийся скорее эгалитарных тенденций. Частично эти споры получили отражение во втором издании сборника под редакцией Бендикса и Липсета "Class, status and power", p. 417—472.

Этот сочувственный интерес к вопросам согласия и престижа внес существенный вклад в «великое прославление Америки» в 40—50-х годах, что корнями уходило в импортируемый из Европы идеализм, основанный на озабоченности социальным престижем процветающего и находящегося на подъеме среднего класса. Однако в социологических исследованиях имелась и другая тенденция, самым видным представителем которой был Липсет. Ей следовали, главным образом, бывшие марксисты «либерального» толка, которые внесли в социологию некоторые моменты своих прежних воззрений, радикально, по-новому их используя. К концу 60-х годов, когда общественное мнение среднего класса уже открыло для себя «другую Америку» (Америку бедняков), когда в Беркли начало развиваться студенческое движение, во Вьетнаме бушевала война, а Европа как будто уже завершила свое восстановление, поверхностный идеализм обнаружил собственную несостоятельность, и либеральное (бывшее марксистское) течение в области социологии стало все больше упрочивать свои позиции. С конца 50-х годов многочисленные европейские социологи — Ральф Дарендорф, Дэвид Локвуд, Станислав Осовский³⁵ и другие — начали критиковать теорию стратификации, выступая с марксистских и веберовских позиций. Из второго издания сборника Бендикса—Липсета статья Парсонса 1953 года о стратификации была исключена, а в статье для «Энциклопедии» ученик Парсонса Барбер назвал Маркса в «истории эволюции теории социальной стратификации» «героем вроде Коперника»³⁶. Естественно, по мнению Барбера, функционализм оставил Маркса совершенно в тени, однако в статье Липсета можно было прочесть: «Идеи Маркса и Вебера остаются наиболее плодотворными для теории социальной стратификации»³⁷. Во всяком случае, Липсет использовал идеи Маркса для своего особого варианта «прославления Америки», который получил отражение уже в самой заголовке эссе, взятого из его книги «Политический человек» («Political Man»). Это нашло свое воплощение и в новом издании его работы «Класс, статус и власть» («Class,

³⁵ R. Dahrendorf. *Classi e conflitto di classe nella società industriale* (1959). Bari, 1977; D. Lockwood. *Social integration and system integration*. — In: "Explorations in social change". G. K. Zollschan, W. Hirsch (eds.). London, 1964, p. 244—257; J. Goldthorpe, D. Lockwood. *Affluence and the British class structure*. — "The Sociological Review", vol. II, 1963, p. 133—163 (в тот период Локвуд опубликовал также серьезную работу о классах "The blackcoated worker". London, 1958); S. Ossowski. *Struttura di classe e coscienza sociale* (1920). Torino, 1971.

³⁶ Barber. Introduction, p. 289.

³⁷ Lipset. *Social class*, p. 305. В первом издании "Class, status and power" Бендикс и Липсет более чем сдержанно изложили классовую теорию Маркса.

status and power»), посвященной «выборам как демократическому выражению классовой борьбы».

Странная смесь благонамеренного эклектизма и очевидно-го самодовольства, с чем сталкиваешься в этих теориях «стратификации»³⁸, дает ключ к объяснению, почему в конце 80-х годов * социология оказалась предметом самых бурных споров. Социология располагала к критике (и ее самой и общества) по причине ее всеохватывающей допарадигмальной разнородности. Предметом обоснованной критики была и ее вызывающе самодовольная идеология. Позднее, когда стихли протесты и споры, марксизм (правда, со множеством оговорок) отвоевал себе право на существование в области социологии, причем здесь сфера его действия была гораздо шире, чем в любой другой общественной науке. На самом деле социология вовсе не была глубоко безнравственной (как тогда утверждали многие ее противники) наукой в духе Панглосса. Несмотря на настойчивые усилия некоторых, социологии никогда не удавалось установить прочные связи с экономическими и политическими центрами власти и из-за раздражавших ее внутренних разногласий она была уязвимым местом буржуазной науки. Не следует забывать, что, пусть вне главного течения, но все же на позициях, заслуживающих уважения, в социологии периода до 1968 года имелись ученые, открыто симпатизировавшие марксизму в полном смысле этого слова (хотя и не связанные с революционной политикой тех лет), как, например, рафинированный гарвардский профессор Баррингтон Мур-мл., который в своем эссе 1958 года по стратегии общественных наук называл по нисходящей (имея в виду силу духа и интеллектуальную восприимчивость) имена Маркса, Вебера и Парсонса, подчеркивая, насколько важно рассматривать «классовую борьбу как главный предмет политики»³⁹. В 1966 году Мур опубликовал фундаментальный историко-социологический труд явно марксистского толка, «Социальные истоки диктатуры и демократии». За десять лет до него Томас Боттомор, который в середине 70-х годов станет президентом Международного социологического общества, вместе с одним французским исследователем Маркса составил антологию марксистских работ по «социологии и социальной философии»⁴⁰. В кратком вводном обобщающем

³⁸ В конце статьи для «Энциклопедии» Липсет пишет: «Аполитичная марксистская социология может предположить, что социальные классовые отношения, существующие в Соединенных Штатах, станут прообразом будущих отношений в других обществах, которые идут по тому же пути экономического развития» (р. 314).

* Опечатка в итальянском издании. Судя по смыслу, в конце 60-х годов. — *Прим. перев.*

³⁹ В. Moore. Political power and social theory. New York, 1958, p. 116, 123 и след.

⁴⁰ К. Marx. Selected writings on sociology and social philosophy. T. B. Bottomore and M. Rubel (eds.). London, 1956.

теоретическом эссе «Классы в современном обществе» («Classes in modern society») Боттомор также заявил о себе как марксист, и пусть очень осторожно, но все же предсказал новый подъем рабочего движения.

В американской теоретической социологии существовала также радикально-демократическая традиция, представленная прежде всего фундаментальными работами Чарлза Райта Миллса. С 1956 года, с момента создания исследования «Властвующая элита»*, он избрал для классового анализа свой метод, тяготеющий к марксизму, в связи с чем был подвергнут критике не только Полом Суизи, непоколебимым последователем независимого классического марксизма в Соединенных Штатах, но и знаменитым социологом Робертом Линдом⁴¹. В 1962 году Миллс, не скрывая своих симпатий, составил антологию «Марксисты» («The Marxists»), куда вошли марксистские классические и современные аналитические и политические работы. Одновременно со все более резкими нападками молодых радикально настроенных марксистов на «Саншайн бойз» (молодежь из группы «Солнечный свет», то есть Липсет и др.)⁴² один из исследователей, а именно Элвин Голднер, сменивший в послевоенный период марксизм на социологию, завершал обстоятельный труд, в котором с радикальных позиций критиковалась социология Парсонса. В сво-

* Русский перевод этой книги Чарлза Райта Миллса был опубликован в Москве в 1959 г. — *Прим. ред.*

⁴¹ P. Sweezy. Power elite or ruling class?; R. Lynd. Power in the United States помещены в книге C. Wright Mills and the Power Elite. G. W. Domhoff and H. B. Ballart (eds.). Boston, 1969, p. 115—132 (см. особенно с. 124 и далее, а также с. 103—115, особенно с. 111 и далее). Домхофф вошел в число крупнейших исследователей американского правящего класса благодаря целой серии работ, начиная с «Who rules America?» Englewood Cliffs. New York, 1967.

⁴² D. Lee Smith. The sunshine boys: toward a sociology of happiness.— In: «The Activist», 1964, была дополнена и переиздана в «Radical sociology». D. Colfax, J. Roach (eds.) New York, 1971, p. 28—44. Помимо «главного луча Солнца», то есть Липсета, Смит рассматривает «второстепенный луч Солнца» — Натана Глезера, а также «вспомогательный луч Солнца» — Амитаю Этциони, которые вместе образуют «лигу солнечных лучей». Выводы, к которым пришел Смит, были аналогичны выводам тысяч студентов, изучавших социологию во второй половине 60-х годов: «Социология счастья, научный либерализм, вследствие того что они в качестве системы отсчета принимают развивающийся процесс, становятся объективными, и по причине своей объективности увековечивают угнетение... Могущество развивающихся социально-экономических процессов в рамках социологии счастья проявляется в их способности содержать все противоречия и запутывать любую проблему. Угнетение становится свободой, прогресс влечет за собой загрязнение почвы, воздуха и воды, цивилизация продолжает существовать и тогда, когда земледельцам платят за непронзводство пищевых продуктов, в то время как есть люди, умирающие от голода. Объективность существует, поскольку идеология, стремление к миру означают агрессию, а установка на сохранение мира означает подготовку к войне» (p. 42).

ей работе Голднер защищал законное право на родственную связь академической социологии с марксизмом⁴³.

Иначе говоря, существовала некая основа для позитивного сопоставления социологии и марксизма к их обоюдной выгоде. Поначалу это сопоставление было в основном косвенным: марксизм наделялся чертами социологии, а социология испытывала влияние марксизма. Однако марксизм как общественная наука должен был прежде всего утвердиться в собственной независимости и восстановить собственные традиции, прежде чем начинать отделение зерен от плевел в современной науке.

В 60-е годы в мире развитого капитализма того времени значение и самоценность классовой концепции представлялись сомнительными и спорными. Послевоенный бум в странах развитого капитализма в значительной степени разрушил или подточил основы старых классовых общностей, их совместный классовый опыт. Переселение в новые городские и пригородные населенные пункты, не имеющие исторического прошлого, привело к обезлюдению деревень и рабочих кварталов. Воспоминания о безработице и страх перед ней отступили в результате беспрецедентного роста производства. На постоянно расширявшихся предприятиях росла и усложнялась иерархическая градация, при этом рос государственный аппарат и расширялись его функции. Отчасти благодаря промышленной экспансии в отдельных новых жилых районах возникли модели массового потребления, а также социальные отношения, как бы вышедшие за пределы радиуса действия капитала. В Соединенных Штатах порожденная новым курсом классовая стабильность (хотя и принявшая уродливые формы) была нарушена и уничтожена. В политической жизни Западной Европы это был период Бад-Годесберга и программного отказа социал-демократии от марксистской классовой политики, период, когда французские левые получили последний шанс перед приходом к власти голлизма, а союз социалистов и коммунистов в Италии был разорван. Нельзя сказать, что первые проявления новой оппозиционной политики, выступления против ядерного вооружения в Англии и других странах Северной Европы, а позднее и студенческие движения от Беркли до Западного Берлина явились прямым результатом отношений между трудом и капиталом.

То, что в области культуры говорилось по поводу классовой проблемы, не выходило по большей части за рамки социологии, а в анализе классов и стратификации к середине 60-х годов преобладали неразбериха и споры по поводу основных

⁴³ A. Gouldner. *The coming crisis of western sociology*. London, 1971.

принципов. До появления книги Пола Барана и Пола Суизи «Монополистический капитал» (1966), которая стала отражением живой связи (хотя, как было установлено позднее, связи маргинальной) между классическим и новым постфилософским марксизмом, марксисты не создали сколько-нибудь глубокого исследования о развитии капитализма послевоенного периода. Однако было ясно, что классовые отношения современного капитализма имели мало общего (и в плане эволюции, и в плане катаклизма) с классическими периодами марксистского рабочего движения.

На этом фоне сложных социальных отношений, отрицания идеологии и теоретической путаницы становятся понятными некоторые черты нового метода, с помощью которого марксизм подходит к проблеме классов, разрабатывая свои концепции в обширных трудах⁴⁴ и проявляя первостепенный интерес к детерминантам, а не к опыту или классовому «сознанию», и стремясь со всей очевидностью показать всю классовую структуру, а не только правящий или рабочий класс. Политически это мотивировалось поисками (за пределами разочаровывающего, а порой гнетущего настоящего) основы для будущей стратегии, проверкой сил и определением возможных союзов в будущей борьбе за свержение капитализма. Но внимание к частностям выдает еще и просто интеллектуальное любопытство, бескорыстный интерес открыть тенденции социальных отношений в каком-то данном развитом капиталистическом обществе и не столько в плане особой марксистской

⁴⁴ Работа Пулансаса «Политическая власть и общественные классы» носила исключительно теоретический и методологический характер, тогда как в последней своей книге «Фашизм и диктатура» (1970, итал. перев., Милан, 1971) автор использовал концепции, изложенные в первой книге, для анализа истоков фашизма и его отношений с Коминтерном. Работа «Общественные классы и капитализм сегодня» (1974, итал. перев., 1975) предлагала теоретическое обоснование более эмпирического характера. Однако концепция типов буржуазии, которая в ней разрабатывалась, на деле была использована лишь в его следующей книге о кризисе диктатур (1975). Работы Института марксистских исследований и Проекта классового анализа по классовой структуре Западной Германии, которые мы уже цитировали, открывались (каждая) томом, где подробно излагалась теория, за которым следовал том со статистическими данными, а в работе Института — три тома эмпирических данных. Проекту исследования Эрика Олина Райта по сравнительной классовой структуре, разрабатываемому в настоящий момент, предшествовал ряд теоретических статей, самая пространная из которых была включена в его книгу «Класс, кризис и государство» ("Class, crisis and the State". London, 1978). Честолюбивому проекту Адама Пжеворского, еще не завершённому к моменту написания этих строк, также предшествовала сложная теоретическая дискуссия о разработке концепции классов; эта дискуссия проходила под названием «Пролетарии, формирующиеся в класс: процесс образования класса, как он отражен, начиная с работы Каутского «Классовая борьба» до современных споров» ("Proletarians into a class: the process of class formation from Karl Kautsky's 'The class struggle' to recent controversies"). См.: "Politics and Society", vol. 7, № 4, 1977.

перспективы, сколько в более общем смысле. Несмотря на то что социология располагала выбором средств и прочной научной базой, она не осуществила каких-либо исследований общей структуры общества, которые по масштабам и выводам можно было бы хоть как-то сравнить с наиболее честолюбивыми проектами нового марксизма.

Статистические сборники и соответствующие расчеты, произведенные в Западной Германии Институтом марксистских исследований и Проектом классового анализа, несомненно, явятся в количественном отношении наиболее исчерпывающими социологическими исследованиями, которые когда-либо предпринимались. Перед этими объемистыми томами, в которых много таблиц (что, несомненно, является результатом коллективного труда), ощущаешь даже некоторую робость. В трудах Института эмпирические исследования занимают свыше тысячи страниц, а в трудах Проекта — около 560. И все же, несмотря на большой объем, эти исследования очень ограничены по характеру. Исследования Проекта в целом дублируют чуть более обстоятельные исследования Института. Основанные на разных концепциях в классовом вопросе, исследования как Института, так и Проекта на деле широко используют одни и те же данные и тот же эмпирический подход в изучении положения в Федеративной Республике Германии за период с 1950 по 1970 год. Лишь изредка исследователи обращаются в них к Германии предшествующих лет. В центре внимания исследований — данные, связанные с населением, макроэкономическими аспектами (национальный продукт, промышленность, капитал), с занятостью, а Институт марксистских исследований рассматривает еще и данные об образовании. Приводятся цифры о распределении богатства и дохода, показатели социальной мобильности. Однако ничего не говорится о том, каким образом в ФРГ действительно реализуются классовые отношения, классовое господство, идеология или классовая борьба, и очень мало сообщается (и то лишь в работах Проекта классового анализа) о классовых организациях и учреждениях. В обоих исследованиях, таким образом, классы предстают как описательные социографические категории как бы на карте местности, где станет проводиться будущая политика «партии рабочего класса», то есть Германской коммунистической партии, в том виде, в каком эта политика представляется в работах Института марксистских исследований, а также и преобразованной коммунистической партии в работах Проекта.

Два других широкомасштабных проекта марксистского классового анализа отличаются гораздо более точным аналитическим подходом. В момент, когда я пишу настоящую статью, ни один из них еще не завершен. Но опубликованные — и еще больше неопубликованные — сообщения, вкуче с рас-

пространяемой по этому вопросу информацией, позволяют с уверенностью говорить об их исключительной значимости. Первый проект, которым руководит Адам Пжеворский в Чикагском университете, ставит главной целью дать объяснение истории стратегии и результатов избирательных кампаний для рабочих партий с учетом тех ограничений, которые накладывает классовая структура⁴⁵. Проводя это исследование, Пжеворский и его коллеги сделали ряд выводов об эволюции классовой структуры в Дании (1901—1960), во Франции (1901—1968), в Германии (1882—1933, 1950—1961) и в Швеции (1900—1960)⁴⁶. Данные почерпнуты из национальных переписей и касаются как всего взрослого населения, так и экономически активного населения, разделенного на категории на основе занятости, пола, возраста, а затем объединенного в наиболее крупные классовые категории. Категории занятости определялись, как утверждается в работе, в зависимости от времени и пространства на основе равноценных критериев. Один из самых важных результатов, которых удалось добиться в ходе этого исследования, заключается в следующем: рабочий класс в классическом марксистском понимании, то есть наемные работники физического труда, занятые на производстве, транспорте и складских операциях, никогда не составлял большинства взрослого населения.

Эрик Олин Райт из Висконсинского университета в Мадисоне в своем проекте весьма оригинально подходит к марксистскому классовому анализу: в то время как почти все другие марксистские исследования по классовой структуре в качестве исходного момента берут занятия, перечисленные в официальной статистике, пытаясь (иногда с помощью другого статистического и исторического материала) перевести их в план классовых категорий, Райт изучает информацию о классах, полученную из первых рук, используя социологическую технику моделирования. Распределение по классам осуществляется с помощью опроса; интервьюируемым задаются вопросы о том, могут ли они и в какой мере, осуществлять контроль за капиталовложениями, за другими работающими и собственными условиями труда. Многочисленные прочие вопросы касаются: типа работодателя или вида деятельности, доходов, пола, этнического происхождения, позиций, занимаемых в отношении социальных проблем, политических взглядов. Это позволяет провести целый ряд исследований о роли классовой принадлежности. Кроме того, проект предусматривает срав-

⁴⁵ Об этом проекте можно составить представление, ознакомившись со статьей А. *Przeworski*. *Social democracy as a historical phenomenon*. — "N.I.R." № 124, 1980, p. 38 и далее.

⁴⁶ Работа А. *Przeworski*, *E. Underhill*. *The evolution of European class structure during the twentieth century* не издана. См.: "Department of Political Science". University of Chicago, 1979.

нительные исследования. Изучаются отдельные национальные представительные группы, взятые в качестве образца в Соединенных Штатах, Швеции, Финляндии, Австралии, Норвегии, Канаде, Италии, и планируется проведение аналогичной работы в Англии и Израиле⁴⁷. В какой-то степени проект создан по типу многонациональной корпорации: в основе своей он американский, его организационный центр находится в Соединенных Штатах, но разработка осуществляется с помощью подключенных и размещенных в других странах проектов, инициаторами и руководителями которых являются исследователи на местах.

Если, как это предполагается, проекты Пжеворского и Райта будут завершены, они несомненно станут фундаментальными трудами в области социальных исследований и марксистской теории.

Наряду с трудами Пулансаса, в которых разрабатываются главным образом вопросы теории и политические оценки (при очевидном эмпирическом уклоне); наряду с обстоятельными социографическими трудами немцев; наряду с сочетанием исторического материализма и того передового, что есть в области общественных наук у американцев (так неожиданно удачно получившего отражение в проектах Пжеворского и Райта), в числе последних исследований марксистской теории классов имеется множество специальных, достойных упоминания работ (о которых мы скажем ниже), а также целый ряд более скромных по масштабам работ о национальных классовых структурах и их эволюции в XX веке⁴⁸. Таким образом, появилась масса новых эмпирических данных, очень важных для всех, кого интересует структура классов и социальные отношения, независимо от того, как эти люди относятся к использованию авторами концепции классов или вообще концепции «класс».

Новый марксистский подход к вопросам теории привел к изменению направления исследований в академических со-

⁴⁷ Работа Райта (*E. O. Wright. The comparative project on class structure and class consciousness*) не опубликована, находится в: Department of Sociology, University of Wisconsin, Madison, November 1981.

⁴⁸ Некоторые французские исследователи-коммунисты изучали классовую структуру Франции в рамках проекта, посвященного государственному монополистическому капитализму в этой стране. Часть результатов этих исследований была опубликована в журнале «Экономика и политика». См., в частности, статьи Сержа Морана в № 149-150 (1966-1967). Что касается Италии, то, насколько мне известно, лучшим исследованием здесь является уже упоминавшаяся книга Сплоса—Лабини. Следует упомянуть также серьезную работу члена руководства Итальянской коммунистической партии Джорджо Амандола (*G. Amendola. La classe operaia italiana. Roma, 1968*). О классовой структуре Дании см. работу: *J. G. Andersen. Mellemlagene i Danmark. Aarhus, 1979*. Мое участие в исследованиях на эту тему получило отражение в работе «Klasstrukturen i Sverige 1930—1980». Lund, 1981².

циальных науках. Академическая точка зрения, далекая от проблем классов и классовой борьбы и ориентированная исключительно на «социальную стратификацию», вновь была пересмотрена и ориентируется теперь на то, что, как нам кажется, можно назвать «центральным ядром общества». После того как бытовавшие в социологии (до 1968 г.) идеи — «индустриального», а затем «постиндустриального общества», стратификации, основанной на «статусе занятости», разделения на категории по принципу физического-нефизического труда — изжили себя, немарксистская социология тоже стала считать главными чертами современных западных обществ капитализм, капиталистическую собственность и наемный труд. Лучшее подтверждение тому — высказывания самих социологов, враждебных марксизму или чуждых ему. Так, Фрэнк Паркин в острой, серьезной критической работе (написанной, однако, без малейшего почтения к марксистской теории классов) упрекает буржуазных коллег в непонимании значения собственности; в том, что они забыли, что «Вебер был полностью согласен с Марксом, утверждавшим, что наличие и отсутствие собственности — главные показатели всех классовых отношений»⁴⁹. С тех же позиций Паркин нападает на Дарендорфа, теоретика авторитарных отношений как основы классового господства и социальных конфликтов⁵⁰, за то, что он не задался вопросом, почему в одном случае власть осуществляется на практике, а в другом ей бывает брошен вызов. И сам же предлагает ответ: «Руководящая структура предприятия нацелена на получение прибыли, и те, кто занимают ключевые посты, в действительности охраняют капитал; не их задача добиваться подчинения как самоцели»⁵¹.

Аналогичным образом в другой несомненно острой (хотя и не лишённой претенциозного многословия) социологической критике марксизма ее представитель Энтони Гидденс отводит капиталу и наемному труду центральное место, выступая со своей точкой зрения на современный капиталистический мир. О пути, пройденном главным направлением теории социологии, одним из наиболее крупных представителей молодого поколения которой является Гидденс, можно судить по следующему выводу:

«Нам кажется, что нет больших сомнений в том, что Маркс был прав, когда приписал этот скачок (к экономическому подъему и техническим нововведениям) динамичной природе производства, управляемого ценой, прибылью и капиталовло-

⁴⁹ F. Parkin. *Marxism and class theory. A bourgeois critique*. New York, 1979, p. 48. Совершенно очевиден иронический смысл подзаголовка: Паркин стоит на позициях некой разновидности неовеберовской социал-демократии.

⁵⁰ Dahrendorf. *Classi e conflitto di classe*.

⁵¹ Parkin. *Marxism and class theory*, p. 51—52.

жениями. Эта совершенно банальная истина не кажется таковой в свете конкурирующей теории, которая в течение длительного периода занимала в социологии ключевые позиции: речь идет о теории «индустриального общества»... (и ее последних эпигонах, привязанных к концепции пресловутого «постиндустриального общества») ⁵².

Некоторые марксистские темы стали приниматься как само собой разумеющиеся, поскольку их значение объясняется оригинальными идеями, которые получили преобладание в социологии всего десяток лет назад ⁵³.

Кроме того, самым упорствующим социологам-эмпирикам Эрик Олин Райт доказал в их области знаний — с помощью эффективных суждений, убедительных количественных показателей, регрессивных уравнений, — насколько важна концепция классов в марксистском понимании для объяснения колебаний дохода в противовес теориям, которые ратуют за возвращение к критериям занятости или образовательного уровня ⁵⁴.

3. Проблемы и задачи теории классов

Эмпирические и теоретические результаты, о которых мы говорили, свидетельствуют о жизнеспособности и о возможности применения марксизма на практике как социальной науки, резко противостоящей марксизму как философско-политическому учению, переживающему кризис. Несмотря на то что марксистская теория классов находится в развитии, ее не отличают пока ни упрочившееся знание, ни накопленный опыт, которые помогли бы ей стать источником теоретического или

⁵² A. Giddens. A contemporary critique of historical materialism. London, 1981, p. 122. Сам Гидденс попробовал свои силы в классовом анализе скорее теоретического, чем эмпирического плана в работе "The class structure of the advanced societies". London, 1973, которому присущи одновременно и промарксистские, и неовейбернские черты.

⁵³ Другим интересным вкладом в марксистскую теорию классов является вариант постиндустриального общества, строящегося на знаниях. Этот вариант разработал другой, резко критиковавший марксизм, ученый Элвин Голднер, недавно умерший. Возникновение нового общества, согласно Голднеру, должно совпасть с появлением на сцене нового класса — интеллигенции — с выдающейся личностью во главе, что представляет собой сложную аналогию марксистской теории классов периода капитализма. Иными словами, предполагается появление «культурной буржуазии», обладающей «культурным капиталом». См.: A. Gouldner. The future of intellectuals and the rise of a new class. New York, 1979. Незадолго до смерти, в 1981 году, Голднер работал над критическим исследованием марксизма. Его последняя книга ("The two marxisms". London, 1980) должна была стать первым томом четырехтомного издания. «Два марксизма» — это «научный» и «критический» марксизм, которые, по мнению Голднера, являются собой основное и диалектическое единство «противоречий», сопутствующих напряженности отношений между детерминизмом и волюнтаризмом, внутренне присущих и марксизму и социологии.

⁵⁴ E. O. Wright. Class structure and income determination. New York, 1979.

эмпирического знания. Марксизм обрек бы себя на застой, пожелай он погреться в лучах преходящей славы, которую спискали себе труды социологов-немарксистов. Многочисленные нерешенные проблемы делятся на две основные группы: к первой относятся проблемы, связанные прежде всего с трактовкой того, что происходит сегодня в классовых обществах, а ко второй — проблемы понимания их будущего и вмешательства в него. В первом случае необходимо схематически изобразить модели имеющихся налицо классовых отношений, выявив процессы, которые создают и поддерживают их существование. Во втором случае ставится политическая задача провести научный марксистский анализ, который станет вкладом в борьбу за уничтожение эксплуатации и господства и даст необходимые знания для ведения этой борьбы.

Как нам кажется, трудности на этом пути объясняются тремя основными причинами: фрагментарной неопределенностью метода, с которым сам Маркс подходил к концепции классов, не имевшей присущего модели центрального ядра; невероятно усложнившимися общественными отношениями в капиталистических обществах по сравнению с временами «Капитала», и в известной степени длительной разобщенностью международной марксистской мысли, что является наследием западного марксизма и порожденного им раскола на множество самостоятельных замкнутых философских школ (как внутри него самого, так и в международном масштабе), как правило, игнорирующих друг друга⁵⁵. О многообразии вытекающих отсюда проблем свидетельствует тот факт, что наиболее полное согласие по вопросу о классовой принадлежности в различных марксистских исследованиях 70-х годов имеется в отношении лишь одной шестой части шведского населения, которое будет старше восемнадцати лет примерно к 1980 году. Иными словами, ни у кого из марксистов не вызвало бы сомнений определение классовой принадлежности одной шестой шведских избирателей. Маловероятно, чтобы этот показатель был выше в других странах развитого капитализма, а в некоторых из них, например в Соединенных Штатах, возможно, он окажется даже значительно ниже. Наибольшие разногласия существуют по вопросу о неквалифицированных рабочих (или ищущих работу), занятых в промышленности, на транспорте и на складских работах на капиталистических предприятиях, а также по вопросу о находящихся в противоположном лагере — собственниках, предпринимателях, работодателях⁵⁶.

⁵⁵ См.: *Anderson. Considerations*, p. 69.

⁵⁶ Данные о классах взяты из моей работы «*Klasstrukturen i Sverige*», главными источниками для которой послужили общие переписи, а также официальные сведения о рабочей силе. Данные об избирателях выведены на основании официальных статистических публикаций «*Allmanpa valen 1979*». Stockholm, 1980.

Наибольший общий знаменатель в марксистских исследованиях классов выводился из наименее неясных формулировок Маркса, касающихся производства и присвоения прибавочной стоимости. Так как полученные результаты незначительны, то возникает вопрос, имеет ли вообще экономическая теория Маркса отношение к современному классовому анализу развитого капиталистического общества. Тот факт, что в основе нового марксизма как социальной науки лежат некоторые философские традиции западного марксизма (Пуланцас противопоставлен Лукачу) и социология, а не политическая экономия, привел, как нам кажется, к некоторой теоретической путанице.

Пуланцас считал, что для определения общественных классов недостаточно рассматривать лишь производственные отношения. Напротив, классы следует рассматривать как «результат взаимодействия как идеологических и политико-юридических структур (причем в не меньшей степени, чем экономических), так и как результат способа производства или общественно-экономической формации»⁵⁷. Больше всего он стремился избежать противопоставления экономического застоя и политико-идеологической динамики, класса в себе и класса для себя, экономического положения класса и его политико-идеологической позиции. Но в таком случае автор выходит за рамки поставленного вопроса. Марксистская концепция, которая считает классы «несущими элементами» (Träger) производственных отношений, указывает — в отличие от определения, строго делящего их на собственников и несобственников, — не на состояние, а на процесс. Классы — «носители» (несущие элементы) процессов, протекающих при данном способе производства. Именно это — то есть тот факт, что под классами понимается совокупность мужского и женского населения, совместно участвующего в различных конфликтных отношениях и практических делах и одновременно продолжающего развивать данный тип общества, — и является сильной стороной марксистской теории классов. Если и верно утверждение Пуланцаса о том, что классы существуют в соответствующих политико-юридических и идеологических условиях, то из этого все же не следует, что их должно определять как несущие элементы всей социальной структуры. Главная причина, препятствующая такому расширительному определению классов, состоит в том, что это неизбежно привело бы к снижению остроты анализа. Исторический материализм выявил в экономическом способе производства не только структуру, но и структурную систему процессов с их внутренней динамикой, поддающейся экономическому анализу. Одна-

⁵⁷ Poulantzas. *Polere politico e classi sociali*. Roma, 1971, p. 70 и далее; *ID. Classi sociali e capitalismo oggi*. Milano, 1975, p. 18.

ко ни Маркс, ни Пуланцас не выявили внутренней динамики государства или идеологической системы, соответствующей в экономике накоплению капитала.

Антиэкономизм Пуланцаса привел к абсурдным выводам в отношении одного из наиболее важных элементов сложной современной общественной структуры — прослойки «белых воротничков» (мы сознательно используем этот банальный термин). По мнению Пуланцаса, и их, и тех, кто занят в сфере обслуживания и торговле, следует считать «новой мелкой буржуазией», иначе говоря, составной частью одного класса, в который входит традиционная мелкая буржуазия, производители товаров и торговые посредники, не использующие наемного труда. Суть выдвигавшегося в этом случае тезиса сводилась к тому, что, несмотря на различную сферу приложения сил в экономике, оба эти элемента («белые воротнички» и те, кто занят в сфере обслуживания и торговле) являются носителями аналогичной или сходной идеологии и политики⁵⁸. Абсурдно то, что этот тезис выдвигается с излишней легкостью. Во-первых, если верно, что обе эти весьма отличные друг от друга по отношению к экономическому способу производства категории (из коих одна — порождение развитого капитализма, а другая — социальный выразитель некапиталистического товарного производства, то есть экономической формы, предшествовавшей промышленному капитализму) вырабатывали одну и ту же политику и идеологию, то это не может не свидетельствовать о серьезном изъяне исторического материализма, что заставляет задать вопрос о том, продолжает ли оставаться в силе (и в какой мере) его установка в целом. Между тем Пуланцас не усматривает здесь никаких проблем. Во-вторых, «документация» в поддержку подобной гипотезы состоит всего из нескольких тезисов, суть которых в том, что ни одна из двух категорий не является рупором социалистической или коммунистической революционной идеологии. «Классовое определение» этих двух мелкобуржуазных групп основывается на следующих «главных идеологических признаках: а) идеологических антикапиталистических настроениях с заметной склонностью к реформистским иллюзиям... б) некоторой склонности к отрицанию политических и идеологических отношений... которая, однако, не очень устойчива и может вылиться не в бунт против этих отношений, а скорее, в их перестройку на основе участия», и так в том же роде до пункта г).

Нет нужды уточнять, что эти тезисы не подтверждаются ни единой ссылкой на эмпирическую документацию⁵⁹.

⁵⁸ "Classi sociali...", p. 252 и далее.

⁵⁹ Ibid., p. 255—256. Следует, однако, добавить, что Пуланцас делает множество тонких замечаний по поводу различий между умственным и физическим трудом.

Райт критикует Пуланцаса и не принимает ни его «узкого» определения рабочего класса (в него входят только занятые физическим трудом), ни его концепции «новой мелкой буржуазии». Последнюю Райт заменяет концепцией «места, занимаемого этим неоднородным по составу классом» (между буржуазией и рабочим классом). Определение рабочего класса у Райта гораздо шире: в него входят все наемные работники, занимающие места, которые исключают любую форму контроля над денежным капиталом, над постоянным капиталом и рабочей силой⁶⁰.

На деле, несмотря на ссылки на «капитал», классовый анализ Райта отражает последовательный разрыв с какой бы то ни было зависимостью от экономической теории капитализма. Ключевым критерием для определения класса является наличие или отсутствие контроля, а не место внутри капиталистического производственного процесса. Иначе говоря, выделить рабочий класс и буржуазию одинаково легко и в государственных, и в частных организациях, не преследующих цели получения прибыли, и внутри капиталистического предприятия.

«В действительности, функциональность этих трех уровней (буржуазии, рабочего класса и «двойственной» прослойки) внутри политических и идеологических аппаратов может быть достигнута в целом тем же путем, что и функциональность социальных производственных отношений на экономическом уровне. Иначе говоря, положение рабочего класса в обоих случаях предполагает исключение его из контроля над ресурсами, средствами производства и управления и рабочей силой»⁶¹.

Итак, выходит, что в основе всего должна быть исключительно «заинтересованность» в сохранении или разрушении существующего капиталистического общества, а это в корне подменяет мысль Маркса об изменении классового равновесия с заменой способа капиталистического производства. В упомянутом выше исследовании молчаливый отказ от экономической теории Маркса соседствует (без каких-либо переходов, причем в одном и том же томе) с подробным и тонким разбором Марксовой теории кризисов.

В разрабатываемом в настоящий момент научном проекте Райт подправляет эту позицию. В первом сообщении о собранных данных класс буржуазии строго ограничен лишь собственниками-работодателями с десятью или более наемными работниками, а поскольку государственная служба «все еще связана с капиталистическим производством как таковым», Райт считает, что «по ряду причин, может быть, следует вы-

⁶⁰ Wright. Class, crisis and the State..., cap. I.

⁶¹ Ibid., p. 96 (примечание).

делить государственное производство как особую форму производственных отношений»⁶². Как бы то ни было, и проект Райта, как прекрасно подготовленное эмпирическое исследование, и его результаты представляют ценность, независимо от спорности некоторых концепций Райта или теоретических предположений (в нем, например, собраны и приводятся данные о государственной службе). Словом, может показаться, что замена критики политической экономии критикой социологии стоила немалых издержек⁶³, хотя в целом и дала различные результаты. Кроме того, мы увидим это далее, несмотря на строгое следование определенной теории экономической формы, как это было в Проекте классового анализа, избежать осложнений не удалось. До сих пор критика выступала главным образом с требованием разъяснить, как соотносятся экономическая и социологическая теории. Однако это требование разъяснений могло отрицательно сказаться на теории классов в случае ее отрыва от анализа динамичности капиталистической экономики и отказа от главных средств, используемых марксизмом для этого анализа.

Последняя тема нуждается в уточнении, так как она может означать по крайней мере две разные вещи: с одной стороны — связь с Марксовой теорией стоимости с последующим переносом главного акцента на производство, присвоение и перераспределение прибавочной стоимости, а с другой, если оперировать более скромными «ревизионистскими» терминами, — сосредоточение внимания на накоплении капитала и на наемном труде для капитала. Концепция эксплуатации будет в таком случае пересмотрена или заменена концепцией непропорционального присвоения вследствие разделения между капиталом, с одной стороны, и собственниками средств производства и наемными работниками с другой, в качестве экономической основы классовой борьбы. Судьба Марксовой теории классов вовсе не связана нерасторжимо узами с судьбой теории стоимости.

Независимо от значения, придаваемого теории стоимости в области экономики, она имеет определенное эвристическое значение для теории классов. Прежде всего неомарксисты, занимающиеся теорией классов, не должны забывать, что интерпретация (кстати, отнюдь не бесспорная) теории стоимости

⁶² E. O. Wright а. о. The American class structure (работа не опубликована) находится в: Department of Sociology, University of Wisconsin, Madison. November 1981, p. 10.

⁶³ В этом замечании есть элемент самокритики: особенно это относится к двум первым изданиям (1972 и 1973) моей работы о классовой структуре Швеции. Один из участников международного проекта, руководимого Райтом, проанализировал Швецию с позиций Райта и сравнил свои результаты с моими. См.: G. Ahnne. Report on the Swedish class structure. I (не опубликовано), находится в: Department of Sociology, University of Uppsala.

Маркса, которая определяет рабочий класс как класс работников физического труда (и в самом деле они не имеют руководящих функций), занятых в производстве, на транспорте и складских работах, должна опираться не только на выдержки из работ Маркса, но и на прочную базу, каковой является социально-историческая реальность. Иначе говоря, реально существующее рабочее движение возникло и выросло в среде этих трудящихся при значительной поддержке независимых и полузависимых ремесленников на начальном этапе. Если в рабочем классе видеть не только объект эксплуатации и деградации, но и субъект «контркультурного» сопротивления капиталу, обладающий знаниями, опытом, чувством солидарности и представлением о практике организационной работы, то, взятый в более узком значении этого определения, отдельно от других категорий трудящихся и служащих, рабочий класс еще и по сей день сохраняет то значение, которое нельзя перечеркнуть одними лишь определениями.

Во-вторых, идеи производства, присвоения и перераспределения прибавочной стоимости заставляют нас обратить внимание на заметную диспропорцию в распределении по отраслям источников, в которых черпают силу рабочий класс и капитал. Рабочий класс в классовой борьбе всегда черпал свою силу в том, что был занят в таких секторах деятельности, как производство, транспорт, складирование, или, если хотите, в том, что был производителем прибавочной стоимости. Того же нельзя сказать о буржуазии, чье богатство и источники силы сосредоточены во множестве сфер деятельности, от торговли в широком смысле до банковской деятельности, в сфере недвижимости и пр., а не только в производстве. Все это может существенно повлиять на модель классовых отношений и развитие классового конфликта. В самом деле, каковы бы ни были в конечном счете истоки торгового, банковского или земельного капитала, классы и классовая борьба размещаются в определенном пространстве. При равных условиях наилучшим местом размещения для рабочего класса является экономика (государства, области, города), представляющая собой совокупность крупных промышленных предприятий, функционирующих в условиях конкуренции, способных использовать относительно однородную рабочую силу и располагающих небольшим основным капиталом. На противоположном полюсе — буржуазия, обладающая сильными позициями в экономике, главным центром которой являются крупные концентрации непродовольственного капитала, источниками которого в свою очередь явились земельная рента и непредусмотренные доходы (плодородные земли, минеральные и нефтяные ресурсы, доход от недвижимости), торговля, банковская деятельность и т. д. в противовес разобщенной и разбросанной рабочей силе, сосредоточенной в небольших производствен-

ных единицах, а также в конторах и мастерских. Согласно отличающимся друг от друга критериям, использованным Институтом, Проектом классового анализа и Райтом, рабочий класс может быть тем же самым, но условия его борьбы будут в корне отличны.

Всякий, кто занимается эмпирическим классовым анализом, используя средства статистики или метод моделирования, знает, как это трудно. Сразу всего не охватить, поэтому крупные исследования, которые проводились до сих пор, заслуживают всяческого уважения. Но поскольку исследования будут продолжаться, стоит подумать о том, что при рассмотрении социологической реальности классов и классовой борьбы можно будет добиться лучших результатов, если в центре теоретических изысканий и классового анализа окажутся процессы накопления капитала и различные «режимы накопления». Эта последняя концепция (а ею мы обязаны Мишелю Альетта и другим французским экономистам-марксистам, которые до сих пор использовали ее для характеристики длительных периодов⁶⁴) кажется довольно перспективным средством анализа изменений во времени и пространстве моделей классовых отношений при капитализме.

Прямым следствием обнаружения связи между классовым анализом и процессом накопления капитала, естественно, должно явиться изучение роли наемного труда в капиталистическом накоплении. Безусловно, в своей совокупности капиталистическое общество зависит и целиком определяется капиталом, нормой прибыли и тем, как она используется капиталистами. Однако не менее верно и то, что место в обществе каждого существенным образом зависит от того, работает он для капитала или нет: это касается не столько непосредственных условий труда, сколько места в классовой борьбе.

В настоящее время в развитых капиталистических обществах численность экономически активного населения, непосредственно не связанного с отношением капитал/наемный труд, весьма значительна. В 1970 году в Западной Германии число тех, кто не принадлежал ни к капиталистам (или руководящему персоналу капиталистических предприятий), ни к находящимся на содержании у капитала, составляло по крайней мере 38% экономически активного населения. Но это заниженные данные, так как в этом случае не учтены ни служащие кооперативов, ни государственные служащие⁶⁵. В 1972 году в Швеции лишь половина экономически активного населения работала на капиталистических предприятиях, ко-

⁶⁴ M. Aglietta. A theory of capitalist regulation. London, 1979, p. 68 и далее.

⁶⁵ Вычислено на основании данных Проекта классового анализа: *Materialen*, vol. II, p. 215, 420.

которые предоставляли работу в течение целого года по крайней мере десяти работникам, а третья часть тех, кто работал за зарплату, не имела ничего общего с производством или товарооборотом (речь не идет об их рабочей силе)⁶⁶. Несомненно, в 70-е годы число занятых в некапиталистической и непроеизводственной сферах деятельности значительно возросло⁶⁷.

В самом деле, в европейских странах развитого капитализма большинство тех, кто входит в число 40—50% экономически активного населения, косвенно вовлеченного в процесс накопления капитала, являются государственными служащими. Кроме того, некоторые работают на себя, другие на предприятиях мелкой буржуазии, где совершенно необходимо личное участие работодателя в трудовом процессе, третьи — в производственных и потребительских кооперативах, какое-то количество населения работает в частных организациях, не преследующих цели получения прибыли. В 1979 году в Швеции около 40% населения, работавшего по найму (занятого не менее двадцати часов в неделю), находилось на службе у государства и общественных организаций⁶⁸.

Ученые-марксисты, которые занимались проблемами капиталистического государства, очень мало внимания уделили вопросу бурного развития государства как работодателя⁶⁹. Пока нет теоретических исследований, объясняющих этот рост, как нет и каких-либо разъяснений по поводу его воздействия на классовые отношения внутри общества. Как институт власти, государство можно назвать «кристаллизатором» соотношения сил между классами в обществе; что до государственной службы как таковой, то она теперь занимает важное место в классовых отношениях развитого капитализма.

Если мы рассмотрим состав такой обширнейшей сферы, как государственная служба, то заметим, как резко отлича-

⁶⁶ Расчеты основаны на данных «Переписи предприятий» (Företagsräkning), произведенной в Швеции в 1972 году и приведенной в книге: *Therborn. Klasstrukture*, p. 100—101.

⁶⁷ Для Швеции см. тот же источник. Для Западной Германии расчеты взяты из работы *J. Baschoff a. o. Jenseits der Klassen? Hamburg, 1982*, где продолжены и углублены разработки Проекта классового анализа с учетом большей политической последовательности. Эти данные свидетельствуют, что 36 процентов активного населения занято самостоятельным трудом или служит на некапиталистических предприятиях (S. 88, 96).

⁶⁸ *Therborn. Klasstrukture*, S. 115, 152—153. IMSF, *Klassen-und Sozialsstruktur*.

⁶⁹ В этом смысле работа американского экономиста О'Коннора (*J. O'Connor. La crisi fiscale dello Stato (1973). Torino, 1977*) является исключением, поскольку деление экономики на три сектора — монополистический, конкурирующий и государственный — требует внимательного подхода к вопросу о государственной службе.

ется современное государство от государства времен Маркса, а значит, и от государства, которое рассматривалось классической теорией марксизма. Значительная часть общественного труда, именно та, за счет которой больше всего разрастался сектор государственной службы, представляет собой, по нашему определению, «труд, направленный на воспроизводство человека». Мы намеренно избегаем термина «воспроизводство рабочей силы», поскольку нам важно выяснить, что этот труд лишь с натяжкой можно считать направленным исключительно или главным образом на (вос)производство товаров, хотя, несомненно, на нем отражается и он сам (как и все в капиталистическом обществе) испытывает воздействие капиталистических товарных отношений. В «труд, направленный на воспроизводство человека», входит оказание помощи престарелым, переставшим быть частью рабочей силы, социальное обеспечение маргинальному населению, помощь детям, медицинская помощь, выплата пособий по безработице, образование и т. д. В 1975 году этот вид труда составлял в Швеции 47% общественного труда, в 1965 году он составил 40%, а в 1950—28%⁷⁰. В Западной Германии эта цифра хотя и несколько ниже, но также высока: она составила около 38% в 1970 году и около 30% за десять лет до этого⁷¹. В осуществленном Проектом исследовании, где большое внимание уделено государственной службе, отмечены лишь отрицательные черты этого аспекта проблемы, поскольку государственная служба как вид общественного труда не является следствием ни «буржуазного», ни «общественного» разделения труда. Согласно Проекту классового анализа, все государственные служащие, независимо от полномочий и выполняемых функций, относятся к одному и тому же промежуточному классу, поскольку они поглощают государственный доход.

Я полагаю, что причины этого роста лежат гораздо глубже, не в сегодняшней политической реальности «государства всеобщего благоденствия». Дело в том, что имеется два важных вида труда, которые не зависят (или зависят разве что косвенно) от отношений капиталистического производства. Один из них — воспроизводство человека в прямом значении термина «социальная помощь»; второй — занятие сельским хозяйством в условиях умеренного климата. Последний оказывал, а первый оказывает и будет впредь оказывать максимальное воздействие на классовые отношения капиталистических обществ. И все же, для того чтобы окончательно понять эту проблему, следует обратиться к третьей проблеме классовой теории, а именно к семье.

⁷⁰ Therborn. *Klasstrukture*, S. 116.

⁷¹ Расчеты Проекта см. в работе: «Materialcn...», vol. II, p. 309, 553, 572—573.

По вопросу о связи семьи с отношениями товарного производства почти нет наблюдений, сведений или теоретических обобщений⁷². Более того, и в марксистских исследованиях, и в немарксистских общественных науках семью считают чуждой товарным отношениям, несмотря на ее участие в качестве производительной единицы в производстве товаров на предшествующем этапе или же несмотря на то, что она, будучи единицей, ведущей самостоятельное существование, хотя и зависит от происходящего в товарной сфере, все же не испытывает или испытывает очень незначительное воздействие этой сферы. Однако простое товарное производство всегда было связано с семейным производством, во главе которого стоял отец семейства, получавший помощь от жены и детей. Ни в какой другой области это не имело такого значения, как в главной сфере простого товарного производства современного капитализма — сельском хозяйстве. Обратившись вновь к примеру из опыта Швеции, мы можем заметить, что в 1930 году, после того как в течение шестидесяти лет в стране чрезвычайно быстро и успешно шла индустриализация, в сельском хозяйстве была все еще занята почти половина активного населения производственного сектора. Внутри сельского хозяйства наемные рабочие составляли лишь 25% всей рабочей силы, остальная же часть приходилась на независимых землевладельцев и их семьи.

Устойчивость сельского хозяйства умеренной климатической зоны к проникновению капитализма затормозила развитие классовой поляризации, предсказывавшейся Марксом, что и отметила немецкая социал-демократия на рубеже веков. В последние годы политическая сторона проблемы утратила свое значение вследствие упадка, переживаемого сельским населением в странах развитого капитализма после второй мировой войны. Но этот упадок вовсе не был следствием того, что капитализм изжил простое товарное производство в сельском хозяйстве. Упадок происходит главным образом из-за значительного роста производительности некапиталистического сельского хозяйства, которое в настоящее время может производить излишки сельскохозяйственных продуктов, используя лишь часть прежней рабочей силы⁷³.

⁷² Важным исключением являются работы американского социолога Хэрнет Фридманн о производстве зерна. Ее докторская диссертация в Гарвардском университете о формировании международного зернового рынка и его влиянии на производство зерна в разных странах в период между 1870 годом и второй мировой войной находится еще в рабочей стадии, а пока см. статью: "World market, State and family farm". — "Comparative Studies in History and Society", vol. XX, 1970, № 4.

⁷³ Therborn. *Klassstruktur*, S. 29, 82—83, 90. Общее число шведских сельскохозяйственных производителей в 1975 году составляли одну треть от их числа в 1950 г., а сельскохозяйственные производители, предостав-

Труд, обслуживающий семью, тоже не подчинялся (разве что маргинально) капиталистической организации. В классическом значении этого термина еще не так давно он существовал главным образом в двух формах: в виде семейного неоплачиваемого труда и домашней работы прислуги, оплачиваемой из дохода семьи⁷⁴. Тогда, как и сейчас, такой труд был в основном женским. Та часть классово-структурной, которая состоит из оплачиваемых работников производственного труда, регулировалась скорее изменениями количества заключаемых браков, чем темпами накопления капитала. В Швеции такой оплачиваемый труд впервые достиг наивысших размеров в 1930 году, что совпало с наименьшим числом бракосочетаний в эпоху индустриализации. Затем тенденция изменилась. Если в 1930 г. на эту группу приходилось 11 процентов экономически активного населения, то в 1950 году уже только 8 процентов, а число женщин-домохозяек относительно экономически активной мужской части населения достигло максимальной величины за целый век (1880—1980). За последнее время работа на семью все больше приобретала общественный характер, что все больше регулировалось, с одной стороны, ростом общественного дохода, а с другой — процентом участия в труде замужних женщин или женщин, состоящих в незарегистрированном браке (в Швеции число лиц, занятых таким трудом, превысило число домашних хозяек, состоящих в браке с экономически активными мужчинами где-то в период между 1975 и 1979 годами).

Похоже, что общественное нетоварное воспроизводство начинает играть ту роль, от которой отказалось семейное товарное производство вследствие серьезного осложнения классовых отношений при капитализме. Безусловно, форма проявления и интенсивность развития этой тенденции в различных обществах будут отличаться от тех, что были приведены здесь в качестве примера. Совершенно очевидно, что семью — и традиционную, и ту, которую мы можем считать таковой, то есть основанную на половых отношениях, — нельзя более исключать или считать слабо причастной к классовым отношениям. Внутренние связи подобных объединений и некапиталистических форм труда еще не обобщались. Там, где речь идет о простом товарном производстве в

лявшие работу по крайней мере одному человеку, составляли лишь 15 процентов от их числа в 1950 году. В Западной Германии собственники и их семьи составляли в 1950 году 80 процентов рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, а в 1970 году — 88 процентов (IMSF, Klassen-und Sozialstruktur, vol. II, tome I, S. 184—185).

⁷⁴ В 1930 году в Швеции в учреждениях, входящих в систему образования и здравоохранения, труд обслуживающего персонала применялся гораздо шире, чем в государственных учреждениях: соотношение составляло 2,5 : 1.

сельском хозяйстве, создается впечатление (как предположила Хэриет Фридман)⁷⁵, будто в преобладающем типе сельского хозяйства в умеренных зонах производительные силы всегда сохраняли зависимость от «демографических колебаний» числа семей. В этих условиях простое товарное семейное производство имеет с точки зрения конкуренции преимущество перед капиталистическим производством в виде той самостоятельности, которая позволяет ему поддерживать существующую норму прибыли. Что до непродуцибельного труда, то здесь пока нет теоретических разработок. Школы, больницы, медицинские учреждения, помощь престарелым, агентства по найму домашней прислуги и т. п. — не абстракции, они вполне реально существуют в капиталистическом мире. Вопрос о том, по какой причине они всегда оставались на втором плане, ждет своего теоретического решения. Этот вопрос важен не только для распутывания хитросплетений современной классовой структуры; похоже, что он является признаком структурной ограниченности капитализма, которая, очевидно, должна еще больше усугубиться.

На сложность классовых отношений, возникшую вследствие развития крупных акционерных обществ с их огромными конторами, заполненными служащими, которые отличаются по положению и от фабричных рабочих, и от членов административного совета, и с их сложной иерархией управления, впервые обратил внимание Эмиль Ледерер⁷⁶ около семидесяти лет назад, что послужило причиной вызова брошенного им марксизму. Но прежде чем марксисты приняли вызов, прошло много времени. Относительное отсутствие у них интереса к этому вопросу объяснялось тем, что капитал и наемный труд продолжали оставаться главными полюсами классовой борьбы. Сегодня марксистский анализ обществ внес значительный вклад в эту область. Два наиболее глубоких исследования Карчеди и Райта отдают должное сложности проблемы, а также вопросу децентрализации иерархии на предприятии, делая акцент на противоречивом положении руководящего персонала⁷⁷. Отметим, однако, что эти исследователи расходятся в определении причины противоречивости. Анализ Карчеди сосредоточен на двух различных его функциях в производственном про-

⁷⁵ *Friedmann. World Market.*

⁷⁶ *E. Lederer. Die Privatangestellten in der modernen Wirtschaftsentwicklung. Tübingen, 1912.*

⁷⁷ *G. Carchedi. On the economic identification of social classes. London, 1977, cap. I, и в частности с. 87 и далее. (Райт анализирует работу Карчеди в исследовании "Varieties", p. 356 и далее).*

цессе, одна из которых определяется особым способом производства, а другая — техническим разделением труда. Он выделяет две главные функции: «функцию капитала», определяемую как «осуществление надзора и контроля», и «функцию коллективного работника», или же «работу по координации и интеграции трудового процесса»⁷⁸. Развитие крупной акционерной компании означает, таким образом, появление «нового среднего класса» служащих, зависящих от капитала, в задачи которых входит выполнение одновременно обеих этих функций. Что до Райта, то он отрицает, что функция координации является технической функцией, и относит ее к функциям власти, вследствие чего участие «в принятии наиболее важных решений в отношении координации и производственного плана оказывается формой связи с капиталом» даже тогда, когда оно не касается надзора и контроля над рабочими⁷⁹. По мнению Райта, противоречивость в положении руководящих уровней определяется как раз тем, что они обладают разной властью для осуществления контроля за денежным и постоянным капиталом, а также за трудом.

Было бы целесообразно при дальнейшей разработке классовой теории объединить оба момента — функцию и власть, потому что развитие соотношения сил класса капитала и трудящегося класса будет зависеть от того, какой полюс захватит функцию коллективного работника. Решающим условием власти капитала является тот факт, что процесс производственной кооперации внутри предприятия, функция планирования и координации являются атрибутом капитала. Маркс и Энгельс предвидели такое развитие капитализма, атрибутом которого станет совокупный рабочий, а капитал и капиталисты будут все больше исключаться из производственного процесса, переходя к выполнению простой функции денежных капиталистов и превращаясь, говоря словами Энгельса, в «излишний» класс⁸⁰. Однако на деле эта гипотеза Маркса до сих пор не получила практического воплощения. А это означает, что перед учеными-марксистами стоит задача понять, что же конкретно произошло с функцией коллективного работника, с его отношениями с капиталом и наемным трудом и почему. В этом контексте кажется недостаточным и то внимание, которое уделяет Пулансас идеологической демаркационной линии между умст-

⁷⁸ Ibid., p. 65.

⁷⁹ Wright. Varieties, p. 363.

⁸⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 296—299. Этот анализ я углубил и исследовал в своей статье: "Enterprises, markets and States". Department of Sociology. University of Toronto, Working Paper Series, № 9, 1979.

венным и физическим трудом, и тезис Гарри Бравермана⁸¹ о постоянной тенденции к деградации как физического труда, так и труда служащих в процессе капиталистического развития. За последнее столетие в «совокупном рабочем» стала очевидной тенденция к консолидации, к постепенному исчезновению внутренних делений, к большему стремлению к благам, которые дает капитал. С другой стороны, масштабы контроля, осуществляемого верхушкой, неизмеримо выросли, как это видно на примере крупных транснациональных корпораций, руководители которых в состоянии контролировать и координировать процессы производства на пяти континентах. Нам кажется, что одним из наиболее важных аспектов, подлежащих изучению в классовых отношениях, порожденных образованием этих крупных капиталистических предприятий, является противопоставление тенденции к консолидации «совокупного рабочего» и тенденции к расширению потенциальных возможностей контроля со стороны руководящей верхушки.

Другим важным аспектом является расширение рынков в зависимости от географического размещения классов и лекапиталистических слоев. На самом деле, условный марксистский термин, применяемый для характеристики крупных акционерных компаний, а именно «монополистический капитал», в известном смысле выглядит как совершенно неверный. Поскольку транснациональным корпорациям не приходится безоговорочно соглашаться с навязываемыми рынком ценами, как это вынуждены делать прочие предприятия в условиях конкуренции, они выдерживают конкуренцию на мировом рынке. Безликий рынок является главной основой все более анонимной власти капитала внутри корпорации⁸². В противоположность предвидениям Маркса наиболее крупные транснациональные корпорации по размерам и возможностям экономической координации превосходят большинство

⁸¹ *H. Braverman. Lavoro e capitale monopolistico* (1974). Torino, 1978. Пятнадцатая глава работы Бравермана, посвященная деградации конторского труда и сплочению с рабочим классом тех, кто выполняет этот труд, появилась в том же году, когда Пулансас (в своей книге "Classi sociali e capitalismo oggi"), Бодлю и другие (в работе "La petite bourgeoisie en France") полемически подчеркнули значение принципиальных отличий умственного труда от физического, конторы от завода. Возникает вопрос, являются ли эти различные марксистские концепции классовых границ частичным отражением различий в развитии капитализма во Франции и в Соединенных Штатах.

⁸² С присущей им тенденцией к крайностям английские марксисты, выступающие против традиционных взглядов, Барри Хиндесс, Пол Хёрст и их сподвижники, определяют соотношение сил между классами в условиях современного капитализма следующим образом: «Существуют „капиталы“, а не „капиталисты“; подобно любому другому работнику, руководители отделены от средств производства» (См.: *A. Cutler a. o. Marx's Capital and capitalism today*. London, 1977, vol. I, p. 312).

во политических организаций мира и гораздо больше приспособлены к функционированию мирового рынка, чем территориальные зоны, где проводится политика в интересах рабочих. Поэтому продолжает сохраняться неподвижное соответствие между частным характером производственных отношений и приобретающими все более общественный характер производительными силами.

Наследие марксистского классового анализа 70-х годов богато сложными аналитическими догадками, трактовками, эмпирическими данными. Именно с этой исходной позиции и будут рассматриваться проблемы в дальнейшем. В сравнении с этими результатами разного рода сведения (также часть упомянутого наследия), нередко противоречащие критериям определения, формам концептуализации и выяснению границ предмета, не привлекают особого внимания. И наоборот, становится совершенно необходимой разработка новых аналитических подходов, для того чтобы понять не только специфические аспекты отношений труда и капитала, но и сложность связей, составляющих этот второй элемент. Здесь сразу же необходимо сделать по крайней мере три замечания. Во-первых, классовые теории никогда не должны терять связи с экономическим анализом динамики капитализма. Во-вторых, классовые теории должны принять в качестве исходной точки или по крайней мере иметь в виду все взрослое население, а не только то, которое на основании какого-либо критерия считается экономически активным. В-третьих, какие бы концепции ни принимались в конечном счете, следует обратить внимание на многочисленные факторы, определяющие размещение населения с учетом производственных отношений. Как подчеркнул Пулансас, люди, вовлеченные непосредственно в капиталистический производственный процесс, составляют меньшинство населения, а классовая борьба не может быть сведена к борьбе между классами. Она является еще и борьбой для класса, борьбой за установление границ сферы влияния сил и социальных конфликтов с учетом динамики капиталистических обществ, процесса накопления капитала и присущих ему социальных конфликтов⁸³.

Из сказанного выше следуют также и некоторые более специфические выводы по поводу концепций и разграничений. Позиции внутри государства не могут быть уподоблены позициям, занимаемым внутри процесса накопления, как считали Пулансас и Райт (в своих первых выводах). По возможности можно было объединить всех государственных служащих под маркой «средних слоев» (как это сделано в Проекте классового анализа), взяв в качестве главного кри-

⁸³ *Przeworski*. *Proletarians*, p. 385 и далее.

терия для определения классового положения источник дохода, это вызвало бы еще большие недоразумения. Институт марксистских исследований и Пжеворский подразделили их на основе положения, занимаемого в государственной иерархии, и поместили как особые прослойки соответственно их положению в процессе накопления. Если мы серьезно подойдем к анализу отношений, существующих между мелкой буржуазией, с одной стороны, и формой простого производства, товарооборотом и семьей, с другой, мы не сможем приравнять мелкую буржуазию к служащим капитала, как это сделал Пулансас, приклеив к ней и им общий ярлык «мелкая буржуазия». Не согласимся мы ни с Институтом, который и тех и других определил как «средние слои», ни с Проектом, поместившим их в раздел «среднего класса». Вопрос о том, где должна проходить демаркационная линия, отделяющая рабочий класс, имеет множество решений, каждое из которых подкреплено вескими аргументами. Главное при этом — учитывать множественность показателей и не дать им исчезнуть в каком-то единственном решении. Однако и метод, примененный Проектом, включившим в рабочий класс всех, состоящих на службе капиталу (за исключением верхушки руководителей, которые получают часть своего дохода от участия в прибылях), как будто не слишком способствовал пониманию проблем и борьбы из-за того места, которое должно быть отведено «совокупному рабочему». Концепция Райта, заявляющего о «целостности помещения класса» между рабочим классом и буржуазией и между рабочим классом и мелкой буржуазией, привлекает большей последовательностью. Подобная концепция более определена, чем соответствующие концепции «промежуточных групп» или «средних слоев», которых придерживается Институт. Тем не менее не следует забывать, что именно ясность концепции приводит к тому, что Райт не учитывает некоторые очень важные сложные моменты (например, те, которые вызваны расширением функций государства), заслуживающие изучения и объяснения на следующем этапе разработки марксистских теорий классов.

4. Рабочий класс и перспективы марксистской политики

Роль, отводившаяся рабочему классу в исследованиях марксистской социальной науки до сего времени, была в целом неясной. Изучая итоги теоретических и эмпирических работ, которые лучше других выдержали испытание временем, то есть работ, переживших и конъюнктурные полемикки, и забытые ныне точки зрения, можно выделить три главных положения относительно рабочего класса в современном

развитом капитализме. Во-первых, в сложной классовой «комбинаторике» рабочий класс рассматривался как структурно ограниченная сфера, откуда возьмет старт революционная социалистическая политика, время, формы и условия осуществления которой еще предстоит уточнить. Во-вторых, даже в некоторых серьезных исследованиях, посвященных положению рабочего класса, он продолжает быть погруженным во мрак «монополистического капитализма» Соединенных Штатов. В-третьих, исследования, которые посвящены рабочему классу и его политике внутри развитого капитализма и которые подтверждают тезис Маркса о том, что рабочий класс является носителем социалистической трансформации, приписывают ему черты, свойственные нынешней социал-демократии, в частности шведской. Независимо от того, сколь мало надежд дают Соединенные Штаты, или независимо от веры в шведскую социал-демократию, нельзя не видеть всю ограниченность этих выводов. Однако рассмотрим прежде всего работы, посвященные рабочему классу Америки и социал-демократии.

Первой значительной работой, посвященной американскому рабочему классу, была книга Гарри Бравермана «Труд и монополистический капитал». В известном смысле ее можно отнести к категории структурных классовых анализов, которые преобладали в тот период в марксистской теории. Главное внимание в ней уделяется формам, которые придает рабочей части населения процесс накопления, анализируются условия труда на основании статистики занятости. Это во многом оригинальная работа: очень умно и интересно подвергая критическому рассмотрению проблемы буржуазной социологии, Браверман вносит в марксистский анализ современного периода удивительно свежую, неакадемическую струю, опираясь на собственный опыт ремесленника и интеллигента-социалиста. Подзаголовок книги гласит: «Деграляция труда в XX веке». Процесс отождествляется со страшной поступью Молоха, сопровождающей капиталистическое развитие и направленной главным образом на то, чтобы разграничить два момента — замысел и его воплощение: первый достиг самых высоких уровней руководящей иерархии, тогда как труд, и физический и конторский, оказался подчиненным выполнению все более разрозненных и контролируемых задач.

Менее оригинальной, но, возможно, более яркой в аналитическом плане является работа Майкла Буравого «Согласие на предприятии» («Manufactory consent»). Построенная на непосредственных наблюдениях автора, эта монография по индустриальной социологии тем более достойна упоминания, что Буравой обнаружил, что избрал объектом исследования (как нам кажется, случайно) предприятие, ко-

торое изучал за тридцать лет до него другой чикагский социолог. Его работа дает общий анализ классовых отношений в том виде, в каком их создает организация производства. По сравнению с тем, как обстояло дело тридцать лет назад, Буравой не обнаруживает какой-либо интенсификации трудового процесса или усиления контроля со стороны руководства в результате отделения концептуального момента от практического. «Напротив, мы обнаружили, что получила развитие «самоорганизация» рабочих при выполнении ими своей повседневной работы»⁸⁴. Но именно это и укрепило впоследствии власть капитала. Благодаря «играм», в которых принимали участие рабочие, не имея при этом больших возможностей выпрять, то есть играть, которые позволяют вмешиваться в отдельные участки системы на внутреннем рынке рабочей силы и во «внутреннее положение» путем введения особых процедур отстаивания прав и коллективных договоров, гарантировалось получение и в то же время скрывались размеры прибавочной стоимости. При этом фабриковалось общее согласие, в основе которого было участие предприятия в играх, организованных капиталом.

Хотя два больших эссе Майка Дэвиса, посвященных политической истории рабочего класса Соединенных Штатов от его возникновения до следующего непосредственно за второй мировой войной периода, и выглядят скорее как схематичные обобщения, чем как исчерпывающий исторический анализ, они все же достойны считаться наиболее острыми политическими исследованиями современного рабочего класса в развитом капиталистическом обществе⁸⁵. Главной темой этих эссе является не согласие, навязанное капитализмом с помощью пастойчного введения «шпр», и не какие-либо специфические американские ценности или институты, а классовая борьба, но еще точнее, «совокупный опыт серии исторических поражений, которые потерпел американский рабочий класс»⁸⁶.

Книга Вальтера Корпи «Рабочий класс в условиях капитализма благоденствия» («The working class in welfare capitalism»), напротив, рассматривает совокупный опыт серии побед, одержанных социал-демократическим рабочим движением Швеции. По мнению Корпи, гипотеза Маркса о том, что тенденция к росту единства и силы рабочего класса бу-

⁸⁴ M. Burawoy. *Manufacturing consent*. Chicago, 1979, p. 72. Буравой автор работы, резко критикующей аналитический метод Бравермана в исследовании "Toward a marxist theory of the labor process: Braverman and beyond". — "Politics and Society", vol. VIII, 1978, p. 247—312.

⁸⁵ M. Davis. *Why the US working class is different*. — "NLR", № 123, 1980, p. 3—44; *ID*. *The barren marriage of American Labour and the Democratic Party*. — "NLR", № 124, 1980, p. 43—84.

⁸⁶ M. Davis. *Why the US working class, p. 7*.

дет развиваться, пока он не превратился в «могильщика» капитализма, в целом подтвердилась, несмотря на то что социологи-немарксисты утверждают обратное. Рабочий класс и реформистское рабочее движение не были «абсорбированы» капитализмом. Напротив, происходят постепенные и решительные сдвиги в равновесии сил в пользу трудового класса и его организаций, постепенно укрепляющихся. Книга завершается ссылкой на призыв к единству, который содержится в «Манифесте Коммунистической партии», и обращением к шведским профсоюзам, объединяющим подавляющее большинство рабочих и служащих: «Когда прекращается конкуренция между наемными работниками, оказываются подточенными сами основы капитализма».

Книга Корпи отражает серьезность намерений социал-демократии как с точки зрения марксизма, так и с точки зрения социологии индустриальных отношений, являющейся ее отправной точкой. В самом деле, эту работу отнюдь нельзя расценивать как свидетельство самоудовлетворенности социал-демократии; помимо того что она представляет собой важный вклад в марксизм как общественную науку⁸⁷, в ней раскрывается, каким образом в середине 70-х годов левое крыло шведской социал-демократии укрепило свои позиции, выступив с предложением постепенного обобществления основных средств производства. Следует, однако, заметить, что, каковы бы ни были «социалистические» надежды, питаемые в отношении шведской социал-демократии (к тому моменту, когда я пишу эти строки, предложения, выдвигавшиеся в середине 70-х годов, уже не раз теряли свою остроту), в анализе Корпи есть по крайней мере один большой пробел: он занимается почти исключительно рабочим движением и не анализирует того, что было или должно быть «подточено», а именно «основ капитализма». Как бы то ни было, но Корпи удалось раскритиковать большую часть основных положений, на которые опирались многочисленные исследования, посвященные «абсорбированию».

Реформистские профсоюзы, которые придерживаются правил, установленных игрой, а также социал-демократия являются основными организационными формами рабочего движения развитых капиталистических стран. В Соединенных Штатах никто всерьез не ставит под сомнение власть капитала. Это неопровержимые факты, которые ни один

⁸⁷ Корпи был не единственным, кто среди наиболее авторитетных ученых левых социал-демократов занял марксистскую позицию. Другим примером может служить Ульф Химмельstrand — президент Международного социологического общества с 1978 по 1982 год. О его убежденности в том, что шведский социал-демократический рабочий класс выступит в качестве посетителя социалистических преобразований, см. работу: *U. Himmelstrand a. o. Beyond Welfare Capitalism. London, 1981.*

трезвый марксист не станет отрицать. Но сегодня палицо не только это. В данной начальной фазе марксизма как социальной науки выделяется прежде всего тенденция к изучению исключительно современных структур, например структурных границ класса, при отказе от серьезного анализа истории ведущейся классовой борьбы.

Сложность взаимоотношений нового марксизма с современной историей рабочего класса становится очевидной, если сравнить работы Пуланцаса и Эдварда Томпсона, чья история зарождения английского рабочего класса⁸⁸ не имеет ничего общего с обсуждавшимися здесь вопросами, но тем не менее, вне всякого сомнения, принадлежит к числу наиболее значительных классовых марксистских исследований, появившихся в рассматриваемый нами период. И все же показательно, что Пуланцас, ссылаясь на множество работ англо-американских социологов или политологов, лишь вскользь упоминает о книге Томпсона. С другой стороны, не менее существенно, что Пуланцас не изучал положение рабочего класса, а лишь исключительно вопросы, связанные с другими классами современного мира. Его умолчание на этот счет — это не только кажущееся странным бегство от действительности. За ним скрывается серьезная теоретическая проблема, которой никто непосредственно не занимался, а именно проблема классовой движущей силы. Что касается книги Томпсона, то она, действительно, представляет собой попытку выяснить, каким образом формируется и утверждается класс в смысле действующей силы. В то же время в этой работе совершенно обойдена альтюссерровская проблематика Пуланцаса, согласно которой классы представляют собой уже навсегда сформировавшуюся и утвердившуюся данность.

Со своей стороны Томпсон, хотя он и выступал со статьями на актуальные темы, никогда не публиковал работ по истории современного рабочего класса. Мастер-ремесленник он очень горд своим ремеслом исследователя истории («царицы гуманитарных наук»⁸⁹) и относится к общественным наукам без особого почтения. Впрочем, и у Томпсона есть свой способ обходить трудные, но острые проблемы, связанные с классовой движущей силой. Давая определение классу исключительно как воплощению коллективного самоутверждения, он в конечном счете делает действующим лицом

⁸⁸ E. P. Thompson. *The making of the English Working Class*. London, 1963.

⁸⁹ *Id.* *The poverty of theory*. London, 1978, p. 262. Для Томпсона (*ibid.*, p. 300) «буржуазная социология» и «марксистский структурализм» просто «антиисторическое дерьмо». Очень трезво и резко ему ответил П. Андерсон. (*P. Anderson. Arguments within English marxism*. London, 1980).

суровой драмы «создания английского рабочего класса» лишь меньшую и маргинальную часть тех, из кого формировался первый промышленный пролетариат мира.

В отношении многих других марксистов этого периода с социологией и буржуазной политической наукой тоже можно отметить серьезный пробел. У них почти полностью отсутствует полемика с работами по политической социологии, которые как раз могли бы оказаться полезными для развития марксистской теории классовой политики. Речь идет о некоторых работах Липсета, Хуана Линца, Стейна Роккана о «классовой раздробленности», ее социальной основе и историческом происхождении⁹⁰. Следует иметь в виду, что исследования по классовой структуре, «объективистские» в первой фазе развития марксизма, понимаемого как общественная наука, а также субъективистские историографические работы, например, Томпсона, находятся на равноудаленном расстоянии от социальных конфликтов сегодняшнего дня. Марксизму надо постараться заполнить эти пробелы с помощью историко-структурных исследований недавнего прошлого с учетом действующих в настоящий момент тенденций.

Несомненно, марксизм не сможет непосредственно не затронуть проблемы классов как исторических действующих сил в настоящем. В свою очередь это позволит пролить свет на два важных вопроса, которым до сих пор почти не было уделено внимания: один из них связан со значением классовой действующей силы, а другой — с отношениями класса как политического (и социального) субъекта с неклассовыми субъектами. Классы не являются действующими силами в том смысле, в каком ими являются индивиды, группы или организации, то есть действующими силами, которые принимают решения выступить в роли творца события или соиздателя «памятника» вроде программы, кодекса и т. д. Классу никогда не дано принимать решений в качестве такового. Но классовая действующая сила в марксистском понимании этого термина — это и не слагаемое серии отдельных событий, чье косвенное воздействие может быть оценено ученым с помощью статистических показателей, подобных данным об экономическом росте, социальной мобильности, участии в выборах, распределении дохода или голосов. Класс представляет собой действующую силу третьего типа: речь идет о силах (определяемых их местом в экономике), которые в зависимости от тенденций действуют коллективно, всегда по-разному, но никогда (или почти никогда) не в полной мере.

⁹⁰ См., например: "Party systems and voter alignments". S. M. Lipset, S. Rokkan (eds.). New York, 1967; S. Rokkan. Citizens, elections, parties. Oslo, 1970.

Существующая марксистская традиция вообще рассматривает класс как действующую силу в первоначальном значении этого термина, но рассматривает метафорически в целях обобщения некоторых социальных процессов, утверждая при этом, что буржуазия или рабочий класс думают или делают то-то или то-то. С другой стороны, политическая социология, как правило, рассматривает классовую действующую силу во втором значении этого термина, то есть как аналитическую конструкцию, пригодную для упорядочения индивидуальных действий; большей частью это касается вопроса о голосах на выборах. Однако смысл интеллектуально и политическому вызову, который предстоит бросить марксизму как социальной науке, будет заключаться в том, чтобы уточнить и разработать концепцию классовой действующей силы как особой действующей силы третьего типа.

Действия классов осуществляются через действия индивидов, групп и организаций. Действие классовой действующей силы может пониматься как действие, осуществляемое в общих интересах и отражающее аналогичность чаяний, как действие, в свою очередь аналогичное другим формам действия или взаимодействия в целях поддержки тех, кто принадлежит к тому же классу. То, в какой степени удастся распознать все эти элементы и их проявление в основных коллективных процессах, направленных на достижение особых целей, и является проблемой, которая ставит перед нами ряд вопросов эмпирического характера, связанных с формированием и историей классов. Специфическая эффективность классовой действующей силы определяется не тем, что она связана с особыми событиями, а тем, что влияет на силу их резонанса; не потому, что она создает особый институт, а потому, что формирует социальные отношения внутри него⁹¹; не потому, что разрушает особый социальный порядок, а потому, что вносит свой вклад, определяющий длительность существования этого порядка. Словом, история классов и классовой борьбы отнюдь не сводится к простой истории событий (*histoire événementielle*).

Если этот вызов окажется своего рода проверкой для марксизма, то сопоставление с лучшими достижениями политической социологии и с современной политикой должно способствовать углублению связи классовой борьбы с другими формами социального конфликта и политических трений, связи между классами и другими субъектами политических и социальных событий. Эти проблемы не удастся решить лишь при помощи специфического эмпирического подхода.

⁹¹ Попыткой развить эту идею являлась моя работа "What does the ruling class do when it rules?". London, 1980, где я говорю о целой серии особых «техноструктур», которые управляют государственным аппаратом.

Для этого необходима, в том числе и систематическая, разработка теории. Первая попытка уже имела место, когда был определен «круг идеологий», то есть многообразие форм человеческой субъективности, для которой класс представляет одну из четырех постоянных единиц измерения человеческой субъективности, а именно историческо-позиционную; остальные три — это историческо-инклюзивная (примером которой является нация), экзистенциально-инклюзивная (примером ее служит религия) и экзистенциально-позиционная (ее примером является сексуальная субъективность)⁹². Вопрос о том, заслуживает ли столь специфически разработанная система концепций поддержки и приемлема ли она, еще ждет своего решения. Во всяком случае, необходимо приложить для этого известные усилия. Классовая борьба не является лишь борьбой между классами, за единство класса, за сохранение границ класса, за классовые союзы. Это еще и борьба за связь с субъективностями и борьбой, не являющейся классовой.

Именно из-за пробелов в теории и серьезном марксистском анализе социальной борьбы настоящего у левых расплодилось множество антимарксистских доктрин и утопий, подменяющих ныне уже забытые экстраполяции революционной марксистской веры прошлого. Но то, что для ищущих новую веру является поверженным божеством, в действительности подлежит изучению теми, кто обладает более широким взглядом на марксизм, как на пору детства или отрочества. И нет причин считать, что марксизм, как социальная наука, остановится на этой фазе развития. Напротив, кажется более вероятным, что после политического опыта 70-х годов одной из тенденций марксизма в будущем может стать отказ от высокомерного замалчивания реальной истории настоящего и развитие исторического материализма социальной борьбы и действующих стабилизирующих сил, а также понимание притягательной сложности этих проблем как своего рода некоего интеллектуального вызова. Вероятно также, что марксизм этого типа — открытый и ничем не ограниченный — окажется гораздо более полезным для социалистической политики и других видов освободительной деятельности, чем это было с его тенденциозно самонадеянными разновидностями в прошлом.

⁹² *Therborn*. The ideology of power and the power of ideology. London, 1980, p. 22 и далее.

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том четвертый

МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ

Выпуск первый

Редакторы *САДОВСКИЙ Н. А., НОСОВА М. Ф.*

Технический редактор *Л. П. Шупейко*

Корректор *Т. С. Дмитриева*

Сдано в набор 11.12. 1985 г.

Подписано в печать 6.01. 1985 г.

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская

Гарнитура литературная. Печать высокая

Условн. печ. л. 26,06. Уч.-изд. л. 27,88

Изд. № 24/39504. Заказ № 67

Ордена Трудового Красного Знамени

Издательство «ПРОГРЕСС»

Государственного комитета СССР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли

Москва 119847, Зубовский бульвар, 17
